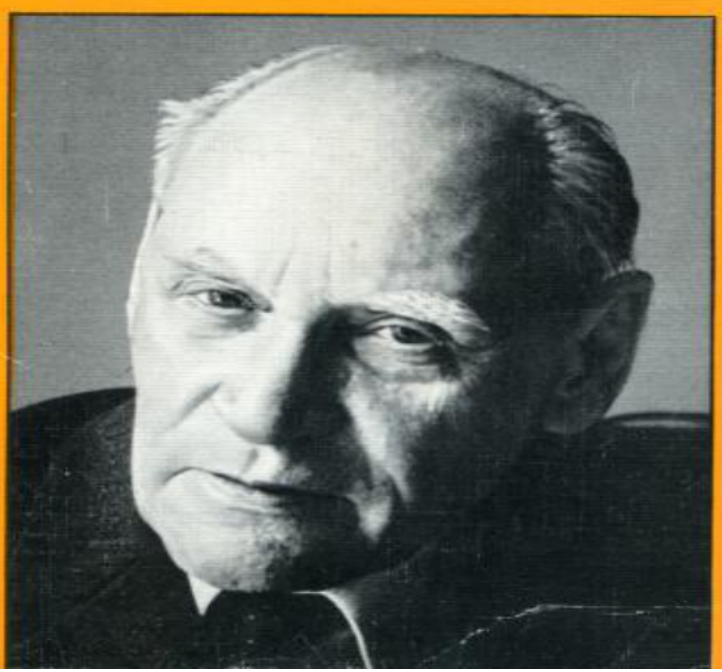
# Йозеф РЫБАК

## «Иду на красный свет!»

Волшебный прутик. Пальцы в чернилах.
С пятого на десятое.



SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

В книгу народного писателя ЧССР Йозефа Рыбака (р. 1904) вошли воспоминания, эссе, очерки, статьи по истории Чехословакии и литературные портреты крупнейших представителей чешской, словацкой и мировой культуры — писателей, художников, журналистов. Автор пишет о мастерах, близких его сердцу, интерпретирует их творчество в широких общественных взаимосвязях. Большинство произведений на русском языке публикуется впервые. В книге использованы рисунки автора. Предназначена широкому кругу читателей.


- «Иду на красный свет!»
  - 
  - ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ
  - ИЗ КНИГИ «ВОЛШЕБНЫЙ ПРУТИК»
  - ФОТОГРАФИИ
  - ИЗ КНИГИ «ПАЛЬЦЫ В ЧЕРНИЛАХ»{239}
    - О названиях книг
    - Чему учить молодых авторов
    - Когда начинается поэт?
    - Поэт и политика
    - Почетная задача
    - Каковы границы романа
    - Мосты поэзии
    - Век гуманизма
    - О традициях, любви и ненависти
    - О Главной книге писателя{268}
  - ИЗ КНИГИ «С ПЯТОГО НА ДЕСЯТОЕ»{269}
    - Из Введения
    - СТАНИСЛАВ КОСТКА НЕЙМАН
    - ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ
    - Иржи Волькер и современность
    - Эгон Эрвин Киш
    - Зденек Неедлы
    - Наследие Петра Илемницкого
    - Красные розы на могилу Карела Конрада
    - БЕДРЖИХ ВАЦЛАВЕК
    - ЛАДИСЛАВ НОВОМЕСКИЙ
    - Рассказ об Эдуарде Урксе
    - Карел Чапек
    - Иржи Тауфер — поэт нашей эпохи[37]
- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94

- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138

- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182

- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226

- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270

- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312

# «Иду на красный свет!»

# Йозеф РЫБАК

## «Иду на красный свет!»

**Волшебный прутик**
**Пальцы в чернилах**
**С пятого на десятое**

Художественная публицистика
*Перевод с чешского*

Москва «Прогресс» 1986

# ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

*…Будь вечно в бою, нигде — после боя!*

*И. Волькер*

Название книги, предлагаемой советскому читателю, — «Иду на красный свет!», — на первый взгляд может показаться несколько парадоксальным, заостренным. Во всяком случае, в нем есть что-то сразу привлекающее внимание, дающее толчок мысли, которая, улавливая в нем некую необычность, будет стремиться «перевести» его на язык привычных понятий. Ведь красный свет в качестве дорожного знака означает предостережение, равнозначен короткому, строгому и повелительному слову «стой!». А может быть, его можно воспринять, истолковать по-другому, как символ преодоления, как свет, указывающий путь в будущее? Или в этом названии есть известная доля экстравагантности, направленной на то, чтобы привлечь, возможно, увлечь читателя броской, своеобразной фразой?

«Иду на красный свет» — так озаглавил один из своих поэтических сборников Йозеф Рыбак. Однако совсем не случайно это название выносится на обложку и настоящей книги, в которую включены документально-художественная проза, публицистика этого большого современного писателя Чехословакии. Тем самым как бы подчеркивается цельность творческой личности Йозефа Рыбака, чешского поэта и прозаика, эссеиста, критика, искусствоведа.

«Я шел на красный свет вместе с миллионами товарищей во всем мире, даже если это было опасно. Я не покинул их ряды. И смысл моих требований к литературе и искусству заключается в том, чтобы они шагали вместе с нами в этом историческом движении вперед и служили великому делу», — расшифровывает Рыбак название своего поэтического сборника «Иду на красный свет».

В этих словах раскрываются корневые, национальные и интернациональные истоки творчества писателя как активного борца за социалистическое завтра, за настоящее своего народа. Они открывают нам путь к миру чувств и мыслей художника, глубоко правдивого и гуманного, верящего в добро, справедливость, чуткого к нравственной жизни человека, сильного сутью своих социально-философских воззрений, убежденностью коммуниста и интернационалиста.

Красный свет… Он сродни цвету гвоздик, которые так любил пролетарский чешский поэт Иржи Волькер, автор страстных стихотворений — призывов к борьбе, стихотворений-баллад, проникнутых ненавистью к буржуазному строю. Для Рыбака, как и другого пролетарского чешского поэта начала XX столетия, Станислава Костки Неймана, создателя «Красных песен», красный цвет навсегда останется «цветом отношения, интеллектуального и эмоционального, к миру». Это цвет знамен Парижской коммуны, цвет кремлевских звезд. Вот почему творчество Йозефа Рыбака воспринимается в нерасторжимой связи времен, прошлого и настоящего: оно пропитано идеями Октябрьской революции, вобрало в себя революционные традиции чешского и словацкого народов, их искусства и литературы и вместе с тем является частью яркой, красочной, многообразной и многоликой жизни и культуры нынешней Чехословакии. Вот почему все без исключения произведения Рыбака — это сплав глубоко личностного, автобиографического и идейно-политического и философского начал, сплав художественности и публицистики, лирики и эпики.

Валентин Распутин в одном из своих интервью подчеркивал: «Родину, как и родителей, не выбирают, она дается нам вместе с рождением и впитывается с детством. Для каждого из нас это центр Земли независимо от того, большой ли это город или маленький поселок… С годами, становясь взрослее и обживая свою судьбу, мы присоединяем к этому центру все новые и новые края… но центр по-прежнему там, на нашей „малой родине“».

Такой «малой родиной» для Йозефа Рыбака является его родной город Писек. В писецком крае «завязывался» его человеческий и писательский характер. С Писеком связаны первые представления Рыбака о добре и зле, поначалу вынесенные из поэтического мира сказок, вобравших в себя народную мудрость, жажду волшебства, чуда, мысли об обязательной победе правды над ложью, разума над эгоизмом и изворотливостью. Здесь он учился понимать природу, прислушиваться к ее дыханию, любить ее красоту, здесь получил первые жизненные уроки, пристрастился к чтению книг. Книги, проникнутая духовностью атмосфера дома, в котором провел детские годы Рыбак и который принадлежал одному из видных писецких общественных деятелей и патриотов, помогали ему соотносить прочитанное с жизнью, улавливать какие-то связующие звенья между настоящим и прошлым, историей. Так, пускай по большей части бессознательно, уже тогда начал формироваться внутренний мир будущего писателя, в который

вплетались полученные в пору детства и юности ощущения, краски, звуки, впечатления от встреч с людьми самых разных характеров и социальной принадлежности. А также чувство горечи от первых столкновений с бесправием одних и грубой силой других, с безработицей, нищетой, что было обычным явлением в Австро-Венгерской империи, куда до 1918 года входили Чехия и Словакия, и самым непосредственным образом касалось многодетной семьи Рыбаков, жившей на скудный заработок отца-ремесленника, погибшего во время первой мировой войны… Все это даст свои обильные всходы, найдет так или иначе свое место в прозе и поэзии Рыбака, станет той нивой, на которой будет набирать силы, зреть его социально-философское мировосприятие. К взрастившей его земле писатель будет потом прикасаться всякий раз в поисках необходимых решений, тревожась за здоровье народа, судьбу всей планеты.

Рыбак как писатель, посвятивший всего себя делу борьбы за идеалы коммунизма, усматривал свой особый смысл, считал очень символичной дату своего рождения — 1 мая 1904 года. «Первое мая, праздник трудящихся… Город изменился до неузнаваемости. В воздухе словно нависло грозное ожидание. В этот день господа отсиживались по домам, а торговцы готовы были закрыть свои лавки, если б дело дошло до беспорядков» — так описывается в автобиографическом романе «Волшебный прутик» день, когда его отец побежал за повивальной бабкой: она должна была принять третьего в их семье ребенка. Этот день словно бы определил всю дальнейшую судьбу Рыбака, постоянную, заветную и любимую тему всего его творчества — тему суровой поры детства, поры первых десятилетий XX века, озаренных сполохами русской революции 1905 года, огнем битв на фронтах первой мировой войны и победным пламенем Октября, открывшего новую эру в истории человечества. Это было время не только трудной жизни, но и накопления сил для громадного скачка, сделанного чешским и словацким народами после второй мировой войны, когда они вступили на путь социализма.

Йозеф Рыбак печатно впервые заявил о себе в 1924 году, опубликовав ряд стихотворений. Но скоро он переключается на прозу. Воспоминаниями о детстве, родном крае навеян сборник его новелл «Поля и леса» (1928).

Формирование Рыбака проходило в совместной работе с видными общественными деятелями, словацкими писателями, марксистскими критиками и зачинателями нового пролетарского искусства — П. Илемницким, Э. Урксом, В. Клементисом, Л. Новомеским, Ф. Кралем, с которыми он познакомился в 20-е

годы в Братиславе, где работал в Управлении помощи пострадавшим во время первой мировой войны. Уже тогда Рыбак входил в круг радикально настроенной молодежи, которая пристально следила за событиями, происходившими в революционной России, жадно ловила каждое слово о советской действительности, организовывала выступления тех, кому посчастливилось воочию увидеть завоевания Октября. Еще шире становится круг его знакомств с передовыми представителями чехословацкого общества, культуры, писателями-коммунистами в Праге, куда Рыбак переезжает в конце 20-х годов в поисках лучшей работы. Прага сближает его с Ю. Фучиком, В. Незвалом, К. Конрадом, Б. Вацлавеком, Л. Штоллом.

В Праге раскрывается, оттачивается в огне политической и литературной борьбы талант Рыбака-репортера, литературного критика, к тому же владеющего еще и искусством карикатуры. Йозеф Рыбак становится одним из активнейших участников коммунистической печати, почти всех прогрессивных изданий Чехословакии 20—30-х годов, а с 1933 года — почти бессменным сотрудником редакции органа КПЧ «Руде право», фучиковских журналов «Творба» и «Гало-новины».

Именно тогда он пишет множество статей, полемических рецензий, рефератов об отечественной литературе, о поэзии П. Безруча и С. К. Неймана, И. Волькера и В. Незвала, Й. Тайовского и Л. Новомеского, о зарубежных писателях, актерах, художниках — Ж. Верне, Р. Роллане, Б. Шоу, Ч. Чаплине и др. В своих публикациях он не раз будет возвращаться к творчеству русского реалиста Л. Толстого, к зачинателю социалистической литературы М. Горькому, произведения которого оценит впоследствии как «неисчерпаемый источник зажигающей творческой смелости, мужества и силы, вдохновляющей новые и новые поколения писателей». Статьями об искусстве, литературе Рыбак не только помогал формированию марксистской эстетики. В них содержится протест против попыток буржуазной прессы исказить смысл советского искусства, творчества таких советских писателей, как Маяковский, Шолохов, Корнейчук. Здесь важно отметить и то, что именно в 30-е годы человеческий и творческий облик Йозефа Рыбака дополняется еще одной существенной чертой — умением откликаться на самые актуальные проблемы эпохи. С той поры в его творческой деятельности всегда проглядывает само время, «которое должно быть выражено **сегодня,** потому что **завтра было бы уже поздно**» (И. Тауфер).

Пульс эпохи четко прослушивается в романе Рыбака «Столетие начинается» (1932), действие которого относится к

1900—1918 годам, когда окончательно распадается Австро-Венгерская империя. В жизнь изображаемого художником провинциального городка начинают проникать идеи о социальном переустройстве. Рыбак воссоздает долгий и трудный процесс рождения революционного сознания в народных массах.

Часть тиража романа «Столетие начинается» была уничтожена нацистами в оккупированной Чехословакии. Писатель вновь вернулся к нему в 1956 году, значительно переработав и издав под названием «Солнце и хлеб». Третью редакцию романа Рыбак осуществляет в 1976 году, сверяя его с жизнью литературы, с более глубоким исследованием природы человека, его психологии, выявлением новых выразительных средств.

Голос Рыбака продолжал неустанно звучать и в черную годину гитлеровского засилья, сливаясь с голосами тех, кто под руководством коммунистической партии продолжал борьбу в тяжелых условиях подполья. Большой, искренний друг Советского Союза, Йозеф Рыбак после Победы 1945 года не раз с волнением рассказывал о своем участии в майском Пражском восстании, о вступлении в Прагу частей Советской Армии, спешивших на помощь восставшим против немецких оккупантов пражанам.

После освобождения Чехословакии Советской Армией ее народы приступили к строительству нового общества. Прямым отзвуком происходящих в стране перемен являются слова умудренного долгим опытом писателя: «…Смысл жизни состоит еще и в том, чтобы созидать и для других, чтобы и они могли хотя бы на шаг продвинуться к своему счастью… Для новых, свежих сил жизни нет более ответственного долга, чем преобразовывать все, что есть человеческого в мире, который растет у нас на глазах… в новое творение и в новую звезду свободы…»

В этих словах — ключ ко всему послевоенному творчеству писателя. К его роману «Крыши над головой» (1945), к рассказам для юношества, собранным в книге «Уроки для босоногих», к серии портретов выдающихся деятелей литературы, искусства, науки. К постоянным публикациям на страницах газет «Руде право» и «Недельни новины», журнала «Новы живот», газеты «Литерарни новины». Наконец, ключ к его поэзии.

Рыбак вновь возвращается к поэзии как-то неожиданно, в довольно зрелом возрасте (пятидесяти четырех лет), будучи известным прозаиком и публицистом, и издает один за другим шесть стихотворных сборников: «К солнцу и тучам» (1958), «Несколько дней из моей непослушной памяти» (1962), «Откровения» (1966), «Долгие ночи» (1971), «Иду на красный

свет» (1975), «Летающая тарелка на зимнем небосводе» (1980).

Писатель словно бы услышал зов самой литературы, которая в период кризисных явлений в чехословацком обществе и культуре конца 60-х годов нуждалась в опоре на исторически присущую ей революционность, правдивость и широту духовного и творческого интеллекта. Рыбак был с теми, кто бескомпромиссно и последовательно защищал завоевания социализма, подтверждал правоту избранного Чехословакией пути и плодотворность происшедших в стране социалистических преобразований. В острой полемике с ревизионистами в области культуры он отстаивал позиции марксистской эстетики, искусства социалистического реализма, подчеркивал необходимость углубления историзма художественной мысли, раскрывал преемственный характер современного творческого процесса, продолжающего лучшие традиции чехословацкой революционной литературы. Поэтому-то Рыбак-прозаик обращается к поэтическому слову, стиху как наиболее прямой и мобильной форме служения жизни. Наряду с автобиографической прозой «Волшебный прутик» (1968), о которой будет еще сказано, рождаются его поэтические строки, складывающиеся в воспоминания о детстве и юности, о прожитых годах войны и мира, о созидании свободной, справедливой жизни. Рождается его поэзия, суммирующая итоги пройденного художником и его страной пути. Рыбак обращается к поэтическому слову, чтобы напомнить о смысле человеческого существования, о тех духовно-созидательных целях и задачах, которые ставит и решает социализм.

В его стихах встает образ художника, для которого творить означает быть верным идеалам социалистической революции, направлять весь свой талант на раскрытие диалектики человеческого бытия, взятого в его узловых моментах и конфликтах. Только такой творец, художник способен в потоке текущих дел и событий разглядеть те из них, что содействуют историческому прогрессу.

В этом отношении поэзия Рыбака, восходя к поэтической традиции Яна Неруды, писателя-классика прошлого века, автора очерка «1 мая 1890 года» о революционном выступлении чешского пролетариата, к традиции С. К. Неймана и И. Волькера, одновременно сливается с творчеством современных поэтов Чехословакии — В. Завады, И. Тауфера, И. Скалы и других.

Поэзия Рыбака глубоко лирична. В ней есть чувство радости, боли, сострадания, есть духовные взлеты и надежды, прославление любви, природы. И нет места отчаянию, пассивности, скепсису. Потому что поэт — убежденный

противник капитализма человек, твердо знающий, что единственно социалистическое общество может избавить человека от бесправия, жестокости. Лирические мотивы срастаются с эпическими, когда поэт обращается к теме народа и революции, к теме единения всех людей доброй воли. Для Рыбака в поэзии важно не выражение субъективного «я» поэта, а объективированное поэтическое «я», неотделимое от творческих усилий народа, благодаря чему с его стихотворениями в чешскую литературу вливалась новая, оздоровляющая струя.

Все, что я говорю от себя,
это вовсе не обо мне.
Всюду, где слово берет народ,
там и я обретаю свой голос[1].

Поэтическое слово «должно первым встречать зарю», «превращать беспросветные, долгие ночи в трудовой, лучезарный день», «выметать каждый темный угол», «воспевать красоту простых человеческих сердец». Дело поэта — подвиг. Удел его труден. Рыбак говорит о себе:

Мой путь не подобен был гладкой равнине.
По кручам кремнистым дороги мои пролегали.
И розы, что там распускались в долине,
они для других расцветали[2].

Убедительно звучат стихи Рыбака, всецело проникнутые оптимизмом, чувством солидарности с миллионами тех, «кто идет на красный свет». Это особенно хорошо передается формой свободного стиха, в котором строки связаны не столько размером и рифмой, сколько ритмом пульсирующей мысли поэта.

Борясь за четкую социалистическую ориентацию чехословацкой культуры, литературы в 70-е годы, Йозеф Рыбак принимает активное участие в создании нового Союза чешских писателей, председателем которого был с 1977 по 1982 год. В течение нескольких лет он руководит основанным в 1972 году литературно-критическим журналом «Литерарни месичник» («Литературный ежемесячник»), является председателем редакционного совета вновь созданного при еженедельнике «Творба» приложения «Кмен», которое унаследовало свое название от фучиковского журнала «Кмен» 30-х годов.

Одно из лучших произведений Йозефа Рыбака — книга

«Волшебный прутик», с которой чешская литература входила в седьмое десятилетие. Вместе с мемуарной, автобиографической прозой И. Тауфера, В. Завады, А. Плавки, Ш. Жары, И. Гаека, а также прозой Я. Коларовой, З. Плугаржа, Б. Ржиги, М. В. Кратохвила, Й. Томана и других эта книга ложилась в русло творчества, тяготеющего к философичности, расширению и углублению концепции человека, стремящегося видеть злободневные вопросы и проблемы в сопряжении с «вечными» запросами личности и человеческого общества. «Волшебный прутик» — это произведение, в котором особенно зримо раскрывается «возвышенная связь времен» как фундамент дня сегодняшнего и дня грядущего.

Наверное, нет писателя, как и человека вообще, который бы не пришел к такому рубежу, когда он испытывает потребность оглянуться назад. С тем чтобы реально осознать, что было им сделано и что он не успел еще сделать, в чем он заблуждался, был, возможно, не прав, что должен спасти от забвения, как свидетель. Как правило, подобная потребность назревает в годы, когда художник обогащен уже знаниями прожитых лет, когда в силу более зрелой социальной, философской мысли, более глубокого историзма мышления для него открывается возможность воссоздать не только свою биографию, но и биографию своего поколения, биографию своей эпохи в самых различных ее выражениях, частью которой является и жизненный опыт отдельной личности. Так возникла автобиографическая книга, книга-воспоминание «Волшебный прутик».

«Волшебный прутик» Рыбака — произведение, которое сильно показом живой действительности XX столетия, «не опосредствованной фабульным вымыслом», сильно силой мысли и интеллекта, «открытым и настойчивым присутствием автора», разматывающего нить своей памяти.

«Волшебный прутик» — это рассказ о юности, избирающей для себя нелегкую, но честную дорогу в жизни, умное, живое и увлекательное повествование мастера о том, что означает для человека труд, призвание, выполнение своего человеческого и гражданского долга.

Родной писецкий край, куда Йозеф Рыбак возвращается снова и снова, чтобы надышаться воздухом своего далекого детства… Первые самостоятельные шаги по жизни, вхождение в литературу… Первая мировая война и невосполнимая утрата — гибель отца… Великая Октябрьская революция и вызванные ею в стране классовые бои, широкий ее отклик в чехословацком искусстве… Бурная, кипучая атмосфера межвоенного периода, когда в острых спорах, борении закладывались и мужали новая

поэзия, проза, театр, кино… Мюнхен… Мрачное время оккупации и незабываемая весна 1945 года…

И все это пронизано ощущением движущейся, неиссякаемой, национальной и интернациональной, духовно-эстетической традиции. В ее, так сказать, эпическом и эмоциональном срезах, в сложении многих индивидуальных творческих биографий и характеров и стремлении служить делу социального переустройства мира; с пониманием творческого труда не как элитарной привилегии, а как труда для всех, окрыленного романтической устремленностью, труда созидательного, претворяющего.

Современный чешский писатель и критик И. Гаек в своей автобиографической книге «Я иду по улице» (1976) обращается к современникам: «Мы не столь стары, чтобы писать мемуары. Но мы уже достаточно зрелы и начинаем размышлять над смыслом жизни, которую прожили, над ее результатами. Мы думаем о тех, кто продолжает приходить на смену нам, кто призван продолжать начатое нами дело… В интересах будущего человечества необходимо, настоятельно необходимо, чтобы то, что мы начали, опираясь на героическую борьбу наших дедов и отцов, было продолжено и завершено. Это отнюдь не тщеславие старших, которые навязывают сыновьям собственные представления о жизни: это неизбежность взаимопонимания между поколением второй мировой войны и поколением начала XXI столетия, которое будет нести ответственность за самые кардинальные вопросы существования».

Йозеф Рыбак старше Гаека. Возможно, он еще острее ощущает внутреннюю потребность поделиться «уроками жизни», воссоздать для молодых поколений картину **закономерного** приобщения нации к коммунистическим идеалам, непрерывность этого процесса приобщения, неразрывную связь литературы с жизнью, революционными традициями. К этому подводила, этого требовала действительность Чехословакии 70-х годов, а также импульсы, исходящие из недр искусства, развивающегося в обществе, которое вступило в стадию более зрелого своего развития, искусства, литературы, обобщающих итоги совместного с ним пути.

Когда-то, совсем маленьким, Йозеф Рыбак услышал от отца, с утра до вечера занятого плетением корзин, сказку о волшебном прутике, в которой бесхитростная мечта народа о счастливой жизни сливалась с его любовью к своему труду: тот обретет счастье, кто найдет заветный прутик. В житейском море тревог, потерь и обретений, в напряженных творческих исканиях и размышлениях, в горниле классовой борьбы рождалось

собственное восприятие писателем сказки о волшебном прутике. Для него она становится воплощением большого, главного понятия — судьбы народной, ее корней, законов ее развития. Но чтобы говорить о своем понимании судьбы народной, о высших принципах человеческой нравственности, да еще с такой простотой и ясностью, какой отличается книга «Волшебный прутик», писатель должен был выстрадать его.

Без такой выстраданной, «личной оптики» (Ю. Фучик) трудно было бы себе представить это произведение. С личностным углом зрения следует связывать известную размытость его жанровых границ, его поэтику, в которой наряду с повествованием писателя о собственной жизни и об эпохе присутствует еще и его творческое «я», прямо определяющее степень насыщения произведения документальным, художественным материалом, степень заострения и страстности авторской мысли, поднимающейся до открытых публицистических выводов. А. Плавка назвал книги своих воспоминаний «Полная чаша» и «Влюбленный в жизнь» «почти романом». Таким «почти романом» является «Волшебный прутик» Рыбака, в котором раскованность формы более всего соответствует свободе авторского самовыражения. Для писателя, говоря словами О. Берггольц, важно не то, «в какой **форме**» воплотится его книга, а «**чем** она будет по главной сути своей». Он твердо знает, «что стержнем ее будет **он сам,** его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания, — и все это неотделимое от жизни народа». (Рыбак цитирует эти слова О. Берггольц в одном из своих эссе.)

Рассказ Йозефа Рыбака о себе — это не что иное, как «сообщение человека человеку» (В. Незвал), откровенное, искреннее, в высшей степени человечное.

Сборник публицистических произведений Й. Рыбака дает возможность советскому читателю участвовать в беседе с автором об искусстве. Здесь нет оговорки. Именно участвовать, собеседовать.

В книгах «Пальцы в чернилах» (1977) и «С пятого на десятое» (1982), фрагменты из которых вошли в настоящий сборник, Йозеф Рыбак выступает как представитель большой литературы социалистической Чехословакии, как один из тех, теперь уже немногих, кто стоял у ее колыбели, чьими усилиями она взрослела и шла вперед, чей опыт продолжает питать и поддерживать ее сегодня.

В его суждениях об искусстве, литературе нет и следа менторского тона, снисходительного отношения, обращается ли

он к широкой аудитории или к своим коллегам-писателям. Это прежде всего диалог — доверительный, душевный, исповедальный, в котором слышится юмор, шутка, иногда ирония, — об очень конкретных, простых и вместе с тем сложных и противоречивых вещах, раздумье над большими и серьезными проблемами искусства, творческого процесса, которые не перестают волновать не только соотечественников Йозефа Рыбака. Это собеседование, в котором ощущается какая-то особая интеллигентность и отзывчивость писателя, его стремление быть предельно объективным в своих оценках, предельно строгим и взыскательным по отношению к себе, что и помогло ему, вместе с другими, поднимать чешскую и словацкую литературу на уровень, обеспечивающий ей передовые, социалистические позиции. Эссе, публицистика, многочисленные публикации о литературе, живописи, музыке, созданные им портреты поэтов, прозаиков являются той же школой, теми же уроками мастерства, в которых раскрывается сущность жизненного, научного и эстетического опыта XX века, давшего его родине, всему человечеству многие новые духовные богатства, но и породившего силы, способные уничтожить их, уже приведшие однажды мир к жестокому кровопролитию. Это школа, в которой приобретаются знания об искусстве острого социального содержания, глубокой философской насыщенности и высокой нравственной требовательности.

Рыбак кровно заинтересован в том, чтобы его собеседник, читатель понял, что́ он отстаивает и против чего борется, во имя чего добивается высокого мастерства формы и совершенной простоты языка. Ему хочется по-своему, по-рыбаковски, сказать, ради чего вообще существуют искусство, литература, творчество, в каких случаях они превращаются в чуткий барометр, способный уловить самые тонкие колебания времени, переживаемого им, его Родиной.

Собственно, разговор о природе социалистического искусства был начат Йозефом Рыбаком еще в довоенные годы. Его выступления в печати 1925—1938 годов о литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, по вопросам культурной политики были собраны уже после войны в книге «Эпоха и искусство» (1961). В них отразился весь темперамент Рыбака-публициста, критика, который в повседневных дискуссиях, столкновениях с буржуазной литературой и эстетикой, продажной бульварной журналистикой отстаивал партийный характер социалистического творчества, его реалистическую направленность, связь с социальным содержанием жизни. Сборник «Эпоха и искусство»

воспринимается как своего рода летопись бурных 20—30-х годов, как дневник. Он создавался человеком, который, по собственному признанию писателя, «в течение долгого времени следил за тем, что происходило в культурной жизни Чехословакии с ее позитивными и негативными тенденциями». Его вел человек, «который в борьбе за социалистическое искусство не стоял на обочине, не взирал равнодушно на эту борьбу».

Этот дневник находит свое логическое и историческое продолжение в книгах «Пальцы в чернилах» и «С пятого на десятое».

Подсчитано, что за шестьдесят лет участия в левой и коммунистической печати Йозеф Рыбак опубликовал около двух тысяч статей, эссе, фельетонов, полемических откликов, рецензий и очерков. В отличие от сборника «Эпоха и искусство» в книгах «Пальцы в чернилах» и «С пятого на десятое» преобладают эссе, литературный портрет. Но это совсем не мешает воспринимать все эти три книги как единый цикл, как триптих, созданный писателем, биография которого неотделима от процесса становления и развития чехословацкой коммунистической печати, является неотъемлемой частью чешского и словацкого искусства социалистического реализма, чехословацкой марксистской эстетики.

«Проза Леонова — это всегда ручная работа и в буквальном, и в более широком смысле этого слова», — отмечал в одном из своих выступлений В. Солоухин. «Я переписываю страницу до тех пор, пока на ней не останется ни одной помарки», — признавался сам Леонид Леонов. Не в этом ли заключается смысл названия книги Рыбака «Пальцы в чернилах»? Его произведения не отстукивались на машинке, писатель никогда не прибегал к помощи диктофона. Пишущая машинка, по его мнению, «мешает ему размышлять». Писать от руки гораздо труднее, но зато рука, считает Рыбак, чутко прислушивается к движениям мысли автора, его фантазии, его раздумьям и возвышенным приемам, его изобретательности и творческим находкам.

Возможно, Рыбак не совсем прав, когда утверждает, что в век стремительного развития техники она, однако, является помехой в процессе творчества. У каждого творца свои «писательские» инструменты. Но у чешского писателя есть и много единомышленников. Мы можем сослаться также на Мариэтту Шагинян, которая до конца дней своих писала тоненькой ручкой со школьным перышком. Процитированные слова Рыбака почти дословно перекликаются с тем, что говорил о своем методе работы Чингиз Айтматов: «Пишу от руки. На машинке у меня не

получается. С ручкой как-то привычнее, лучше думается, слово ближе к тебе и ложится на бумагу плавнее, естественнее… Машинный стук меня отвлекает, нарушает абсолютную тишину, в коей и рождается ничем не испуганное слово».

Профессия писателя — это тоже ремесло. И рассказывая в книге «Пальцы в чернилах» о тайнах писательского ремесла, Рыбак прежде всего говорит о повышенной требовательности творческой личности к своему труду. Понимая писательский труд как «счастливую обреченность», как «источник неизбывного беспокойства», Рыбак указывает на его высокое гражданское назначение, на его обязанность служить народу. «Наша литература, — объясняет он, — в лице лучших ее представителей всегда шла в ногу с народом и от него переняла наиболее ценные качества: глубокий демократизм, любовь к родине, мечты и стремление к справедливости и свободе, ненависть к господам, иезуитству, корыстолюбию, которое не брезгует даже изменой. Таковы национальные традиции нашей литературы, идущие от Тыла и Божены Немцовой к Гавличку и Неруде, от них — к Безручу, а от него до тех наших писателей, которые связали свою судьбу с миром социализма».

Йозеф Рыбак убежденно верит в преобразующую силу слова, в облагораживающее, нравственное и эстетическое воздействие творчества, особенно творчества эпохи социализма. Никакая другая литература, кроме как социалистическая, «крепкими узами связанная с жизнью народа», как он пишет, не могла оказать «такого сильного воздействия и влияния на его воспитание… она стала его опорой и защитой при утверждении и упрочении подлинных ценностей нашей жизни. Она явилась той силой, которая помогала избавляться от пережитков прошлого, от предрассудков и иллюзий, той силой, которая помогала нравственно и идейно вооружать народ».

Литература — это понятие не только эстетического ряда. Это фактор, воспитывающий, формирующий мировоззрение, активную жизненную позицию строителя нового общества. Поэтому Йозеф Рыбак так остро ставит вопрос о верности писателя социально-классовым критериям, не устает развенчивать аполитичность, отвергает поиски истинной духовности и прогресса вне борьбы народных масс за лучшую жизнь.

«Поэт и общество! Поэт и политика! — объединяет Рыбак смысл этих понятий. — …Попытки сделать из поэта только комментатора личных настроений и мелких чувств, пусть и выраженных в самой рафинированной форме, и оградить его от грозного натиска жизни, оградить от бурных событий века

означают начало упадка литературы». Короче, плодотворных результатов своего труда художник может добиться только в том случае, если его творчество, его нравственные достоинства и совесть выверены прогрессивными идеалами общества.

Писатель, который пишет для народа, во имя народа, не может избегать политики. Майерова, С. К. Нейман, Киш, Гашек, Незвал, Ванчура, как не раз подчеркивает Рыбак, всегда были страстными и убежденными пропагандистами и воспитателями в духе социализма, страстными агитаторами за социализм. На примере их деятельности и, добавим от себя, своей собственной творческой биографией Рыбак показывает, что значит быть коммунистическим писателем, репортером, журналистом: «Если мы хотели сохранить чистую совесть и гордость, не дать себя морально подкупить, если мы хотели сохранить честь знамени, остаться верными его кумачовому цвету, то мы не могли идти никаким другим путем».

С годами, а особенно сейчас взаимосвязь литературы и политики становится все более обнаженной, ибо все более обостряется борьба между силами войны и мира. Вот еще отчего так дорога чешскому писателю мысль об интернациональном братстве социалистических литератур, мысль о «мостах поэзии».

Под последним Йозеф Рыбак понимает не только непосредственные творческие контакты с писателями социалистических стран, но и с прогрессивными писателями всего мира. Это еще и «мосты, перекинутые от человека к человеку», то есть не что иное, как выражение человечности, взаимопонимания, уважения к национальным культурам других народов, выражение той степени ответственности за происходящие в мире события, которая требует от творца в первую очередь **правды** о современной эпохе и современном человеке, во всем комплексе их исторических, социально-этических и моральных доминант.

Ответственностью проникнуто каждое слово писателя, пронизаны все стадии творческого процесса. Уже тысячу раз говорилось, замечает Рыбак, что «настоящее искусство… не желает довольствоваться прошлыми приобретениями, заимствовать уже устоявшиеся формы, окаменелые приемы, использовать бездушный эксперимент. Искусственность, пускай сколь угодно «модерная», «современная», убивает искусство. … Смысл искусства в том и состоит, что… оно является частью борьбы за новые социальные идеалы…» Иначе говоря, инерция, застой мешают искусству, литературе нести людям правду о жизни, ощущать «горячие точки» в ее развитии, выражать становящееся все более философским отношение человека к

земле, природе.

Писателю бесконечно дорог жизнеутверждающий пафос литературы социалистического реализма. Она является активной защитницей гуманистических ценностей, несет людям уверенность в завтрашнем дне, наполняет их энергией, вдохновляет на труд. И Рыбак, обращаясь в особенности к молодым поколениям художников, беспокоясь за их творческое благополучие, призывает их развивать в себе способность вслушиваться в ритмы времени, ощущать его в себе, накапливать знания истории, духовной культуры, постигать разноликие взаимосвязи человека, народа, других народов в самых разных плоскостях человеческой жизни. Недаром так запоминается то место из эссе писателя «Когда начинается поэт», где он акцентирует: «Поэт всегда рождается вовремя и словно по зову времени, и все, чем он станет в будущем, в этот момент уже заложено в нем… Каждое стихотворение настоящего поэта и каждая его книга — это часть добытого мира, выражение чего-то нового. Поэт не повторяется и не повторяет ничего из того, что было написано им или его предшественниками. Он никогда не бывает настолько профессионально зрелым, чтобы перестать учиться снова и снова…»

Настоящий поэт всегда самобытен, его творчество не укладывается в рамки рецептурного подхода к жизни, натуралистического ее воспроизведения, всегда отличается узнаваемым, только ему присущим образным строем, манерой, жестами, интонациями. Однако решающими являются вовсе не формальные достижения, во многом подверженные влиянию моды, а живая художническая мысль, открытая партийность и идейность художника.

Этим не перечеркивается жизнеспособность предшествующего искусства, не исключается право на существование разных стилевых направлений, изобразительных средств. Просто подлинное вдохновение, озарение, новаторство всегда связаны с поисками самостоятельного пути, чему художник учится всю свою жизнь. Только на этом пути он может создать свою Главную книгу, в том смысле, как об этом писала Ольга Берггольц в «Дневных звездах».

Надо сказать, что Йозеф Рыбак вообще очень хорошо знает не только русскую классическую литературу, но и литературу советскую, в ее истоках и развитии, что тоже нашло отражение в его публицистике. Первые его встречи с советскими поэтами и прозаиками относятся еще к довоенному времени, когда в буржуазной Чехословакии побывали Маяковский и Есенин, Корнейчук и Фадеев, Эренбург и А. Толстой. Но особенно

интенсивными становятся связи между чехословацкой и советской литературой, писателями наших стран после 1945 года. Во многом этому способствовала и деятельность Йозефа Рыбака.

О мастерстве Рыбака, автора очерков-портретов, литературных портретов, можно судить по книге «С пятого на десятое». В них тоже четко обозначены качественные признаки творчества этого писателя, его открытость навстречу собеседнику, жажда передать ему по наследству то святое, что принадлежит его памяти.

Еще раньше им была написана «книга о поэтах и творческих личностях», символический смысл которой вынесен в ее название — «С орлиными крыльями» (1954). В 1973 году Рыбак создает очерк-портрет национального героя Чехословакии Ю. Фучика — «Сказание о Юлиусе Фучике». И снова писатель обращается к своей памяти в книге «С пятого на десятое», чтобы, выполняя свой человеческий и патриотический долг, еще и еще раз соединить своих современников с теми, кто умел «возвыситься мыслью над буднями», постичь грандиозность вызванных Октябрьской революцией исторических процессов, умел заглянуть в будущее, созидать себя и других.

Книгу «С пятого на десятое» действительно можно читать, начиная с любых ее глав-портретов (в настоящий сборник включены литературные портреты чешских и словацких поэтов и прозаиков), чем и оправдывается ее заглавие. Однако это не означает, что она распадается на эти отдельные главы, части. Они объединены все той же, проходящей через все творчество Рыбака мыслью о необходимости исторического взгляда на прошлое и настоящее, его стремлением включить в современный литературный процесс традиции, сильные высшим проявлением человеческого духа. В портретах выражаются представления писателя о национальном характере, о человеке в горьковском его понимании. Их содержание направлено против всего, что несет на себе печать духовной индифферентности, разрушения личности, печать антиисторизма.

Те, о ком пишет Рыбак-портретист, увидены зорким, добрым, чутким глазом художника и предстают в их человеческом и творческом своеобразии. Но здесь хотелось бы отметить и другой момент, указывающий на особенности архитектоники рыбаковских литературных портретов. В них остается чувство восхищения людьми, с которыми он жил, боролся, творил. Но теперь писателем владеет еще и радость творческого воссоздания их образов. Эти люди стали частью его духовного мира, их образы овеяны глубоко личным его отношением. Однако Йозеф Рыбак не

случайно обращается к форме литературного портрета, разрастающегося до размеров целых глав, даже целой книги («Сказание о Юлиусе Фучике»). Он хочет еще резче, острее прочертить идею о необходимости бескомпромиссной борьбы против девальвации социальной, политической, гражданской, творческой активности художника, искусства, культуры в целом. В литературных портретах Рыбака заложен необычайной силы заряд: они призваны не только поддерживать, укреплять национально-историческую память, но и показать, «каким может, каким должен быть человек».

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов о Йозефе Рыбаке как талантливом художнике-графике, блестящем иллюстраторе собственных книг.

На первый взгляд его рисунки могут показаться предельно простыми, чересчур скупыми и лаконичными. И все-таки посредством вот таких простых, незамысловатых линий он создает в «Волшебном прутике» портрет своей матери, в котором столько теплоты, добра, света, нежности, спокойного и одновременно горделивого сознания своего материнства. Или дружеские шаржи, портреты С. К. Неймана, В. Незвала, Л. Новомеского, К. Чапека, Э. Э. Киша: в них не только схвачены чисто внешние индивидуальные приметы, а присутствует всегда и еще что-то человечески живое, связанное с интеллектуальным миром портретируемого.

Лиричны, проникнуты настроением рыбаковские пейзажи, как правило, полные воздуха, свежести, движения. Эмоциональный настрой и объемность отличают и зарисовки Рыбака, изображающие городской пейзаж, городские улицы, кварталы, архитектурные ансамбли. Остры, шутливы его карикатуры.

И все это характеризуется выразительностью найденного образа.

Остается только добавить, что Рыбак был одним из зачинателей художественного оформления книг в довоенной Чехословакии, одним из авторов нового оформительского приема — фотомонтажа. Он, в частности, был использован при изготовлении обложки для всемирно известной книги Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир», изданной в Словакии в 1926 году.

Поэт Иван Скала в письме по случаю восьмидесятилетия Рыбака, опубликованном в «Руде право» (27 апреля 1984 года), писал: «Дорогой Йозеф Рыбак, товарищ и друг, я вспоминаю нашу совместную поездку по Советскому Союзу в 1957 году. С группой

писателей мы посетили Одессу, Ленинград, Сталинград и Москву. Одесса — город первого революционного сигнала на броненосце «Потемкин» в 1905 году. Ленинград — место действия величайшей в истории человечества революции. Сталинград — с именем этого города связан перелом во второй мировой войне, а значит, и в судьбах всех людей земного шара. И Москва, которая на протяжении десятилетий остается символом и гарантом мира на земле, мира социализма.

Я вспоминаю об этих поездках в день Твоего восьмидесятилетия, ибо по этим вехам проходят и пути Твоей жизни. Ими обозначено направление Твоих жизненных усилий и их основополагающий, высокий смысл. Люди могут жить и трудиться ради больших и малых целей: тем самым в итоге определяется значимость их жизней. И точно так же ценность и значимость Твоей жизни определяется целью, на которой Ты сосредоточил все свое внимание, которой подчинил всю свою деятельность — общими усилиями преобразовывать мир в счастливый очаг мирных и деятельных тружеников».

Поистине время является главным героем творчества Йозефа Рыбака, благодаря чему во всех его книгах обнаруживается теснейшая связь между прошлым, настоящим и будущим, предельно обнажается авторская позиция, авторские мысли и чувства, одновременно глубоко личные, сокровенные, но и общечеловеческие, выраженные в художественной и публицистической ипостасях.

*Р. Филипчикова*

# ИЗ КНИГИ «ВОЛШЕБНЫЙ ПРУТИК»

*…Спасибо пламени, что зажигало кровь…*

*Йозеф Гора{1}*

Весь апрель лили дожди.

Короткие и холодные, они словно омыли город. Но дороги покрылись весенней слякотью. Город со всех сторон окружали леса. С виду спокойный и тихий, он уже дышал воздухом нового столетия. Оно возвещало о себе смелыми открытиями и изобретениями. Строились новые железные дороги и фабрики, совершенствовалось производство, открывались новые банки. Мало кто из местных жителей видел собственными глазами воздушный шар, а братья Райт уже мечтали о летательном аппарате тяжелее воздуха. Казалось, мир неотступно движется по пути прогресса.

Но люди помнили и о другом — о кровавых расправах Кавеньяка во время июньского восстания 1848 года в Париже, о Парижской коммуне, о знаменитом чикагском «кровавом воскресенье», о первомайской демонстрации 1891 года в Праге{2}.

Жизнь становилась сложнее.

Зимой все казалось еще более мрачным. Но вот дни стали длиннее, тучи постепенно рассеивались, а в просветах между ними временами проглядывало, словно умытое, солнышко.

Ранняя весна была прекрасна. Земля пробудилась, реки очистились от льда, широко разлившиеся полые воды неслись поверх плотин, старушки продавали на улицах букетики первых подснежников.

Дождливый апрель отступал нехотя.

На площади кучера накрывали лошадей тяжелыми мохнатыми попонами и с брюзжанием забирались в фиакры. Дождь лил несколько суток. Лошади стояли понуро и время от времени фыркали. Торопливо бежали по улицам пешеходы. Дамы изящно перешагивали лужи, до щиколоток приподнимая длинные широкие юбки. Все как-то по привычке жаловались на насморк. А дети с радостными криками выбегали из окрестных домов, босиком носились по лужам, сооружали запруды.

Когда дожди кончились, во дворах появились нищие бродяги, точильщики, гадалки, которые по руке предсказывали судьбу.

Бойко и дерзко чирикали воробьи.

На чердаке, в дровах и стружках, оставшихся после работы, в ворохе ивовых прутьев, заготовленных отцом, шуршали мыши.

Матушка не раз вспоминала, что первое мая 1904 года было воскресенье. В этот день отцу пришлось бежать на другой конец города, за реку, чтобы привести повивальную бабку — пани Тршискову.

В заречной части города находилась больница, богадельня, кладбище при костеле «У святой Троицы», Дратовская мельница и казармы. К самой воде спускались низкие дворы, из которых по утрам выгоняли на пастбище коров. На окраине города стоял трактир под названием «На винограднике». В воскресенье сюда парами приходили служанки, подмастерья играли там в кегли, а солдаты второго пехотного полка мерились силой с ополченцами и коренастыми конюхами из военных казарм.

Итак, первое мая 1904 года было воскресенье. Особое воскресенье. Не похожее на другие. Не такое, как обычные воскресные дни в нашем городе и в других городах, во всем мире. Это было Первое мая, праздник трудящихся.

Город изменился до неузнаваемости. В воздухе словно нависло грозное ожидание. В этот день господа отсиживались по домам, а торговцы готовы были закрыть свои лавки, если б дело дошло до беспорядков. Из-за кружевных занавесок испуганно, хотя и не без любопытства, выглядывали господские дочки. Они хотели увидеть настоящих социалистов…

Социалисты собирались около нашего дома. Как раз напротив находился трактир под названием «Университет», во всей округе его называли также «Рабочим домом». На головах у мужчин были черные широкополые шляпы, в петлицах пиджаков алели гвоздики. По большей части сюда ходили подмастерья из сапожных и портняжных мастерских, рабочие небольших местных заводов. И женщины с табачной фабрики.

Участники майской демонстрации выглядели торжественно и строго, словно понимали, что за ними — будущее мира.

Симпатии отца были всецело на их стороне. Но в этот день ему пришлось заниматься совсем другим, и простительно, что он не замечал происходившего на улицах.

Вскоре после того, как он вернулся, а следом прибежала пани Тршискова, когда на улице запели: «Над миром знамя наше реет», тут вот и появился на свет я. В комнате запахло фенхелем и ромашкой, как и два года назад, когда родился мой брат. В честь отца его назвали Эдуардом.

Потом в нашем доме каждые два года наступал момент, когда пахло ромашкой, и ее слабый запах смешивался с горьковатым

запахом ивовых прутьев — связанные снопами, они лежали во дворе прямо против наших дверей.

Первого мая матушка обычно открывала окна в шестом часу утра, и было слышно, как там, наверху, на галерее башни городского собора, на высоте семидесяти метров, играла капелла пана Шимы, и звуки музыки разносились во все стороны.

Начинался новый век. Однако жизнь сохраняла еще немало примет уходящего столетия. Старое нехотя сдавало свои позиции. Новое пробивало себе дорогу тяжело и трудно.

Украшением города были тогда еще солдаты. Они носили усы, одевались в синие и зеленые мундиры, серые и красные рейтузы, ходили со штыками и с саблями на боку, в петлицах у них красовались обозначения рода войск.

Быть солдатом казалось прекрасным. Но время от времени солдат одевали в полевую форму, и они начинали думать о сражениях, о запахе крови и порохового дыма.

В начале мая 1904 года в мире не происходило никаких особых событий. Неспокойно было лишь на Дальнем Востоке, где бушевал пожар русско-японской войны. Злосчастная война, имевшая для России печальный исход. Простой народ не хотел воевать. Кому нужны войны? Ведь не простому люду. Их затевали жаждущие славы правители, честолюбивые дипломаты и военнопромышленники. А русская военная машина к тому же была неповоротливой и прогнившей. Тем не менее всемогущий царь воображал, будто Япония получит хороший урок.

Уже в конце апреля России был нанесен первый серьезный удар. Флагман броненосец «Петропавловск» наскочил на японскую мину и взлетел на воздух. Погибла почти вся команда. В том числе адмирал Макаров, командовавший русскими морскими силами. И это была не последняя катастрофа. В этой злополучной войне России суждено было до дна испить горькую чашу поражения. Гибли солдаты, сменялись генералы. На арене военных действий появлялись новые имена. Кондратенко, генерал Стессель, адмирал Рожественский и японские адмиралы — Того и Камимура. Карикатуры на низкорослых японцев не сходили со страниц газет.

В России расстояния измерялись тогда не километрами, а верстами. Русско-японская война была удалена от нас на тысячи и тысячи верст. Однако отзвуки ее долетали и до нас. О ней говорили так, словно бои шли где-то рядом. Газетчики радовались, что есть о чем писать.

Люди любят читать про войну, особенно если она не касается их. В пивных рекой текло пиво, и за стойками только и говорили что о войне. И еще пели:

Из Порт-Артура едет фура,
на ней япошка Камимура.

«Камимура» звучало как ругательство.

Русские были храбрыми солдатами, но фортуна была на стороне японцев. Во всем мире их считали этакими примитивными азиатами, которые понятия не имеют о цивилизации. Но они кое-чему научились у Европы. Японцы вдруг оказались до зубов вооруженными самым современным оружием. Мир не переставал удивляться, глядя на них. Японцы имели первоклассный флот. То была уже не старая Япония, страна гейш, самураев и сказочно красивой Фудзиямы. Под Цусимой японцы уничтожили почти все русские военные корабли.

Поражение России стало неизбежным.

Проигранная война тяжким бременем легла на плечи народа, и трон царя Николая зашатался. Людей охватил гнев. В Петербурге — забастовки и демонстрации. Рабочие посылают царю петиции. Царь приказывает стрелять в рабочих. Волнения усиливаются. На Черном море восстает броненосец «Потемкин». Основы империи потрясла первая русская революция.

А я в это время почти целыми днями спал в плетеной зыбке, которую смастерил для меня отец, и ведать не ведал ни о войнах, ни о поражениях, ни о дипломатических нотах и международных распрях, ни об оккупированных землях, ни о стали, нефти и угле, ни о морских проливах, конференциях великих держав, ни о заботах простых людей.

На этот раз война обошла нас стороной. Австрия казалась настроенной миролюбиво. Только в Боснии было неспокойно, но об этом до поры до времени умалчивалось. Приветливый лик нового столетия еще светился широкой перламутровой улыбкой. Праздновало свои триумфальные победы электричество, огнями дуговых ламп Кршижика{3} сияли города, устраивались благотворительные балы. Городская знать обменивалась визитами и новостями, развлекалась музыкой и литературой, отдыхала за кофе. Девицы на выданье брали уроки поварского искусства, учились вышивать и играть на фортепиано. Австрийские офицерики затягивались в корсеты. Простолюдины проводили время в трактирах, говели после больших праздников и симпатизировали русской революции.

У наших хозяев стал часто бывать молодой поэт Ян Рокита, писавший стихи о русских событиях. Его настоящее имя было Адольф Черный{4}. Он любил Россию и знаменовавшую

наступление новых времен мятежность русского народа. Идея славянской взаимности и православный миф Достоевского о мессианском назначении русской нации рисовали перед его взором будущее, когда славянские народы, включая лужицких сербов, будут свободными и сообща пойдут по пути подлинного прогресса и расцвета культуры. Слово «свобода» звучало опьяняюще и зажигало сердца миллионов. Но старый мир еще далеко не отжил свой век. На западе Англия и Франция заключали сделки, спешили поживиться за чужой счет. Англия предоставила Франции свободу действий в Алжире. Франция в свою очередь обещала англичанам не препятствовать оккупации Египта.

Дом, где я родился, принадлежал семье Райнеров, дружившей с поэтом Адольфом Гейдуком{5}, а позднее с поэтом Яном Рокитой и художником Павлом Янсой{6}. Сестра нашего домовладельца Франтишека Райнера, управляющего городским хозяйством, была женой Гейдука, а дочери Райнера вышли замуж одна за Рокиту, другая за Янсу. Моя матушка прожила у Райнеров в прислугах добрых десять лет — она пришла в Писек пятнадцатилетней девочкой. Когда мои родители поженились, хозяева отвели им две каморки в углу двора. Одну темную, другую с двумя небольшими оконцами — здесь матушка стряпала, а отец занимался своим ремеслом. Сразу перед окнами располагались дровяники и сараи, забитые старым хламом.

Порой матушка любила поделиться воспоминаниями, тогда она рассказывала нам о родителях и о своей молодости.

Рассказывать она умела просто и интересно. И мы готовы были слушать ее с утра до вечера.

— Так вот, послушайте, — начинала она. — Мой отец, Ян Адамек, родом из Клоук, из крестьянской семьи. У его родителей было хорошо налаженное хозяйство. Но ему, младшему из сыновей, надела не полагалось, и он пошел в батраки к хозяину из Кршештёвиц. Там и познакомился он с моей матушкой, Марией Грубцовой из Смолча. Матушкины братья были сельскими ремесленниками, плотниками, пекарями, пивоварами. Один из них, беспечный пивовар, на свой страх и риск отправился странствовать по свету и осел в России, где-то под Черниговом. Поначалу он изредка посылал матери письма, а потом словно сквозь землю провалился. Должно быть, женился там. Нас было четверо, два мальчика и две девочки, Гонзик, Йозеф, я и Анна. Я очень любила ходить в школу и знала наизусть много разных стишков, так что пан учитель Гавлик жаловал меня. А вот нашей Анне ученье не очень-то давалось. Матушка послала ее в город искать место служанки, а меня хотела сделать швеей. После

школы я училась шитью, ходила в Альбрехтице, а это, скажу я вам, порядочное расстояние. Два часа пешком спозаранку туда и два часа вечером обратно. Зимой выходишь затемно и возвращаешься — опять темень. Ну, ничего не поделаешь. Я была бойкая, шустрая, на ногу скорая, а все-таки уставала от такой дороги. Спустя год, когда я кое-чему выучилась, матушка устроила меня к пани Кошатковой, хозяйке корчмы, что напротив «Шпейхара». Там я училась готовить и обслуживала посетителей. Крестьяне не очень любили заходить в трактир. Крестьянин трясется над каждым пятаком, а за крейцер готов удавиться. Зато в корчму заглядывали пан приходский священник, пан старший учитель, почтмейстер, участковый жандарм, а также простые люди, те, что служили у господ и работали в лесу. Пани Кошаткова была вдовой, так что все хозяйство вели мы сами. Мне было пятнадцать лет, ей пятьдесят. И никто никогда не посмел обидеть нас. Это просто никому и в голову не пришло бы. Я, наверное, там и осталась бы, да наша Анна, жившая в прислугах в городе, заболела. Пришлось ей даже лечь в больницу. И матушка настояла, чтобы я пошла на ее место в семью мясника Тршештика. Да, жилось мне там сытно. Мяса я могла есть, сколько душе угодно. За всю жизнь я не съела столько колбасы и сосисок, как в ту пору. Зато мне все время приходилось стирать запачканные кровью фартуки. Только и видела я что кровь. Прямо мутило. Прежде, когда матушка резала курицу, я всегда, бывало, убегала из дому. Еще маленькой я не могла этого выносить. Я подыскала себе другое место, тоже у торговца, по имени Дртин. Он держал бакалейную лавку недалеко от Малой площади. Чего там только не продавалось! Мука и керосин, молоко и спирт, кофе и щетки, повидло и кислая капуста. А сахар продавали целыми головами или кололи. Ученики должны были уметь свертывать кульки, упаковывать шафран, растирать мак и молоть перец и все время что-то складывали и приводили в порядок. Беда тому, кто хотя бы на минуту замешкается, стоя за прилавком. Мне тоже иногда приходилось помогать в лавке. От Дртина я ушла потом к Райнерам и прожила у них целых десять лет. У них я не чувствовала себя просто служанкой. Я словно бы поднялась на ступеньку выше — ведь семья Райнеров принадлежала к числу лучших в городе. Не то чтобы они были богачами. Кроме большого дома, у них ничего не было. Зато Райнеры играли важную роль в культурной жизни Писека. Поэтому все уважали их. Пан Райнер был добрый и достойный человек. Первая его жена умерла и оставила ему троих детей — сына по имени Франтишек и двух девочек. От второй жены детей у него не было.

Матушка еще много лет спустя не раз вспоминала общество, которое собиралось у Райнеров. Сюда приходили супруги Гейдуки и Янсы, поэты Ян Рокита и Антонин Клаштерский{7}, местный литератор Шебек (Ариэтто){8}. Иногда заходила Ольга — дочь писателя Якуба Арбеса{9}.

— Все это были художники, поэты, оперные певцы или музыканты, — говорила матушка, наморщив лоб. — Я уж и не знаю, кто еще. Хозяин любил общество, любил потчевать гостей и устраивать всякие забавы. На это он был большой мастер. По службе ведал он городским хозяйством, лесными угодьями, экономиями и прудами. Когда осенью спускали пруды и вылавливали рыбу, у нас не переводились щуки и карпы. А потом начинался сезон охоты, мы запекали зайцев и куропаток, готовили мясо серны, которое подается чуть-чуть сырым. У пани Кошатковой я научилась готовить разные вкусные кушанья, но только здесь, у Райнеров, прошла настоящую школу поварского искусства. Я не хвастаюсь, — улыбнулась матушка. — Будь у нас деньги, я бы вам показала, что я за кухарка.

Об Адольфе Черном и его жене Божене матушка рассказывала особенно часто. Она не видела их уже добрых тридцать лет. И вдруг однажды — это случилось в мрачные годы фашистской оккупации — к нам зашла пожилая дама в сопровождении седоусого старца в темных очках и представилась: «Мы — Рокиты». Они, мол, приехали на несколько дней в Писек. И когда узнали, что мама жива, решили проведать ее и вспомнить годы своей молодости.

В ту пору пан Черный был уже старым и больным человеком. Он плохо слышал, разговаривать с ним было трудно. По большей части он молчал или смотрел на нас страдальческим и задумчивым взглядом, в котором таились печаль и тревога. Благородное лицо пани Божены тоже осунулось под бременем забот. Она страшилась за судьбу мужа, которого немцы не арестовали по чистой случайности. Для ареста у них было немало причин. Ведь Адольфа Черного все знали как неустанного поборника идеи славянской дружбы, одного из самых активных защитников лужицких сербов и страстного борца за их права.

В недолгие часы встречи словно что-то спало с плеч нашей матушки. Стало легче на сердце и у пани Божены. Они будто вернулись в былые времена, на несколько десятилетий назад, и мир наполнился для них покоем, стал таким, каким они знали его в годы молодости. Божена Черная вспомнила, как матушка носила ей записочки от Яна Рокиты, который жил вместе с Клаштерским в доме «У золотого колеса», как помогала им устраивать свидания, прибегая к различным невинным уловкам,

так как старая пани Райнерова, мачеха Божены, ни за что не позволила бы, чтобы девушка из хорошей семьи встречалась с молодым человеком без присмотра родителей. А матушка в свою очередь спросила пани Божену, помнит ли она стихи из сборника Рокиты «Лилии из Твоих садов», которые когда-то знала наизусть.

Многие из них уже стерлись в памяти Божены. Ведь это было так давно. Но пан Черный не преминул упрекнуть ее в этом, когда в следующий раз принес книгу стихов «Любовь» — в нее вошли и стихи из того, первого его сборника. Он принес тогда и еще три книжки: «Я видел душу женщины», «Лесная сказка» и «Зимняя сказка». Нам он подарил четвертый том своих сочинений, который назывался «Революция». В него вошли стихи, написанные им под впечатлением первой русской революции 1905 года:

Гул под землей нарастает глубинный,
землю колеблет раскатистый гром.
Чудится, что через взгорья, равнины
к далям распахнутым, за окоём
тысячи диких коней пролетают…[3]

Я не знаю, кто из наших поэтов, кроме Яна Рокиты, в те годы так живо и непосредственно откликнулся на события в России:

Идущим толпам — ни конца, ни края,
их не сдержать, им вешний слышен зов.
Как будто это реки, лед ломая,
выходят с ревом волн из берегов[4].

Напомню еще заключительные стихи из поэмы «10 октября 1905»:

Лица шагающих закаменели.
Толпы идут, в их молчанье — гроза,
пальцы — в кулак, и к намеченной цели
строгие устремлены глаза.

Это безмолвие силою ярой
жарче огня и морозов грозней.
Видите? — Мир отметается старый
красными стягами завтрашних дней[5].

Со стороны Нерудовой улицы от дома тянулась высокая и

длинная стена, за нею — сад и довольно просторный, вымощенный камнем квадратный двор. Во дворе стояла колонка, из которой брали воду, росли два дерева грецкого ореха, а к задней стене дома, окаймленной длинным грязно-желтым балконом, лепилось множество пристроек с квартирами, сдававшимися внаем.

В воскресные дни по улице с утра тянулись вереницы жителей близлежащих деревень. Сначала они отправлялись в костел, а потом за покупками в лавки. Путь их лежал мимо нашего дома, и отец, встав пораньше, всегда выстраивал во дворе высокие пирамиды разных плетеных корзин и кошелок и настежь распахивал огромные ворота. Во дворе становилось оживленно, как на ярмарке. Крестьянки и крестьяне останавливались, заходили во двор, присматривались к товару, и уж тут-то отец пускал в ход все свое умение, чтобы они выбрали хоть что-нибудь. Надо было обладать ловкостью и терпением — ведь иногда из-за нескольких крейцеров торг длился чуть ли не четверть часа.

Квартиранты в доме постоянно менялись. Пожалуй, только наша семья оставалась в нем до тех пор, пока Райнер не продал его Яришу, богатому владельцу фабрики готового платья; Яриш тотчас отказал нам в квартире.

Дом был по-своему привлекателен, в разное время года по-разному. Летом в саду созревали тяжелые маслянистые груши. И когда иная падала близ забора, так что ее удавалось подцепить палкой, — то-то было удовольствие съесть такую вкусную, сочную и ароматную грушу!

Зимой дом выглядел как в сказке. Кругом него деревья в инее, колонка замерзала, и с крана свисали искрившиеся на солнце сосульки. Во дворе можно было и кататься на санках, и лепить снежных баб. Запыхавшиеся и раскрасневшиеся, мы врывались в комнаты, где нас обдавало приятным теплом. Впрочем, у нас не слишком-то топили, чтобы не пересыхали прутья, которые отцу приходилось постоянно смачивать водой. Высыхая, они плохо гнулись и ломались. Проголодавшись, мы чувствовали себя на верху блаженства, когда мать отрезала каждому из нас по большому куску хлеба. Тогда уже не оставалось желать ничего другого, кроме глотка воды.

Не менее чудесными были и зимние улицы. Повсюду лежал чистый снег. Сани легко скользили, весело звенели бубенчики на дугах у лошадей. На площади тепло укутанные торговки жарили каштаны в маленьких жаровнях. Пара каштанов стоила крейцер. Они приятно согревали руки, а то и обжигали. Тогда их приходилось перекидывать с ладони на ладонь. Но ради горячего лакомства можно было вытерпеть и не такое.

Зимой рано смеркалось. Но постепенно дни становились длиннее. Зима уходила, и в один прекрасный день мать, вернувшись со двора, сказала:

— А вы небось и не заметили — скворцы прилетели!

Наступала пора новых игр: мы запускали юлу, катали шарики. Ну а если у кого-то заводился оловянный шарик, то это становилось предметом всеобщей зависти. Весной в саду у Райнеров все цвело. Сначала зацветали груши, потом яблони. Мы рано начинали бегать босиком, часто ходили на речку.

Осенью во дворе завывал ветер и, налетая вихрем, срывал с деревьев орехи. Они разбивались о мостовую, мы собирали их.

Круглый год во дворе толкался всякий бродячий люд. Заходили странники, точильщики, музыканты, лоточники, мелкие воришки, цыганки-гадалки, а также сезонные рабочие, кочевавшие по городам и деревням в поисках работы и умевшие рассказывать занятные истории.

В ту пору много говорили о комете Галлея, о затмении Солнца и гибели «Титаника», наскочившего на огромную льдину и потонувшего всего за какой-нибудь час, о музыкантах, которые играли до тех пор, пока над гибнувшим кораблем не сомкнулись волны.

Тогда же во дворе объявился какой-то человек, утверждавший, что в 1917 году наступит конец света.

Мысль об этом не давала мне покоя ни днем ни ночью. Я даже спать перестал. И живо представлял себе, как однажды буду идти по улице, например возвращаясь из школы, и вдруг ни с того ни с сего по небу начнут летать ангелы и трубить в длинные пастушьи трубы, а мы внизу, на земле, начнем расходиться направо и налево, как об этом сказано в Священном писании, и мне уже не надо будет готовить домашние уроки на завтра. На одной стороне останутся грешники, на другой — праведники. И все мы с нетерпением будем ждать, что же произойдет дальше. А что произойдет дальше, я не мог себе представить — для этого мне явно не хватало фантазии.

Ничто не сравнится с детской наблюдательностью. Все, что было в детстве, я помню как сейчас. Я помню приятные и дурные запахи, краски и звуки, голоса и лица людей, с которыми приходилось встречаться.

Я помню едкий запах серы. Отец жег ее в старом баке, над которым ставил корзины и корзиночки, плотно укрывая их сверху парусиной, чтобы серный дым выбелил их до цвета слоновой кости. Мне помнится чистый и прохладный запах свежевымытого пола. По субботам мать скребла его щеткой, а мы бегали по нему босыми ногами. До сих пор сохранился в моей памяти запах

сухой пакли и морской травы, с которыми возился во дворе обивщик пан Мразек. Я помню самые различные запахи цветов, аромат вянущих листьев, запах дымящей печки, когда ее никак не удавалось растопить. Помню запахи военных шинелей, сладкий аромат мельниц и душистых трав. Помню рассветы и лучи утреннего солнца, пробивающиеся сквозь молодую поросль и ветки деревьев. Отчетливо вижу бледно-синеватый свет и странные лица людей, наблюдавших затмение Луны. Мне хорошо запомнилось жутковатое поскрипывание мебели, когда я оставался дома один, тихое шуршание мышей, а еще вкус овса, щавеля и ежевичного чая. До сих пор я вспоминаю горьковато-приторный вкус кукурузного хлеба, который мы ели в годы первой мировой войны.

Мне живо вспоминаются лица людей, приходивших к отцу, чтобы купить плетеный сундучок или корзину.

Очень хорошо помню я и тетушку из Вены.

Она приезжала к нам с дочкой каждый год, всегда в конце июня, в канун праздника Петра и Павла. Обычно отец уже поджидал ее к этому времени, и она никогда не обманывала его. Это была тетка нашего отца по материнской линии. Она ездила в Писек за какой-то рентой, которую ей выплачивал местный банк. С ее приездом в нашу жизнь всегда врывалось что-то из большого мира, о котором мы, дети, и понятия не имели.

Начинались бесконечные разговоры о том, что раньше в Вене чехов было больше, чем немцев, что каждая венская служанка родом, мол, из Чехии, да и сапожники, столяры, часовщики, слесари, портные тоже все чехи. Бабушка, мать нашего отца, тоже была служанкой в Вене. Там он и родился. Только венцем так и не стал. Зато тетушка была настоящая венка и по платью, и по манерам. Да и по-чешски она говорила уже нечисто. В ее речи то и дело проскальзывали немецкие словечки и выражения. Она ведь прожила в Вене тридцать лет.

Вечером отец и тетя долго говорили о Вене, о знаменитых парках Пратер и Шенбрунн, об Отакринге, рассказывали, как застрелился наследный принц Рудольф, а также о том, что старый император недоволен Францем Фердинандом д'Эсте и что однажды какой-то рабочий забрался на башню собора святого Стефана и повесил там флаг. Говорили, что Вена меняется, что туда все больше приезжает чехов, жизнь дорожает и простому народу приходится туго. Отец несколько лет работал наемным рабочим в Вене. Он любил вспоминать о своих друзьях и товарищах, о том, как жилось ему там в подмастерьях, перечислял названия знакомых улиц, вспоминал пивные и трактиры и развеселую венскую жизнь.

У нас уже давно слипались глаза, но мы не хотели идти спать, чтобы не пропустить ни одного слова из разговоров взрослых. А тетя все сидела и сидела, и рассказам не было конца.

У нас гостила не только тетя из Вены. Правда, у отца, кроме нее и ее дочки, родственников никого не осталось, зато у матери было столько дядьев и теток, двоюродных братьев и сестер, что и не перечесть. Словно маковые зернышки, рассеялись они по всему писецкому краю, жили в Клоуках, Егнедле, в Тршешни, в Вршовицах, в Смолче и в Тыне, по берегам Отавы и Влтавы и бог ведает где еще. И все это были кузнецы да плотники, передававшие секрет своего ремесла из поколения в поколение.

Дядья были высокие, черноволосые, смуглые, словно цыгане. Повсюду их знали как отличных музыкантов. Ни одна свадьба, похороны, ни одна вечеринка не обходилась без их скрипок, кларнетов и корнетов, труб и контрабасов. Они обжигали кирпич и валили лес, тесали шпалы, прокладывали дороги, возводили дамбы, ездили по свету строить мосты или играть в цирковых оркестрах.

Тетушки были голубоглазые, стройные, светловолосые, хлопотливые, веселые и добросовестные во всем, за что ни брались. Если дядья были, пожалуй, легкомысленными, немного ветреными, то тетушки заправляли хозяйством и воспитывали в детях чувство долга. Наша мать больше всех любила тетку из Вршовиц и кршештёвицких Тоничку и Анинку. Они служили в прислугах в Праге и всякий раз останавливались у нас, когда ездили раз в году навестить своих родных. И по их внешнему виду можно было сказать, что живут они в большом городе. Тетушки держались совсем не так, как сельские люди, умели интересно рассказывать и носили модные шляпки. Правда, чтобы не вызвать чьего-нибудь осуждения, они оставляли шляпки у нас и отправлялись в деревню, повязав голову платком.

Я вспоминаю дедушку и бабушку Адамековых, родителей нашей матери. У них в Кршештёвице был маленький домик под соломенной крышей, напротив деревенской школы. Рядом находился небольшой пруд, и когда мы гостили у бабушки, то гоняли к нему гусей и бродили по колено в грязной воде, в которой плавал гусиный и утиный пух.

Семейные выезды в Кршештёвице были для нас целым событием. Мы всегда с нетерпением ждали встречи с бабушкой, которая нас очень любила. Кроме того, поездка в родную деревню матери всегда сопровождалась множеством удивительных впечатлений. Помню, брата, меня и сестру, совсем еще маленьких, матушка усаживала в коляску, и отец вез нас по дороге вверх, к Живцу, где был чудесный лес и гостиница «У

Мерглов» — там продавали пиво и лимонад. Этот лес казался нам бескрайним. От матушки мы слышали, что добраться до опушки можно только через страшную чащобу, а оттуда уже начиналась извилистая и каменистая полевая дорога на Клоуки. Кршештёвице встречали нас звоном, доносившимся с белой колоколенки костела святого Яна, и большой липовой аллеей, которую было видно еще издали.

Мы ездили в Кршештёвице несколько раз в год. Когда мне было пять лет, я вместе со старшим братом семенил уже рядом с коляской, в которой везли новое прибавление нашего семейства. Больше всего мы любили ездить в Кршештёвице на Гавлов день. Бабушка пекла к празднику пироги и ватрушки — ими были полны плетенки, а отец раскошеливался и широким жестом расплачивался за пиво, которое то и дело приносили в наполненных до краев кувшинах, а поближе к вечеру приглашал к танцу всех сельских кумушек.

Позже я не раз проводил в Кршештёвице летние месяцы. Когда я возвращался домой, матушка не узнавала меня, настолько я превращался в деревенского мальчишку. Я принимал участие во всех работах, какие только случались в летнюю пору в деревне: помогал жать хлеб, возить снопы на гумно, пособлял при обмолоте и ездил на нижнюю Липовскую мельницу, пас гусей на жнивье, лазил в закрома, бродил с мальчишками у Большого пруда близ Влтавы. Словом, все, чем живет деревенский подросток, не миновало и меня.

А вечером, когда вся работа была уже сделана и в бабушкину горницу набивались дядья, вот было здорово! Столько случаев и историй тут рассказывали! Рассказывали, например, о жандарме, что хотел арестовать цыгана, который что-то украл, а потом переоделся цыганкой и плаксивым женским голосом пытался убедить жандарма — дескать, сына нет дома. Рассказывали о том, что с кем случилось во время военной службы в Тироле или Венгрии. И что кому привиделось ночью около пруда или в лесу, по пути домой. Рассказывали также о пожарах, как выгорела целая деревня, о том, какие убытки приносят наводнения, когда большая вода затопляет дома и уносит скот. Заходила речь о граде и грозах, о том, где кого убила молния — под деревом или в стогу. Доставалось и городу, когда собравшиеся ополчались против людей, не знающих предела распутству.

Об этом приходилось мне слышать и у себя в Писеке. Тут я навострял уши и порой улавливал обрывки разговоров, которые меня очень волновали.

Помню, какое беспокойство охватило город, когда разнеслась весть о том, что по улицам где-то ходят суфражистки{10}. Я

понял, что речь идет о каких-то женщинах, которых следует опасаться. Но я не представлял себе, как они выглядят. Может, они носят такие же шляпки, как наша венская тетушка? Может, она тоже суфражистка? И тетушка Тони и тетушка Анинка тоже? Ведь не зря они оставляют у нас свои шляпы и в деревню отправляются в платках.

Я долго ломал себе голову, но так и не добрался до истины. Во мне укрепилось лишь убеждение, что мир полон загадочных и удивительных вещей, которые опутывают человека словно паутина.

В канун ярмарки к нам приезжали муж и жена Людвики, милевские гончары. Они приносили охапки соломы, расстилали ее на полу и укладывались на этом немудреном ложе, как цыгане. Утром Людвики вставали затемно и старались не шуметь, чтобы не разбудить нас. Но как назло начинал скрипеть пол и звенела посуда, когда они умывались или пили кофе. Словно нарочно скрипели и хлопали двери, когда они спешили на базар, чтобы сгрузить с воза кувшины, горшки и другую глиняную посуду, с которой разъезжали по всем ярмаркам, из города в город.

Людвики были родом из Милевска, и стоило кому-нибудь упомянуть их город, перед моими глазами возникали не улицы и дома, а всевозможные изделия из глины, расставленные на соломе, как я видел это на ярмарках. Пожалуй, я даже испытал некоторое разочарование, когда родители пытались убедить меня, что Милевск — вовсе не гора из горшков и кувшинов, а такой же город, как и Писек, разве только поменьше и не такой уютный. В те годы детское восприятие нередко подводило меня, и я начинал понимать, что жизнь часто жестоко шутит над человеком и порой склонна затевать с ним коварную игру.

Я был фантазером, и в моем воображении часто соединялись несоединимые вещи, в результате чего возникала всякая путаница, и я то и дело попадал впросак, и меня поднимали на смех. Как-то пришел отец и сказал, что купил котел. Он долго мечтал о таком котле и теперь сможет вываривать в нем свои прутья. Я доверчиво спросил его, есть ли там лестница, так как решил, что котел и отель — одно и то же[6].

То были терпкие уроки, подвергавшие испытанию детское простодушие и самолюбие. Но когда я подрос, трагикомизм подобных ситуаций стал забавлять и меня самого. Склонность к юмору вообще постепенно становилась чертой моего характера, я унаследовал ее от отца, который тоже был человеком веселого нрава и любил хорошую шутку. Я не мог понять, откуда взялась в нем эта струнка. Ведь у него было трудное и незавидное детство. Внебрачный ребенок, он не знал материнской ласки — мать не

любила его и тяготилась им. Воспитывали его чужие люди, от которых он тоже не видел добра, терпел только укоры и обиды. Поэтому отец и расстался с ними без всякого сожаления.

Я уже учился в первом классе, когда узнал обо всем этом. Тогда же мне стало ясно, что не только обстоятельства могут подшучивать надо мной, но и я могу платить им тем же.

Однажды в костеле нас представили какому-то высокопоставленному церковному сановнику, и я вызвал немалый переполох, когда на вопрос: «Как зовут родительницу Иисуса Христа?» — ответил: «Святой Иоаким». Его преподобие, а вместе с ним и наш священник, преподававший закон божий, буквально остолбенели от подобной детской наивности, а потом тщетно пытались переубедить меня. Я стоял на своем. Мне очень нравилось имя Иоаким. С явным неудовольствием оба они отвернулись от меня, расценив мое упрямство как греховное неведение. Однако на сей раз я уже твердо знал, что говорю. И если бы меня спросили о чем-нибудь другом, даже, к примеру, как зовут моего отца, я все равно ответил бы: «Святой Иоаким».

Религия была чужда мне. Я не испытывал того благоговейного чувства, которое удерживало бы меня от озорных поступков и шалостей во время религиозных обрядов и богослужений; став постарше, в подобных проделках я был просто неистощим. Так, если в сочинении надо было признаться в своих грехах, то, не зная за собой особых провинностей, я спокойно присваивал себе грехи своих одноклассников, списывая их с чужих тетрадей и нисколько не боясь при этом, что окажусь в числе наказанных во время Страшного суда. Уже учеником последнего класса я рьяно участвовал в «ниспровержении» Австро-Венгерской монархии, когда под могучие звуки органа вместо слов «Да не померкнет австрийская держава»{11} пел свой, издевательски исковерканный текст гимна до тех пор, пока не услышал от товарищей еще более смелый и дерзкий его вариант. В сопровождении неистовых, рвущихся ввысь звуков органа придуманные мальчишками слова звучали под сводами костела словно могучий хорал. Мы пели их с такой естественностью и непосредственностью, что до нашего сознания, пожалуй, даже не доходила вся глубина кощунства над предписанным уважением к царствующему габсбургскому дому.

Но здесь я забегаю несколько вперед. Снова вернусь к той прекрасной поре жизни, к школьным годам, когда детство еще не знает жестоких обязанностей, которые неумолимо налагает на него окружающий мир, когда оно не знает его ловушек, когда все кажется прекрасным — и смех и слезы, когда мир раскрывается перед вами в тысячах своих неведомых и захватывающих ликов.

Это было время сказочных путешествий в действительность и в мечту. Время, когда снег казался прекрасным, ливни восхитительными, а шум дождя по крыше разносился переливчатым колокольным звоном. Чудесными были рассветы, полный звезд небосвод! А когда в кронах деревьев шумел ветер, когда осенью начинали желтеть листья и за костелом срывались с деревьев и разбивались о мостовую каштаны — это тоже было прекрасно. Душа ребенка радовалась малейшим открытиям и проявлениям жизни. Каждое из них переживалось дважды. Сначала как действительность, а потом как вымышленный мир. Детское сознание жадно впитывало новые впечатления, до той поры таившиеся под покровом неведения. То были солнечные часы на павильоне Кронберга, что на улице Коменского, чучела сов в витрине парикмахерской пана Свободы на Флорианском рынке, паноптикум на городской выставке, где показывали, как умирает раненый казак, у которого грудь вздымалась от предсмертных вздохов. Впервые увиденная цирковая программа с дрессированными морскими львами, глотанием шпаг, наездницами и укрощенными царями пустыни. А еще драгуны в красных рейтузах, галопом мчащиеся по аллее. Или первый воздушный шар над городом и первая поездка по железной дороге в Гержмань, когда мы с отцом отправились покупать ивовые прутья для наших корзин. Это и впервые увиденный большой пожар, когда горел пивной завод и пожарные в сверкающих касках сновали с топорами вверх и вниз по лестницам и направляли струи воды в жерла бушующего огня, — все это были незабываемые впечатления. Душа ликовала и пела, как молодой петушок на деревенском плетне. Однажды я шел мимо почты и заметил, как на часах шевельнулись стрелки. Я слышал щебет птицы, которая назвала меня по имени. Я начал вдруг понимать, о чем поет вода, а мое ненасытное любопытство побуждало меня научиться тайнам языка, на котором говорят травы и ветер в кронах деревьев, и шелестящие листья орешника и бересклета, и капли воды, барабанящие по стеклу, и цветы, склоняющие нежные венчики навстречу друг другу.

В ту далекую пору состоялось и первое мое приобщение к искусству, но отнюдь не к литературе, как можно было бы ожидать — ведь весь дом Райнеров буквально дышал ею. Моя первая встреча с искусством связана с кукольным театром братьев Малкусов, который находился на нашей улице. Долгое время этот театр был для меня недосягаемой мечтой.

Как сейчас помню, ставили пьесу «Яна выменяли на борзую». Перед началом представления за крейцер продавали загадочные конверты, в них почему-то были вложены ободранная ручка и

исписанное перо, медная пуговка, старая проштемпелеванная марка и вырезанный из бумаги солдатик. Публика волновалась и нетерпеливо шумела. Всем хотелось, чтобы побыстрее поднялся занавес. Но распорядители не спешили и все откладывали начало спектакля, ожидая, пока стемнеет на улице. Вдруг где-то сломалась скамейка — так много зрителей набилось в помещение. Волнение усилилось, и поднялся невероятный шум, когда было объявлено, что представление отменяется. Театр изрядно потрепали, часть публики затеяла потасовку с администрацией. А мы, ни в чем не повинные и напрасно прождавшие спектакля, ушли домой разочарованными.

Человек всегда чего-то ждет, на что-то надеется и обманывается в своих ожиданиях и надеждах. Много воды утекло, пока я понял, что так уж устроена жизнь.

Матушка не любила говорить о самом сокровенном, затаенном в самых дальних уголках ее души. Но однажды, когда выпала подходящая минута, каких вообще-то случалось немного, она вернулась к годам своей молодости:

— Когда я выходила замуж, в моем брачном свидетельстве написали, что я — дочь батрака. — Потом, немного помолчав, добавила: — А у нашей Анны уже стояло: отец — малоземельный крестьянин.

Пожалуй, я слышал это в первый и последний раз: мать прежде не заводила разговоров на подобные темы. Да и сейчас она сказала об этом скорее с юмором. В течение всей ее долгой жизни никто не слышал, чтобы она на что-то пожаловалась. С ее уст ни разу не сорвался упрек или сетования, которые хотя бы на миг приоткрыли завесу над тайной ее внутренней жизни. Другое дело — будничное ворчание и жалобы на дороговизну, на пекаря, который испек плохой хлеб, на лавочника, который продал прогорклую муку и безбожно обвешивает покупателей, на бездельников, которым жареные рябчики сами падают в рот. Но и это говорилось не из зависти. Сетуя, матушка просто облегчала душу. Это было своего рода лекарство от забот, которых на ее долю выпало не так уж мало.

Наша матушка.

В своих жалобах она словно напоминала судьбе, что та не балует нас и в большом долгу перед нами. Матушка часто повторяла одни и те же, ставшие уже привычными слова: «Проклятая война!», «Проклятущий чертов холод!», «Проклятая неблагодарная барынька!» За этими словами скрывалась и вся ласковость ее сердца, и все ее редкое мужество, с которым переносила она тяготы и невзгоды жизни.

Я не знаю, кого можно бы сравнить с ней в ее неутомимой заботливости, которую она сумела проявить, оставшись одна с семью детьми после смерти нашего отца, погибшего в 1916 году у Гориции или на Пьяве{12}. Младшему из нас тогда едва исполнилось три года, а самому старшему — четырнадцать.

Немало матушке пришлось потрудиться, чтобы прокормить нас. Трудно себе представить, как вообще ей удалось выстоять, как удалось превозмочь ту нищету и горе, которые постоянно стучались к нам в дверь. Она ходила убирать в разные дома, стирала чужое белье, нанималась уборщицей в школу, а летом к тому же помогала еще жать и молотить хлеб. И при всем этом изнурительном труде и тяжком напряжении, ценой которого доставался каждый крейцер, она сумела остаться гордой и непреклонной, не позволяя себе принимать никаких подаяний.

Помню, как мать рассердилась, когда однажды кто-то из нас (кажется, это была одна из моих младших сестер) принес домой какие-то обноски, полученные в период благотворительной кампании в помощь сиротам, потерявшим отцов в первой мировой войне. Мать схватила вещи и побежала в школу к директрисе.

С возмущением она положила «подарок» на директорский стол:

— Мы бедны, но в таких обносках не нуждаемся. Я никогда не допущу, чтобы мои дети надели чужие лохмотья!

У директрисы вытянулось и покраснело лицо.

— Не слишком ли вы разборчивы? Впрочем, неважно. Если вам не нравится, пожалуйста, оставьте здесь. Кому-нибудь эти вещи, несомненно, пригодятся. Другие сумеют оценить нашу помощь.

— Ну и ну! Экая гордячка эта пани Рыбакова! Ей ничем не угодишь, — переговаривались между собой учительницы.

— А почему мне не быть такой? — говорила матушка, когда кто-нибудь сообщал ей об этом. А нас она учила: «Почему бедный человек должен выглядеть униженным и забитым? Разве гордость есть только у богачей? Вот и нет! Чем им гордиться? Если я перестану стирать на них, они грязью зарастут».

Как много этой простой женщине пришлось подавить в себе и как много развить, чтобы чувствовать себя и держаться с людьми как равная с равными! Здесь меньше всего сказывалась семейная традиция. В семье ее родителей можно было научиться чему угодно, но только не гордости и не протесту. Долгие годы полунищенского существования учили ее отца скорее покорности и смирению. Когда же положение семьи изменилось к лучшему, моя мать жила уже отдельно и самостоятельно.

В судьбе матери и ее отца, который за какие-нибудь два-три года выбился из батраков и приобрел небольшой участок земли, нашли отражение те достаточно своеобразные общественные отношения, которые сложились в чешской деревне в начале столетия. Не произошло ничего из ряда вон выходящего. И все-

таки настали времена, когда отец моей матери, то есть мой дед, Ян Адамек, бывший слуга и батрак у богатого крестьянина Хамрады, поднялся на ступеньку выше в общественном положении.

Ему удалось снять в аренду кусочек земли у помещика из рода Шварценбергов, который понял, что девятнадцатый век с его аристократическим гонором миновал безвозвратно и что гораздо выгоднее для собственного кармана торговать лесом, держать кирпичные и пивоваренные заводы, заниматься промышленным производством. Закат старых порядков менял облик чешской деревни, и предприимчивый феодал вовремя почувствовал, что этот процесс затрагивает и его, а грядущие перемены, несомненно, подрубят тот сук, на котором он до сих пор сидел.

Но я не хочу заниматься здесь социологическими исследованиями процесса ликвидации последних пережитков крепостного права, тяжким ярмом лежавшего когда-то на плечах крестьянства. Я привел эти факты лишь потому, что они касались моих собственных впечатлений от жизни. Хотя родился я в городе и большую часть своей жизни провел в таких больших центрах, как Прага и Братислава, тем не менее я никогда не переставал ощущать своей связи с миром деревни. В этот мир уходит своими корнями все хорошее и плохое в моем характере.

В тех краях, о которых я веду сейчас рассказ, в уголке Чехии, вклинившемся между двух рек, покоятся все мои предки, кроме отца. Эти места вдоль Влтавы, от Рейзикова до Долни Липовска, а дальше до Подолского моста, я знаю как свои пять пальцев. И бассейн Отавы, Судомерж, Кестршаны, Затави, Писек, Истец и Сметипрах и, конечно же, Звиков, а дальше замок Орлик, стоящий на высокой скале. Это край, родной моему сердцу, с которым не могут сравниться для меня никакие другие места и уголки Чехии. Тенистые, дремучие леса, поляны и луга, а вдоль дорог могучие вековые деревья, цветущие липы и рдеющие рябины. Там можно было бродить с утра до вечера вдоль и поперек и мечтать. Можно напиться из родника, отдохнуть под кедром, платаном или кленом и слушать, как где-то высоко-высоко шумят могучие сосны. Там хорошо думалось о том, как бежит время и почему застыли облака над тем вон деревом. А когда вы вволю намечтались и надышались свежим ароматом лесов, на вас нисходило ощущение счастья…

Иногда я бродил по местам, которые так любил художник Алеш{13}, а чаще по дорогам и тропинкам, проложенным рабочим людом, теми, кто валил лес, тесал бревна, вязал плоты, пахал землю, строил дома, теми, что, затерявшись иногда где-то

на чужбине, потом снова возвращались домой, жили независимо и скромно, порой напивались до немоты и устраивали драки, — такова была уж их буйная жизнь, прекрасная или горькая, ничего не дававшая ни даром, ни в долг.

Богачи и те, кто посостоятельнее, покупали земельные наделы в аристократических кварталах на окраинах города, где не дымили фабричные трубы и воздух не был насыщен зловонием сточных канав. Там возводились роскошные особняки и виллы, полные света и воздуха, с электричеством и канализацией. В старых, грязных доходных домах в центре города во множестве ютилась беднота, темные подворотни и дворы были завалены старым хламом. В покинутых богачами домах оставались канцелярии адвокатов, приемные врачей да лавки торговцев. Одни из них заново отделывали фасады, другие расширяли витрины, как того требовал стиль времени и вкусы покупателей. Дух предпринимательства возобладал в самых отдаленных уголках, повсюду появлялись бойкие дельцы, успешно орудовавшие во всеобщей сутолоке, — у этих людей было достаточно денег, чтобы пустить их в оборот. Они завладели строительными участками, кирпичными заводами, каменоломнями и другой прибыльной собственностью, скупали старые дома, чтобы перестроить их в современные магазины и сдавать за большие деньги.

Управляющий городским хозяйством Франтишек Райнер не принадлежал к людям подобного сорта, к числу тех, кто ловил свое счастье. Но когда пришло время уйти на пенсию, когда обе его дочери давно уже были замужем, он тоже решил продать свой дом.

Дом приобрел делец, нажившийся на шитье военного обмундирования.

Первое, что он сделал, — это отказал нам в квартире.

Так, в 1912 году, когда началась балканская война{14} и люди ни о чем другом не говорили, кроме как о Турции и Адрианополе, мы вынуждены были оставить старый райнеровский дом, где я родился и где нам был знаком каждый уголок, каждый камень.

Новый хозяин дома торопил нас побыстрее освободить квартиру, а мы не знали, куда выехать. Выбирать не приходилось, и мы согласились на первое, что подвернулось под руку, и к ночи оказались уже на новом месте, в неприветливом двухэтажном домике, в квартире из двух темных комнатушек, которые были даже меньше наших прежних. В них едва разместились наши бедняцкие пожитки. Одна из комнат была когда-то торговой

лавкой, вход в которую вел прямо с улицы. Вместо окна — небольшая витрина, а кроме стеклянных дверей, еще одни, дубовые, двустворчатые, какие бывают в лавках. Они закрывались на ночь на щеколду изнутри. Окно второй комнатушки выходило во двор почти вровень с землей, и перед ним все время купались в песке чужие куры. Чуть поодаль находилась выгребная яма и деревянная уборная. Вокруг вились большие зеленые мухи. На земле под окном ползали черные жуки. Слава богу, куры склевывали этих жуков, за что мы прощали им и грязь и помет, которые они оставляли после себя.

Витрину, через которую с улицы было видно всю комнату, матушка занавесила, а отец выставил в ней плетеные корзинки всех фасонов — в виде рекламы. Еще одну корзинку мы повесили над входом в лавку, чтобы все знали, что здесь живет корзинщик. Мы старались использовать в наших каморках малейшее свободное местечко и все-таки жили в ужасной тесноте. Работая, отец буквально не мог повернуться. Дети вечно мешали друг другу, так что матушка в конце концов выгоняла всех на улицу, где мы и проводили большую часть дня. Так никогда мы и не полюбили эту окраину города. Все здесь оставалось для нас чужим и неприветливым.

Домик, куда мы перебрались, был втиснут между двумя пекарнями, и, как только мы ложились спать и гасили свет, по стенам и полу начинали ползать большие проворные жуки, похожие на косточки абрикосов. Стоило зажечь свет, и они так быстро разбегались по щелям, что отец, схватив в каждую руку по башмаку, не успевал прихлопнуть ни одного.

— Чертовы тараканы, — говорил он с отвращением. — И откуда они только взялись.

В этом доме мы постоянно ссорились и злились друг на друга, да еще как! И я не знаю, чем бы все кончилось, проживи мы здесь еще хоть год. Но отец с первых же дней настойчиво подыскивал новое жилье. Его поиски увенчались успехом, и вскоре с окраины города мы перебрались поближе к центру, а спустя два месяца переселились почти на прежнее место, к Малому рынку. Прямо в центр города. Здесь было много лавок, по краю тротуара тянулись лотки с овощами и фруктами. Это было место, где устраивались веселые и шумные ярмарки, которых мы каждый раз ждали с большим нетерпением. Да и школа находилась совсем рядом.

Дом, в котором мы поселились, был одним из самых старых в городе. Он сохранился с давних времен, с XVI столетия. В старых книгах упоминалось, что его построили в 1540 году. Говорили,

что это вообще чуть ли не самое древнее строение в Писеке. Но по его внешнему виду это трудно было предположить. С фасада дом выглядел совсем обычным и заурядным. Но этим-то он и отличался от других старых домов на Юнгмановой улице и Большой площади, которые выделялись пышными барочными фронтонами и находились под опекой тех, кто ведал охраной памятников. О людях, которые жили в нашем доме, все уже давно забыли. А дом еще стоит — свидетель истории, помнящий тревожные времена и печальные эпохи, когда от города оставались только развалины и пепелища, а по его улицам тянулись орды чужеземцев-грабителей{15}.

Об этих мрачных, тяжких временах я многое узнал из хроник и документов, когда мог уже самостоятельно посещать городскую библиотеку. Одной из первых я взял книгу Аугуста Седлачека{16} «История города Писека». Три толстых тома. Я принес их домой, отрезал кусок хлеба, налил в стакан воды и начал читать. И не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Седлачек почти все свое время проводил в темных залах ратуши, где помещался городской архив. Бережно, как великую реликвию, извлекал он каждый пожелтевший листок, отыскивал сведения о давно минувших днях, чтобы увековечить их для будущих поколений. Я часто встречал его. Он носил широкополую шляпу, в руке неизменный зонтик. Его лицо с бородой библейского пророка напоминало лик Микеланджело. Сколько маститых историков с благодарностью перечитывали его труды, воссоздающие страницы нашей национальной истории. Наверное, только десяткам ученых в наши дни была бы под силу та огромная работа, которую в незавидных условиях сумел выполнить этот скромный, неутомимый исследователь в возрасте, когда другие уже подумывают об отдыхе.

В новом доме нам принадлежала большая комната со сводчатым потолком, напоминавшая зал. Кто-то разузнал, что в прошлом она служила молельней общине чешских братьев{17}. Каменные, в метр толщиной стены — не так-то легко вобьешь в них скобу или гвоздь. В стенах было множество ниш. И не требовалось особой фантазии, чтобы вообразить себя в замке. Но практической пользы от этих ниш не было. Из-за них мы никак не могли уютно расставить мебель, многие углы так и оставались неиспользованными. Шкафы приходилось ставить отступая от стен, придвинуть их ближе мешали своды. Зато за шкафами образовались чудесные укрытия, там мы с удовольствием играли в прятки и в другие игры или, притаившись, неожиданно выскакивали из какого-нибудь угла и пугали друг друга. Когда за очередную шалость нам грозила взбучка, эти закоулки служили

нам надежным убежищем.

В нашем доме была огромная арка, через которую входили во двор и в нашу квартиру. Даже днем здесь царил полумрак, как в склепе. Эта длинная и темная подворотня была вся завалена старыми ящиками. Зеленщики, арендовавшие в доме подвалы, складывали здесь свои деревянные козлы и доски, на которых по утрам расставляли на улицах лотки с овощами. Примерно с пяти часов утра во дворе начиналось громыханье и возня. Иногда кто-нибудь стучал к нам в дверь, чтобы взять ключ от уборной. Зеленщики выносили из подвалов плетенки с морковью и капустой белокочанной, цветной и кольраби, целые горы салата, шпината и петрушки, а в начале лета корзины были наполнены черешней, которую то и дело приходилось перебирать — за ночь она успевала порядком испортиться.

Под аркой глаз с трудом различал отдельные предметы. Днем освещалась только та часть подворотни, которая выходила во двор, а вечером и там становилось темно. Мы всегда старались побыстрее пробежать через нее, словно за нами гналось чудовище. Больше всего боялись мы двери, ведущей в подвал, и уж мимо нее мы пролетали стрелой. И если бы в тот момент кто-нибудь выскочил оттуда, у нас душа ушла бы в пятки. Еще страшнее было, когда светила луна и ее холодный бледный свет косыми лучами освещал рухлядь, которая громоздилась в глубине подворотни. При этом мы испытывали даже больший страх, чем в полной темноте, особенно когда были совсем маленькими. Нам вечно мерещились всякие привидения. Неприязненное чувство к этому месту осталось у нас и позже. Мы испытывали его всякий раз, как только попадали под арку. Что-то невольно заставляло ускорить шаг, и от неосознанного страха перед темнотой у нас мурашки бегали по спине.

Много хлопот доставлял нам ключ от ворот. Он был, наверное, сантиметров в двадцать длиной и не умещался в карманах. Поэтому, собираясь уйти, мы засовывали его под ворота, потому что они всегда бывали заперты. Мы старались положить его так, чтобы потом можно было легко вытащить. Но чаще всего ключ оказывался слишком далеко и достать его не удавалось, тогда мы изо всех сил барабанили по воротам, пока кто-нибудь не услышит и не выйдет открыть. Стучать иногда приходилось долго, чуть ли не полчаса, и нередко понапрасну. Чаще всего на помощь приходили соседи. Они впускали нас в свой двор, откуда мы сначала забирались на крышу соседского сарая, затем на стену, разделявшую дворы. Там надо было миновать электрические провода и только потом уже спрыгнуть

на крышу нашего сарая. Никому из нас и в голову не приходило, что через провода пропущен ток высокого напряжения и если кто-нибудь случайно коснулся бы их, то вряд ли остался в живых.

Спозаранку на площади начиналась веселая сутолока. С корзинами на спине, полными свежеиспеченного, сладко пахнувшего хлеба, пробегали ученики пекарей. Зеленщицы расставляли свои лотки, небольшими группами проходили люди, спешившие на работу. Открывались лавки, рынок на площади заполнялся народом, шли за покупками хозяйки. По улице с песней промаршировали солдаты. С котелком в руках по тротуару семенил продавец сосисок. Показались маляры с тележкой, промчался на вокзал фиакр, медленно вышагивали огромные волы, тащившие тяжелый воз, груженный пивными бочками.

Во дворе находились слесарная мастерская, дровяные склады и сараи, уборные, а также большая выгребная яма. В нее сбрасывали мусор и отходы, шлак, а зеленщики вываливали сгнившие фрукты и овощи. Раз в год приезжали коренастые мужики из Градиште или Путими, выгребали содержимое этой зловонной ямы и увозили на поля.

Здесь тоже во множестве водились мыши и крысы, которые служили приманкой для кошек со всей округи. Целые стаи нахальных воробьев будили нас чириканьем, едва начинало светать. Случалось, они влетали через открытое окно в комнату.

Двор был просторный, поросший травой. Жизнь здесь кипела с утра до вечера. В слесарную мастерскую и к нам тянулись заказчики, то и дело крутились ученики из мастерской, а за ними по пятам ходили ребятишки из соседних домов. Многочисленные укромные уголки во дворе, сарайчики и чердачные помещения служили незаменимым местом для игр. Крик и гам стояли весь день. Ни один домовладелец, кроме нашего, наверное, не потерпел бы у себя на дворе такого шума и такого множества чужих детей.

Из нашего двора видна была колокольня главного городского собора, огромные часы на ней и открытая галерея вокруг звонницы, где находилась небольшая каморка ночного сторожа пана Прохазки. Когда над городом спускались сумерки, пан Прохазка выходил на галерею и каждый час до самого рассвета трубил в фанфары на все четыре стороны.

Я уже упомянул, что в день Первого мая здесь, на галерее, с раннего утра начинал играть оркестр пана Шимы. А так как это был и день моего рождения, то, просыпаясь под звон будильника, я с радостью думал, что и эта музыка, и эти фанфары звучат и в мою честь.

Иногда мы поднимались на колокольню и с высоты

семидесяти метров любовались городом и окрестностями. Нас захватывало зрелище бурлящей внизу жизни, кривых улочек, извилистой Отавы, волнистых холмов, окружавших город и уходивших куда-то вдаль. Попасть наверх мы могли, лишь улучив момент, когда забудут закрыть двери на хоры, откуда лестница вела на колокольню. Когда выдавался такой случай, мы проворно проскальзывали в дверь, стараясь, чтобы нас никто не заметил, и, возбужденные от волнения, поднимались по старым деревянным ступенькам, в полумраке, который царил здесь с тех пор, как был построен собор. Сердце начинало учащенно биться, когда мы проходили под крышей, где, по преданию, была похоронена монахиня. Истории о мумиях, катакомбах и гробах всегда тревожили детское воображение. Слушая рассказы о них, мы трепетали от страха. Но было так интересно, что хотелось слушать их вновь и вновь.

Добравшись до самого верха, мы врывались к пану Прохазке. Он сначала хмурился и спрашивал, кто, мол, вы такие. А через минуту заметно добрел, и его лицо становилось миролюбивым. Казалось, он даже рад видеть нас. Ведь он жил такой однообразной жизнью. Весь день только сидел и курил или спал, а вечером ходил по галерее и потом всю ночь напролет вглядывался в темноту, не горит ли где.

Мы не любили смотреть прямо вниз. От этого начинала кружиться голова и делалось не по себе. Но глядеть на город, который раскинулся внизу, — что могло быть прекрасней! Вот обе площади, старый мост, слывший достопримечательностью города, и городская стена. Мы видели свой двор и даже окна нашей комнаты, а однажды, к своему удивлению, разглядели матушку, которая шла через двор с ведром за водой.

— Мамочка, посмотри, где мы! — кричали мы с галереи.

Мать погрозила в нашу сторону, и мы поспешили покинуть площадку.

Потом пан Прохазка показывал нам колокола и говорил, как они называются. Самый огромный из них, тот, в который звонили лишь по большим праздникам, могли раскачать только два человека. Во время первой мировой войны колокола сняли, чтобы переплавить на пушки. Но Австрии это все равно не помогло. Уже в мирное время, в годы первой республики{18}, отлили новые колокола. Потом их тоже сняли, на этот раз фашистские оккупанты во время второй мировой войны. Но и их это не спасло от поражения. После войны поговаривали, будто наши колокола нашлись где-то в Гамбурге. Но в те бурные годы никто не подумал их вернуть.

Когда мы, спустившись с галереи, снова показались во дворе,

матушка облегченно вздохнула. А отец пригрозил:

— Если еще раз увижу вас там, пеняйте на себя!

Большая комната служила нам одновременно спальней, столовой, кухней, гостиной и мастерской, где работал отец. Здесь матушка варила и стирала, а отец плел свои корзины. Сюда же приходили заказчики и покупатели.

В этой комнате находились и мы. Росли, болели, учили уроки. Здесь спала вся наша семья из десяти человек.

Косые лучи солнца едва заглядывали в наши окна, и то лишь по вечерам, когда оно садилось за соседними крышами. С заходом солнца двор пустел. Тени становились длиннее, в комнате из всех углов выползали сумерки, придавая мебели причудливые очертания. Когда я оставался дома один, в такие минуты меня обычно охватывал страх. Я садился к печке, разводил огонь и, оставив печную дверцу открытой, слушал, как потрескивают горящие поленья. Я дул на них и смотрел, как бегут по ним огненные языки пламени. Мне хотелось, чтобы пустая комната скорее наполнилась звуками. И когда наконец в печке начинало гудеть, мне становилось уже не так страшно.

Мы не любили сумерничать. Зажигалась огромная керосиновая лампа под потолком, и комната вновь приобретала свой обычный уютный вид, хотя желтый сноп света был не столь уж ярким, чтобы осветить все уголки и ниши, рассеять притаившийся в них полумрак. Но сумерки есть сумерки, а вообще в комнате всегда было оживленно и весело, как на пражском мосту. Все время к нам кто-нибудь забегал что-то попросить, сказать, напиться воды, а то и просто поболтать с отцом о том о сем.

Я вспоминаю старую Вайсгарову, торговавшую на улице леденцами, конфетами из лакрицы и сладко-горькими пряниками, которые сильно отдавали перцем и обжигали губы и язык. Это была малоприятная, сгорбленная старуха с длинными седыми волосками, торчащими на подбородке. Мы не могли себе даже представить, чтобы кто-то покупал у нее сладости. В воскресенье по утрам к ней ходили деревенские девчата, а она приводила их к нам и гадала им на картах. Сначала Вайсгарова казалась мне настоящей ведьмой, умеющей читать будущее по картам. Однако, наблюдая издали, как она трясущимися руками раскладывает на столе засаленную колоду, и прислушиваясь к тому, что она говорила разряженным девушкам, которые краснели и хихикали, я вскоре понял, что предсказывала она все одно и то же: ждет тебя болезнь, будет тебе важное письмо, ожидают тебя большие неприятности, на своем пути встретишь

богатого человека, будет у тебя большое горе, но все обернется к лучшему.

Круглый год у нас в семье только и занимались тем, что плели корзины и кошелки, с которыми отец потом разъезжал по ярмаркам. По весне мы ходили к прудам и к реке. Отец приобрел на аукционе в аренду прибрежную полоску земли и сажал там кусты ивы. Осенью прутья срезали и в октябре вываривали в большом чане за городом, в специально отведенном месте. Прутья вываривались целые сутки. Под чаном все время нужно было поддерживать огонь, и ночью тоже. Отец почти неделю не появлялся дома. За это время сжигалось несколько кубометров дров. У отца был там шалаш, в котором он спал или дремал, а мы иногда после школы прибегали к нему и играли в индейцев.

Вываренные прутья всю зиму очищали от коры. Она была почти черной, липкой, с резким горьким запахом. Перед каждым из нас лежала охапка прутьев. Чтобы кора расщепилась и ее легче было снять, вдоль всего прутика делали надрез железным шильцем с деревянной ручкой. Каждый вечер, освободившись от обычных будничных дел, мы подсаживались к охапкам прутьев и сдирали кору до поздней ночи.

Когда долгие зимние месяцы были уже на исходе, а горы прутьев, очищенных от липкой коры, гладких и красных, лежали связанные в пучки где-нибудь в сухом месте, у нас устраивался небольшой семейный праздник, который по аналогии с деревенскими дожинками{19} мы называли «дочищенки». Мать готовила чай и каждому наливала в чашку капельку рому. Детям доставалось еще и по куску торта. Отец рассказывал что-нибудь смешное из своей жизни, как, например, ему жилось во время странствий.

Особенно любили мы слушать сказки. Воображение разыгрывалось и уносило нас в мир чудес, где происходили самые невероятные превращения. Я хорошо помню сказки о глупом Гонзе, о привидениях на мельнице, о водяных, о чертях и особенно сказку об ивовом прутике. Когда отец рассказывал эту сказку, волшебный прутик так и сверкал перед нашими глазами, словно усеянный бриллиантами. Отец говорил, что ищет его уже много-много лет, но до сих пор так и не сумел найти.

— И все-таки этот прутик время от времени вырастает, — убеждал он нас. — Только никому не ведомо, что он волшебный. Ведь выглядит он совсем как обычный.

— А в чем его волшебство? — спрашивали мы.

— Тому, кто дотронется до него, он принесет счастье.

— А где растет этот прутик?

— Если бы я знал, — вздыхал отец. — Можно сказать,

повсюду и нигде. — И, уловив в наших глазах разочарование, поспешно добавлял: — Может статься, он вырастет и на нашем участке. А может, лежит себе вон в той охапке. — И отец указывал на гору прутьев, лежащих в комнате.

— И вправду там? — Нам хотелось знать это наверняка.

Отец пожимал плечами:

— Может, мне его и не найти. Так вы его найдете, когда станете взрослыми.

Мы просили его рассказать еще какую-нибудь сказку.

— Об овечках, которых пастушок перегонял через мост.

— Ну расскажи!

— Пастушок гнал овечек через мост.

— А что потом?

— Это я вам скажу, когда они перейдут реку.

— Уже перешли.

— Нет, еще не перешли, не кричите.

В глазах отца появлялись озорные искорки. Он улыбался и добавлял:

— Сегодня они уже не успеют перейти на тот берег. А вам пора спать! И чтобы тихо было!

А вообще-то они когда-нибудь перешли через мост?

И где же тот волшебный прутик? Кто окажется тем счастливчиком, который отыщет его, дотронется до него?

Весной было много других интересных дел. Отец вкатывал в комнату и ставил за шкафами две огромные кадки, наливал в них воду и опускал в нее специально отобранные прутья, которые мы нарезали еще осенью. Прутики пускали тоненькие, как волоски, корешки, а спустя месяц выбрасывали зеленые листочки и зацветали. Это было чудесно! С прутьев свисали длинные желтые пахучие сережки, и нам казалось, что в комнате распустился сад. Она вся вдруг преображалась, будто сюда перенесли кусочек самой природы. Потом мы счищали кору и с этих прутьев. Те, что выварились в чане, приобретали оттенок киновари, а эти оставались белыми, точно слоновая кость, и из них изготовляли самые красивые изделия.

Отец владел своим ремеслом в совершенстве. Подставки для цветов, плетеные стулья и кресла, всевозможные разукрашенные на все лады корзиночки для шитья, вазы для печенья, корзины для белья и коробки для дамских шляпок — чего только не умел он. Однажды по заказу цирка отец смастерил из прутьев огромную-преогромную шляпу, в которой выходили потом на арену клоуны и исполняли свой комический номер. Но чаще всего приходилось все-таки делать вещи на продажу. Заплечные

корзинки для крестьянок, корзины для травы, дорожные сумки и большие корзины для тех, кто собирался в Америку, корзины под дрова для школ и учреждений, корзинки для бумаг и детские коляски.

С восхищением следили мы за работой отца. Быстро мелькают его пальцы, вещи буквально рождаются на наших глазах в его ловких руках — как послушны ему прутья и с какой изобретательностью находит он нужную форму! Так же ловко отец обходился с лыком, камышом, рогозом и соломой.

Меня восхищало его искусство и любовь к своему ремеслу, которое никогда не сулило ему золотых гор. Сколько он помнил себя, ему всегда приходилось в жизни туго. Счастье обходило его стороной. И все-таки он не сдавался, не стал пессимистом. Отец любил людей, и ему было хорошо с ними. С интересом слушал он разные истории, а дома у нас не переводились веселые книги и календари{20}, которые приносили нам мусорщики, трубочисты и почтальоны. Больше всего веселья доставлял нам и отцу журнал «Карикатуры»{21}. Вместе с другими газетами и журналами его приносил нам писатель Сладек-Миротицкий, живший в нашем городе.

Это были счастливые дни нашей жизни. Потом все вдруг переменилось. Нас долго преследовали неудачи. Они подстерегали нашу семью на каждом шагу, иногда за целую неделю не появлялся ни один заказчик, и у нас не было хлеба. Мы начали жить в долг. Долги росли, и отец приходил в отчаянье. Он рылся в выдвижных ящичках, вынимал то часы, то обручальное колечко, то серебряную цепочку, искал матушкины серьги и спешил в ломбард. А тут еще поднялись цены на ивовые прутья, и прибавились новые заботы — где найти сразу двадцать гульденов. Ни ссудная касса, ни банк не хотели дать нам ни кроны. Отец вынужден был обойти всех родственников матери, чтобы одолжить эту сумму.

— Слава богу, все уже позади, — не раз говорил он потом. И добавлял: — Но этот заем мне запомнится. Он еще долго будет страшить меня, как дамоклов меч…

Я не знал, что такое дамоклов меч. Отец объяснил мне, что это меч, который висит над головой человека на тонком волоске и каждую минуту грозит лишить его жизни. Стоит волоску оборваться, и меч упадет на его голову. Но почему же тогда люди не привязали дамоклов меч на веревку потолще? Почему они позволяют, чтобы он постоянно висел у них над головой? Я вообще прицепил бы его к поясу вместо самодельной деревянной сабли, которой невозможно ничего ни рассечь, ни проткнуть, она не годилась даже для игры в войну. Представляю, как я

размахивал бы настоящим мечом, со свистом рассекая воздух. Жжиг-жжиг! Я признался отцу, что еще ни разу не видел дамоклова меча, и отец объяснил, что он невидимый, как невидим злой рок, который ввергает людей в несчастья, а люди потом не знают, как избавиться от них.

Много забот приносила с собой зима. У нас не было обуви. А ведь не бегать же зимой босиком. Да и в школу надо было ходить. Отец работал с ожесточением, стараясь не думать, сумеет ли он сбыть свой товар. В комнате уже негде было повернуться от корзин. И вдруг объявился заказчик, и с ним кончилась полоса невезения. Первый заказчик после стольких дней бесплодного ожидания. Отец не отпустил бы его, предложи он за товар даже полцены. Жить опять стало веселее. Я снова любовался отцом. Как и прежде, он всей душой отдавался своей работе. А сколько фантазии он вкладывал в нее!

Мастерицей на все руки была и моя мама. Она плела из камыша стулья, обтягивала материалом капоты для детских колясок, придумывала всякие украшения для них, драпировку, делала кисточки или, если того желал заказчик, вшивала клеенку в дорожные корзинки.

С тех пор прошло много лет. И теперь, десятилетия спустя, размышляя о прошлом, я вижу, как механизированное производство оттесняет ручной труд, неотвратимо приближая его конец. Уходят в прошлое умельцы-корзинщики, мастера по литью из олова, искусники-слесари, чеканщики, скрипичных дел мастера, краснодеревщики, даже трудно припомнить, кто еще. Техническая революция шагает семимильными шагами, и сегодня машины умеют делать почти все, даже сочиняют музыку и слагают стихи.

И все-таки искусство будет жить лишь до тех пор, пока оно остается делом рук мастеров. Искусство с незапамятных времен всегда было ближе ремеслу, чем производству. Оно немыслимо без упорного, изнурительного труда, без мук и терзаний, без терпеливой, длительной, на совесть работы, когда все — от подготовки материала и до готового изделия — дело рук твоих. Поэтому мы говорим о мастерских художников. Ибо художник не производит, он не машина. Он человек, и он творит.

В конце 1910 года в Писеке открылись два первых кинематографа. До той поры фильмы демонстрировались от случая к случаю, в трактирах, загородных ресторанах, а одну зиму — в гардеробной сокольского{22} клуба. Инициаторами были два маляра — Карел Малкус и Эдуард Ванек. Зимой они подолгу не имели работы, так как в это время обычно никто квартир не ремонтировал. В поисках заработка Малкус и Ванек

решили испробовать кино. Нельзя не оценить, что они обратились к этому выдающемуся изобретению века в те годы, когда оно только входило в жизнь. Вместе с кинематографом они пережили все его детские болезни. Малкус и Ванек начинали как компаньоны, но не сработались и разошлись. Каждый добился концессии на открытие собственного кинематографа.

Мы хорошо знали Ванека и его семью, давнишних наших соседей — они жили с нами в доме Райнеров. Все наши симпатии были на стороне их кинематографа, который назывался «Кино Эдисон». Малкус под свой кинотеатр «Роял» снимал помещение в гостинице «У золотого колеса», а Ванек, человек более предприимчивый, выстроил за городским парком новое здание — факт сам по себе примечательный.

Репертуар фильмов тогда был небогат. Да и сами фильмы были очень короткими. Пятиминутные комедии чередовались с кадрами из жизни природы. Гвоздем программы считалась драма. Герои дико таращили глаза, гримасничали и жестикулировали, будто разговаривали с глухонемыми.

Пан Ванек был замкнутым, молчаливым человеком, его жена — доброй и отзывчивой женщиной. Всем, чем она владела, она готова была поделиться с другими. Двери их дома были открыты для каждого.

Мы чувствовали себя в их семье непринужденно. И еще больше привязались к ним, когда пан Ванек открыл этот свой кинематограф, где благодаря стараниям пани Ванековой добрую половину зрителей составляли родственники и знакомые, проходившие бесплатно. Уж мы, конечно, пользовались каждым случаем.

В те далекие времена фильмы показывали в сопровождении граммофона. Пластинки подбирались в соответствии с содержанием фильма.

Если на экране, обычно грязном, словно его поливали непрерывные дожди, журчал в расщелине скал ручеек и вода пенилась и бурлила между камней, то ставилась пластинка «Геркулесовы воды» или «Сказки Венского леса». Если же героиня в самый напряженный момент бросалась с высокого обрыва в море из-за несчастной любви или, к примеру, в фильме «Горнозаводчик» соперники стрелялись на дуэли, то заводили пластинку «Прощание с родиной» или «Кладбища, кладбища…» и «Голубку». К комическим фильмам подбиралось что-нибудь мажорное и темпераментное вроде галопа или польки, отвечающее ритму и темпу стремительного действия. В одной из таких картин, например, комик Леман, прозванный у нас Леманчиком, нес в руках яйцо. На улице он с кем-то столкнулся и

упал, а когда поднялся, то сбил с ног того, кто помогал ему подняться. И так оба по очереди без конца падали и поднимались.

Одно время обслуживать граммофон приходилось мне. Боясь что-нибудь пропустить в картине, я больше следил за происходящим на экране, чем за сменой пластинок. И часто случалось, что, расширяя свой кругозор за счет новой продукции копенгагенской кинокомпании, я забывал подкрутить ручку и проклятый граммофон выдыхался раньше, чем герой. Иногда в темноте я путал пластинки, отчего возникали непредвиденные ситуации, Олаф Фёнс кого-то душил, а из граммофона в это время неслось «Моя золотая, стобашенная Прага». Порой зал замечал это несоответствие, публика начинала свистеть, и пани Ванекова спешила исправить мою ошибку и навести порядок.

В эту идиллическую атмосферу как гром среди ясного неба ворвались тревожные события, которые взбудоражили весь мир вокруг нашей благоденствующей империи. В марокканскую гавань Агадир вошел немецкий военный корабль «Пантера», а вслед за ним в марокканских водах оказался и крейсер «Берлин». Отношения между великими державами были тогда натянутые, хотя простые люди понятия об этом не имели. Дела вершила тайная дипломатия. Все, что решало судьбы людей, готовилось втайне. Казалось, ничего особенного нет в том, что куда-то прибыл чей-то военный корабль. На самом деле это было равноценно тому, что кто-то поднес горящий факел к пороховой бочке. Германский император Вильгельм II, которого привыкли видеть одетым как опереточного актера, позволил себе неслыханную провокацию{23}.

Англия и Франция подняли крик благородного негодования, хотя о каком благородстве могла быть речь. Обе державы делили последние, еще не захваченные территории. Германия тоже стремилась принять участие в дележе. Разразился международный кризис, а шовинисты обеих враждующих сторон получили широкую возможность ловить рыбку в мутной воде.

Агадир стал первым сигналом событий, которые два года спустя уже нельзя было предотвратить.

А я тем временем весело крутил граммофонные пластинки к захватывающим фильмам с Вальдемаром Псиландером и Хенни Портен.

Потом появился фильм «Мечта резервиста». Но его показывали уже в разгар войны. Фильм сопровождала группа шумовиков, которые импровизировали за экраном грохот сражения. Это было незабываемо. Горнист трубил атаку бравым австрийцам. Причем труба была настоящей. И когда на экране

шрапнель косила несчастных новобранцев, проливающих кровь за милостивого императора, раздавался адский грохот, от которого у зрителей чуть не лопались барабанные перепонки. Свистели пули, и из-за экрана неслись лающие звуки пулеметов марки «Шварцлёс». И все мы от этого великолепного грохота долго не могли прийти в себя.

Фильм «Мечта резервиста» означал конец целой эпохи в кинематографии. С граммофоном было покончено, и мне пришлось убраться. На смену моим пластинкам в кинематограф «Эдисон» пришел квартет, который утвердился там на долгие годы, пока не появился первый звуковой фильм.

Газеты были полны сообщений о сараевском убийстве{24}. Я пришел домой и объявил:

— Папа, кого-то убили.

Отец мрачно ответил:

— Наследника трона.

Вид у него был очень серьезный, так что мама даже забеспокоилась.

Газеты печатали яростные статьи, и я, как сейчас, вижу фотографии из иллюстрированных журналов, выставленные в витринах книжных лавок Буриана и Подгайского: эрцгерцог Франц Фердинанд д'Эсте в своем имении Конопиште; Франц Фердинанд с супругой в семейном кругу; наследник престола в охотничьем костюме с Вильгельмом II охотится на оленей; эрцгерцог на маневрах; в Сараеве с представителями местной знати, в карете перед тем, как раздался выстрел Принципа; гроб с телом покойного, утопающий в цветах и венках, перенос гроба на военный корабль в городе Сплит. И еще и еще фотографии… Эрцгерцог в детстве, в юности, в зрелые годы… неинтеллигентная ханжеская физиономия кандидата на престол, с выражением тупой ограниченности, подстриженная под ежик голова, которую должна была увенчать корона…

Престарелый император потрясен неслыханным злодеянием. Но не настолько, чтобы позволить похоронить покойного в императорской усыпальнице. Он удручен смертью наследника, но еще больше думает о том, как наказать наглую Сербию, на которую пала ответственность за убийство. Он не любил это маленькое славянское государство, которое слишком много позволяло себе, забывая об интересах Австрийской империи, и совало нос в балканские дела. Сербия рвалась к морю, и нужно было пресечь ее поползновения, раз и навсегда покончить с ее притязаниями. Сараевское убийство стало для этого удобным поводом.

Австрия чувствовала себя глубоко задетой еще тогда, когда черногорский князь Николай{25} вознамерился объединиться с Сербией. Да это и понятно. Так ведь всегда было в империалистическом мире. Разве не повторяются все время подобные ситуации? Разве в наши дни вооруженные до зубов империалистические державы не воспринимают как угрозу своим интересам, когда маленькие государства, будь то на Ближнем или Среднем Востоке, в Центральной или Южной Америке, пытаются добиться своих естественных прав?

Сербия пробуждалась от летаргического сна, и Австрия почувствовала в этом опасность. Какое дело габсбургской империи до того, что повсюду, куда она протягивала щупальца своих интересов, жили славяне: сербы, черногорцы, хорваты и далматинцы? И жили испокон веков.

События развивались со стремительной быстротой. И наступило то самое воскресенье, когда матушка, придя домой с рынка, с ужасом сообщила:

— На улице расклеивают объявления о мобилизации. Будет война с Сербией.

— Мобилизация?! — воскликнул отец и, поспешно одевшись, побежал в окружное управление.

Мы — за ним, как всегда, когда происходило что-нибудь необычное.

На улицах уже стояли группы взволнованных людей. Они теснились перед объявлениями, перечитывая их медленно, букву за буквой. Сразу нашлись умники, которые знали наперед, чем все это кончится, и демонстрировали свою прозорливость, не замечая, что люди слушают их рассеянно, погруженные в собственные думы.

Умники пророчили, что с Сербией будет покончено в два счета. Война представлялась им в виде прогулки, во время которой сербов закидают шапками.

— Вот увидите, — самоуверенно заявляли они, — к осени все кончится.

Отец стоял в толпе, бледный, расстроенный. Все оживленно разговаривали, а он долго молчал, потом сказал:

— Скажите на милость, кому из простых людей хочется воевать за интересы Австрии? Кому надо проливать кровь за чужие дела?

А потом заметил нас и кивнул:

— Пойдемте домой.

Нам очень не хотелось уходить. Весь город бурлил. Это воскресенье было каким-то особенным, не похожим на другие.

От отца невозможно было добиться ни слова.

Домой мы вернулись около полудня.

Мать хлопотала у плиты, делала кнедлики и временами бросала взгляд на отца. Бедняжка, она даже побледнела. Как и отцу, все это ей очень не нравилось. Душу ее терзали самые страшные опасения, в которых человек обычно боится признаться себе.

— Да скажи же ты что-нибудь, — повернулась она к отцу.

— А что я могу сказать?

Отец курил одну сигарету за другой и мыслями был где-то совсем далеко.

— Судя по объявлению, сейчас должны мобилизовать первый призыв.

— Что я буду делать, если тебя тоже призовут? — сказала матушка.

— Глядишь, мы, старые вояки, и не понадобимся.

— Ведь много и молодых солдат. Неужели их не хватит?

— Все зависит от того, как сложатся события. И кто кому собирается помогать. Ведь к войне, надо полагать, готовились.

— Сербы проиграют, — откликнулась матушка.

— Как знать, — ответил отец. — Там каждый учится стрелять чуть ли не с детства. Они неплохие солдаты. Хорошо воюют те солдаты, которые знают, за что воюют, а вовсе не те, которых гонят на войну, как стадо баранов.

— Ты думаешь, война надолго затянется?

— Не знаю, дорогая моя. Я вообще ничего не знаю. И хотелось бы мне тебя утешить, да знаю я столько же, сколько и ты, — добавил отец удрученно.

— Что и говорить, радоваться нечему, — заключила матушка.

Она стала подавать на стол, но обед был испорчен. Есть никому не хотелось. Отец по-прежнему хмурился, мать выглядела испуганной. Мы тоже угнетенно молчали. Многое нам было непонятно. Настроение отца наполняло нас тревожными предчувствиями.

Матушка еще пыталась утешить нас. Дескать, не известно, будет война или нет. Может, сербы согласятся на условия, которые предъявляет им Австрия, все как-нибудь образуется, и до выстрелов дело не дойдет.

А события нарастали стремительно, точно лавина.

Вскоре в войну были втянуты Россия, Франция, Англия, Япония, немцы напали на Бельгию.

За одну ночь наш город неузнаваемо изменился. В казармах и школах разместили мобилизованных. В школьных дворах и на улицах появились походные кухни, и повара выливали из котлов в сточные канавы мясную похлебку, так как мобилизованным не

нравилась казенная пища и они предпочитали промывать горло пивом в переполненных и прокуренных пивных и трактирах, где нельзя было даже повернуться.

Мобилизационная суматоха выманила из дворов мальчишек, они теперь постоянно крутились около солдат. Бегали за пивом для поваров, кололи дрова, мыли котлы, а за это получали и приносили домой мясо, которое в избытке оставалось в казармах, потому что солдаты не хотели его есть. Дразняще терпкая военная жизнь с ее атмосферой глубокого и веселого возбуждения, заглушающего мысли о том, о чем не хотелось думать, о той реальности, которая была далеко не веселой, — эта военная жизнь захватила нас, утоляя мальчишескую тоску по военным играм. Мы чувствовали себя счастливыми. Подлинный смысл происходившего не доходил до сознания. Мы жили в ином мире, чем взрослые. Все это не повергало нас в такие тревожные переживания, как наших родных. Например, нашего отца. Он вдруг забросил свое любимое ремесло, надеясь, что избежит мобилизации, если наймется на работу. Он устроился на военный склад, где выдавали обмундирование и оружие для новобранцев. Отец работал на складе весь август.

Война тем временем тяжело и медленно набирала темп. Говорили о первых боях и первых убитых. Никто не знал, начнутся ли вообще занятия в школах и не будут ли школьные здания превращены в лазареты.

Мать потеряла всякую охоту заниматься домашним хозяйством. Она нанялась к богатому крестьянину и ходила работать на поле. Жизнь семьи совсем разладилась. Ненадолго забежав домой и никого не застав, мы уходили к солдатам, которые буквально заполонили весь город, или наведывались к отцу или матери. Случалось, мы являлись не вовремя. Тогда мы снова бежали туда, где нам казалось интереснее всего, — к солдатам. Их грубоватость в обхождении с нами мы воспринимали как признание того, что они считают нас взрослыми, равными себе. Мы оставались среди них зачастую до самого вечера.

В ту пору мы перестали встречать многих из знакомых, тех, что были моложе отца. Их призвали в армию и отправили невесть куда. Они исчезли, как сквозь землю провалились. Вместо них в городе появились новые люди, на улицах то и дело мелькали незнакомые лица. Опустевший город выглядел так, будто все лучшее безвозвратно ушло в прошлое. Он словно бы сбился с пути. Трактиры были полны народу с раннего утра до позднего вечера. Пиво текло рекой, и никогда прежде в городе не шаталось столько пьяных, как в эти первые дни войны.

В сентябре отец подрядился на уборку хмеля вместе с моим старшим братом, которому тогда было двенадцать лет. С артелью сборщиков хмеля они отправились куда-то к Раковинку. Матушка безуспешно отговаривала отца от этой поездки. Увидев поденщиков, с которыми отцу и Эде предстояло работать, она заплакала:

— Вид-то у них, как у головорезов. Наш отец совсем с ума спятил.

Только теперь нам по-настоящему стало грустно. Уже на второй день после отъезда отца и брата мы с нетерпением ждали от них весточки. Но писем не было, а на пятый день, под вечер, отец и Эда нежданно-негаданно вернулись домой, и мы сразу поняли, в чем дело.

В этот день по городу были расклеены объявления о второй очереди призыва новобранцев. А это касалось уже и отца. Как только он узнал о призыве, они с Эдой собрались и сели в поезд. Короче, поездка на уборку хмеля оказалась пустой затеей. Но отец должен был убедиться в этом сам. Сколько матушка ни толковала ему о бесполезности этой затеи, он ничего не хотел слышать. Теперь и ему самому все стало ясно. Денег, заработанных за четыре дня, хватило только на дорожные расходы.

— Вот видите, какие вы глупые, — встретила их мать упреком, хотя и обрадованная, что они вернулись.

— А мне понравилось, — хвастался Эда. — Посмотрите-ка, вот такие шишечки мы и собирали. — И он показал нам зеленые, но уже сильно увядшие стебельки с желтыми шишечками.

Когда отца мобилизовали, все вдруг стали относиться к нам гораздо лучше, чем прежде. Соседи останавливали нас, совали нам рогалики и сочувственно приговаривали:

— Значит, вашего отца тоже забрали? Бедняга! Вот те на! Только бы ваша мать не тронулась с горя. Сколько же вас у нее? Семеро?

Даже лавочники выглядели не такими строгими и охотнее прежнего разрешали покупать в долг.

Призывников старшего возраста, среди них был и отец, разместили в здании реального училища, в большом угловом доме на улице Коменского. Этот дом со множеством окон, выходивших на улицу, с большими воротами и огромным двором будто специально был предназначен для постоя солдат.

Первые несколько дней они занимались тем, что ездили за соломой, ходили в старые казармы получать одеяла и миски для еды. Ложки полагалось принести с собой из дому или купить в лавке у Нитшей. Им не выдавали даже солдатской формы —

только старые выцветшие фуражки. Так они и ходили на полевые ученья, за город, где их обучал военному делу старый усатый унтер, у которого звездочки были пришиты не только на фуражке, но и на лацканах его штатского пиджака.

Стояли чудесные осенние дни. Белые облака неподвижно застыли в голубом небе над городом, необъятные дали светились чистыми красками. Фруктовые деревья в садах были усыпаны плодами. Где-то далеко, на линии горизонта, тянулись леса, и их тень, отраженная в густой синеве, падала на кромку полей. При виде этих картин что-то мирное и прекрасное нисходило в души людей, жаждущих набраться сил, приобщиться к этой красоте и вобрать в себя хотя бы крупицу мудрости, чтобы подняться выше черных страстей и нелепого безумия войны. Природа оставалась чарующей, как прежде, оставалась верной своим законам, война не касалась ее.

А за будеёвицкой часовенкой, где спят вечным сном французы, погибшие в войне за австрийское наследство, старые ополченцы упражнялись в выполнении команд «кругом!», «шагом марш!», «налево!», «направо!». Вместо поворота направо половина взвода поворачивалась налево. А когда подавалась команда изменить направление на марше, все это уморительное сборище, словно под воздействием неведомой центробежной силы, начинало растекаться в разные стороны.

Потом им выдали брезентовые пояса вместо кожаных и длинные, давно списанные штыки образца 1866 года, с которыми воевали еще под Градец-Кралове, во время австро-прусской войны, которую Австрия проиграла, и в этом обвиняли несчастного генерала Бенедека{26}, как будто он мог что-нибудь изменить. И когда ополченцы затянули пояса поверх своих штатских пиджаков, а сбоку привесили длинные штыки, то для довершения картины оставалось только прокричать славу государю императору и светлейшему габсбургскому двору, который всегда питал такую трогательную любовь к солдатам, этим наряженным в униформу «сынам отечества».

— Ну и ну… — дивились прохожие, останавливаясь у часовни и разглядывая солдат в странной экипировке. — Докатились…

Хотя отец и был мобилизован, ночевать поначалу он приходил домой. При первой возможности он исчезал из казарм или из здания реального училища. Друзья среди ополченцев всегда могли предупредить его в случае необходимости. Так он и ходил в своем удивительном обмундировании, не обращая на это внимания, а мы даже рады были видеть его таким, полувоенным-полугражданским. Большую часть дня отец проводил дома, с нами, и мы как-то даже забыли, что он мобилизован.

Но всему приходит конец. Однажды отец явился уже в военной форме — в синих брюках и голубом мундире. Чувствовалось, что и эту одежду господа военные начальники раздобыли с трудом, потому что ополченцы зачастую были одеты в разное. И все-таки они выглядели уже солдатами.

В это время мы зачастили в кинематограф Ванеков. Мы упивались фильмами и не пропускали ни одной новой программы. Мы видели все очень веселые фильмы с участием Макса Линдера и все очень грустные фильмы с Астой Нильсен. Мы узнавали все новых и новых актеров и увлекались все новыми и новыми приключениями. В кинематограф охотно ходили и солдаты. Народу набивалось много. В тяжелом, спертом воздухе помещения трудно было дышать. От некоторых солдат резко и противно пахло казармой. Но когда начинался фильм, мы забывали обо всем.

Демонстрировавшиеся фильмы были похожи один на другой — удивительно беспорядочные, распадавшиеся на отдельные фрагменты. То, что в жизни тянется годы, совершалось в них в течение нескольких минут, и зритель воспринимал это как нечто естественное. В конце концов нам начинало казаться, что и жизнь похожа на эти фильмы, столь же безрассудна, беспорядочна, чудовищна, бестолкова.

Старой жизни пришел конец, и с ней уходило в прошлое наше наивное, милое детство. Мы становились другими, быстрее взрослели, словно наше время бежало в темпе стремительных кадров. Мы начинали понимать, что перестаем быть детьми, что во многом становимся похожими на взрослых, которые мчались куда-то сломя голову, исчезали бог весть где, и никакая сила не способна была их остановить.

Я вспоминаю то воскресное утро, когда матушка раньше обычного разбудила нас. Отец, уже одетый, стоял возле наших постелей. Он хотел попрощаться с нами на тот случай, если ему уже не удастся отлучиться из казарм. Уезжал он в понедельник. Это последнее воскресенье пролетело так быстро, что мы даже не заметили его. А вот понедельник навсегда запомнился нам. Я помню его во всех подробностях, как будто все происходило только вчера.

Ополченцы шестьдесят девятого полевого полка, размещенные в здании реального училища, были готовы к отправке с самого раннего утра. Одни, задумчиво погруженные в себя, ходили по двору, другие взволнованно переговаривались. Офицеры стояли у ворот в ожидании распоряжений. Потом пришел командир батальона, высокий, стройный, хорошо

сложенный подпоручик запаса, и объявил сбор. Унтер-офицеры проверили состояние маршевых рот, командир обратился к солдатам с короткой и сухой напутственной речью. Батальон в полной боевой готовности должен выступить в два часа дня, никто не имеет права отлучиться, все остаются в училище до отправки на вокзал.

Большинство солдат было из Писека, остальные — из прилегавших деревень и местечек. К ним пришли проститься родные. Спозаранку начали они собираться в аллее перед зданием реального училища и ждали, когда наконец солдатам разрешат выйти. Время шло, а ворота не открывали. Терпение собравшихся понемногу иссякало. Они топтались на месте, вопросительно переглядывались и сдержанно переговаривались. Вдруг разнеслась весть, что солдатам запретили попрощаться с родными и семьями и они останутся в помещении училища до самой отправки на вокзал.

Это известие вызвало всеобщее беспокойство. По толпе пробежал ропот. Возникло тягостное, недоброе напряжение. Люди начали волноваться. Жены солдат, разгневанные и возмущенные, начали собираться группами, толпа угрожающе двинулась к воротам и приблизилась к ним вплотную.

— Их там заперли, — раздавались возбужденные голоса. — Даже проститься не дают!

— Стучите в ворота, может, откроют!

Кто-то и вправду начал колотить в ворота. И когда это не дало никаких результатов, другие тоже начали стучать, пока из окон третьего этажа не выглянуло несколько новобранцев.

— Что случилось? — кричали им люди снизу.

— Почему не выходите?

— Нельзя, — раздавалось в ответ. — У нас строгий приказ.

— Как это? Кто приказал?

— Чего вы у нас спрашиваете?

— Позовите мужа, — обратилась какая-то женщина к солдату, показавшемуся в окне.

— Кого, мать? Здесь их много. Или тебе все равно кого? — не к месту попытался пошутить солдат.

Женщина назвала фамилию и добавила:

— Он во второй роте. Скажите, что я здесь и жду его.

— Передайте всем, что мы пришли.

— Ждем!

— И дети с нами!

— Хотим проститься!

Во всех окнах появились лица солдат. Кое-кто уже успел разглядеть внизу своих жен. Солдаты кричали и махали им

руками.

— Эй, женушка! Я здесь!

— Смотри, смотри, вон в том окне отец, — поднимали детей женщины, показывая им, куда надо смотреть.

Мало-помалу в разговор с солдатами, которые теснились в оконных проемах, втянулись все. Женщины звали мужей спуститься вниз, к воротам, кричали, чтобы они не позволяли так обращаться с собой в последние минуты, когда еще можно побыть с близкими.

Мы тоже стояли в толпе, сгрудившись вокруг матери, которая держала на руках самого младшего — брата Яроушека. Ему не было и трех лет. И другие женщины пришли с детьми. Мы увидели в окне отца и начали махать ему. Отец что-то показывал рукой, кажется, хотел сказать, что попытается спуститься вниз к воротам, попрощаться.

Я не знаю, что происходило в самом здании и во дворе училища, а на улице люди волновались и шумели все больше и больше. Гнев нарастал. Послышались первые злые выкрики:

— Верните нам мужей! Отправляйтесь на войну сами!

С уст людей срывались ругательства и угрозы. Встревоженная толпа все больше распалялась. Внезапно появился отряд жандармов. Со штыками наперевес они выстроились перед воротами. Раздался приказ:

— Разойдись! Именем закона!

— Сами убирайтесь! — гневно кричали женщины.

— Вас сюда не звали!

— Делать вам нечего! Бездельники! Вот вам-то уж давно пора на фронт!

Некоторые из жандармов, пришедшие в ярость от издевок толпы, начали грубо теснить стоявших ближе к воротам, довольно решительно сталкивая их с тротуара. Правда, и среди жандармов нашелся один, который, видно, сочувствовал собравшимся и пытался уговорить людей мирно разойтись. Но никто не тронулся с места. Остановились и те, кто было попятился. За ними стояла плотная, непроницаемая стена тел, которая отрезала путь к отступлению.

— Опомнитесь, солдатки! — кричали жандармы. — Поймите же наконец! Разойдитесь подобру-поздорову.

Но выкрики тонули в общем шуме.

— Вы чего толкаетесь? — выходили из себя женщины.

— А вы что себе позволяете?

Начальник жандармов вытащил из ножен саблю и встал во главе отряда.

— Разойдитесь по-хорошему! — орал он хриплым, пропитым

голосом. — А то придется действовать по-другому!

— Избивать будете?

— Именем закона!

— Они хотят стрелять в нас! — пронеслось в толпе.

— Стрелять? Да ведь мы просто хотим проститься со своими мужьями!

— Ну и стреляйте! И в детей тоже!

Шум усилился, дети начали плакать, толпа снова заволновалась, и вдруг все увидели, что ворота открываются. Показались первые солдаты. Ожидавшие точно застыли, стихли, потом толпа облегченно вздохнула. А когда появились и другие новобранцы, в толпе грянуло «ура!». Теперь уже весь батальон хлынул за ворота, подобно неудержимому и грозному потоку, который невозможно остановить никакими силами. Все смешалось: жандармы, женщины, дети, солдаты и те, кто просто пришел поглазеть.

Прошло немало времени, пока отец разыскал нас.

— Пойдем домой, — сказал он, и у нас сразу пропал всякий интерес к тому, что происходило около училища. Мы поспешили домой, боясь, как бы не пришлось вернуться, как бы снова не нагрянули жандармы.

Дома матушка хотела приготовить чай, но отец чувствовал себя словно на иголках. Он не находил себе места, то вставал, то садился, посматривал на часы, нервно шагал по комнате. Мысли его были где-то совсем далеко. Вдруг он поднялся, схватил шинель и сказал:

— Надо посмотреть, что там творится! Есть я не буду, мне ничего не готовьте.

Часы пробили двенадцать, потом час, а отец не возвращался. Мы пошли его искать. Перед реальным училищем стояли солдаты, сбившиеся в небольшие кучки, и о чем-то взволнованно разговаривали со штатскими. На фуражках у солдат виднелись черные ленты, а на рукавах — черные траурные повязки. Мы узнали одного знакомого отца и спросили, не видел ли он его. Солдат махнул рукой:

— Он там, в трактире, что за углом.

В трактире было полно военных. Глаза щипало от едкого табачного дыма, из-за шума нельзя было расслышать ни одного слова. Некоторые солдаты сидели за столами обнявшись и пели:

Не мелю муку я, не мелю муку я,
смыло мельницу водой.

Отец сидел за столом, подперев голову руками и уставившись

в пространство. Солдаты что-то говорили ему, но он не обращал на них никакого внимания. Он словно был где-то совсем в другом месте. Заметив нас, он вскрикнул: «Это мои дети!» — и стал протискиваться к нам. Отец гладил нас по голове, спрашивал о матушке. Солдаты протянули нам стаканы, чтобы мы выпили за здоровье отца. Он тоже выпил. Его глаза заблестели. Поставив стакан на стол, он заторопился:

— Скорее пойдемте домой!

Солдаты уже порядком захмелели. Фальшивыми голосами они тянули песни. У некоторых на глазах были слезы. Кто-то схватил стакан и разбил его об пол.

Назначенное для сбора и отъезда время давно истекло. Только немногие появились в срок. Да и они, заглядывая во двор и видя, что там по-прежнему царит беспорядок и остальные солдаты то приходят, то снова уходят, командира и след простыл, а унтер-офицеры не знают, что делать, тоже потихоньку исчезали. Толпы уже не было. Жандармы и военный патруль вернули часть солдат, тех, кого им силой удалось заставить покинуть трактир, где те прочно обосновались. И у этих солдат на рукавах и фуражках были траурные ленты. Жандармы все время подгоняли их, и становилось очевидно, что таким способом они никогда не соберут батальон. Отцу тоже было безразлично, уйдет батальон без него или нет. Он только попросил мать сварить крепкий кофе и все время насмешливо твердил:

— Да, с такими солдатами, как мы, Австрия, конечно, выиграет войну. Только об этом мы и мечтаем.

Разбежавшихся солдат удалось наконец собрать. Уже совсем поздно к нам пришел какой-то новобранец и сказал отцу, что пора идти, батальон, мол, строится.

— Хорошо, хорошо, — согласился отец, но еще долго медлил, оттягивая расставанье. Потом мы все вышли из дому — проводы были похожи скорее на похороны.

Во дворе училища, видно, кое-как навели порядок. Солдаты разыскивали свои подразделения, высматривали товарищей, все ли собрались. И когда полк вот-вот должен был двинуться, они вдруг снова зашумели и заволновались. Что-то опять случилось и взбудоражило их. Казалось, полк так никогда и не отправится.

— Что происходит?

— Кого-то заперли в подвале, — передавалось из уст в уста.

— Там, напротив, в гостинице.

— А кого?

— Вроде бы каких-то солдат, из тех, кто начал сегодняшние беспорядки.

Все хотели знать, кого именно арестовали. Солдаты

обступили фельдфебелей, но те не хотели говорить, так как им пригрозили, что в случае чего они за все будут в ответе.

— Не ваша забота, — отмахивались они.

— Как это не наша? Это же наши товарищи.

Уже давно пробило четыре часа, начальство, должно быть, все звонит по телефону — как быть… Наконец после долгих проволочек, переговоров и угроз солдаты одерживают верх. Батальон выстраивается, звучат команды, бряцают винтовки, и вся эта масса людей начинает двигаться по направлению к вокзалу, где их ждет состав из товарных вагонов, в которых в обычное время перевозят скот.

В исторических романах зачастую красочно описывается, с каким воодушевлением солдаты бросаются в бой и под грохот барабанов и пронзительные звуки трубы плечом к плечу идут умирать на поле славы, проливать кровь за своего государя, который ничем не отличается от других государей и властителей, тоже имеющих свои войска, которые жаждут отдать за них свою жизнь. Война, тысячи трупов, стенания десятков тысяч раненых — в этом всегда есть нечто будоражащее воображение… Но обычно к войне стремятся люди, не испытавшие ее ужасов: монархи и дипломаты, высшие чины из генеральных штабов и те, кто наживается на человеческих страданиях. Промышленники, поставщики, перекупщики, спекулянты, разных мастей воры. А тяготы войны приходятся на долю простого народа. Война ввергает людей в нищету, губит, оставляет общество без мужей, отцов и сыновей — им уготованы бесчисленные ямы братских могил и деревянные кресты, а многим не дано и этого; оставшиеся в живых возвращаются безногими, безрукими, слепыми и с навсегда искалеченными душами.

То, что мне довелось увидеть во время отъезда отца, не имело ничего общего с цветистым и помпезным изображением военного энтузиазма, о котором я читал в книгах, где часто описывалось, как под грохот орудийных залпов и свист пуль падали солдаты, счастливые тем, что могут отдать свои жизни.

Мы двигались по направлению к вокзалу. Был чудесный летний день, храмовый праздник. В небе летали вороны, и батальон старых ополченцев совсем не походил на боевое формирование, отправлявшееся на фронт и готовое принять участие в сражениях. Мы видели беспорядочное скопище солдат, вперемешку с женами и детьми и, быть может, всем населением города, пришедшим их проводить. Длинная, зловещая, змеевидная толпа из хмурых и молчаливых людей двигалась тяжело и медленно.

Солдат уже распределили по вагонам, но поезд еще долго не отправлялся. И ожидание новой болью отдавалось в сердцах людей. Потом раздался свисток, а вслед за ним резкий гудок паровоза. Мы стояли на путях — мать и семеро детей, а с нами много другого народу. Все махали руками и, глотая слезы, смотрели, как поезд медленно набирает скорость, проезжает мимо складов с углем, минует шлагбаум, пруды, заворачивает и, продолжая свистеть, совсем исчезает из виду.

Когда началась война с Италией, в Писеке появились первые беженцы. Это были высокие черноволосые итальянцы из Гориции и Истрии. Когда они останавливались на улицах, смуглолицые, как цыгане, и разговаривали между собой, оживленно жестикулируя, казалось, они ругаются и вот-вот вцепятся друг другу в волосы. Для нас был непривычным их южный темперамент. Итальянские дети возбуждали в нас любопытство. Очень общительные, они быстро подружились с нами. Во время игр мы учились считать — uno, due, tre[7].

Начали приходить первые эшелоны раненых. Больниц не хватало, и их размещали в школах, наскоро оборудованных под лазареты. С вокзала раненых возили в открытых санитарных повозках. Они были перебинтованы, у некоторых сквозь грязные повязки сочилась кровь.

Для тех, кто получил тяжелое ранение или остался без руки, без ноги, без глаз, война была окончена. Среди раненых свирепствовали малярия, дизентерия, тиф. Умерших ежедневно отвозили на вершину холма, где находилось военное кладбище, и там заканчивался их многострадальный путь.

Между тем военный хаос разрастался. Постепенно исчезали из продажи вещи, которые раньше были повсюду, затем начала ощущаться острая нехватка продуктов. Теперь уже не случалось, чтобы повара выливали мясной бульон в сточные канавы. Везде стояли очереди за мясом, хлебом, сахаром, мукой, маргарином, за мылом и керосином.

Очереди за мясом выстраивались еще с вечера. Возвращаясь из кино, мы заходили домой, брали табуретку и, сменяясь каждые два часа, просиживали у мясной лавки до самого утра. Стоять всю ночь напролет, конечно, было тяжело.

Однажды в очереди за хлебом я попал в такую давку, что мне оторвали рукав у пиджака. Но хлеб домой я все же принес и был бесконечно горд. Случалось и так, что, когда наша очередь подходила, все продукты уже были распроданы. Иногда люди, стоявшие в конце, сминали всю очередь и протискивались вперед, а нас, продвинувшихся до самых дверей лавки, бесцеремонно

оттесняли.

Все наши мысли и заботы теперь сосредоточились на том, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. Самый младший из братьев получал паек — пакетик манной крупы. Лавочница, отпускавшая крупу, перечеркивала чернильным карандашом талончик. Дома мы старались резинкой стереть карандаш, но стоило большого труда сделать так, чтобы торговка ничего не заметила и на использованный талон дала еще один пакетик. У крестьянина, которому матушка помогала убирать хлеб еще в начале войны, мы арендовали узкую полоску земли и посадили картошку. Мать учила нас, как перед посадкой нарезать картофель на кусочки с глазками, как сажать, окучивать, полоть и выкапывать, не повредив при этом клубней. В общественных кухнях продавали бурду и турнепс, а в бакалейных лавках вместо пшеничной и ржаной муки — кукурузную. Выпеченный из нее хлеб крошился, был приторно сладким, и нам не хотелось его есть, даже когда мы очень голодали. Нам больше нравился овес. Мы мололи его в кофейной мельнице и варили кашу, добавляя в нее желтый, неочищенный сахар.

Мама все время нанималась стирать и прислуживать. Однажды хозяйка послала ее в Истец на мельницу за мукой. Мельник передал обещанную хозяйке муку, но матушке не захотел продать даже полкило.

— Вы только подумайте, каковы эти мельники, — сетовала она дома. — Одним все, а другим ничего. Нет бы пополам. — И половину муки конфисковала в нашу пользу.

Когда матушка почему-либо не могла идти, на мельницу ходил я. Я всегда присоединялся к каким-нибудь знакомым женщинам, и если мы выходили из дому пораньше, то до полудня успевали обойти все мельницы, расположенные близ города по течению Отавы и Влтавы. Иногда удавалось упросить мельника, и после многочасовых скитаний мы все-таки приносили домой один-два килограмма хорошей ржаной муки. Я уже знал все писецкие мельницы как свои пять пальцев.

Из всех мельников самыми добрыми были пан Кайз и пани Правдова с Липовской мельницы. Пани Правдова хорошо знала нашу мать и никогда не отпускала нас с пустыми руками. А на дорогу всегда совала в руки еще булку, пирог или кусок хлеба. Самая дурная слава утвердилась за рейзиковским мельником, который никогда и ничего никому не давал. Он заставлял людей стоять перед воротами мельницы до самого вечера, а когда смеркалось, выходил и объявлял, что ничего не даст.

Отец писал нам каждую неделю на открытках полевой почты. Иногда на них красовалась фотография Франца Иосифа, иногда какой-нибудь военный корабль — «Viribus unitis»[8] или «Святой

Штефан». Прошло уже почти два года с тех пор, как отец ушел на войну. Сначала целый год он служил в Прешпурке, куда однажды к нему ездила мама, потом его послали на сербский фронт, затем в Черногорию, а после этого — воевать с итальянцами. Война приняла затяжной характер. Солдаты голодали, страдали от вшей.

Брат Эдуард окончил городскую школу, а так как учился он хорошо, учителя посоветовали ему идти в реальное училище или в гимназию. Но матушка сказала: «Откуда взять денег?» — и пристроила его учеником в лавку, надеясь, бедняжка, что по крайней мере хоть один из нас будет сыт. Но, кроме повидла из свеклы и маргарина, он никогда ничего не приносил домой. Когда мы написали отцу, что Эда служит в бакалейной лавке, он ответил, что всегда мечтал обучить нас своему ремеслу, чтобы работать всем вместе. Но раз уж так случилось и нет конца этой войне — что делать. Бог знает, когда еще он вернется домой.

Как-то отец написал, что их распределили по немецким полкам и с ним теперь нет никого из старых товарищей, что готовится какое-то большое наступление и полк их подтянули к самому фронту, слышна даже канонада. Это было последнее его письмо. Потом мы стали получать обратно все наши письма, хотя номер полевой почты на них был обозначен правильно. На одном из вернувшихся писем стояло: «Verwundet, im Feldlazarett»[9], а затем пришло несколько писем с отметкой «Zurück, unbekannt»[10]. Мать, измученная заботами и переживаниями, каждую неделю ходила в канцелярию Красного Креста, и там в конце концов нам сообщили, что отец не вернулся в свое подразделение после боя у Гориции, очевидно, ранен и попал в полевой госпиталь. Но на этом сведения о нем обрывались, он, мол, числится без вести пропавшим, и никаких следов больше нет.

Во время войны не было дня, чтобы смерть не напомнила о себе. Мать то и дело приходила с известием, что на фронте кого-то убили. Мы постоянно видели печальные похоронные процессии. Да и гражданских стали хоронить чаще, чем прежде. Они умирали от голода и дистрофии, от туберкулеза и тифа. Все это не могло не коснуться и меня. Наше детство было совсем другим, не таким, как у старшего поколения, которое еще могло наслаждаться идиллией мирного времени.

А мне, можно сказать, особенно «повезло»: на каждом шагу я сталкивался больше с неприглядными, чем с радостными сторонами жизни. Мало того, горе я видел не только в жизни — и в книжках, которые тогда попадали мне в руки, речь шла о том же.

Книги сыграли в моей жизни решающую роль. Несравненно большую, чем в жизни моих сверстников, которые тоже много читали, или тех друзей и товарищей, с которыми я обменивался книжками.

Я начал читать очень рано, еще в то время, когда отец был с нами. Даже война не изменила моего доверительного отношения к книге. Возможно потому, что в Писеке, как ни в одном другом городе, все прямо-таки дышало литературой.

Совсем маленьким я читал взятые из детских библиотек чудесные сказки о рыцарях и принцессах с золотой звездой во лбу, о водяных и заколдованных лебедях, которые превращались в прелестных красавиц, о глупом Гонзе, который провел самых хитрых хитрецов, о Гулливере и Уленшпигеле и о многом, многом другом. Эти книги прекрасно иллюстрировали Артуш Шайнер и Венцеслав Черный{27}. Я очень любил рисунки этих художников. Но по воле судьбы мне в руки чаще попадали книги о том, о чем я вовсе не хотел читать. Это были печальные истории о безрадостной жизни людей, которую я сам хорошо знал, трагические и печальные случаи из судеб бедных детей, потерявших родителей и выросших у жестоких и эгоистичных людей. Как часто в этих книгах речь заходила о смерти! И ее жестокость отнюдь не смягчалась никакими героическими поступками, она была ненужной и бесполезной. Я читал эти книжки при тусклом свете керосиновой лампы. А когда приходилось экономить керосин, то портил глаза при мигающем пламени свечи. Все это были истории людей, которые теряли и никогда уже не находили друг друга. Грустный рассказ о подростке, который катался по замерзшему пруду и утонул, оттого что под ним проломился лед; о мальчугане, который влез на дерево за птичьими яйцами, упал и разбился; о том, как сова выклевала одному шалуну глаза; как бродячие цирковые артисты увели ребенка, которого не могли прокормить родители. Тоску и уныние наводил сам вид этих книжек: грязные, потрепанные переплеты, расползавшиеся корешки, пожелтевшие страницы с мелким, плохо отпечатанным текстом, оборванные углы, подклеенные оберточной бумагой, закрывавшей часть строчек…

Позже мне попала в руки «Бабушка» Божены Немцовой{28}. В этой книге все изображалось такими светлыми красками, что не пугала ни печальная кончина Викторки, ни смерть бабушки.

Книга стоила крейцер, и на последней странице обложки крупным шрифтом было напечатано: «Пейте ячменный кофе Витачека! Приготовляется на сахаре. В качестве рекламного товара продается ниже стоимости».

Потом я стал брать книги у Ванеков. У них были роскошные

издания. Жюль Верн и Карл Май{29}. Из прочитанных книг я узнал о таких героях, как Сайрус Смит, капитан Грант, Робур-Завоеватель, Михаил Строгов, капитан Немо, Виннету, Олд Шеттерхэнд, д'Артаньян и т. д. Ждали меня встречи и с подлинными героями далеких путешествий — Нансеном, Скоттом, Эмилем Голубом, Свеном Гедином, Свердрупом, Пири{30} и т. д.

Зачитываясь книгами, я с удовольствием уплетал противный хлеб, который выпекался из картофельной муки или овса, проглатывал цикорий «Энрило», настолько сладкий, что его можно было есть просто так, или грыз турнепс, которым в другое время пренебрегал.

Жюля Верна и Карла Мая я знал почти наизусть. И Купера, Мариэта, Сальгари, Дюма, Лондона, Хаггарда и Сенкевича, Серошевского и Асолана{31}. Правда, этих писателей я читал уже после войны.

Из книг я черпал знания, которых не в состоянии была дать мне школа. Я знал, где находятся Скалистые горы, где расположен Норфолк, Огненная Земля, Кордильеры, мыс Горн и остров Робинзона, где Колорадо, Порт-Гурон, Балеарские острова и река Святого Лаврентия, Юкон, Тимбукту и Тулаги. Где остров Пасхи, Маркизские острова и архипелаг Туамоту. Мне было известно, кто такой Кортес, Монтесума, Стенли и Ливингстон. Кто такой капитан Кук, Станко Враз или Пржевальский{32}. Что представляет собой саванна, дюны, что такое рея, секстант, наветренная сторона, пассаты, географические координаты — широта и долгота. Я умел сигнализировать, пользоваться шифром графа Монте-Кристо, сплел из веревок для белья лестницу, подобную той, по которой поднимался и спускался Пенкрофт из «Таинственного острова». Я мастерил луки и самопалы, учился разжигать костер без спичек, ориентировался в Хартуме, хорошо представлял себе весь бассейн реки Замбези. Никто лучше меня не мог рассказать о восстании Махди{33}, о том, как лишился головы Гордон{34}.

Однажды мне случайно попалась книга в чудесном переплете. Она называлась «Страдания молодого Вертера». Целый вечер я в отчаянии пытался понять ее смысл. Читал и читал, но так и не понял. Это была первая книга, содержание которой осталось для меня недоступным. Я даже рассердился: значит, существуют произведения, читая которые человек может вообще ничего не понять. Я решил отомстить книге за ее измену и выдрал из нее все страницы. А в обложку вложил другую — «Капитана Коркорана», которая начиналась с семнадцатой

страницы и, естественно, не имела титульного листа, но была моей собственностью.

В шестнадцать лет я написал стихотворение:

Я знаю, по жизни пойду одиноко,
пойду одиноко по белому свету,
спокойно отдамся теченью потока,
мятежные мысли развею по свету.

Я писал и другие стихи. О том, как ложится на поля снег и над лесами и лугами летают вороны, как склоняется над рекою верба и шумит вода, а также стихи на исторические темы. Меня вдохновил на это Вацлав Бенеш-Тршебизский{35}. Но такие стихи мне не очень удавались.

Лучшие из своих стихов я показал приятелю из реального училища. Он переписал их и позже опубликовал под своим именем в альманахе, который издавали ученики этого училища.

Еще до войны в одной из кривых улочек вроде тех, что изображал на своих картинах Алеш, меня однажды остановил поэт Адольф Гейдук. Голосом, звучавшим словно из иного мира, он сказал:

— Так, так. А твой отец, скажу я тебе, орешек!

— Может, он был под хмельком? — спросил отец, когда я рассказал ему о встрече.

С моими представлениями о поэте это никак не вязалось.

А Гейдук и в самом деле ходил со своим приятелем из одного кафе в другое и частенько бывал навеселе. Иногда его сопровождала целая вереница мальчишек. Они смеялись над ним — должно быть, потому, что незаурядные души по неведению иных вообще нередко становятся мишенью насмешек и издевок. А Гейдук добродушно вскидывал палку, будто грозя шалунам и собираясь броситься на них, а сам улыбался в свои по-стариковски длинные усы. Он очень любил детей и вообще был добряк, муху бы не обидел.

Я взрослел. Миновало детство и отрочество. Но девизом, который звучал в моем стихотворении, я так никогда и не руководствовался. С годами мятежные мысли все более и более одолевали меня. Они налетали на меня, точно неодолимый вал, они ввергали меня в свою стихию. Я отдавался ей, и в этом бешеном водовороте моя жизнь обрела свой собственный смысл.

В семнадцатом году стало голодно уже повсюду. Паек снова урезали. На мельницах ничего нельзя было купить даже из-под полы. Зерно постоянно конфисковывали. Однако в городе

незаконная торговля процветала вовсю. И цены были непомерные. Лавки зияли пустотой, полки оставались пустыми, закрома выметенными. На складах голодали мыши. На пайки давали самую плохую муку, какую только вообще можно было себе представить. Кто знает, как ее делали, может, из диких каштанов или желудей. Из нее ничего нельзя было приготовить. Кнедлики превращались в скользкое, черное, неприятно пахнущее варево, тесто булькало в печке точно каша, а хлеб и лепешки крошились, и ни за что не удавалось выпечь их с корочкой. Пекари злились и ругались — из такого теста вообще ничего не сделаешь. Рынок наводнили суррогаты. Всевозможные заменители табака, масла, кофе, искусственный мед, суррогат маргарина, рома, пиво из пырея, повидло из свеклы и турнепса. Ткани из волокна крапивы.

Мясо, которое продавали в лавках, походило на дохлятину. От него исходил отвратительный запах, а суп получался мутным, как помои. Хоть полдня вари, а мясо все равно останется жилистым и жестким, как резина, и его невозможно разжевать. Некоторым людям жилось, правда, хорошо. Они богатели на войне, у них всего было вдосталь. А простые труженики относили в деревни последние пиджаки, чтобы обменять их на толику картошки. В окопах голодали солдаты, гибли от дизентерии и тифа.

Зимой нечем стало топить. Уголь был редкостью. Им топили главным образом больницы, школы, фабрики. В школах то и дело объявлялись каникулы. Из-за недостатка угля, из-за болезней. Людей все больше охватывало беспокойство. Перед городским управлением, купеческими лавками, мясными магазинами толпами собирались женщины. Они жаловались на жизнь и уже не остерегались, что их кто-нибудь может подслушать. Им было все равно, арестуют их или нет. Война приняла окопный характер, и ей не было конца. Газетам больше никто не верил. Нарастал хаос, поезда ходили как попало. Открыто говорили о том, что Австрия дышит на ладан, что империя держится на волоске, раз уж ей приходится отправлять на фронт стариков и детей, у которых еще молоко на губах не обсохло. Семнадцатилетние юноши проходили военную подготовку и прямо со школьной скамьи отправлялись в действующую армию.

Как-то из Дратовской мельницы Вайля на вокзал везли муку. На площадь выбежали женщины, забрались на воз и сбросили несколько мешков. Тотчас со всех сторон высыпали люди и поспешно начали наполнять мукой сумки, корзины, а то и просто фартуки. Пока жандармы явились, от муки остался лишь белый налет на мостовой. На углах домов появились указы и объявления, запрещавшие собираться на улицах, угрожавшие

строгим наказанием за неповиновение. На фабриках и заводах вспыхивали волнения. Чудилось что-то зловещее в шуме и рокоте табачной фабрики. Учащенный, озлобленный пульс цехов и мастерских бросал пурпурный отсвет на ограбленный и обездоленный войной, но непокоренный город. Бунтарский дух фабрики витал над улицами города, разжигая в людях мятежную ненависть к австрийской монархии. Женщины с табачной фабрики уже давно не боялись жандармов. И ненавистный начальник жандармерии Кольский, завидев их, пускался наутек. Толпы народа заполняли улицы и площади. Все чаще и чаще вспыхивали демонстрации и протесты против голода и войны.

Город неузнаваемо изменился. На нем уже не лежала печать страдания, как в первые годы войны. Что-то гневное, угрожающе непокорное сквозило в его облике. Жизнь его обитателей проходила теперь больше на улицах, была полна бурных событий, уличных столкновений с вооруженными властями. Судьбы отдельных людей утрачивали свой смысл. Они сливались с судьбой всего народа. Людей объединяла общая беда, страдание, обида, общая ненависть, общее стремление положить конец завшивленной и проклятой жизни.

Вместо старого императора, скончавшегося год назад, правил брандисский драгунский офицерик{36}, слывший гулякой и пропойцей. Перед его мутным взором неудержимо разваливалась империя Габсбургов.

Солдаты, приехавшие в недолгий отпуск с фронта, не хотели возвращаться назад. Они скрывались по домам и в лесах, образуя «зеленую» армию дезертиров. Отца разыскивал Международный Красный Крест, отделения по розыску военнопленных в Вене, Бауэрнмаркте, но все безрезультатно. Количество пропавших без вести, убитых, раненых и больных все росло и росло. Под новые лазареты переоборудовались еще незанятые школы, неудержимо разрастались кладбища, где хоронили тех, кто так и не смог оправиться от ран войны.

Женщины ходили разъяренные, точно волчицы. Жизнь научила их жить в самых тяжких условиях, без всяких сантиментов. Очень изменилась и наша мать. Она уже не плакала. Это тяжелое время по-своему закалило ее. Она тоже умела теперь быть злой. Ее мучила одна-единственная забота, которой в ту пору были одержимы все матери, — чтобы мы не умерли от голода и не случилось бы с нами какой беды.

Старая мораль, которую война вывернула наизнанку, распалась. Царившие до сих пор порядки рухнули. Почтение к власти сменилось ненавистью и сопротивлением. Тяжкому экзамену подвергалась религия. Ведь зачинщики войны тоже

целовали распятие и молились за мир. Но молитвы не помогали. Война деморализовывала людей, отупляла их, делала черствыми. С одной стороны, пышным цветом распускались эгоизм, грубость и бессердечие, с иной — люди научились понимать горе других. Страдания укрепляли в них волю к сопротивлению, объединяли несчастных, способствовали зарождению новой морали, новых воззрений.

Первого мая 1918 года распахнулись ворота табачной фабрики. Неудержимым потоком хлынули рабочие, чтобы влиться в городскую демонстрацию протеста против войны. Когда колонна демонстрантов, громко скандируя лозунги, проходила мимо гимназии и реального училища, ученики старших классов, распахнув настежь окна, приветствовали их. «Идите с нами!» — раздались голоса женщин. Директор и некоторые из учителей пытались удержать юношей. Но они покинули классы и присоединились к демонстрантам. Война ускорила процесс их духовного становления. Многие из них писали стихи и статьи, издавали размножаемые на стеклографе журналы, живо интересовались событиями, происходившими в России. Одним из студенческих вожаков был шестнадцатилетний А. М. Пиша{37}. Демонстранты вышли на площадь. Начались выступления. Потом грянули песни «Красное знамя» и «Где родина моя»{38}.

И наконец настало 14 октября{39}.

На Малой площади, на ступеньках старого барочного изваяния девы Марии, где когда-то обнаженный до пояса доктор Александр Соммер Батек{40} показывал собравшимся, как нужно правильно дышать, потрясая своей книгой о гигиене и правилах питания, которую он вытащил из лежавшего тут же рюкзака, — на этих самых ступеньках стоял теперь высокий незнакомый мужчина в темной одежде и громко и вдохновенно говорил о всеобщей забастовке. И когда на башне пробило десять часов и стихли звуки ударов, всегда так пугавшие галок, которые гнездились на башне и всякий раз начинали при этих звуках кружить над крышами, человек в черном с торжественным выражением лица, срывающимся голосом возвестил многотысячной толпе о том, что в этот момент на развалинах бывшей Австро-Венгерской империи перед лицом всего мира рождается независимая и свободная Чехословацкая республика. Так общее государство чехов и словаков сбросило с себя путы столетнего рабства.

С песнями мы направились к императорско-королевскому, как его раньше называли, земскому управлению, чтобы вместе со всеми начать новую страницу истории. Мы сразу же принялись

сбрасывать железных орлов. Это повторялось у каждого казенного здания. Мы были веселы и счастливы, чувствовали себя участниками событий, менявших судьбу родины. Потом мы пристегнули к пиджакам и пальто трехцветные ленточки, которые можно было купить в лавке пана Нитше, и ходили по городу вместе с ликующими толпами. Встретив солдата, у которого еще осталась на фуражке знаменитая кокарда с инициалами ФИ I[11], мы окружали его и дружелюбно убеждали: «Что ты этого орла носишь? Да сбрось ты его!» На сторону республики стал и бургомистр города Вацлав Шпирганзл, и все патриотически настроенные представители городских властей. Старые австрийские служаки были растеряны, не зная, чем все это кончится. Известия о таких же событиях приходили из Праги и многих других городов.

Ночью в Писек прибыли венгерские солдаты. Они заняли спящий мирным, счастливым сном город и, опасаясь дальнейших событий, расставили на площади и по улицам посты с пулеметами. Полиция тем временем арестовала множество людей, тех, кого она считала зачинщиками в попытке свергнуть габсбургский трон, и отправила их в местную тюрьму. Когда ранним утром люди появились на улицах, было уже не до торжества и веселья. И все-таки каждый понимал: что-то сломалось и старые порядки доживают свои последние часы. В городе воцарилась зловещая тишина. Но вскоре напряжение спало, и люди начали вступать в разговоры с венгерскими солдатами. В тюрьму одна за другой отправлялись депутации, чтобы повидать заключенных, и тюремная стража охотно отодвигала засовы и впускала их в камеры. Никто уже не верил, что Австрия устоит. Война была проиграна, и окончательный крах империи стал лишь делом нескольких дней.

Приходили известия о перемирии, об условиях капитуляции, открыто говорили о мятежах и освободительном движении за границей, чехословацких легионах во Франции, России и Италии, о Масарике{41} и Вильсоне.

Приближалось 28 октября{42}.

Я вспоминаю некоторые подробности этого незабываемого дня, они сохранились в моей памяти подобно радужным, сверкающим осколкам. Мужчина в сокольской форме на балконе ратуши размахивает саблей. Венгерские солдаты уезжают домой, их провожает на вокзале чуть ли не половина города. Толпы людей на улицах и площадях. Толпа перед земским управлением, из окон выбрасывают служебные бумаги и черно-желтые флаги, а мы ловим их внизу и с ликующими криками рвем в клочья.

— Долой Австрию!

— Будь проклята ненавистная монархия!

— Сгиньте, проклятые Габсбурги, вся ваша прогнившая династия!

— Да здравствует республика!

Дни бежали один за другим. В Писеке появились первые легионеры из Италии, в шляпах с орлиными перьями, а с ними и Матей Срнка, наш сосед по дому Райнера. С французскими легионерами в синих униформах и широких плоских беретах возвратился в город и дядя Вольф, призванный в армию вместе с нашим отцом.

Газеты читались в ту пору с нетерпением. Известия, одно занимательнее другого, сыпались как из рога изобилия. Люди жадно рассматривали фотографии тех, кого тогдашние газеты превозносили как борцов за свободу. На газетных полосах красовался генерал Штефаник{43} и другие. Я пытался срисовывать портреты Масарика и Вильсона с плакатов Властислава Гофмана{44} и наводнил ими всю улицу, размножая со скоростью конвейера. Иногда мы мастерили из тряпок чучела Франца Иосифа I и Вильгельма и вешали их на фонарях. Какой-то чудак вырядился в кайзеровский мундир, нацепил на голову шлем с султаном и играл на шарманке на площади.

Изо дня в день мы ходили на вокзал и с нетерпением ждали прибытия очередного эшелона с солдатами. Мы заглядывали каждому из них в лицо, догоняли тех, кого нечаянно упустили и не рассмотрели, — не отец ли? Мы не могли дождаться почтальона, — может, и для нас у него есть письмо? Снова и снова нами овладевало чувство страха, тоски, подавленности и надежды. Ведь теперь-то отец мог написать нам! Мы все время вспоминали его сказку о волшебном прутике. Ведь должен же он написать, если жив, в плену или в каком-нибудь легионе. Должен написать! И опять неопределенность, новые тревоги и новые надежды, боязнь обмануться в ожиданиях. И страх, что однажды наступит день, когда мы узнаем правду. Хотелось надеяться, верить, что отец вернется и все будет по-прежнему.

Нет, не по-прежнему. Не надо себя обманывать. Разве можно забыть все пережитое? Все, что произошло? Из памяти и сердца ничего не вытравишь. Но жизнь, которая придет, будет лучше той, что ушла в прошлое. Должна быть лучше! Уже никто не будет испытывать страха за судьбу своих близких. Никто не будет бояться, что умрет от голода. Никто не пойдет на войну проливать кровь!

А что, если отец не вернется? Нет, мы даже боялись подумать об этом. Он придет, он нашел свой волшебный прутик. Ведь столько солдат возвращается! Они приезжают каждый день,

многие даже не ждут отправки своих частей и покидают фронт на свой страх и риск. Все они нашли свой волшебный прутик! Они привозят с собой массу вещей, которые подобрали где-то по дороге. Их ожидает новая жизнь. На вокзалах солдат встречают члены сокольских и разных добровольческих организаций, которые отбирают у них все, что они везут. Во имя республики, братья!

Уже нет Австро-Венгрии, нет войны, настал конец старому миру. Есть только республика! Только от нас зависит, чтобы она стала раем. И республика обращается к своим гражданам: жертвуйте золото и драгоценности в золотой фонд.

А куда подевался последний император, красноносый пропойца? Этот никудышный монарх, размазня, с его Зитой{45}, которая нарожала ему столько принцессят? Куда подевались его генералы, все остальные Габсбурги? Неужели никто из них так и не объявится? Куда исчезли уездные начальники, жандармы, полицейские, тюремщики и шпики? Целые толпы канцелярских чиновников, на которых покоились основы империи?

У нас республика, но, как и прежде, в холодных очагах не горит огонь, а на столах — пусто. Невозможно только ликовать и радоваться — этим сыт не будешь. Есть по-прежнему хочется. И приближается зима.

Начались погромы еврейских лавок. Это евреи виноваты в том, что ничего нет. Нейманова якобы пела в уборной гимн «Где родина моя». Вы только посмотрите на нее, бесстыжую! У евреев все есть. Что им сделается!

Были разграблены лавки у Нейманов, у Кафки, у нашего домовладельца. Я видел человека, бегущего по улице с огромной охапкой зонтиков. Из лавки наших хозяев вынесли все, до последней нитки. Неужели они виноваты в том, что нечего есть, нечем обогреться? Откуда взялись эти грабители, второпях уносившие зонтики, целлулоидные воротнички, накрахмаленные бюстгальтеры и ткани из волокна крапивы? Что это за люди?

Какая-то разъяренная женщина вбежала через ворота к нам во двор, вся красная, с растрепавшимися волосами, и, задрав юбку чуть ли не до пояса, начала набивать в подол краденые вещи. Матушка схватила палку и набросилась на нее:

— Ах ты, бесстыжая, лубочные твои глаза!

Бедржишка Кон сидела у нас в комнате, тряслась от страха и плакала:

— Они не только ограбили лавку, но и забрались к нам наверх, в квартиру, и растащили приданое Олинки…

— Вы видели эту стерву? — не могла успокоиться матушка, еще кипевшая от гнева. — Я никогда никого не обидела, а эту

тварь готова была растерзать.

— А что это за люди, мамочка?

— Кто их знает… — нахмурилась мать.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, для меня распахнулись двери городской библиотеки. И я на всю жизнь благодарен ей за то, что смог столько почерпнуть из открывшегося мне глубокого кладезя мудрости. Беспорядочным потоком в мою душу хлынули новые впечатления. Я познакомился со многими известными тогда писателями — Арцыбашевым, Д'Аннунцио, Бальзаком, Бергсоном, Чарской, Лемонье, Лоти, Махаром, Марденом, Райсом, Вальтером Скоттом, Марком Твеном, Зикмундом Винтером, Запольской{46} и другими поэтами и прозаиками мировой и чешской литературы. В таком же приблизительно порядке я и читал их.

Я брал сочинения классиков, которые Отто{47} выпускал тогда в серии «Мировая литература», руководствуясь обычно списком, публиковавшимся на последних страницах изящных оранжевых книжечек этой серии. А о книгах издательства Вилимека{48} я узнавал из иллюстрированного каталога, который сам по себе читался с большим интересом.

Ежедневно ходил я в городскую читальню. Там было много газет и журналов, и зимой можно было подолгу сидеть в тепле и уюте. В читальню приходили многие знакомые мне по гимназии и реальному училищу молодые люди: Пиша, Вокатый, Стожицкий, Освальд, Вольф. Заглядывали туда и старушки, отдохнуть за чтением. Мы злились на них. Возьмет такая старушка какой-нибудь журнал и не выпустит его из рук, пока не прочитает от корки до корки. Или дремлет над газетой, которую нам тоже хочется прочитать.

Антонин Матей Пиша в это время уже писал небольшие политические заметки в социал-демократические газеты и подписывался прозрачной криптограммой, состоящей из его инициалов — Амп. Национал-демократы{49} печатали в его адрес гневные реплики и доносили на него в школьный городской совет. Учащимся тогда строго запрещалось писать в журналы, как и принимать участие в политических демонстрациях, митингах, выступлениях. Пишу, красивого молодого человека с густой копной волос, можно было встретить на собраниях и в театре, на представлениях бродячих актерских трупп, которые довольно часто заглядывали в Писек. Каждый день он появлялся на главной улице города, где любили прохаживаться горожане, окруженный верной свитой одноклассников, которые восторгались им и так же, как и он, лелеяли честолюбивые мечты — хотели стать

поэтами, писателями, журналистами. Пиша был самым талантливым из них. Его небольшие статьи порождали недовольство, и сам он вызывал к себе раздраженное внимание благонамеренных, добропорядочных обывателей, которые с большим удовольствием лишили бы молодых людей малейшей возможности иметь собственное суждение и собственные мысли. Они особенно ополчились против Пиши потому, что «этот талантливый ученик, сын директора ссудной кассы из Волыни, позволяет себе опуститься до такой степени, что симпатизирует большевикам и социалистам».

Я прочитывал все, что попадалось мне под руку, однако далеко не из всего извлекал пользу. Некоторые книги казались мне слишком учеными или специальными, у меня же не было никакой подготовки, а только желание докопаться до сути вещей и как можно больше узнать о мире и о жизни. Я говорю о том времени, когда мое внимание привлекли книги таких авторов, как Дюркгейм, Рескин, Смайлс, Карнеги, Уэллс, Кант, Шопенгауэр, Ницше, Зомбарт, Торо, Мильтон{50} и многие другие. Некоторые из их произведений я вообще не понял, например книгу Бергсона «Творческая эволюция». Но это отнюдь не отпугнуло меня, во всяком случае, до такой степени, чтобы навсегда потерять интерес к сочинениям этих авторов. Со временем я стал более осторожным в выборе. Правда, это стоило мне больших усилий и терпения. Но ведь я сам хотел без всякой посторонней помощи составить хотя бы приблизительное представление о проблемах жизни, ее духовных ценностях и научиться ориентироваться в море печатной продукции. Сбежав из слесарной мастерской, куда меня пристроила было матушка, я снова беспомощно и долго решал, как быть дальше. Оставаться дома без дела я не мог. Необходимо было что-то предпринять.

Куда только матушка не ходила со мной, какие только не обивала пороги. Мне не хотелось быть ни портным, ни фотографом, ни пекарем, я не хотел служить ни в магазине канцелярских товаров, ни в москательной лавке. Вот если бы вернулся отец, все решилось бы гораздо проще. Я научился бы у отца его ремеслу, и не было бы никаких хлопот. Больше всего меня привлекали профессии, связанные с железом, металлом. Но в слесарных мастерских хозяева уже успели набрать учеников. Я мечтал стать механиком, чинить швейные машины и велосипеды. Но и это не удалось. Кровельщик из меня тоже не получился бы — на высоте у меня начинала кружиться голова. По этой же причине я не стал ни плотником, ни трубочистом. Не задумываясь, я пошел бы работать в типографию. Однако туда вообще невозможно было пробиться.

Наконец после многих безуспешных попыток и хлопот я пошел в торговое училище, что совсем мне не нравилось. Мне хотелось что-нибудь мастерить, и уж меньше всего меня привлекала торговля. Но и в это училище не так-то просто было попасть. Матери пришлось изрядно побегать, прежде чем меня приняли. Она ходила к разным торговцам, членам торговой общины, просила и ходатайствовала, обзавелась протекциями, напоминала о том, что отец мой погиб на войне, пускалась на всякие уловки, чего она и вовсе не любила делать.

Училище помещалось в старых казармах под ратушей. Мальчишек там было немного, и мы терялись среди девочек, все они казались нам прекрасными. Мой классный учитель, раздобревший и щеголеватый Йозеф Квасничка, носил синий костюм и ботинки с широкими носами, которые называли «дерби» или «берсон». В начале двадцатых годов такие ботинки часто мелькали в паре с узконосыми длинными дамскими лодочками, когда танцевали модный шимми.

Я не любил заниматься торговыми расчетами. Не любил конто и двойную бухгалтерию. И раз уж мне пришлось избрать занятие, прямо противоположное моим склонностям, я пытался отвести душу на уроках торговой корреспонденции. Занимаясь этим предметом, мы могли — при условии, что будем писать красивым почерком и отступив на три пальца от левого края страницы, как нас учили, — отправиться по воле воображения в любое путешествие, вступая в качестве доверенных лиц в контакты с придуманными нами фирмами. Мы предлагали им на выгодных условиях и без промедления различные товары, даже бразильские орехи или первосортный бразильский кофе сорта «сантос» в запломбированных мешках, через Гамбург и со значительной скидкой при оптовой закупке. Благодаря коммивояжерской изворотливости, предприимчивости и ловкости мы сопровождали составы в тысячу вагонов, груженные кофе, до зарубежных портовых городов и бороздили моря на кораблях, в трюмах которых перевозились ценные продукты, следовавшие в Европу. Или отправляли в заморские страны знаменитый жатецкий хмель, придающий пиву тот горький привкус, которому обязаны своей всемирной славой пльзеньские марки пива «Приор» и «Гамбринус».

Но больше всего я любил уроки чешского языка и литературы. Их преподавал нам известный эстетик и теоретик искусства танца доктор Эмануэль Сиблик{51}.

Если наш классный руководитель был златоустом и читал лекции экспромтом, то доктор Сиблик, напротив, не отрывался на уроках от своих записей. Он читал курс чешской литературы с

древнейших времен. Литературные труды эпохи средневековья, объяснял он, были по большей части результатом политических событий, литература той поры выражала религиозные устремления чешского народа. Слово в слово мы записывали все это в свои тетради и так же, слово в слово, должны были уметь повторить.

Сиблик был ученым, писал стихи. Одно из его стихотворений, прославлявших Францию, декламировалось, правда не очень уверенно, во время представления в писецком театре. Его читала Руженка Гайгерова, по-моему самая красивая девчонка нашего класса. Я до сих пор вижу, как она в кисейном платьице порхает по сцене, словно испуганный мотылек, взмахивает руками, будто крыльями, и читает изумительно звучащим, чуть высоким голосом:

> Наш красно-белый флаг сегодня обручен
> с твоими красками, о сладкая Франция!

А наш классный руководитель Квасничка втайне мечтал стать министром торговли и поэтому пошел преподавать в торговое училище. Он был активным членом национал-демократической партии, в которой заправляли магнаты промышленности и торговли. Уже с первого класса он буквально вбивал нам в головы принципы свободного предпринимательства и конкуренции и отсылал к книгам, которые, по его мнению, были своего рода евангелием для людей преуспевающих. «Империя бизнеса» Карнеги, «С улыбкою добудешь мир» Мардена, «С азов. Письма разбогатевшего торговца сыну» Лоримера{52}. Он обращал наше внимание на зажигательно написанную книжечку путешественника Яна Гавласы{53}, рассказывавшую о наших якобы правах на заморские колонии. Однако мировая политика оставалась для нас еще китайской грамотой. Хотя мы и ходили на многие политические собрания, где выступали Густав Габрман, Вацлав Клофач или доктор Карел Крамарж{54}, нас гораздо больше, чем содержание речей, увлекал темперамент ораторов и тот пафос, с которым они разносили своих политических противников.

Художественная литература была ближе мне потому, что о ее корифеях я много слышал прежде в доме Райнеров, потому, что наш город, о котором я веду рассказ, в отличие от других городов мог гордиться своими достойными литературными традициями.

Я окончил торговое училище, и предо мной снова встал вопрос, что же дальше. Мои одноклассники, приехавшие из

деревень, давно уже подыскали себе работу. Они устроились на теплые местечки в канцеляриях городских предприятий и небольших фабрик и закладывали основы своего многообещающего будущего, поглядывая исподтишка на хозяйских дочек, которые из длинноногих нескладех превращались в очаровательные создания, становились украшением танцевальных вечеров и предметом внимания неловких почитателей. А я тем временем просиживал дома и писал одно прошение за другим, откликаясь на всевозможные объявления о вакантных местах, писал столько, что рука уставала. Я с нетерпением ждал, когда после обеда откроется местная читальня, чтобы жадно наброситься на газеты. Передовицы меня уже не интересовали. Я только беглым взглядом окидывал стихи, не обращал ни малейшего внимания ни на статьи, ни на сообщения о событиях, которые движут миром. Пропуская все, что интересовало других читателей, я погружался в отдел объявлений газеты «Народни политика»{55} и возвращался домой, окрыленный тысячами новых надежд, с карманами, набитыми выписками и адресами. И снова, в который раз, принимался писать письма, хотя никто никогда не ответил мне даже отказом.

На столе мигала керосиновая лампа, и матушка ворчала: «Глаза испортишь, будет тебе».

Мне было шестнадцать лет, а я, в общем-то, еще ничего не умел делать, разве что немного печатал на машинке, постиг основы бухгалтерского учета и торговой корреспонденции и с грехом пополам знал стенографию.

Вместе с матушкой мы ходили в отделение Пражского кредитного банка, чтобы выхлопотать там для меня место практиканта. Любезный директор принял нас с чопорной благосклонностью. Он спросил, владею ли я английским и французским языками в такой степени, чтобы мог объясниться или написать письмо, на что матушка ответила:

— А сами-то вы умеете, пан директор? Где ж ему было научиться?

И пришлось нам откланяться.

В это время я брал уроки французского языка у милой и ласковой барышни Людмилы Блоховой. Она давала уроки бесплатно, так как мама убиралась у Блохов. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с каким терпеливым старанием она относилась к занятиям со мной, ее нежную беспомощность и какое-то испуганное лицо, ее страдальческие губы и робкое, застенчивое разочарование в моих способностях. Однажды, когда мы снова на чем-то застряли, она спросила меня, не хотел ли я

устроиться в канцелярию к Дворжачекам, и добавила, что очень советовала бы мне это.

— Видите ли, у них не особенно платят, это все знают. Зато у вас была бы практика. Ведь когда есть за что зацепиться, легче искать и другое место. Вы поймите, школа не так уж много вам дала. Только основы. Чаще в жизни все случается иначе, чем вас там учили. Нужны навыки канцелярской работы, без этого вам не обойтись. А потом найдете что-нибудь получше.

Подыскать что-нибудь получше я, естественно, хотел. Но еще я понял, что на хорошее место так просто не попадешь, путь к нему труден и извилист. Недолго раздумывая, я отправился к Дворжачекам.

Принял меня пан Рудольф Дворжачек-младший, а потом пан Ярослав, его брат, а еще я познакомился с симпатичной и весьма темпераментной барышней Белой Дворжачековой. Поначалу я даже не понял, сколько у меня хозяев и сколько обязанностей, которые я должен исполнять за обещанные сто крон в месяц. Моим главным хозяином все же был сам пан Рудольф, управляющий отелем. Он же выплачивал мне жалованье. Владельцы отеля занимались также почтовыми перевозками. Поэтому обслуживающий персонал состоял не только из официантов, горничных и прислуги, кухарки, прачки и уборщицы, но и кучера. Вместе с барышней Белой я записывал выручку и выдачу, вел книгу учета гостей и каждое утро ходил с ней в полицию для регистрации, нарезал старые газеты на четвертушки для уборной в пивном зале, отпускал по утрам овес кучерам, помогал разливать вино в подвале и распаковывать посуду, пересчитывал приборы. Сидел я за большим американским письменным столом, прислушиваясь к гулким шагам в вестибюле. Слева от меня, у окна, сидел пан Ярослав. Он был занят продажей лотерейных билетов, комиссионными и еще какими-то делами, смысл которых постичь я никак не мог. Его стараниями канцелярия гостиницы превращалась в поле деятельности, весьма далекой от ее прямого назначения. Пока я был в хороших отношениях с паном Ярославом, я часто помогал ему. Ставил печати на лотерейные билеты, писал адреса на конвертах, носил на почту деньги. Как-то раз пан Ярослав создал торговое представительство по продаже клеящего порошка для фарфора, которому дали название «Диамант». И я собирал в мусорных ящиках осколки битой посуды, которые мы пробовали склеивать этим порошком. Но у нас так ничего и не получилось. Зато налет этого порошка был повсюду: на столах, на книгах, на полу, порошок, казалось, висел в воздухе. Мы чихали и кашляли, как истые работники генерального представительства подобного рода

предприятий. Пан Рудольф, заломив руки, с выражением отчаяния на лице выбегал из отеля, чтобы глотнуть свежего воздуха. В другой раз канцелярия превратилась в оптовую базу по продаже кислой капусты. У пана Ярослава появилось предчувствие, что он заработает бешеные деньги. И он нанял агентов, которые бодро разъезжали по всей Чехии и присылали ему заказы на целые вагоны этой капусты. Но вдруг обнаружилось, что они продают ее дешевле оптовых цен и что пан Ярослав в чем-то просчитался. В итоге вместо солидного куша получилось много крику, оскорблений и всякого рода угроз. Агенты требовали денег и оплаты дорожных расходов. Однако этот печальный исход уже не особенно интересовал меня. Потом составлялась городская адресная книга, но и в этом я не принимал участия, как и в затее перепродавать обувь военному ведомству, когда в канцелярии мы то и дело спотыкались о солдатские ботинки. Не раскладывал я больше и лотерейных билетов. Пан Ярослав хотел во что бы то ни стало сделать из меня торгового агента, но я наотрез отказался, как и от предложения продавать пуговицы, взятые им на комиссию. Тут уж он вышел из себя, и пути наши окончательно разошлись. Пан Ярослав страшно ругал меня, уверяя, что я, если б захотел, многому мог бы у него научиться. Другой, мол, на моем месте был бы ему благодарен, но один бог знает, что у меня в голове. Так пускай же я теперь покорплю да попрыгаю, а он еще посмотрит, что из меня получится. Я чувствовал себя оскорбленным до глубины души и пожаловался пану Рудольфу. А тот мне посоветовал:

— Ничего для него не делайте. Вы служащий отеля. Разве он заплатил вам хоть крону? Нет. Ну так вот, если у вас не будет никаких дел, пойдите лучше и отдохните в кафе.

В гостинице жила большая группа учеников школы Шевчика{56}. Сынки богатых американцев и англичан, веселые и живые юноши, которые вывезли из родной страны шаловливые замашки богатых детей Запада. Они, например, когда бывали ярмарки, покупали детские дудочки и дудели в них, как дикари. Или накупали жестяные кастрюли и мутовки, а потом гуськом шествовали по городу и устраивали такой тарарам, что хоть уши затыкай. Однако среди них находились и такие, для кого важно было не только свидетельство об окончании школы славного маэстро, они хотели по-настоящему овладеть искусством игры на скрипке и посвятить музыке всю свою жизнь. Это были талантливые избранники. Я вспоминаю длинноволосого Резника, который потом женился на Беле Дворжачековой и еще накануне второй мировой войны, получив место профессора

консерватории, уехал куда-то в Соединенные Штаты.

Профессор Шевчик был старый добрый господин, он носил темные очки и каждый день в любую погоду семенил мелкими шажками по берегу Отавы, отправляясь на свою любимую прогулку в сторону трактира «У Сметака»; трактир стоял на самом краю леса, под Градиштским холмом. Было там удивительно хорошо. Посетители сидели обычно за круглыми столиками под высокими деревьями. Они добирались до трактира меньше чем за полчаса. Сразу за мостками вдоль всего берега сидели рыболовы. То и дело кто-нибудь из них бросал на траву свой улов — леща или плотвицу, а иногда и порядочного карпа. В реке водилось множество окуней и мелкой рыбешки, но рыбаки ее просто выбрасывали. Вода была чистая, проточная, она потихоньку плескалась в густых зарослях ивняка. В те времена еще не строили столько заводов, которые так неосмотрительно спускают в реку отходы. И она выглядела очень живописной. За островом виднелась белильня, где отбеливали холсты, а бревна источали запах сырого, душистого, гладко ошкуренного дерева. Пройдя под железнодорожным мостом, миновав сады и огороды, вы оказывались около рыбных садков, над которыми нависали густые ветви яблонь, и у городской водокачки. А отсюда уже рукой подать до трактира «У Сметака».

У профессора Отакара Шевчика там было свое место — небольшой круглый столик. Здесь он обычно сидел и слушал, как шумят вековые деревья, как расходится и гудит лес. Профессор сидел и что-то записывал на листочках нотной бумаги, возможно, то, что родилось в его душе в эти блаженные минуты.

— Пан профессор, — обратилась однажды к нему матушка, когда он поравнялся с белильней, — будет гроза. Не вернуться ли вам домой?

Он остановился, посмотрел вокруг отсутствующим взглядом и произнес:

— Хорошо, я, пожалуй, вернусь.

И засеменил обратно к городу.

Имя Шевчика знал весь мир. Пожалуй, трудно найти другого такого учителя, который бы воспитал столько выдающихся скрипачей-виртуозов. Колония учеников Шевчика в Писеке состояла из представителей самых разных национальностей — американцев, русских, поляков, англичан, югославов, болгар и чехов. Однако не все они жили у Дворжачеков. Очень часто, идя по улице, вы могли увидеть в окне самого обычного дома молодого человека, разучивающего сложную скрипичную пьесу. Скрипачей, которые жили в гостинице, я знал хорошо. Они часто заходили ко мне в канцелярию без особой надобности, просто

так. Я служил у Дворжачеков уже второй год и за это время успел хорошо познакомиться с ними. Они-то и давали мне первые уроки английского языка. На втором году пан Рудольф повысил мне жалованье до двухсот крон в месяц. Но меня так и подмывало подыскать себе новое место. Пан Ярослав со мной не разговаривал, а у пана Рудольфа, видно, сложилось мнение, что я буду служить ему до конца дней своих.

Однажды он проговорился относительно своих планов. Пан Рудольф сказал, что очень рассчитывает на меня и даже намерен скоро купить мне форму. Это страшно напугало меня. Я потерял покой и сон, с ужасом представляя, как буду вышагивать по Большой площади в этой самой форме швейцара и на голове у меня будет красоваться фуражка с надписью «Гранд-отель Дворжачек».

Мне тотчас захотелось убежать.

И как можно скорее!

Я написал министру социального обеспечения Густаву Габрману письмо, в котором подробно изложил историю жизни нашей семьи и обратился с просьбой помочь мне устроиться на какую-нибудь работу. Министр ответил, что будет рад помочь, если появится возможность. Я ждал с нетерпением. Но время шло, а известий не было. Тогда, захватив письмо, я сел в поезд и отправился вместе с одним своим знакомым прямо к министру. В приемной у меня взяли письмо, но к министру не пустили. И пошли узнавать, как со мной быть. Потом мне сказали, что пан министр очень занят, но он помнит обо мне и просит еще немного потерпеть. Я возвратился домой с самыми неопределенными чувствами и мучился ожиданием, чем все это кончится. Сдержит ли министр свое слово? А пока я заказал себе ботинки за триста крон и по-прежнему ходил на работу в отель Дворжачеков, резал на четвертушки старые газеты, носил в полицию книгу регистрации приезжающих, выдавал в подвале овес для почтовых лошадей.

Наконец я получил уведомление из Праги. Оно было из министерства социального обеспечения. Для меня подыскали место в Братиславе, в Управлении помощи пострадавшим от войны.

Я ехал в Прешпурк, как называлась раньше Братислава, целый день и еще ночь. Это было двадцать второго октября 1922 года.

Восемь лет назад в ту же самую пору отправился в Прешпурк со своим полком мой отец. У меня до сих пор сохранились открытки, которые он посылал нам: длинный желтый безлюдный

берег, сине-голубой Дунай, железнодорожный мост через реку, у берега суда, на верху холма Град — замок, похожий на перевернутую кровать.

Я уже дважды отказывался ехать в Братиславу и все надеялся, что попаду в Прагу. Это была моя мечта. И я едва не оказался там. Несколько моих одноклассников сумели устроиться в пражской почтовой сберегательной кассе. Мною тоже интересовалась экспедиторская фирма на Рыбной улице. Но я не подошел им по возрасту. Место занял кто-то постарше. Я мог устроиться туда практикантом. Но при царившей в Праге дороговизне мне едва ли удалось бы прожить на 300 крон в месяц.

Меня определили в канцелярию, где начислялись пенсии вдовам и сиротам. Старший чиновник прошел со мной по кабинетам и представил меня сотрудникам отделов. Среди них были и отставные генералы, которые выполняли мелкую работу, а распоряжались ими бывшие легионеры — сержанты и десятники. За годы войны на фронте они получили высокие гражданские чины. Один из чиновников согласился приютить меня, пока я не подыщу квартиру. У меня точно камень свалился с плеч.

Я жил у этого милого человека почти два месяца с двумя другими служащими из нашего управления. Довольно далеко от города. Деревянный домик стоял в Горском парке, возле Шулековой дороги. Там было чудесно. Печи мы топили сухим хворостом, умывались дождевой водой, а ночью, когда поднимался ветер, слушали, как шумят деревья.

Порою мне казалось, что мы живем как Робинзоны. Мы сами готовили себе завтраки и ужины, а поев и убрав посуду, отдыхали. Мои товарищи закуривали, а я читал им «Повести южных морей» и «Чудеса и волшебство индийских факиров». Первый месяц, который я провел на узеньком диване, где мог спать, только поджав ноги, был божественно спокойным, словно прекрасный фильм. Но эти безмятежные дни убывали так же быстро, как колбаса и коньяк, которые я привез с собой из дому.

Потом я нашел недорогую и простенькую комнатку на Крижовой улице, в двух шагах от службы, напротив паровой мельницы и недалеко от казарм конной полиции, откуда выезжали на откормленных лошадях такие же откормленные и плечистые стражи первой республики, в касках и с саблями, если требовалось разогнать какую-нибудь демонстрацию или коммунистический митинг на Рыбной площади.

Вход в мою комнату был со двора, через небольшую темную переднюю, в которой лежала и вечно охала сестра моей хозяйки,

злая и немощная старуха, братиславская немка.

Комната освещалась керосиновой лампой, а за водой и в уборную приходилось ходить во двор. Двери не запирались, и, когда нас не было, в комнату мог зайти кто угодно и унести все, что ему вздумается. Зато хозяйка держала небольшую лавочку, что имело свои выгоды. Мы могли покупать здесь молоко, хлеб, масло и разные другие продукты. Если случалось, что денег не было и не оставалось ничего другого, как затянуть потуже ремень, хозяйка соглашалась отпускать нам продукты в долг. Зато потом мы расплачивались сполна.

На завтрак и ужин я по большей части пил молоко. Иногда я заходил в железнодорожную столовую «Имку», неподалеку от вокзала, где подавали недорогое какао и крутили затрепанные киноленты с участием Фербенкса и Эдди Поло. Длинный деревянный барак остался, видно, еще со времен войны и служил в прошлом казармой. Там стояли в ряд некрашеные столы и длинные скамейки, а посреди пылала жаром огромная чугунная печь. Во время морозов здесь было тепло. На стене висело много разных газет и журналов, за чтением которых при желании можно было коротать время.

По ночам мне снились кошмары. Я слышал мольбы и просьбы о помощи. Со времени моего приезда в Братиславу прошло уже три месяца, а я снова думал только о войне. Я сызнова переживал то время, когда у нас дома ни о чем другом не говорили, кроме как о том, что кого-то убили на фронте, кто-то умер, кому-то оторвало ногу, с кем-то случилось несчастье.

Я вообще уже перестал верить, что в жизни есть и светлые стороны, что где-то люди смеются, любят и радуются, что есть среди них и такие, которым незнакомы заботы, горе, страдания.

Мой угрюмый сосед-железнодорожник вставал в шестом часу утра, зажигал лампу и обливался холодной водой. Я вскакивал с постели вслед за ним. Меня трясло от холода, так как мы не топили, в комнате не было печки. Холодная вода, которой я ополаскивался над жестяным тазом, сразу же сгоняла сон. Я одевался и бежал через двор за молоком, в нашу лавчонку. Хозяйка наливала мне пол-литра в кувшин, потом я покупал еще хлеб и, вскипятив молоко на спиртовке, приступал к завтраку. Служба в управлении начиналась в половине восьмого.

С Крижовой улицы ветер гнал мокрый снег в сторону Вайнорской дороги. Он гнул и ломал черные ветви кленов, и казалось, вот-вот вырвет их с корнем. Я накидывал на себя рыжее английское пальтецо, доставшееся мне от Резника, уже довольно поношенное, с оборванными карманами, и торопился на работу.

За зданием казарм полиции мостовая кончалась, а на Вайнорской дороге обычно была непролазная грязь, так что к управлению служащие подходили, насквозь промочив ноги. Торопливо проскользнув через главный вход, мы расходились по своим отделам. Советник Фриц прохаживался по коридорам и выслеживал опоздавших.

С половины седьмого утра перед управлением собирались толпы вдов, инвалидов и матерей, у которых дети остались без кормильца. Как только служитель Оришек открывал дверь, вся эта гудящая, дурно пахнущая толпа протискивалась внутрь, расплескивая по всем углам убогость и бедность и заполняя все свободное пространство. Высокие пронзительные голоса женщин разносились над лестницами и строптиво спорили с мужскими голосами, это напоминало схватку рассерженных петухов. Низкие мужские тона сливались с надсадным хриплым и удушливым кашлем. Женщины были одеты в короткие широкие черные юбки с многочисленными фалдами и складками, на ногах у них были сапоги, а голову и плечи покрывали плотные шерстяные платки. Среди них были старые и молодые — с черными, туго стянутыми в пучок волосами. Некоторые привлекательные, даже красивые, но и они, как видно, по-прежнему продолжали тянуть лямку своей горькой вдовьей судьбы. От строгого и скорбного выражения их лиц становилось не по себе. Мужчины нередко были в старых военных мундирах, в пальто, перешитых из шинелей, почти на каждом было что-то, напоминавшее о войне.

В Управлении помощи пострадавшим от войны.

Эти несчастные стекались сюда со всех концов Словакии, и по одежде, по лицам, по выговору я скоро научился распознавать, из каких краев и мест они приехали. Я безошибочно определял, что вот эти женщины — из Гемера, эти — из Шариша и Липтова, а эти — из словацких районов, граничащих с моравскими, и из венгерских деревень — близ Житного острова или Комарно.

Были здесь также братиславские вдовы из самых разных районов города: с Цигельного поля, из бараков на окраинных улицах, с кривых улочек под Градом, из вонючих и грязных лачуг старого города, где царили нищета, отчаяние и голод.

Многие из этих людей приезжали в Братиславу напрасно. Достаточно было просто обратиться в нотариальную контору. Они сберегли бы время, сэкономили бы потраченные на дорогу деньги и купили бы себе сахар и соль. Но они ехали и ехали, несмотря на то что для многих из них мы ничего не могли сделать. Они набивались в канцелярию, распространяя вокруг себя прокисший запах пота, совали нам последнюю курицу или десяток яиц, тайком и неуклюже вылавливали из сумок жалкие дары, уверенные, что без взятки никто для них и пальцем не шевельнет. А их печальные глаза становились еще печальней, когда мы отказывались от этих подношений. Они непонимающе смотрели на нас и пытались прочесть по нашим лицам, смеют ли они хоть немного надеяться, что и без одариваний и жалоб мы разберемся в их деле.

По средам в управлении устраивались врачебные осмотры. На них вызывали тех, кто претендовал на пособие по инвалидности. Их осматривал наш врач, доктор Кнот. На основании диагноза комиссия определяла затем группу инвалидности. В эти дни с самого раннего утра от главного вокзала вниз по Шанцовой улице тянулись толпы калек. За четыре года после войны многое уже успело забыться, а эти несчастные вновь напоминали о страшном прошлом. С первого же взгляда становилось ясно, что это не просто инвалиды. Они были словно чужими в этом мире, где большинство людей уже не хотело даже думать о войне, желало жить в покое и радости. И вдруг появились эти убогие, точно призраки, вставшие из могил.

Это было тяжелое зрелище. Те, кто встречал их, опускали глаза, краснели и словно стыдились, что сами они здоровы и руки и ноги у них невредимы; они никогда не наживались на людском горе, но в то же время не хотели, чтобы эти калеки тревожили их совесть, напоминали о позоре человечества. Люди не хотели больше думать об этом позоре, хотя так и не были устранены причины войны. Возможно, поэтому наше управление и было вынесено так далеко за город — чтобы эти несчастные люди, живое воплощение ужасов войны, не оставались на виду, у всех на глазах. Невзрачное здание одиноко стояло посреди огромного поля, а вокруг виднелись только рытвины, трава и кусты, которые яростно трепал холодный ветер.

Инвалиды плелись от вокзала по направлению к Вайнорской дороге, стуча протезами по мостовой, на каждом шагу как-то

странно раскачиваясь всем телом. Тащились, опираясь на костыли, шли безрукие, с пустыми рукавами пиджаков и пальто, шли изможденные туберкулезом, слепые, нащупывая мостовую палками, шли опаленные ипритом, с лицами, изуродованными осколками гранат, с руками, изувеченными пулями «дум-дум», шли контуженные взрывами мин, дергаясь на ходу, словно в пляске святого Витта. Они затравленно оглядывались по сторонам, на их лицах были написаны стыд, отчаяние, страх и ощущение вины, что они выжили и не погибли в пекле боев, вернулись с фронтов, избежали братских могил и теперь вот совершают нечто постыдное, доставляя хлопоты тем, кто занят сейчас совсем другим. Они словно бы стыдились того, что напоминают людям о прошлом, которое все хотят забыть. Их погасшие бесцветные глаза напоминали глаза мертвых, которые тысячами полегли в бойне на Дрине, у Тарнова, в трясине Мазурских болот или в Доломитах.

Шанцова улица, грязная, сонная, с временными бараками и одноэтажными развалюхами, с тучами пыли и мусора, который ветер гнал вниз к блюментальскому кладбищу и скотному рынку, — эта самая Шанцова улица, подобно сточной канаве, несла несчастных, искалеченных войной людей, выбрасывала их на Вайнорскую дорогу, которая вела к нашему управлению.

Врачебный осмотр делал каждую среду особенно тяжелым днем. По зданию разносился зловещий стук протезов и костылей по ступенькам лестниц. Их размеренные, гулкие удары били по нервам. А осмотры казались нескончаемыми. Большинство этих людей были недовольны полученной группой инвалидности, размерами пенсий. Они снова подавали жалобы и прошения, чтобы им позволили прийти на комиссию для нового освидетельствования. И этому не было конца.

И когда, казалось, должна наступить передышка, управление начинало вызывать на осмотр новые группы инвалидов войны, которые считались лишь временно нетрудоспособными. Им тоже досталось от войны, но по закону получалось, что после всего пережитого они каким-то чудом поправятся. Управление походило на гигантскую мельницу, где все крутилось и перемалывалось. Если несчастный инвалид умирал, что было обычным явлением, все его бумаги переправлялись непосредственно в наш отдел, и мы уже принимали на себя заботу об оставшихся близких, вдовах и детях.

Мой стол, покрытый зеленым сукном, стоял у окна, и каждое утро на нем громоздились горы прошений о помощи. Я разыскивал документы, запрашивал свидетельства о смерти, писал во всевозможные военные инстанции, перепроверял,

действительно ли тот, за кого полагалась пенсия, погиб на фронте или умер позже от полученных ран. От этой однообразной работы я не мог избавиться даже ночью. И во сне я продолжал разыскивать бумаги и документы, мне снилось, будто я тону в них. От всего этого у меня раскалывалась голова: свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, справки об инвалидности, справки из полиции и нотариальных контор о совместной жизни тех, кто не был зарегистрирован в официальном браке, и т. д. и т. п.

Я входил в жизнь людей, ворошил прошлое их семей, копался в их семейных делах, горестях и несчастьях, заглядывал в их кастрюли, в супружеские кровати, внебрачные постели. Я должен был знать о них все, от первого до последнего дня их жизни, — о каждом просителе, о каждой вдове, как это предписывал закон. Я шагал по фронтам войны, выходил из боя у Пшемысла, у Равы Русской, мерз в Карпатах, ходил за скользким, вязким, как замазка, хлебом по окопам у Пьявы, разыскивал братские могилы, залитые известью, заглядывал в гробы и, как Фома неверующий, совал персты в еще не зажившие раны.

— Немного терпения, мать, мы выясним, не тревожьтесь.

— А когда?

— Скоро. Вот пришлет нотариус нам бумаги да из полиции получим справку. Идите домой, мамаша, вы получите от нас извещение. Подождите еще немного.

Жизнь вдруг раскололась для меня на два мира. На прекрасный мир искусства и на будничную, безрадостную действительность, полную забот и печалей… Мир уже забыл о войне, а я все еще жил переживаниями вдов, которые ходили к нам в канцелярию. Восемьдесят тысяч словацких вдов! При одной лишь этой мысли у меня перехватывало дыхание. И когда кто-нибудь без всякого злого умысла спрашивал меня о моей работе, я тотчас вспоминал о них. Стоило мне сесть к письменному столу, как голова моя сразу же наполнялась их заботами. И письма из дому напоминали о войне. Пускай даже одним только словом. Но и этого было достаточно. Я изо дня в день ходил мимо казарм, выстроенных в годы войны. При всем желании я не мог забыть о ней. Собственно, она кормила меня, хотя уже много лет прошло с тех пор, она давала мне работу. И зло иногда оборачивается добром. Смерть одних позволяет жить другим. Но подобная философия была не для меня. Чем больше война напоминала о себе, тем больше я ее ненавидел. Я оставался едва ли не единственным человеком, который не мог выкарабкаться из нее. Каждый день я проходил мимо мест, где бывал отец. Вместе с ним

стоял на посту, бродил по улицам, где некогда ходил он, погруженный в свои мысли. Я невольно думал о нем, даже если и не хотел. Он был вот здесь, на этом мосту, по этой дороге добирался до Петржалки, искал вот этот банк. Все это я хорошо знал по открыткам, которые мы от него получали со штампом «Levelező-lap»[12] и надписью: «Pressburg» или «Pozsony»[13]. Я не мог, не умел избавиться от мысли об этой проклятой войне. А другие сумели. Играла музыка. Рекой лилось вино. Мир предавался буйному веселью, отплясывая на могилах миллионов павших. За внешней позолотой, за близорукой беззаботностью, за сумбурной сутолокой бесшабашного веселья начали снова подниматься зловещие тени.

Я сам не знал, чего хотел. Был недоволен собой. Жизнь казалась мне столь же беспросветной, как и раньше.

Однажды я прочел в газетах, что в адвокатской конторе доктора Баржинки у Михалской арки состоится литературный вечер, на котором молодые поэты будут читать свои еще не опубликованные стихи. Я жил в Братиславе уже два года, но пока не познакомился ни с одним писателем. Вечер поэзии был удобным поводом для этого. Мне давно хотелось узнать, как писатели выглядят. Когда я увидел некоторых из них собственными глазами, например поэта Адольфа Гейдука, А. М. Пишу или Вацлава Кршку{57}, мне стало намного ближе то, что они писали. Я лучше стал понимать каждое их слово, а иногда мне даже казалось, что некоторые свои стихи они писали словно бы для меня.

На этом вечере я познакомился с Милошем Ирко, Эмилем Болеславом Лукачем и Яном Смреком{58}. До той поры я не представлял себе, что читать стихи можно и в канцеляриях. Люди чувствовали себя здесь свободно, каждый садился там, где хотел. Один устроился в углу, другой за письменным столом, третий облокотился на книжный шкаф с юридическими справочниками. Среди собравшихся суетился устроитель вечера и приносил все новые и новые стулья. Взволнованные поэты ждали начала вечера, нервно затягиваясь сигаретами и робко поглядывая на публику. Все знали друг друга, только я был здесь чужим. В противоположном углу, должно быть чувствуя себя так же неловко, сгорбившись, сидел Лацо Новомеский{59}.

В ту пору я мог считать себя уже искушенным читателем. И меня не так-то просто было удивить. Незадолго перед тем я купил у Микшика «Непонятного святого» Пиши и «Пантомиму» Незвала»{60}. «Пантомиму» я читал и перечитывал несколько вечеров подряд, буквально не расставаясь с ней. Так что у меня

сложилось уже представление, что такое настоящая поэзия…

Мне нравились отнюдь не глубокомысленные рассуждения о душе и тому подобных вещах, а полные озорства стихи Незвала, Сейферта{61} и Пиши.

Очень часто мне казалось, что поэты дурачат читателя и любым способом хотят отличиться от своих предшественников, против чего я, в общем-то, не возражал. Со временем я стал умнее и проницательнее, начал понимать, что и в мнимом озорстве порой гораздо больше глубины, чем кажется, что и эта поэзия выражает определенные процессы, которые позднее, через годы будут изучены и поименованы.

В литературе и, возможно, в искусстве вообще всегда существуют как бы два мира, которые противостоят друг другу. Иногда они взаимопроникают, вступая в некий духовный компромисс, что, конечно, плохо, но по большей части соперничают между собой, в результате чего возникает напряженность и борьба, которые искусству гораздо нужнее, нежели тишь да гладь. В борьбе особенно нуждается искусство молодое, создаваемое молодыми людьми, которые надеются лишь на свои силы, дружно устремляясь к солнцу, как молодые деревца в лесу. Потом наиболее способные из них становятся на собственные ноги и поплевывают на групповые программы. Это повторяется и всегда будет повторяться в самых разных формах, потому что новое и старое всегда соперничают между собой. Одни стараются сохранить существующее положение вещей, другие выступают провозвестниками перемен в людях и в жизни.

Новомеского я часто встречал на главной улице. Бледный, с прядью волос, свисающей на лоб, всегда с книгами под мышкой — таким он надолго запомнился мне. Было это в ту пору, когда он начал доставлять немало хлопот издателям из «Младо Словенско»{62}, которые полагали, что мышление людей можно ограничить административными рамками.

По вечерам на главной улице обычно прогуливалась вся молодежь Братиславы. Зажигались огни в кафе, над площадью Гвездослава поднимались первые звезды, а с Дуная дул приятный освежающий ветерок. И в самом этом ветерке было что-то от нашей расходившейся, неуемной молодости.

После Новомеского редактором «Младо Словенско» стал И. К. Милло, поэт, юрист, вожак студенческой молодежи и блестящий скрипач. Когда у него было настроение, он брал скрипку у одного из скрипачей оркестра в «Астории» и способен был довести до изнеможения весь цыганский ансамбль. Милло напечатал две мои статьи, одну о фильме, а другую, довольно путаную, о новом искусстве. А Лацо Новомеский исчез из

Братиславы. Он уехал в Остраву, где стал работать в редакции словацкой «Правды»{63}. Вскоре вышла книга его стихов «Воскресенье».

Я тоже уже напечатал несколько стихотворений в журналах и познакомился с Яном Смреком, который в свою очередь свел меня с Нижнянским, а тот с Тилковским{64}. У Тилковского я встретился со Светликом{65}, который курировал приложение к «Правде» — «Пролетарску неделю», где печатались Илемницкий, Поничан, Окали, Краль{66} и Новомеский. Цепная реакция ширилась: каждый день я знакомился с каким-нибудь новым художником, поэтом, артистом, писателем. И вскоре знал уже всех представителей творческой интеллигенции Братиславы.

Помню, в первом номере журнала «Дав»{67} мне очень не понравилась статья Войтеха Тилковского. Он утверждал, что искусство застыло на мертвой точке. Мне казалось, что Тилковский все необычайно упростил и что на смену старому, переживающему кризис искусству приходит новое, коллективистское искусство, назначение которого — быть искусством новой жизни. Сильное впечатление на меня произвел тогда Волькер{68}, и его теоретические статьи я принял без колебаний, хотя друзья Волькера уже начали отказываться от них.

Еще в Писеке я стал задумываться над тем, почему большинство писателей тяготеет к коммунизму, почему в рядах коммунистов оказались С. К. Нейман, Иван Ольбрахт и Зденек Неедлы{69}. Эти размышления и пример выдающихся деятелей чешской культуры способствовали тому, что вскоре коммунизм стал и моим жизненным убеждением. Благодаря этому я по-новому и гораздо глубже начал понимать и искусство. Я уже далеко ушел от того первого упоения литературой и миром искусства, когда мы с Тилковским, Нижнянским и Урбаном{70} бродили по ночной Братиславе, от «Фемины» к «Федоре» и от «Урании» к «Патрии», чтобы потом, покинув душные кафе и бары, отправиться в ресторан на открытом воздухе у подножия Града, где южные братиславские ночи отражали свет своих звезд в наших бокалах с абсентом, а мы без устали продолжали говорить об искусстве и литературе.

Как раз в это время из Парижа приехал Ян Роб Поничан. Его книга «Я есть, я чувствую, вижу, люблю свет и только тьму ненавижу» была встречена с негодованием. Написанная молодым человеком, она взволновала гладь литературной жизни Словакии. В этой книге было еще немало от юношеской задиристости, но по сравнению с тем, что тогда печаталось, она выделялась новизной. Она была совершенно новой по духу и по форме и наряду с некоторой бравадой и вызовом отличалась смелостью нового

поэтического взгляда на мир, отвагой, с какой поэт открыто примыкал к социалистической революции. Старые господа почувствовали в этой книге опасность, угрозу самим основам их мира. Непозволительным было и то, что молодой поэт не делал различия между искусством и политикой и первым попытался совлечь словацкую поэзию с ее возвышенного трона. Это было дерзко и непростительно. Поничан кощунствовал над самой святостью поэзии, позволяя себе водить ее по улицам и фабрикам, наполняя стихи лозунгами, призывами, восклицаниями. Умные головы напрасно старались призвать к порядку этого деревенского парня из Очовой. Напрасно пытались они давать ему добрые советы вроде: какое нам дело до классовой ненависти? Нас, словаков, и без того мало, не лучше ли нам сплотиться! Тревожную тенденциозность первой книги Поничана они объясняли его вспыльчивостью и его заблуждениями. У Поничана была горячая кровь, и отеческие наставления только усиливали его неуступчивость. С горячностью детванского парня{71} ринулся он в пламя полемики и журнальных сражений. Он был поэтом рабочих, пролетариев, и его мало беспокоило, что думают о нем респектабельные господа, открывшие по нему огонь критики. Казалось бы, что еще мог желать для себя молодой пламенный поэт-трибун? Газеты и журналы слишком много шумели о начинающем писателе, вокруг его имени создавались легенды. И это было для него хорошей рекламой.

Карикатура на Яна Поничана.

Из Праги в Словакию вернулись Даниэль Окали, Владимир Клементис и Эдуард Уркс{72}. Наступили шумные и бурные годы, насыщенные динамикой коммунистического движения молодежи, которое во многом определило характер всей общественной жизни Братиславы. Энтузиазм молодых коммунистов, этой небольшой тогда еще группы людей, увлек и многих честных деятелей старшего поколения, не только Йозефа Грегора Тайовского и Гану Грегорову, но и Душана Маковицкого, Яна Бородача{73}, многих художников и архитекторов.

Все вдруг изменилось. Старое начало терять почву под ногами. Лукач увлекся стихами Рембо, читал Риктюса{74} и Вийона, и его поэзия стала гораздо конкретнее. Иван Горват{75} обосновался в «Метрополке» и начал коллекционировать граммофонные пластинки с негритянскими и гавайскими песнями. Он заводил нам Джека Хилтона{76} и читал отрывки из

книги «Виза в Европу», которую тогда еще только писал. В верхнем этаже «Астории» Мило Урбан писал на осьмушках бумаги свой роман «Живой бич», а чуть поодаль мы с Урксом, впервые применив прием фотомонтажа, делали обложки для книг Джона Рида «Десять дней которые потрясли мир» и Синклера «После потопа», которые Уркс и перевел.

Вскоре в Братиславу приехали из Праги Фулла и Галанда{77}, молодые художники с четко выраженными эстетическими взглядами, и под их влиянием словацкое изобразительное искусство обрело новые широкие горизонты. Их таланты не перекрещивались. Это были две совершенно разные художественные натуры. Фулла был живописцем, любившим яркие краски. Его картины захватывали своей необычайной эмоциональностью и изобретательной композицией. Галанда был больше график. В его полотнах, написанных маслом, преобладали нежные полутона. Они восхищались Пикассо, Паулем Клее{78}, Шагалом, но оба всегда оставались словацкими художниками, и народная жизнь, по-новому выраженная, присутствовала в каждом их произведении.

Братислава вдруг наполнилась художниками, поэтами, архитекторами, скульпторами, писателями, актерами, танцовщицами и композиторами. И неудивительно, что я покинул свою канцелярию на Цигельном поле. На улицах, в кафе, винных погребах, ночных кабаре, лекционных залах и аудиториях разных обществ, в местах дискуссионных встреч и собраний, в трамваях, частных квартирах, в парках и в картотеке полицейского управления — всюду звучали и мелькали имена представителей нового искусства. Новые люди, новые имена и новое искусство были у всех на устах. Люди словно начали говорить новым языком.

Первого мая я фотографировал кордоны полицейских, и у меня отобрали фотоаппарат. Когда на следующий день я пришел за ним на Шпитальскую улицу, полицейский чиновник, рассматривая на свет проявленную пленку, все время приставал: «Признайтесь, вы фотографировали нас с марксистскими целями?»

Из своего путешествия в Киргизию{79} возвратился жизнерадостный, веселый Петр Илемницкий, а из восточнословацких «пустошей» приехал учительствовать в Пески-под-Модрой долговязый Франё Краль.

Повсюду веял свежий, стремительный ветер. Нам страшно хотелось действовать, работать. И от всего этого дух захватывало.

«Боон» была старой списанной шхуной, которую

переоборудовали под кафе. Корпус ее выкрасили белой краской, на берег перекинули крутой трап. Получилось очень уютное кафе. Половина палубы была застекленной, а на открытой корме стояли круглые столики под зонтиками, которые обвевал приятный ветерок, шелестевший листвой тополей на набережной напротив казарм саперного полка. За кормой катил свои воды Дунай, вниз, к железному мосту, к «Элизеуму», к Житному острову и дальше к Комарно. На противоположном, петржалском берегу виднелись гигантские старые вязы и клены, за ними был парк, футбольное поле, заводская узкоколейка и венгерская граница.

Братиславская Замковая лестница.

В «Брооне» подавали очень вкусный кофе. Мы собирались там обычно после пяти. Приходили дависты и знакомые завсегдатаи, иногда заскакивали и артисты Словацкого национального театра. Здесь можно было увидеть Яна Поничана, Франтишека Вноучека, Франё Краля, иногда сюда заглядывали Даниэль Окали, Андрей Багар и Иша Крейчи, а также режиссер Виктор Шульц{80}. С

актерами мы водили дружбу. Среди них было много наших добрых приятелей. Они охотно выступали на вечерах, когда нам хотелось украсить программу художественным чтением. Бездичек вместе с нами разучивал «Песню о Соколе» Горького. Это был первый в Братиславе концерт хоровой декламации, организованный еще до того, как мы услышали о «Войсбенде» Буриана{81}.

Постоянными посетителями «Боона» были Феро и Ленка Санто, Карел и Вера Светликовы, без которых «Дав» никогда не стал бы «Давом». Они выполняли ту невидимую миру работу, о которой едва ли кто знает и без которой журнал так же немыслим, как без статей. На их попечении была доставка материалов и рассылка журнала. Они вели картотеку читателей и подписчиков, договаривались о публикации объявлений в журнале и добывали деньги для оплаты типографских работ, придумывали всевозможные формы пропаганды и рекламы, вели бухгалтерский учет в редакции этого издания, которому мы отдавали всю свою энергию, рожденную молодостью и революционным энтузиазмом.

«Дав» был журналом, который издавала небольшая группа людей. Вначале они не имели никаких средств для его издания. Журнал выходил исключительно благодаря их самоотверженности, горячей преданности коммунистическим идеям, благодаря людям, которые этими идеями жили и готовы были ради них пойти на любые жертвы. И это чувствовалось в самом содержании, в самом духе журнала. Особым был и круг его читателей. Они не только читали, они любили свой журнал и делились с ним всеми своими заботами. Мы очень гордились отделом писем, без которых не обходился ни один номер «Дава». Подписчики писали нам не только из Словакии, но и из Канады и Соединенных Штатов Америки.

В истории журнала были и очень трудные периоды. Но это был единственный в своем роде журнал. Нынешние редколлегии журналов не знают и десятой доли тех трудностей, которые мы испытывали. Пожалуй, теперь вообще даже не представляют, как издавались журналы в то время: не знают, что номера составлялись урывками, по вечерам, ночами и, разумеется, безвозмездно. Журналы держались лишь на энтузиазме и самоотверженности тех, кто их издавал, кто писал для них, кто читал их. И кропотливую техническую, административную работу, от которой так много зависело, поскольку типографии ничего не печатали даром, за вас тоже никто бы не сделал.

Так издавался и «Дав». Поначалу он вышел в Праге как студенческое литературное обозрение. Первый номер появился зимой 1924 года, а второй — весной следующего года, а еще три номера, уже более скромные, год спустя в Братиславе. Потом наступил перерыв. И только через несколько лет «Дав» стал выходить снова, но уже в измененном виде, с новым содержанием, в ином оформлении. Из литературного журнала он превратился в культурно-политический ежемесячник, рассчитанный на более широкий круг читателей. Издание такого журнала наталкивалось на многие сложности. Прежде всего, огромных трудов стоило получить разрешение властей, нелегко было найти и дешевую типографию, которая согласилась бы печатать в кредит. Наконец, отыскать ответственного редактора. Он должен был заранее считаться с тем, что будет вести вечную тяжбу с властями, что в один прекрасный день его могут арестовать и посадить или он вынужден будет таскаться по судам из-за неоплаченных счетов, за которые его тоже могут упечь. А когда все это оставалось уже позади и журнал наконец выходил, начинались хлопоты с его реализацией, с распространением его среди покупателей и подписчиков. Ведь читали «Дав» люди, которые экономили каждый геллер и платили ровно столько, сколько могли. А некоторые вообще не в состоянии были платить, например безработные или бедняки с верховьев Грона, у которых часто не хватало денег даже на соль и спички. Разумеется, мы не обижались, что они задолжали журналу.

Ответственный редактор, которого мы все же нашли, откопал небольшую дешевую типографию на площади Республики и заверил нас, что там журнал будут печатать отлично. Владельцем типографии был братиславский немец. Он плохо говорил по-словацки и никогда не печатал таких изданий. В его типографии изготовляли пригласительные билеты на танцевальные вечера и свадьбы, уведомления о смерти и всевозможные рекламные листки и объявления, в которых текст обычно бывал невелик и на

которые вполне хватало его допотопной кассы с одним-единственным видом шрифта и заглавными буквами в стиле модерн, теми, что были в моде в эпоху расцвета цирковых афиш и реклам бродячих комедиантов.

Типограф этот нас вполне устраивал. И тем, что он мог вручную набрать столько текстов, сколько требовалось для журнала в шестнадцать страниц, и тем, что не боялся иметь дело с языком, которого не понимал. Он с удовольствием взялся за работу, и уже через месяц половина статей была набрана. Но самое трудное ожидало нас впереди, когда наступил сезон танцевальных вечеров и балов и владелец типографии, чтобы прокормиться, переключился на печатание пригласительных билетов. А так как его касса с буквами наполовину опустела, он вынужден был вынимать отдельные буковки из наших уже набранных статей и постепенно таким образом рассыпал набор. Через месяц мы вернулись к тому же, с чего начали. Мы испугались, что «Дав» вообще никогда не увидит света, что с таким типографом мы не выпустим ни одного номера. Он был вполне согласен с нами и расторг договор столь же охотно, как и заключил его. Потом мы перебрались в типографию «Словенска графиа». Она была гораздо дороже, зато располагала современным оборудованием, и мы могли теперь позволить себе всякого рода оформительские трюки, которым нас учили Карел Тайге и Ян Чихольд{82}.

Потом «Дав» еще не раз менял типографию. То его печатали в Праге, и ответственным редактором был Иван Секанина{83}, то в Бржецлаве, а позже в Прешове. Одно время типографская работа целиком легла на плечи Лацо Новомеского, который верстал журнал и ухитрялся одновременно писать основные статьи для номера, как это делал и Фучик, когда редактировал «Творбу»{84}. Фучик всегда хотел иметь в журнале материал о самых последних событиях. Он считал, что журнал не календарь и должен быть актуальным.

Около шести часов в редакции появлялся Владимир Клементис. Я уже не помню, служил ли он тогда в юридической консультации или уже имел свою собственную контору в Центральном пассаже, возле городского рынка, откуда позже перебрался на площадь Республики, женившись на светловолосой и ясноглазой Лиде Патковой.

Энергичной, размашистой походкой взбегал он по трапу, присаживался и вынимал из кармана неизменную трубку, которую посасывал с сосредоточенностью профессионального курильщика.

Какое-то время он молча вслушивался в нашу болтовню,

изредка бросая замечания, а потом ни с того ни с сего спрашивал:

— А что, в сущности, представляет собой метод Дзиги Вертова?

Он был большим ценителем советского кино и судил о нем со знанием дела. Наши власти тогда не очень жаловали советские фильмы. В то время как в других странах, хотя они и не питали симпатий к Советской России, эти фильмы все же демонстрировались, у нас прибегали к разным уловкам, чтобы их увидело как можно меньше зрителей. Обычно они демонстрировались в узком кругу, и организаторы таких частных сеансов обязаны были заранее представить полиции список лиц, которые приглашались на просмотр. Владо Клементис ездил смотреть советские фильмы в Вену. Там их свободно показывали на экранах. Консервативная Австрия могла позволить себе это, демократическая Чехословакия — нет. В те годы начиналась славная эра советской кинематографии. Она изумляла совершенно новыми художественными решениями. Ее представляли «Броненосец «Потемкин», «Генеральная линия», «Земля», «Желтый билет», «Живой труп», созданные Эйзенштейном, Довженко, Пудовкиным и другими, — и было о чем спорить. В фильм ворвалась новая жизнь, проникнутая духом революции, наполненная захватывающей правдой и образами, доносящими неповторимый пафос и атмосферу гигантской страны, превращающейся в прообраз будущего мира.

Клементис написал много статей о советском фильме. Он так же живо интересовался советским театром, со спектаклями которого познакомился во время посещения Москвы и Ленинграда.

В его конторе в Центральном пассаже жизнь продолжалась и после окончания рабочего дня. И здесь чувствовалась атмосфера революционных преобразований молодой Страны Советов. Это было просторное меблированное помещение с окном во всю стену. В течение дня оно превращалось то в адвокатскую контору, то в редакцию «Дава», то в жилую комнату, то в зал собраний, а потом в спальню. В нем стояла простая секционная мебель. Когда Клементис оборудовал свою контору, мы отнеслись к этому как к своему кровному делу. Его клиентами по большей части были коммунисты, которых он защищал на судебных процессах бесплатно и часто на свои же деньги покупал гербовые марки для их документов.

Клементис был среднего роста, широкоплечий, мужественного, спортивного склада. Он любил ходить на лыжах и, сколько я его помню, никогда не болел. Но как-то перед началом зимы он стал жаловаться на головные боли, которые

беспокоили его все чаще и чаще. Он решил покончить с ними раз и навсегда и лег в больницу.

Я навестил его там вскоре после операции — оказалось, головные боли были следствием старого, незалеченного воспаления лобной пазухи, которое он схватил, катаясь на лыжах во время сильного мороза под Кралёвой голей. Клементис лежал в постели с забинтованной головой. Сквозь повязку проступала кровь. На столике высилась гора книг.

Я взглянул на него и побледнел.

— Пойди подыши минутку свежим воздухом, — понимающе усмехнулся Клементис.

Я вышел и скоро вернулся.

— Тебя усыпляли, когда оперировали? — спросил я его, показывая на бинты.

— Да брось ты! — засмеялся он.

У меня был, должно быть, довольно испуганный вид, а он этим искренне забавлялся. А потом прибавил:

— Если у тебя есть время, я продиктую тебе статью.

Клементис обещал Тайге написать для журнала «РеД»{85} что-нибудь о советской кинохронике, о новых формах репортажного фильма. Я взял бумагу и ручку.

— Ну что ж, диктуй!

Мы все любили друг друга, в нас жила неукротимая энергия. Мы были неистощимы на шутки и выдумки, умели дружить и всюду имели друзей. И потому, что главным для нас оставалось наше дело, борьба за новый мир, которому каждый из нас предан был всем своим существом, мы не могли превратиться в сектантов, замкнувшихся в узком кругу групповых интересов.

Больше, чем собственные, личные интересы, нас волновала судьба бедных, угнетенных и эксплуатируемых, мы создавали новое искусство, проникнутое духом революции.

Писать мы только учились. Нам приходилось бороться с тем, что нам мешало, что затрудняло наш рост. Каждый учился на свой страх и риск. И несмотря на взаимопонимание, в вопросах искусства были беспощадны друг к другу.

Когда в журнале «Гост»{86} я опубликовал несколько стихотворений, их разделали в пух и прах. Образность не поспевала за мыслями, метафорика, хромая на обе ноги, отставала от динамики мира. Досталось мне и за первую книжку.

Так было не только со мной.

Все мы критиковали друг друга.

Даниэль Окали обрушился на стихи Лацо Новомеского, которые показались ему совсем нереволюционными, а я из тех же соображений ругал стихи Данё Окали. В свою очередь Владо

Клементис задал мне трепку за одобрительную статью о фильме «Земля поет» Карела Плицки.

И все эти баталии велись на страницах журнала, который мы издавали. На страницах «Дава».

Подшучивали мы и над Франё Кралем, который написал свой «Тернистый путь»{87} за три месяца.

А то, что Янко Поничан чуть ли не каждый месяц выдавал на-гора какую-нибудь новую рукопись, казалось нам еще более забавным.

Над Петром Илемницким мы посмеивались из-за его привязанности к деревне. Он действительно был «деревенским». В Братиславу он наезжал только как гость.

А еще нам нравилось спорить. Об искусстве и политике. В любой обстановке. В кафе и винных погребках. А больше всего в «Бооне». Там мы чувствовали себя как дома. Однако в «Бооне» велись не только умные и ученые разговоры. Мы забавлялись анекдотами либо подтрунивали друг над другом. У каждого из нас были какие-то свои, особые привычки, они-то зачастую и становились мишенью для острот и шуток, которыми мы потчевали друг друга. Поистине это была самая здоровая форма критики в собственном коллективе, выжигавшая в нас обидчивость, самодовольство и самонадеянность. А так как нам претила грубость, то критика эта никого не оскорбляла и не ранила, не подтачивала нашей дружбы.

Однако не только кафе «Боон» было нашим излюбленным местечком. Уютно чувствовали мы себя и в винных погребках на Угерской, Паненской, Ветрной, Дунайской и всюду, где мелькали лица знакомых из мира искусства.

Часто случалось, что где-то в углу кто-нибудь затягивал народную песенку, ее тотчас подхватывали и вскоре пел уже весь зал. У нас был свой репертуар. Мы пели о Яношиковых молодцах, стройных, как «алтарные свечи», потом переходили на разбойничьи вроде «Урсини Капусты», в которых милые просят своих возлюбленных-разбойников протянуть им руки, а они не могут, потому что их ведут под конвоем. Мы пели о том «широком поле, где позатерялась юнацкая доля» словацких переселенцев в Америке. Мы кощунственно корили господа бога «с высокого неба»: «Если дал ты нам зубы, то дай нам и хлеба». А потом, оставив драматические разбойничьи песни, настраивались на прекрасную, чистую лирику, какая живет только в народных песнях, где каждое слово будто умыто хрустальной, ключевой водой:

Будь вся суша бумагой,

сине море — чернилами,
все равно не запишем
то, что в сердце хранили мы[14].

Кроме отечественной литературы, мы читали в те годы много переводной — Морана, Карко, Сандрара, Силоне, Панаита Истрати, Ади, Киша, Эренбурга, Голичера, Зегерс, Дос Пассоса{88} и всю советскую литературу, от лефовцев до «попутчиков» и группы «Серапионовых братьев», читали в переводах Матезиуса, Горы, Кубки, Гаасовой и в оригинале{89}. Одно время самым близким был для нас Есенин из «Голубой Руси»{90}, его пейзажная лирика, его «Письмо к женщине», строки которого «За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша», нами воспринимались как выражение своего собственного глубокого чувства.

Мы вовсе не были праздными завсегдатаями кафе и винных погребков. Искусство и литература объединяли нас со всем левым и прогрессивным миром. «Дав» связывал нас со Словакией, политическая и общественная судьба которой находила отклик в наших сердцах.

Все, что происходило не только в Братиславе, но и на Кысуце, на Верхнем Гроне, в Кошутах и Нитре, мы переживали как свое кровное дело и во всем принимали деятельное участие.

Когда я окунулся в атмосферу искусства, мир стал казаться мне прекраснее, а действительность словно бы обогатилась еще одним измерением. Раньше я думал, что искусство и литература существуют для того, чтобы развлекать людей. Теперь я начал понимать, что во всех свершениях искусства проявляется неудержимое движение жизни, что всякий раз, когда художник видит что-нибудь по-новому, он касается процессов и изменений, которые происходят около нас, но которых мы не осознавали. И художник высвечивает их светом своего таланта, открывает для нас их суть. А если ему удастся эти процессы и изменения в мире и в людях запечатлеть особенно правдиво и ярко, то произведение обретает жизнь и живет вечно или по крайней мере до тех пор, пока не состарится и не умрет, как старится и умирает человек. Для меня вдруг стало понятно также, что новому видению должно сопутствовать стремление выразить его новыми средствами, новыми, неизбитыми словами, которые писатель и ищет для этого.

Мне стало ясно, что для писателя слово является таким же строительным материалом, как для каменщика песчаник, гранит,

цемент и кирпич, что оно столь же подвержено разрушающему действию времени, как и старые каменные стены.

За два последних тысячелетия исписаны миллионы тонн бумаги, но из всего этого уцелело лишь незначительное число произведений, перед которыми время оказалось бессильным. Все остальное стареет и постепенно исчезает среди тех наслоений, которые оставляют после себя народы и сменяющие друг друга эпохи. Все, что сыграло свою роль, что отжило свой век, должно уступить дорогу новому. Таков закон жизни и закон искусства.

Все это невольно осознаешь, когда читаешь какую-нибудь прекрасную книгу, которая захватывает тебя и в которой все на своем месте, словно это сама подлинная жизнь. Особенно когда берешь в руки книги Льва Толстого. И не обязательно даже «Войну и мир», а, скажем, повести «Казаки», «Хаджи Мурат» или «Кавказский пленник».

В Писеке начал выходить новый еженедельник «Прахеньский край». Его умело редактировал учитель Вацлав Данеш{91}. Я иногда писал в литературное приложение к этому еженедельнику, которое редактировал Милослав Новотный{92}. Издавал его Ярослав Буриан, молодой энтузиаст, порядочный человек, отменный музыкант, прекрасно игравший на волынке. Он часто выступал на различных народных празднествах, одетый в страконицкий костюм: короткие желтые штаны и синий камзол с золотыми пуговицами. Буриан начал издавать также книжки. Первым был сборник стихов Яна Чарека «Бедная семья из Гержмани»{93}. У Буриана было много благородных хобби, но в издательском деле, унаследованном от отца, он разбирался плохо. Во время экономического кризиса он оказался на мели, лишился всего имущества и служил коммивояжером. Иногда я встречал его в Праге. И, судя по внешнему виду, жилось ему несладко. Вскоре он умер, сравнительно молодым.

В 1925 году в издательстве Буриана в Писеке вышел еще и «Альманах Прахеньского края». В нем приняли участие А. М. Пиша, Рихард Вайнер, Ян Чарек и Вацлав Кршка. Я поместил там две вещи. Пиша напечатал в «Альманахе» стихотворение «Из Южной Чехии», а Вайнер — воспоминания о родном городе и друзьях{94}. Я о Писеке тоже много вспоминал. Там остались мои старые привязанности, которым я был верен, хотя и жил вдалеке. Но первым поэтом, который открыл для меня свою творческую лабораторию, сам того не подозревая, был Лацо Новомеский. Он имел привычку прятать по карманам разные бумажки, на которых карандашом были набросаны две-три строчки — своего рода зародыш стихотворения, содержащий обычно только замысел и идею. Или же он записывал на ходу

удачно найденную метафору, которая получала потом свое дальнейшее поэтическое осмысление.

Я вижу Новомеского, как он сидит в кафе у круглого мраморного столика, с сигаретой в руке и, потягивая черный кофе, вытаскивает эти бумажки, склоняется над ними и приписывает новые строчки, сосредоточенно, не спеша, как это всегда делается, когда человек чем-то сильно поглощен. Прежде чем записать новый стих, Новомеский вновь и вновь, в сотый раз отрабатывал его в уме, словно взвешивая каждое слово, приглядываясь к его краскам, вслушиваясь в его звучание. И проходило обычно немало времени, пока из этих обрывков и беглых заметок рождалось стихотворение. Иногда это было совсем маленькое стихотворение — как граненый кристаллик. Для этого образ и мысль надо было облечь в экономную, сжатую форму, чтобы нечего было ни добавить, ни вычеркнуть.

Некоторые стихотворения Лацо Новомеского обладали свойством настойчиво волновать читателя и надолго запоминались. Они врезались нам в память и до сих пор живут в ней. Они насыщены той атмосферой, в которой мы жили и которую почти невозможно пережить другим читателям, как невозможно им постичь внутреннюю первооснову, без которой не обходится ни одна подлинная, настоящая поэзия. Почувствовать ее могут только близкие друзья поэта. Только они способны придать каждому слову то значение, которое оно в себя вобрало, словно магнит, и хранит все то, что предшествовало этим стихам, так или иначе связано с ними, было их подоплекой, что мы знали столь же хорошо, как и сам поэт.

Новомеский родился в «разгульном» Будапеште. Отец его был портным. В Будапеште существовала большая словацкая колония. Словаки ездили в Будапешт в поисках работы, как и в Вену. Семья Новомеских родом была из Сеницы. Лацо ездил в Сеницу на каникулы, а после смерти отца туда перебралась вся семья. Сеница стала краем его детства, краем его поэтических образов и стихов. Он оставался верным ей спустя многие годы. В его характере было что-то от есенинского озорства:

> В вино слезою капнул мне
> разгульный Будапешт.

Тоненькие книжечки своих стихов Новомеский издавал раз в несколько лет. Писать стихи для него было большим праздником. Он весь сиял от счастья, если они ему удавались, как те стихи об Испании, куда он ездил во время гражданской войны в составе делегации писателей, или известные стихи о Красной площади в

Москве.

Новомеский сочинял стихи только тогда, когда у него выдавалось свободное время. Он был еще и блестящий журналист и не умел делать два дела сразу. Для стихов он должен был найти свободную минутку, когда можно было отказаться от каких-то редакционных хлопот. Он принадлежал к числу самых лучших журналистов межвоенного периода. Многое его сближало с Юлиусом Фучиком. Он был таким же высокообразованным, инициативным, добросовестным, точным. И всегда воспламеняющимся, за что бы ни брался, что бы ни делал. У него всегда были в запасе какие-то идеи и всегда хватало мужества не бояться риска и опасности, если это касалось лично его.

Однажды в Будапеште проходил какой-то скандальный судебный процесс. И Лацо Новомескому захотелось присутствовать на этом процессе. Он решил отправиться в фашистскую хортистскую Венгрию, и, разумеется, без паспорта. Кто из коммунистических репортеров мог тогда получить без проволочек заграничный паспорт? Кто из них мог выхлопотать въездную визу в недружественную страну? Новомеский приехал в Братиславу, посвятил нас в свои планы и разыскал человека, который перевел его через границу. Так он попал в Будапешт. Полиция, разумеется, его арестовала и через две недели с обритой головой вернула на нашу границу. Планы свои осуществить ему не удалось, но в Будапеште он все-таки побывал. Как побывал в Мюнхене Юлиус Фучик после прихода к власти фашистов. Как побывал в Австралии Эгон Эрвин Киш.

Новомеский любил хорошо сделанные газеты. Пожалуй, не было другого редактора, который бы работал над рукописями с такой предельной добросовестностью, как он. Будучи главным редактором газеты «Словенске звести»{95}, он с одинаковым вниманием относился как к серьезным политическим статьям, так и к коротеньким сообщениям в отделе местной хроники, заметкам, информациям и письмам читателей. Его портфель был полон материалов и текущей редакционной почты. Дома он тщательно обрабатывал их, придавая текстам четкую, выразительную форму и в то же время заботливо сохраняя народный слог, своеобразный колорит и оригинальность этих читательских материалов.

Подобно Ивану Ольбрахту, Юлиусу Фучику и другим нашим писателям, он на собственном опыте познакомился с тюрьмами первой республики. Однажды вместе с Павлой Секаниновой я навестил Новомеского в тюрьме на Панкраце, где он отбывал трехмесячный срок за нарушение закона о печати. Мы смотрели друг на друга через решетку. Я хотел передать ему сигареты,

которые лежали у меня в кармане. Но надзиратель был очень несимпатичный. Испытующим взглядом он следил за каждым моим движением и все время вслушивался, не переходим ли мы в разговоре на политические темы. Мы говорили о том, кто чем занят, что делают товарищи, кто какую книжку издал, а потом справлялись у Новомеского, как он себя чувствует. Он отвечал. Выглядел он побледневшим, немного взволнованным, а надзиратель по-прежнему ни на секунду не спускал с нас глаз.

Я слышал, что некоторые старые добрые тюремные надзиратели при свиданиях с политзаключенными часто намеренно отворачивались или делали вид, что ничего не замечают, когда посетители пытались протиснуть через решетку сверточек с сигаретами и спичками. О нашем надзирателе этого никак нельзя было сказать. Он так и ждал, что мы вот-вот совершим что-то недозволенное. Уж тогда бы он принял надлежащие меры и показал, кто здесь хозяин. Его прямо трясло от нетерпения. Так я и не решился передать сигареты, боясь навредить Лацо и опасаясь, как бы его не лишили прогулок на тюремном дворе или, что еще хуже, запретили переписку. Так я и ушел с сигаретами в кармане, негодуя и страшно сожалея по этому поводу.

В то время министром юстиции был доктор Мейснер{96}, представитель крайне правого крыла социал-демократов, которых мы считали ответственными за все беды, выпавшие на долю коммунистов в годы пребывания Мейснера на этом посту.

Однажды мы получили известие, что братиславская «Делницка академия»{97} решила устроить литературный вечер, который организовал Йозеф Дворжак. Это был литератор, работавший в отделе народного образования и самоотверженно помогавший Петру Илемницкому, когда у него возникали неприятности из-за его коммунистических убеждений. Дворжак принадлежал к числу левых социал-демократов. Вечер он хотел целиком посвятить социальной поэзии. В программу включили и стихи Новомеского. Прочесть их собиралась Зузка Згуришка{98}.

В то время когда мы потягивали кофе в «Астории» или в «Брооне», Лацо Новомеский сидел в панкрацкой тюрьме. Мы все время помнили о нем. Конечно, ему там невесело. А тут еще эти социал-демократы, которые его посадили, а теперь будут присваивать себе его поэзию. Правда, у Йозефа Дворжака были самые лучшие намерения относительно предстоящего вечера.

Но объективно все это выглядело крайне двулично и аморально. Возмущенные, мы целый вечер обсуждали, что бы такое предпринять и как использовать эту ситуацию против социал-демократов.

— Так это оставить нельзя, — горячились мы. — Нельзя допустить, чтобы социал-демократы рекламировали себя за счет Новомеского.

— А что, если им сказать, что Лацо против того, чтобы читали его стихи?

— Нет, — вмешался Клементис. — Надо придумать что-нибудь получше.

— А не лучше ли будет, если мы сами примем участие в этом вечере?

Клементис повернулся в мою сторону:

— Может, ты выступил бы там?

— Я? Да я же не умею читать стихи.

— А тебе и не нужно. Ты сделаешь другое.

— Что именно? — поинтересовался я. — Надеюсь, это будет какая-нибудь шутка?

— Вроде… — помедлил с ответом Клементис.

— Ну говори, не интригуй.

Клементис улыбнулся, однако не торопился раскрывать свои планы. Он вообще любил в таких случаях потянуть, наслаждаясь нетерпением своего собеседника.

Наконец настал тот самый вечер.

Зал был набит битком. Зузка Згуришка читала прекрасно, и стихи Новомеского, которыми закончилось первое отделение, звучали особенно волнующе. Как мы и договорились, я сидел недалеко от сцены, в первом ряду с краю. Как только Зузка закончила чтение, я встал и, не дожидаясь, пока стихнут аплодисменты, поднялся на сцену и передал ей заранее приготовленную записку. Все это выглядело так, будто было предусмотрено программой вечера. Ни у кого и мысли не мелькнуло, что здесь может быть какой-то подвох. А я быстро удалился, чтобы затеряться в задних рядах, которые тонули в полутьме.

Зузка Згуришка развернула записку и, шагнув вперед, чтобы быть поближе к публике, сказала, словно поясняя:

— Это от кого-то из сидящих в зале.

Потом громким, выразительным и очень прочувствованным голосом она прочла текст записки:

> «Мы слышали стихи Лацо Новомеского, одного из выдающихся словацких поэтов, который сейчас отбывает трехмесячное заключение в тюрьме на Панкраце. Он осужден по делам печати министром юстиции Альфредом Мейснером. Предлагаем послать Лацо Новомескому в тюрьму приветственную телеграмму с

нашего вечера».

Когда Зузка Згуришка в полной тишине дочитала записку, а я в это время был уже в конце зала, половина присутствующих разразилась бурными аплодисментами, в то время как остальные растерянно молчали. Устроители вечера схватились за головы, а полицейский комиссар вскочил и помчался на сцену, чтобы выяснить, что все это значит.

Большинство присутствовавших поняло, в чем дело. Полицейский чиновник не сомневался, что это провокация. Но он был достаточно умен и прекрасно сознавал, как трудно тотчас принять какие-либо меры. На программу вечера организаторы заранее получили разрешение цензуры, а поэтому теперь невозможно было запретить второе отделение и предложить публике разойтись, как это они обычно делали на собраниях коммунистов. Беспорядок только усилился бы. Разумеется, организаторы вечера здесь ни при чем. Все, несомненно, дело рук коммунистов. А кто это поднялся с запиской на сцену? Меня искали, но я, конечно же, не способствовал успеху поисков и удалился.

Доктор Ярослав Дворжак, супруг Зузки Згуришки, компаньон владельцев адвокатской канцелярии и, кроме того, секретарь «Умелецкой беседы словенской»{99}, приложил немало усилий, чтобы потихоньку замять всю эту историю. Хотя бы потому, что в ней была замешана и его жена. Мы посвятили Зузку в наши планы, но она делала наивный вид, будто ничего не понимает — подумаешь, мол, прочла какую-то записку.

Однако социал-демократическая газета «Роботницке новины»{100} поспешила обратить внимание полиции на истинных виновников скандала. Спустя два дня в газете появилась статейка, в которой говорилось:

> «Коммунисты попытались испортить вечер. После декламации стихов Ладислава Новомеского господин Й. Рыбак по своей инициативе и без ведома организаторов вечера подал артистке Л. Дворжаковой-Шимоничевой записку, в которой предлагалось послать приветственную телеграмму Лацо Новомескому, отбывающему в настоящее время в качестве редактора газеты «Руде право»{101} трехмесячное заключение за нарушение законоположения о печати.
>
> Господин Рыбак полагал, что он совершает революционный поступок. Но, к его удивлению, он обнаружил, что хотя публика и питает симпатии к Новомескому как поэту, тем не менее дала

почувствовать, что вопрос о его аресте подлежит решать не общественности, а суду. А суд, естественно, обязан наказать оскорбление словом, если противник не способен вести войну корректно».

Это был вечер социальной поэзии. Заднюю часть сцены занимало изображение большой тюремной решетки. По замыслу она должна была символизировать поэтическое бунтарство, а отнюдь не напоминать о конкретных обстоятельствах. Но все это как нельзя лучше сочеталось с моим выходом на сцену и с запиской, которую так выразительно прочитала Зузка Згуришка.

Приветственная телеграмма Новомескому послана не была.

— Ты куда? — остановил меня Клементис, которого я встретил у рынка на площади Республики.

— Никуда. Просто прогуливаюсь.

— Пойдем перекусим, — предложил Клементис.

— Пошли, — согласился я.

И мы отправились в отель «Роял».

При гостинице был неплохой буфет, в который вы попадали прямо с улицы. Там можно выпить бокал вина и съесть бутерброды. Мы забегали туда всякий раз, когда очень спешили и хотелось перекусить. Рядом находилась небольшая продовольственная лавочка и бистро пана Руттнера, где подавали горячие блюда — вареную кукурузу, капусту по-колошварски, яичницу, горячую колбасу или рисовую кашу, посыпанную тертым шоколадом. Только сидеть там приходилось буквально спина к спине — лавочка была чуть больше телефонной будки.

В буфете толпилось много народу. Мы увидели редактора Карела Рыпачека{102}, известного своими переводами из скандинавских литератур. Симпатичный старый холостяк, он любил наше общество. Вместе с ним за круглым столом сидел какой-то пожилой мужчина со строгим лицом и в очках. Увидев нас, Рыпачек помахал рукой, предлагая присоединиться к ним. Мы представились.

— Томан{103}, — назвал незнакомец свою фамилию.

— Карел Томан? Он кивнул.

А я-то ругал себя за попусту проведенный день!

Никогда бы не подумал, что вот так, ни с того ни с сего, можно встретиться с поэтом, который давно очаровал нас своей поэзией, своими поэтическими книжками «Месяцы» и «Голос тишины», своим «Столетним календарем» и стихотворением «Sur le pont d’Avignon»[15].

На мосту авиньонском
папы римского след,
над мостом авиньонским
проносились года.
Вот простился с Провансом
и чешский поэт.
Вечен здесь только шум твой, вода…[16]

Мы очень любили этого поэта, считали его своим, хотя он и принадлежал к другому поколению. Простой и одновременно возвышенный, глубоко мудрый и близкий, он сразу же пленил наши сердца.

На вопрос, как он оказался в Братиславе, Томан ответил, что ему предстоит где-то выступать, с этой целью его и пригласил в Братиславу его старый знакомый, директор Шванда из издательства Отто, а Рыпачек тоже один из его старых верных друзей.

Этот вечер стал для нас настоящим праздником.

Мы не сводили глаз с автора поэтической книги «Месяцы» и не отходили от него весь вечер, который затянулся далеко за полночь. Вино искрилось в затуманенных бокалах. На нас повеяло вдруг богемой старой Праги, мы то погружались в атмосферу книг Гашека и Тесноглидека{104}, то переносились в Париж, потом снова в Прагу или в белые ночи Скандинавии, вновь вспоминали Каю{105} Тесноглидека. А когда вышли на улицу, южная братиславская ночь над памятником Гвездославу{106} казалась нам хмельной и неповторимой. Никогда и ни с кем не было нам так хорошо. Ни с одним поэтом, даже если мы и встречались в схожей обстановке, сидя где-нибудь в погребке.

Никогда и ни с кем не было нам так хорошо. И никогда мы не были так близки к тайнам поэзии, как в тот вечер, хотя о поэзии не было сказано ни слова.

Напишет ли еще кто-нибудь такие стихи, какие писал Карел Томан? Горькие, раздирающие жестокие исповеди истерзанного сердца, полные сочувствия к обездоленным и бродягам всего мира и горячей любви к родной земле:

Черная пахота всходами затрепетала,
сумрак осенний спугнув, и забрезжили ало
зори над Чехией…

Напишет ли кто-нибудь еще такие стихи, в которых было бы все?

И даже больше чем все!

В те времена каждую неделю в Университет имени Коменского приезжал читать лекции Ян Мукаржовский — мы с ним были свидетелями на свадьбе у Клементиса. Мукаржовскому было около сорока. Он входил в Пражский лингвистический кружок{107}, который предлагал новые методы в литературоведении. Члены этого кружка опирались в своих исследованиях на формалистическую школу Виктора Шкловского{108}, но старались создать что-то свое, новое. В этой ученой материи мы не слишком-то разбирались, но были убеждены, что входившие в кружок ученые не противостояли ни новому искусству, ни марксизму-ленинизму, а, наоборот, горячо симпатизировали им.

Когда кто-нибудь приезжал из Праги, Мукаржовский или кто-либо другой, мы всегда шли с гостем в один из винных погребков и отмечали его приезд. Это стало уже своего рода традицией.

От погребка к погребку ходили торговцы с зеленью и соленьями. Они умели мгновенно приготовить блюда вроде свиного ребрышка по-цыгански, продавали рыбу в маринаде, зеленый лучок и острые салаты. Многие из них знали, чем можно привлечь наше внимание, и мы стали их постоянными клиентами. Один торговец, которому мы особенно нравились, цитировал наизусть многие изречения знаменитых людей и всякий раз вместе с гарниром из лука и цветной капусты подавал какое-нибудь высказывание Гёте, Ламартина или Шопенгауэра.

Мы не выносили как плохих людей, так и плохих писателей, и частенько в таких случаях нам с нашей юношеской бескомпромиссностью недоставало элементарной деликатности.

Нас не удовлетворял, к примеру, Ремарк. Но это могли быть также и более крупные и искусные авторы. Как только мы узнавали, что тот или иной художник гонится за славой и деньгами, он переставал для нас существовать. Так мы относились к Полю Морану, тогда модному автору, литературному снобу. В высших кругах зачитывались его книгами «Открыто всю ночь» и «Закрыто всю ночь». Но нам куда дороже была литература, которая за что-то боролась, побуждала человека стать лучше, помогала ему продвинуться вперед. Пусть даже чуточку продвинуться… Уже только поэтому такая литература была необходима и дорога.

И когда мы встречали такие произведения и таких писателей, которые умели сказать новое слово, и сказать по-новому, мы считали их своими. Мы любили левых французских авангардистов Супо и Карко, Сандрара и Валери Ларбо{109}, суровых американцев, которые так хорошо знали жизнь низов, —

Марка Твена, Джека Лондона, а также Дос Пассоса и Драйзера.

И бесконечно близка была нам советская литература.

Я вспоминаю «Разгром» Фадеева, «Голубые песни» Всеволода Иванова, «Железный поток» Серафимовича, «Голый год» Пильняка.

Тарасов-Родионов, автор повести «Шоколад»{110}, был первым русским генералом, с которым мы познакомились лично, когда он возвращался через Братиславу в Москву. Он провел с нами всего лишь день, так как спешил на родину по неотложным делам. Но эта короткая встреча врезалась в память. Тарасов-Родионов нам понравился с первого взгляда. Этот симпатичный человек и опытный писатель, много повидавший во время революции, знал жизнь в совершенстве, что, впрочем, вообще свойственно русской литературе, начиная с Гоголя, Тургенева и Достоевского и кончая такими писателями, как Горький или Шолохов.

У Тарасова-Родионова были умные живые глаза за стеклами очков, интеллигентное лицо, напоминавшее лицо сельского учителя или мастера путиловского завода. Это было лицо красного командира, который начинал с самых низших чинов и свое высокое звание завоевал в жестоких боях за победу Октябрьской революции. Таких людей мы знали по советским фильмам, по героическим эпопеям из эпохи гражданской войны и кровопролитной борьбы с контрреволюционными бандами и войсками интервентов. Тарасов-Родионов умел интересно рассказывать и о литературе, и мы с радостью слушали его. Мы показали ему Братиславу, ее достопримечательности, а когда он захотел побывать в какой-нибудь словацкой деревне, поехали вместе с ним. Генерал Красной Армии в простой деревенской халупе! Такое случается не каждый день. А ему нравилось сидеть за столом и разговаривать с простыми людьми, которые нас по-бедному, скромно угостили. Для них это была великая честь. Советскому генералу нравилось, что на стене рядом с девой Марией, как бы символизирующей старую Словакию, висел небольшой портрет Ленина.

Еще будучи членами «Умелецкой беседы», мы всегда приглашали в Братиславу для чтения лекций известных писателей. Такие мероприятия способствовали углублению и укреплению культурных связей между чехами и словаками. В Братиславу приезжали Владислав Ванчура и Йозеф Копта{111}. Всю ночь после лекции мы провели вместе. Это было незабываемо. Приезжали к нам и Ярослав Кратохвил с Йозефом Зорой{112}. В «Редуте»{113} гремел неповторимый голос Зоры,

когда он декламировал балладу Есенина о двадцати шести казненных комиссарах:

Ночь, как дыню,
катит луну.
Море в берег
струит волну.

Приезжали Бедржих Вацлавек, Богумил Матезиус, Э. Ф. Буриан, Ф. К. Вайскопф{114} и другие.

Однажды мы написали Эгону Эрвину Кишу: «Товарищ Киш, не согласились бы вы приехать в Братиславу и выступить?»

И получили ответ: «Еду! Встречайте на вокзале!»

С чемоданчиком в руке Киш бодро, словно юноша, соскочил с подножки скорого поезда. Он узнал нас и направился в нашу сторону:

— Здравствуйте, товарищи. Вот я и здесь.

— Как поедем: трамваем или на машине?

— Лучше пешком.

Знакомая широкополая шляпа, неизменная сигарета. Модный галстук, скромная, неброская элегантность во всем облике. Выразительное, характерное лицо «неистового репортера». Живые глаза. Сердечность, общительность и простота, контрастирующие с мировой славой.

— Так что же сегодня будет, ребята? Собирается народ? А? Вот и прекрасно. Тебя я что-то не знаю, а тебя видел в Праге. Кто из вас что написал? А ты откуда? Из Писека? Ну и хорош словак! В Писеке я проходил воинскую службу в одиннадцатом полку. Ты тоже? Выходит, мы с тобой однополчане? В полк меня взяли по мобилизации. А потом отправили на фронт. Там нам всыпали, что называется, по первое число. Только успевали поворачиваться.

От вокзала мы идем по Штефаниковой улице. Едва мы направились в город, как началось. В двух шагах от стоянки к нам подлетел какой-то человек и закричал:

— Мой поклон, пан Киш! Скажите, что вы здесь делаете?

— А, добрый день, пан старший кельнер! Вот это встреча! У меня сегодня здесь выступление.

— Да что вы?

— Смотрите не пропустите.

— Вы все шутите…

— Да нет, в самом деле. Приходите в «Редуту».

— Ей-богу, приду.

— Значит, до скорой встречи.

Киш пояснил:

— С этим кельнером я познакомился на пароходе, когда возвращался из Америки, — и добавил: — Вы обратили внимание, как я его агитировал прийти на сегодняшний вечер?

Через минуту сцена почти повторяется:

— Эгонушка, золотой мой…

— Тепиц, старый вояка!

— Ты тут как тут, прохвост, а я как раз вспоминал о тебе.

— Я знаю, — улыбается Киш. — Читал, читал афишу. Что ж, внушительно.

— Какую афишу?

— Ты разве не знаешь? А как случилось, что ты не в Вене?

— Да так и случилось: здесь я, а не там. Милый Эгонушка, я иногда читаю тебя.

— Вот видишь, мое золотце. Дети есть?

— Двое, Эгонушка. Приходи к нам, поболтаем. У меня сейчас прием. Приходи, заодно и тебя посмотрю.

— Знаю я, тотчас в гроб вгонишь.

— Ты все со своими мрачными шуточками.

— Да нет, дружище. Стареем уже. Нам уже не двадцать.

— И это говоришь ты?

— К сожалению.

Снова рукопожатие и объяснение.

— С этим человеком мы делали в Вене революцию. Замечательный парень и знаменитый доктор. Терапевт.

И еще одна сцена, пока мы добираемся до Михалской арки. Люди оглядываются, показывают на нас:

— Смотрите, Киш!

— Неужели Киш? Который? Тот, в середине?

В «Карлтоне» дежурный администратор — сама любезность. Пана Киша уже ждут. Для пана Киша приготовили чудесный номер с окном на улицу. О пане Кише справлялись какие-то господа. Если бы пан Киш был так любезен и не счел за труд подписать… Администратор вытаскивает полдюжины книг Киша. Из ресторана выглядывают официанты, люди оглядываются, останавливаются.

— Для вас подпишу. Для вас я готов подписать и вексель на пятьдесят тысяч, — смеется Киш. — Только теперь мне надо умыться и привести себя в порядок. — Он внимательно смотрит на администратора. — А эти господа, которые спрашивали обо мне, случайно не шпики?

— Что вы, что вы… Весьма почтенные люди.

Через час мы сидим уже в кафе. Здесь собрались все «дависты», заняли свои места братиславские немцы, венгерские интеллектуалы из «Шарло»{115}, каждую минуту появляются все

новые и новые люди, знакомые и незнакомые, многие с книгами. Киш вытащил ручку, надел очки и не спеша, почти каллиграфическим почерком начал подписывать книги. Что делать! До начала лекции два часа. Времени хватит, успеем еще где-нибудь поужинать и спокойно поговорить.

Большой зал «Редуты» вмещал около тысячи человек. Без четверти восемь он был битком набит. Все места уже заняты, люди толпятся в проходах и закоулках, некоторые, цепляясь за панельные выступы, поднялись повыше и держатся за бра.

Перед входом в зал, отделенная от него стеклянной стеной, находилась небольшая комната, где были расставлены столы. Там тоже полно людей. И напрасно сюда пытались протиснуться те, кому удалось подняться по лестнице. Полиция уже закрыла двери. Проходили только агенты и шпики, на этот раз весьма услужливые. Они даже помогали нам пробираться в зал, расчищая путь. Мы продвигались медленно, шаг за шагом, нам стоило больших усилий добраться к столу президиума. Когда Киш появился там, «Редута» дрогнула от бурных оваций, гром приветствий отдавался даже на лестнице.

Я смотрел на Киша в тот момент, когда тысячеголовая толпа, приветствуя славного репортера, кипела и бурлила. Здесь братиславская интеллигенция всех трех национальностей — словаки, чехи, венгры; пришли рабочие с заводов и фабрик. Киш совершенно спокоен, словно овации и слава не касаются его. Казалось, он этого не замечает. Казалось, он думает только о том, что сейчас скажет, думает о людях, пришедших сюда узнать правду о мире, который он исходил и изъездил вдоль и поперек. И он говорил только правду. Он ничуть не выдумывал. Действительность сама достаточно фантастична, и никакая фантазия не сравнится с ней. Факты и есть самые сильные аргументы. Все приблизительное не для Киша, чуждо ему. Я сидел и размышлял, почему все, что он пишет и говорит, получает такой широкий отклик. Это человек, который повидал весь мир, так сказать, познал весь мир на ощупь. А это вызывает уважение и внушает людям доверие.

Помню я и приезд Эренбурга.

Это было летом двадцать восьмого года, когда он возвращался из Польши в Париж. Эренбурга провожал его старый приятель, русский писатель Савич. Мы знали Эренбурга по фотографиям из журнала «Розправы Авентина»{116}. В жизни он выглядел гораздо старше. Мы сидели с ним в винном погребке. Опять звенели бокалы и под сводами звучали народные песни. Эренбург смотрел на нас грустным и тяжелым взглядом. Иногда

он вынимал изо рта трубку и кривил губы в горькой усмешке — это была его манера улыбаться. Алексей Толстой как-то назвал его чертом. И в самом деле, черный, с пышной шевелюрой, слегка сутулый, он походил на лохматого добродушного черта, который уже устал от своих проделок.

Братислава не произвела на него особого впечатления. Но кое-что привлекло его внимание — ему понравились старинные гобелены, старые улицы и винные погребки, которые назывались «вехи».

Мы повезли Эренбурга в Ступану, к народному умельцу Фердишу Костке{117}. Очаровательные фигурки последнего местного мастера-керамиста восхитили его. Понравились ему и прекрасные керамические кувшины, расписные тарелки, в рисунок которых Костка вкладывал весь свой талант, унаследованный от предков.

Эренбургу нравились и некоторые деревенские избы в западной Словакии, где он побывал, чтобы посмотреть вышивки и народную роспись на стекле, изображения знаменитых словацких разбойников.

Потом вместе с Клементисом Эренбург отправился, через Дольный Кубин, Бардейов и Прешовскую Русь, в Гемер и в Тисовец. Он осматривал деревни и отдельные пастушеские хижины и однажды с присущей ему иронией заметил, что самая обычная пастушеская хижина в горах, наверное, и есть подлинная столица Словакии.

Во время этого путешествия автора знаменитых «Тринадцати трубок» ожидал сюрприз. Заядлый коллекционер курительных приборов, Эренбург увидел трубку, о которой не имел и понятия, — известную «запекачку» словацких горцев. Он выкурил ее на вечную дружбу со старым овчаром в пастушеской хижине под Тисовцем и получил ее в подарок.

Вернувшись в Париж, Эренбург прислал для журнала «Дав» очерк «Четырнадцатая трубка». Это было повествование о пастухах, о протяжных словацких песнях, о народных обычаях и об облике этой страны, которая заинтересовала и захватила его.

Эренбург и позже не раз приезжал в Словакию. Однажды он приехал вместе со своей женой, художницей Любой Козинцевой, сестрой кинорежиссера Козинцева, и с кругленьким Петром Богатыревым{118}, который изучал чехословацкий фольклор и написал о нем не одну научную работу. Богатырев ходил, слегка приподнимаясь на цыпочки, и казалось, вот-вот оторвется от земли и улетит в мир сказок, которые он исследовал. Богатырев был, наверное, самым большим энтузиастом-театралом во всем мире. Мы, встретив его, розовощекого, словно он только что

проснулся, спрашивали:

— Что нового в Москве?

— Ну, сын растет, бабушка болеет, в магазинах нет чулок и кофе, а Мейерхольд ставит изумительные спектакли.

Статьи Эренбурга о Словакии вызвали неудовольствие официальных кругов. Эренбургу не нравились теневые стороны чешско-словацких отношений, не нравилась прожженная чешская буржуазия, которая считала Словакию своей колонией. Не нравилась ему и консервативная Словакия с ее турчанско-мартинской идеологией{119}.

Когда кончилась вторая мировая война, Эренбург одним из первых приехал приветствовать своих старых друзей. Он писал тогда:

> «Словакия была отсталым краем: там можно было увидеть много чудесных цветистых вышивок и много простого темного горя. Ночью в долине Вага я увидел яркие огни — строят гидроцентраль. Этот свет в глухой долине показался мне глазами новой Словакии. Можно сказать, что все осталось по-прежнему: так же старые пастухи, «бачи», гонят в горы овец, так же нежны и зелены луга, так же печально звенят прекрасные песни, так же старый гончар Костка из комка глины делает ослепительные кувшины. Все это правда, и правда то, что Словакию не узнать… Впервые можно выписать слово «Чехословакия», не ставя подозрительного тире между его частями»{120}.

*Перевод Р. Л. Филипчиковой.*

* * *

Наш отец так и затерялся в вихре войны и давно был объявлен погибшим. Но в моих мыслях он продолжал жить и ходил со мной по всем дорогам, куда заносила его война, пока я был еще десятилетним мальчишкой. Жил во мне, снился по ночам и мой родной город Писек.

Пролетело десять лет; оглядываясь на них, я видел десять своих обликов, передо мной словно стояли десять по-разному одетых молодых людей, каждый со своими заботами и интересами, по-разному счастливые и удрученные, десять юношей, познавших удачи и поражения, а также и отчаяние, но всякий раз устремленных в будущее. И я вдруг испугался — а если так будет и дальше?..

Но путь мой озарила красная звезда, и я пошел за ней. Через горы и долины, по торным дорогам и бездорожью, душой оставаясь всегда там, откуда я вышел, но шагая все дальше вперед. Меня уже не пугала тяжелая, нерадостная жизнь, придавившая людей, как поваленное дерево. Страха я не испытывал.

Голова моя была переполнена впечатлениями двадцатых годов и последней войны, безумным круговоротом мировых событий и всем тем, чем жили люди искусства различных направлений, шедшие под разными знаменами. Впереди светился дальний горизонт — наш горизонт.

Была в нем поэтическая дерзость Велимира Хлебникова, «председателя земного шара», и громыхающая дерзость Владимира Маяковского, чьи ритмы, вызванные к жизни вулканом революции, воздвигали утесы поэтической образности. Десятки художников слова стали называть себя работниками новой красоты и объединялись с теми, кто в промозглые петроградские дни во главе с Лениным вступал в новую эру нашей истории.

Эта эпоха смелых дерзаний вторгалась и в жизнь Словакии. Мало быть только поэтом, только живописцем, только актером, только защитником бедных, только журналистом. Чтобы оставаться самим собой, надо было быть всем.

В эти годы я спешно наверстывал упущенное — я хотел знать все, что делалось в мире нового, касалось ли это политики, архитектуры, науки, литературы или искусства.

Бурная, стремительная эпоха распахивала передо мной неоглядные дали и напирала на меня со всех сторон.

Она уминала меня, будто глину, и переделывала.

Я увидел мир иными глазами, увидел, что я не один. Все мои заботы и огорчения были заботами и огорчениями моего мира, моего поколения. Переживания обретали свой смысл.

Книги открывали мне новые жизненные правды.

Посеянное в моей душе Иржи Волькером давало ростки.

> «Коммунизм — это образ нового, лучшего устройства жизни, а марксизм — это план борьбы за него».

Я написал статьи о новой архитектуре, о гладко-утилитарных строениях Райта, о Корбюзье, о новой строительной эстетике, высмеивал пряничные домики Душана Юрковича{121}. Я сделался поклонником Адольфа Лоса{122}, ратовал за модернизированную культуру быта. В то же время я облазил жалкие жилища под братиславским Градом, настоящие берлоги, вонючие, как самая отвратительная сточная канава, наблюдал, как живут рабочие в экономиях нитранской округи. Мне казалось, что дома должны быть стройными и устремляться к небу, а не напоминать деформированные парковые деревья, подстриженные в стиле Людовика XIV.

Я познакомился с кысуцким врачом Иваном Галеком{123}, сыном поэта, автора «Вечерних песен». Благородный человек, бескорыстно служивший людям, Галек написал книжку о прошлом Кысуц. Но в этих краях мало что изменилось, и нищета осталась прежней, как и тридцать лет назад.

Кто не видел Словакию и ее отчаянную бедность, Словакию, жаждущую счастья и работы, тот не поймет ни Илемницкого, ни Франё Краля. Карел Чапек писал, что задача литературы — не протестовать, а славить жизнь. Но кто задумывается, откуда черпают свой материал словацкие писатели?

У Франё Краля было резко очерченное худое лицо. Зачесанные назад волосы то и дело падали на лоб. Его длинные беспокойные руки были постоянно настороже, словно хотели кому-то пригрозить или кого-то обнять. Рядом с ним человек всегда чувствовал себя хорошо. Казалось, он всего себя раздает без остатка; его чуткая душа, близко принимавшая чужие беды, была раскрыта людям. Все, что происходило вокруг, кровно затрагивало Краля. Держался он просто, естественно, излучая открытый, искренний задор, непоколебимый оптимизм. Они с Илемницким были чем-то схожи, оба сохранили в себе что-то от деревни, их поведение было небудничным, этим они выделялись среди заурядных скучающих представителей литературных

кругов. Оба чуждые иронии, откровенному или наигранному цинизму, они уважали умных людей и прислушивались к их мнению. Восторженно воспринимали значительные события.

Впервые я увидел Краля в словацких горах, в Завадке{124}. Его привел к нам Илемницкий, они вместе отдыхали на деревенском курорте в Буякове и, разузнав, где находится наш бивуак, приехали сюда. Краль — худой, долговязый, Илемницкий — небольшого роста, коренастый, рядом они выглядели как знаменитые кинокомики Пат и Паташон{125}. Оба сельские учителя, оба начинающие писатели. Краль печатал тогда свои стихи под псевдонимом Ф. К. Смречанский.

Они с Илемницким были неразлучны. Нечасто встречаются художники, чья дружба так плодотворно влияет на их творчество и внутреннее совершенствование. Неожиданная смерть Илемницкого в 1949 году настолько потрясла Краля, что от этого потрясения он так и не оправился.

В одном из последних писем ко мне, когда Краль с трудом преодолевал прогрессирующую, подтачивавшую его болезнь легких и сердца и уже не мог всерьез заниматься литературой, он признавался, что при всем том значительном и радостном, что видит вокруг и что дает ему силы жить и желание принять участие в общей работе, ему ужасно недостает друга, который понимал бы его так же, как когда-то Илемницкий.

Не сочтите это сентиментальностью. Краль был человеком, весь огонь своего сердца отдававшим другим людям. Люди, подобные ему, жили интенсивной общественной жизнью и даже свою личную жизнь не умели строить изолированно от дел общества и не признавали ничего, что, так или иначе, могло быть проявлением эгоизма. Безраздельно посвятив себя служению людям, они и сами испытывали потребность в тепле человеческой дружбы.

Краль не раз вспоминал свое детство и юность, первые литературные опыты. Почти во всех его книгах, будь то рассказы для детей или основные его произведения, — везде мы находим автобиографические черты. Его жизнь сама по себе была волнующей, как роман.

Он родился в Америке, куда семья переселилась в поисках работы: родной Липтовский край не мог их прокормить. Отец устроился рабочим на металлургический завод, но его заработка не хватало на семью. Мать с детьми вернулась на родину, и старшие сыновья вместе с ней стали зарабатывать на хлеб. Шестилетний Франё пас скотину, в школьном возрасте работал на стройке, обучался плотницкому делу. В свободные минуты он читал книги, которые открывали ему мир. А чего стоило ему

преодолеть непонимание домашних и убедить их отпустить его учиться в городскую школу! И сколько сил и энергии приложил он, чтобы попасть в учительский институт! Студентом нанимался в каникулы работать каменщиком. Учебу он закончил с подорванным здоровьем.

Поразительно, сколько внутренней силы было в этом молодом человеке, боровшемся с тяжелым недугом. Он не отступил от своих целей, работая учителем в самых глухих уголках, куда б его ни направляли. Во время второй мировой войны при клерикально-фашистском режиме его уволили, отправили на пенсию.

В первом своем романе, «Тернистый путь», Краль стремился показать, как иные моменты круто меняют жизнь крестьянства, которое до того представляло собой несознательную, тупо подчинявшуюся своей судьбе массу, так не изображали народ в литературе до него. В романе Краля народ ощутил силу сплоченного коллектива, обрел классовое сознание. Образцом для писателя стал роман Горького «Мать». Бунтарский дух этого произведения явственно ощущается с первых страниц «Тернистого пути». Отдельные судьбы здесь лишь намечены и не разработаны детально — автор понимал, что от него ждут слова, которое нужно сказать вовремя.

Из всех своих книг Франё Краль особенно любил «Тернистый путь». Это было его первое значительное произведение, и он очень гордился, что книга была принята так взволнованно.

Однажды он пришел после каникул в «Боон» и радостно сообщил нам, что закончил роман. Мы посмотрели на него с недоверием. Когда же он добавил, что написал его за три месяца, мы отнеслись к его сообщению и вовсе скептически. Тем не менее получилась хорошая книга, ведь именно это, а не другое произведение бурно нарушило безмятежное течение словацкой литературной жизни.

* * *

Из меня самого художник не получился, но среди художников и скульпторов у меня было немало знакомых. Оценивая в своих статьях их работы, я порой оказывался небеспристрастным. Увлеченный тем, что мне казалось новым в искусстве, я не знал снисхождения ко всему, что хоть намеком отдавало венским академизмом, мюнхенской или будапештской школой. Так же непримиримо относился я и к явному натурализму. Кроме Фуллы и Галанды, я признавал только Янко Алекси и Базовского, под

влиянием Бенки{126} увлекавшихся в ту пору поэтически трогательными образами народного творчества. Но у Бенки это получалось суровей, палитра его была ярче и эмоционально сочнее. Мне не очень нравились художники вроде Андяла и Гверка{127}, занимавшие умеренную позицию между двумя крайностями, одну из которых представляли Фулла с Галандой, а другую Вотруба и Маллы{128}. А словацкая скульптура, связанная с именами Мотошки, Майерского, Игриского и Поспишила{129}, казалась мне стреноженной условностями и лишенной какого бы то ни было размаха.

У нас до сих пор не получила заслуженной оценки деятельность братиславской Школы художественных ремесел, которая под руководством Йозефа Выдры{130} и благодаря Антонину Горейшу{131} стала училищем, которому могла позавидовать и Прага. Она не была школой в общепринятом смысле слова. В Словакии ее называли «Баухауз»{132}, потому что немецкая экспериментальная школа строительства и художественного конструирования в Дессау своим боевым духом и поистине современным пониманием воспитательной работы с художниками имела много общего с нашей школой. Для работы в школе Горейш нашел молодых энтузиастов, художников с передовыми взглядами и хорошим художественным вкусом. Тут преподавали Галанда и Фулла, курс фотографии вел Яромир Функе, типографскому делу обучал Зденек Россман, а росписи по текстилю — Франтишек Малы{133}. Школа приглашала читать лекции опытных специалистов в разных отраслях. Тут выступали Ян Чихольд, Мохой-Надь, Карел Тайге, Ладислав Сутнар, Ханнес Мейер{134} и уж не помню кто еще.

Школа претворяла в жизнь новые устремления, определившие решительные перемены в понимании искусства в Словакии; средоточием этих новых устремлений был руководимый Горейшем отдел Торговой палаты. По пражскому образцу Горейш основал Союз чехословацкого прикладного творчества, который пропагандировал современный стиль в производстве промышленных товаров; в нем и в Школе художественных ремесел он собрал ведущих словацких архитекторов, художников, работавших в промышленности, народных умельцев, привлек, например, Костку. Привлекал он работников завода «Сандрик»{135}, керамических мастерских в Модре, стекольных в Ледницком Ровном, «Детвы»{136} и других. После первой выставки союза в «Умелецкой беседе словенской» Горейш уговорил меня уйти из Управления помощи пострадавшим от войны и стать секретарем союза.

Годы работы в Союзе чехословацкого прикладного творчества представляются мне самыми замечательными в моей жизни. Я занимался теперь не только литературой, но и искусством. Нельзя сказать, что для меня это было внове. Живопись давно увлекала меня, но только теперь я смог посвятить себя интересной работе, связанной с искусством. Передо мной открылся новый мир, куда более просторный и широкий, чем в Управлении помощи пострадавшим от войны. Впервые побывал я в Вене. И Прага уже не казалась мне такой далекой, как прежде.

В Братиславе доктор Горейш основал два журнала: — «Словенска графиа» и «Нова Братислава»; первый издавала типография, также называвшаяся «Словенска графиа»; в этом журнале мы высказывали свои взгляды на типографское дело. До этого в Словакии не приходилось говорить ни о какой современной полиграфии. Шрифты в типографиях устарели, в начертании литер преобладала традиционная манера. Это ощущалось и в графическом оформлении книг. Позже словацкие книги выпускал пражский издатель Мазач, но и в его продукции сказывался консерватизм, не исключая рисованных переплетов Мартина Бенки. Фотомонтажи, которые мы с Эдуардом Урксом сделали для книг Рида и Синклера, произвели переворот. Неважно, что технически они были исполнены наивно и неумело. Зато в них утверждалось новое понимание книжной графики, как в оформлении ежегодных альманахов коммунистической партии, которые тоже делал я, да и в первых номерах «Дава», когда он был еще литературным журналом.

В новом духе сделал я и несколько книжных обложек, оформив их чисто типографскими средствами, например книгу Горвата «Виза в Европу» и две книги Поничана — «Ангара» и «Вечерние огни». Особенно мне удался один фотомонтаж — обложка книги Эренбурга «Единый фронт», выпущенной на словацком языке прешовским издательством «Паллас».

Большинство статей в журнал «Словенска графиа» мы писали с Горейшем, я наглядно демонстрировал, какие чудеса можно делать с помощью одних лишь наборных средств; тогда были модны всевозможные линии, кружочки, четырехугольники и тому подобные геометрические декоративные элементы.

«Нова Братислава» — это был журнал иного типа. Его выпускали в отличном графическом оформлении Россмана, с прекрасными фотографиями Функе. Большая часть материалов журнала посвящалась урбанизму и новой архитектуре.

Вспоминая о пионерском периоде словацкой книжной графики и типографского дела, не могу не отметить работ Людевита Фуллы, а также первую книгу стихов Лацо

Новомеского, обложку которой сделали Владо Клементис и художник Ярослав Яреш{137}. Наши начинания хорошо принимали типографы. Взять хотя бы одного из них, доброго приятеля, товарища Лабуду, погибшего позже в нацистской тюрьме.

* * *

Говоря о создании «Дава», непременно вспоминают Завадку. Там в двадцать пятом году впервые сошлись основатели группы — Клементис, Уркс, Илемницкий и Светлик. Они разбили в лесу лагерь, в часе ходьбы от деревни, на берегу бурного горного потока, где в изобилии водилась форель.

От лесного управления в Завадке вверх в горы курсировал по узкоколейке паровозик, свозивший к лесопилке тяжелые стволы. Неподалеку от лагеря находилась охотничья избушка «Клатно», где можно было купить молоко. Туда вела крутая лесная дорога, по ней лесорубы ходили на работу и возвращались домой в деревню.

Завадку открыл, скорее всего, Владо Клементис. Его родной Тисовец находился неподалеку отсюда, и он исходил все эти места вдоль и поперек до самого Муранского замка и Кралёвой Голи. Это и в самом деле был глухой уголок. Кроме лесорубов, тут не встретить было ни живой души, разве что медведя, да и то если повезет. В здешних местах жило их несколько, но увидеть медведей было непросто: они избегали людей и прятались в труднодоступные чащобы, куда их загоняла наступающая цивилизация, пусть и весьма примитивная в здешнем ее виде.

В деревне было две корчмы. Одну держал еврей, другую — торговец Гавалец. В той и другой продавалась паленка, способная довести до буйства. Учитывая этот факт, оба корчмаря отгородились от посетителей деревянной решеткой из частых вертикальных реек до самого потолка, в которой было проделано оконце. Если после возлияний страсти чересчур накалялись и глаза у мужиков начинали недобро сверкать, оконце закрывалось, и уж тогда не получить было ни капли. По эту сторону решетки посетители могли вести себя по собственному усмотрению, скажем, ломать столы и стулья. Потом корчмарь все равно высчитывал у виновников за весь причиненный ущерб. Завадка нередко пила с горя. Случалось, стояла лесопилка, не валили лес, тогда спичку и ту приходилось расщеплять пополам. Или когда бастовали. В безработицу сюда вереницей тянулись судебные исполнители, их выгоняли из деревни цепами и косами, а затем непокорных угрюмых бунтарей уводили жандармы в быстрицкий окружной суд.

У Гавальца мы покупали хлеб, картошку, соль, овечий сыр, колбасу, иногда — баранину и готовили плов. Ходили мы к нему раз в три дня, главным образом за хлебом, которого съедали

много. Кроме хлеба, основной нашей пищей было молоко из клатновского охотничьего домика.

В первое же лето в Завадке я очень сблизился с Эдуардом Урксом, которого до этого видел лишь мельком. Поначалу он казался мне замкнутым и язвительным, темные колючие глаза его насмешливо поблескивали. Но это было первое впечатление. Уркс, отличный товарищ, человек добрый и легко уязвимый, свою мягкость пытался иногда прятать за сарказмом.

Что формирует человека и определяет его жизненный путь? Случайности? Почему человек стал писателем, журналистом, политиком, когда с таким же успехом он мог стать юристом, ученым, инженером и кем угодно еще? Мы метались в поисках себя, а Уркс — уже сложившаяся личность — отличался способностью творчески и философски мыслить. Талантливый прозаик, проницательный и тонкий литературный критик, публицист, журналист, философ. Достаточно вспомнить его остроумные лирические рассказы, подписанные псевдонимом М. Ц. Бисс, суждения о книгах, с которыми, может быть, необязательно было соглашаться, но они свидетельствовали о твердых убеждениях компетентного знатока литературы, для которого никогда нет ничего безразличного. Поражала философская эрудиция Уркса — ведь он не закончил курс, расстался с литературой, забросил науку и отправился бороться за счастье народа как редактор «Правды» — газеты словацких коммунистов.

* * *

Мне нередко приходилось слышать: «Не будь олухом, не принимай все так близко к сердцу». Видно, я родился на другой планете. При всем своем сумасбродстве я принимал близко к сердцу все, что только можно было, а было всего немало. Волнение за близких, за людей вокруг, за судьбы мира. Даже когда я смеялся и шутил, где-то глубоко во мне сидела тревога, как бывает, когда человек надышится светильным газом — пока вытравится он из легких, пройдет не меньше года. Таким представлялся мне неустойчивый характер жизни после мировой войны, стабильный не более, чем Версальский мир.

Мне очень хотелось поделиться своими мыслями, но не хватало опыта — я не умел изложить их на бумаге, не знал, какую выбрать форму, какие слова.

Я попробовал учиться мастерству у сложившихся писателей, но ведь каждый из них прожил свою жизнь, не похожую на мою. У

одних она была богаче, насыщеннее событиями, они писали с поразительной уверенностью и знанием дела о встреченных ими людях, делали их героями своих книг. Жизнь других была устроенней, хотя беднее событиями, чем моя, но они сумели развить свое воображение. Я не был уверен, что моя внутренняя жизнь представляет интерес для других, писать об этом казалось нескромным. Выходило столько замечательных книг! Я же с трудом мог накропать стишок. Но в один прекрасный день я все же отважился взяться за прозу — и словно пустился в путь с завязанными глазами, Я понятия не имел о композиции, не знал, как избежать других подводных камней писательского ремесла. Поднаторев немножко в поэзии, вы принимаетесь за прозу — и словно с крутого утеса бросаетесь в волны отчаяния. Средства, которыми вы владеете и которые уместны в поэзии, например сжатость формы, в прозе вдруг оборачиваются невыразительной банальностью: «Встал, улыбнулся, вышел вперед и воскликнул… Отломил хлеба, снял рубашку, заложил руки за спину…» У меня немало оказалось таких фраз, и я принялся их вычеркивать; книжка становилась все тоньше и тоньше. Ничего в ней не раскрывалось глубоко, только намечалось. Но за скупыми строками уже тогда крылся страх, еще не осознанный всеобщий страх. Рубили лес, строили полигоны. Не успели народы перевести дух, забыть о прошедшей войне, как новая война стучалась в дверь.

Вот строки из этой книги:

> «Жизнь — совсем не то, что роман.
>
> В романе действие спрессовано в цельные, законченные главы, оно течет плавно, будто реки по равнине.
>
> У нас, правда, нет равнин.
>
> Зато есть горы — лесистые и голубые, протянувшиеся с запада на восток.
>
> Реки наши — дикие и стремительные, с Шумавских гор приносят они в долины запах леса и одиночества.
>
> Леса — мужественные, смолистые и суровые, они переваливают через горы, будто стада диких слонов.
>
> Какая может быть жизнь в этих удивительных местах?
>
> Печально шумят реки.
>
> И ветер исхлестывает неспокойные судьбы людей».

Получилась лирическая деревенская проза, рассказ о лесе и лесорубах. Друзья были разочарованы. О лесе писали Ян Врба и Карел Клостерман{138}, далекие от современного мира. А я ведь

кричал вместе с остальными: «Старый роман умер, да здравствует новый роман!» И кое-что знал о послевоенном кризисе романа; углублению этого кризиса способствовали дадаисты, лефовцы, конструктивисты и прочие «попутчики». Все журналисты писали только об этом. С большим удовольствием прочитал я «Голый год» Пильняка, «Фальшивомонетчики» Жида, «Трест Д. Е.» Эренбурга, «Холеру» Стоянова, «Поля пахоты и войны» Ванчуры, «Дину» Карела Конрада{139} и «Огонь» Барбюса. Но писать я мог лишь о своем, о том, чем я жил. О благоухающей весенними запахами земле, о тенистых лесах, о суровых мужественных лесорубах, о тяжком труде, о людях, работающих в поте лица, о теплых ночах, когда зажигаются звезды над израненной землей. О грустных далях, о печальной действительности… О том, как шумят реки, как позвякивает, зацепляя камешки, лемех плуга, и что горе всего ближе слово горе.

Критики моего опуса писали что-то о Тургеневе и о «новорусском» влиянии, об обостренной восприимчивости, о любви к родному краю, но также — о буре в стакане воды. Уж чего-чего, а бури в стакане воды я не устраивал! Необъективная критика меня задела. Я тоже писал критические статьи, и, возможно, на меня обижались. Но я никогда не находил удовольствия в том, чтобы кого-то оскорбить, предвзято осудить и вообще позволять себе издевательские выпады. Злопыхательские статьи я с отвращением откладывал в сторону, как и статейки, по которым сразу было видно, что авторы их только-только учатся писать, не знают ни жизни, ни литературы, а те, против кого направлены их рецензии, — подопытные кролики, на которых начинающие критики оттачивают зубы.

Читая эти статейки, я невольно вспоминал сценки времен моего детства в родном городке: на ступеньках постамента статуи девы Марии, подремывая, сидят со своим скарбом — железками, проволокой и мышеловками — старые жестянщики в ожидании, пока их позовут оплести проволокой треснувший горшок или запаять чугунок. Из дверей своего заведения, расположенного напротив, в здании общинной ссудной кассы, жестянщиков разглядывает парикмахер пан Ганзлик и по понедельникам, когда клиентов негусто, посылает ученика, чтоб тот привел кого-нибудь из стариков и поучился на нем обращению с бритвой. Бедняга, на которого падал жребий, поддавался уговорам, так как не в силах был отказаться от дарового бритья. Побывав в парикмахерской, жестянщик становился совсем другим человеком, он утрачивал облик, потому что запущенная, тронутая сединой щетина как-то больше шла старику. Его вынужденная и притом живописная неопрятность выглядела естественно; в этой бедности было свое

достоинство и какая-то своеобразная босяцкая красота. Из парикмахерской же выходило жалкое создание, изрезанное и окровавленное. Увидев свое отражение в зеркале, он наверняка расплакался бы. Его сотоварищи прикрывали веки, притворяясь, будто ничего не замечают. А он чувствовал себя смертельно оскорбленным.

В литературе не всякому быть Львом Толстым или Гёте, но свое лицо надо иметь каждому.

Помню фотомонтаж Ивана Галека «Уход Толстого», опубликованный в «Даве». Березовая роща, огромные деревья, лесная поляна, заросшая травой дорога, и на ней едва заметна сутулая фигура человека в белой рубахе, уходящего вдаль. Разительный и незабываемый контраст между величием природы и человеком. Обычные мерки казались неуместными.

Толстой!

Уходящий Толстой.

Человек будто песчинка. И такой гигант! Величественнее вековых деревьев.

* * *

…Я тоже полюбил Братиславу, но произошло это не сразу. Мое отношение к ней складывалось годами, когда я ходил по ее улицам и мостовым, где безвозвратно затихали шаги моей юности… Одиннадцать лет я дышал ее воздухом, и годы, прожитые в Братиславе и давно ушедшие, до сих пор в моей памяти — как живые.

Тогда все было в состоянии становления, еще не остывшее, не сложившееся. Новая жизнь, рождавшаяся в невероятных муках, пробивалась к солнцу, и ее восторженно приветствовало новое поколение. Все старое и враждебное имело в своем распоряжении власть, силу, деньги. Все молодое — энтузиазм и яростное желание драться. Молодость не боялась подвергать себя испытаниям, сносить удары, терпеть поражения.

Те, кто время от времени пытаются утверждать, будто культура и искусство развиваются согласно своим собственным законам и независимы от общественных процессов, явно никогда в жизни не испробовали на себе захватывающей силы этих процессов.

В первые годы после войны положение словацкого народа определяло характер и всей его культурной жизни. Антагонистические силы обретали в искусстве свое адекватное воплощение. Искусство и литература отражали действительность

той поры. Они шли рука об руку и расходились, вместе завоевывали для себя общую базу или выступали друг против друга, объединенные благодаря завоеванным ценностям и расходясь из-за углубившихся непреодолимых разногласий.

Я знал многих поэтов старшего поколения — Мартина Разуса, Владимира Роя и Штефана Крчмеры, прозаиков — Кветослава Урбановича, Эло Шандора, Яна Грушовского, Гронского и Голеци, с большим уважением относился к литературоведу Франтишеку Вотрубе{140}. Но сердце мое принадлежало тому новому, что заговорило новым поэтическим языком, стало выражением новых веяний в искусстве, к ним обращались надежды простых людей. Мы оказались в трудных условиях, которые никак не устраивали нас. В общественной жизни наблюдалась большая разобщенность; разделение по политическим и религиозным принципам. Так выглядела на деле искусственная концепция единого чехословацкого народа{141}, обособленный автономизм; и на этом фоне четко выделялась тенденция коммунистов объединить прогрессивные силы обоих народов и национальных меньшинств, населявших Словакию. В Словакии соперничали католицизм и лютеранство, старая мартинская культурная традиция и масариковский реализм{142}.

Карикатура на Лацо Новомеского.

На страницах журналов велись всевозможные бесплодные дискуссии, немало крови всем попортил тезис о том, будто не существует самостоятельного словацкого языка, следовательно, и словацкой нации. Сторонники автономизма злорадствовали, но представители прогрессивных направлений с возмущением

отвергали подобные измышления. Лацо Новомеский написал тогда брошюру «Маркс и словацкая нация». Велись нескончаемые споры о положении Словацкого национального театра, о развитии словацкой техники, базой для которой предстояло стать Кошицам, о традиции и модернизме и о том, откуда берет начало история Словакии. На повестке дня стояли многие жгучие проблемы, но для их решения недоставало средств и доброй воли. Словацкие писатели сетовали, что в Чехии не читают словацких книг. Выставки словацкого искусства, прошедшие в Праге, можно было сосчитать по пальцам.

Весомый вклад в урегулирование этих споров внесло пражское издательство «Дружстевни праце»{143}, издавшее на словацком языке роман «Поле невспаханное» Петра Илемницкого, «Тернистый путь» Франё Краля и «Туман на рассвете» Мило Урбана. Вместе со стихами Лацо Новомеского, близкими по духу молодой чешский поэзии, «Дружстевни праце» представило эти произведения на суд читателей. Такое многообещающее начинание свидетельствовало об углублении интереса к словацкой культуре. Роман Петра Илемницкого вышел вскоре на немецком и датском языках. Вышел по-немецки и «Живой бич» Мило Урбана. Большая заслуга в этом принадлежала Ф. К. Вайскопфу, давно сотрудничавшему с берлинским издательством «Малик». А Вайскопф взялся за это в свою очередь благодаря Клементису, с которым дружил.

«Дружстевни праце» открыло в Братиславе свой филиал, и тут повеяло бунтарским духом этого прогрессивного издательства, которое представлял энергичный Вацлав Полачек, ставший восторженным почитателем всего словацкого.

В Пештяны приехал лечиться Ф. К. Шальда и с тех пор, особенно после встречи с Клементисом, стал живо интересоваться словацкой литературой.

Теперь вопросам словацкой культуры больше внимания уделяли и журналы. Белградский «Нолит» опубликовал мою статью о молодой словацкой поэзии. Книги Краля вызвали интерес в Советском Союзе. «Кмен»{144}, «Розправы Авентина» и «Творба» во главе с Фучиком просили меня регулярно присылать им информации о культурной жизни Братиславы. «Народни освобозени»{145}, имевшее в Братиславе собственного корреспондента, немного ворчливого, но в общем жизнерадостного Иеронима Голечека{146}, завело постоянную рубрику о словацкой культуре, для которой писал Даниэль Окали.

Фучик передавал из Праги: «Пришли еще что-нибудь, и поскорее».

Лед безразличия к словацкой культурной жизни тронулся. Способствовал этому Илья Эренбург. Его очерки о Словакии читали в Париже и в Москве. Для «Дава» писали и чешские авторы. О Словакии знали Ромен Роллан, Барбюс, Горький, Людвиг Ренн{147}.

От Праги до Братиславы словно стало ближе. К тому же наладилось воздушное сообщение. Среди пассажиров первого рейса был и я. На трассе курсировали старые австрийские самолеты типа «Бранденбург». Рейсы совершались без штурмана, в самолете сидели пилот и два пассажира, в кабину забирались сверху по приставной лесенке; когда вы усаживались, над вами закрывали капот.

В Словакии побывал С. К. Нейман и написал о ней книгу репортажей{148}. Несколько прекрасных стихотворений о Словакии написал Йозеф Гора. На сцене Словацкого национального театра пожинали лавры чешские актеры: драматические — Ян Пивец, Владимир Лераус, Иржи Догнал, Франтишек Вноучек и Люба Германова, а в опере — Марта Красова и Бронислав Хорович{149}.

В один прекрасный день в Братиславе появился Юлиус Фучик. Ему предстояло отбыть до конца срок действительной службы в армии. Он призывался и раньше, но его отправили домой: как коммунист, редактор газеты «Руде право» и «Творбы», он не мог прийтись ко двору в школе офицеров запаса, куда был определен. Тогда врачу предстояло признать его непригодным к прохождению службы, хотя призывная комиссия не обнаружила никаких изъянов — ни туберкулеза, ни болезни сердца. Его отправили обратно в полк, он перебрался в Глоговец, а оттуда отбыл во внеочередной отпуск. Сейчас его призвали снова, в прежний полк, стоявший в Тренчине. В первый же день он отпросился съездить в Братиславу. Впрочем, начальство не очень-то и торопилось надевать на него военную форму.

И вот мы сидим с ним в «Редуте» и потешаемся над его военной карьерой.

В Тренчине Фучик не задержался. Две недели прослонявшись по казарменному двору, он получил приказ: дослужить срок в Праге, в казармах Штефаника. Было Фучику почти тридцать лет.

Я уже писал о сектантских тенденциях, мешавших нам порой общаться с людьми иных политических убеждений, даже если это были честные люди и сотрудничество с ними принесло бы пользу делу. Головы у нас были горячие, жизнь казалась ужасно простой, и мы воспринимали ее чересчур прямолинейно. Со временем наш взгляд на вещи сделался более трезвым. Стала очевидной необходимость вести политическую и культурную работу в более

широких масштабах. Большую роль сыграла позиция в этом вопросе Клементиса, его ведущее положение в «Даве», популярность в среде передовой словацкой интеллигенции. По инициативе Клементиса в Братиславе было образовано отделение Общества экономического и культурного сближения с новой Россией, и нам удалось собрать около себя много сочувствующих, хотя они и не были коммунистами. Назову хотя бы Душана Маковицкого и Э. Б. Лукача, Т. Й. Гашпара, А. Мраза{150}.

Энтузиастом общества стал Ян Тварожек, владелец ликерной фабрички в Братиславе, всемерно поддерживавший нас. Это был словацкий Морозов, живое свидетельство того, как старые славянофильские симпатии к России в новых условиях трансформировались в искреннее и горячее отношение к Советскому Союзу. О чем бы мы ни просили его, он, как мог, всегда с готовностью помогал нам.

Однажды я и Поничан ездили на его машине к бастующим батракам и сельскохозяйственным рабочим в трнавскую округу. Нам надо было написать об этом для «Дава», и Ян Тварожек возил нас в самое пекло. Мы собирали факты, старались своими глазами увидеть и узнать, как живут работающие в экономиях, как оплачивается их труд.

— Как живем? Заходите, посмотрите, — пригласила нас жена батрака и привела в убогое жилище, комнатку размером не более четырех квадратных метров, с кирпичным полом. Деревянный потолок прогнил, видно протекала крыша. — Тут и спим все пятеро, тут же и варю. От тараканов и мышей спасу нет.

— А если скажу, что мне не нравится, — добавил ее муж, — выгонят, и у нас не будет вообще ничего.

— Выгонят?

— Запросто. Скажут, что я для них стар, или найдут кого подешевле — вот и все. А уж если узнают, что коммунист…

Сезонные рабочие в этих имениях зарабатывали шесть крон сорок геллеров в день, трудились не разгибая спины в течение одиннадцати часов. Женщинам платили четыре кроны. На обед выдавали постную похлебку, заправленную мукой.

Тяжело жилось не только в трнавской округе, но и повсюду. На Ораве, на Верхнем Гроне, в Спише, в Кысуцах картина была та же. Я часто выезжал из Братиславы и всюду видел мертвые заводы с печально торчащими трубами без каких-либо признаков жизни. В городах пугалами стояли скелеты недостроенных домов. На трассе Червена Скала — Маргецаны работало всего тридцать рабочих. В Кромпахах бездействовали металлургические печи; Подбрезова сильно сократила производство. Из Завадки в начале тридцатых годов в поисках работы уехали в Канаду две тысячи

человек. В Поломке бастующих расстреляли жандармы. После истории в Кошутах{151} уже во второй раз была пролита кровь рабочих.

* * *

Мимолетным апрельским дождичком пронеслись над миром несколько спокойных послевоенных лет. Опьянение победой над Германией прошло, как угар, а потом наступило отрезвление, и с похмелья болела голова. Война не разрешила противоречий. Поставив немцев на колени, она посеяла семена новых свар. Немецкие стратеги помышляли о реванше и лелеяли мысль о блицкриге — молниеносном ударе. «Войну надо вести современными средствами», — писали на Западе. Каждый убитый в первую мировую войну солдат обошелся в кругленькую сумму. Поглотив тонны золота, война не принесла успеха воюющим сторонам. Червями закопавшись в землю, армии не двигались с места. Солдаты валялись в грязи окопов, по колени увязали в болоте, мерзли, голодали. Их жрали вши, косили тиф и дизентерия.

И вот уже писали книжки о новых видах оружия, о том, что грядущая война будет войной воздушной, войной танков, аэрохимической. Романы о войне снова стали модными.

Роман Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» разошелся по всему свету. За одну ночь автор стал знаменитейшим писателем. Книга, которую сначала никто не хотел издавать, ходила по рукам, ее читали взахлеб. В читательских анкетах ей отводилось первое место. Книгу с удовольствием читали и генералы.

А ведь задолго до автора этого романа, никому не известного мелкого чиновника, о войне писали и Барбюс, и Дюамель, Ромен Роллан, Доржелес и Горький.

Эти настроения имели свою подоплеку. В Бразилии сбрасывали в море мешки с кофе, в Канаде жгли пшеницу. Падали цены на нефть, а по улицам больших городов бродили — руки в карманы — угрюмые люди, и глаза их горели недобрым огнем.

Было предпринято несколько военных кампаний, как бы для прощупывания ситуации. Японцы заняли Маньчжурию; участились провокации, направленные против Советского Союза, наступил период затяжных женевских переговоров. Деморализованная Германия произвела на свет Гитлера. По ее улицам с ревом: «Проснись, Германия!» — маршировали возбужденные толпы.

Я не пишу хронику политических событий. Просто, приводя эти факты, я хочу воссоздать атмосферу начала тридцатых годов.

Приехав в Прагу, я на каждом шагу встречал изможденных,

голодных и оборванных людей, обитавших в жалких подобиях жилищ — так называемых временных колониях на Крейцарке и на Страгове, — видел кухни для бедных, которым выдавали нищенские пособия по безработице. По улицам безработные носили пятиметровые рекламные щиты. После шести часов перед ночлежками уже стояли очереди бездомных. Многие устраивались под мостами на Штванице и в Либени. На Юнгмановой площади распевала Армия спасения, суля человеку вечное блаженство.

«Что будет с театрами?» — вопрошали газетные заголовки.

Рекламы зазывали в бары «Пигаль», «Турандот», «Шапо руж», «Барберина» и «Эспри».

В ноябре открылся новый театр «Д-34»{152} во главе с Эмилем Франтишеком Бурианом. Начала выходить газета «Гало-новины»{153}. Я поступил в эту газету, которую основали типографы, чтобы занять рабочих, когда на несколько месяцев было приостановлено издание газеты «Руде право». Предполагалось, что газета «Гало-новины» не будет политическим органом. Издателем и ответственным редактором считался один из наборщиков, но практически ее делали редакторы закрытой газеты «Руде право».

Самым старшим из них был Власта Борек{154}, старый бунтарь, за спиной которого было революционное прошлое и работа в газете. До войны он служил на австрийском военном корабле. По профессии инженер-механик, Борек уже в студенческие годы занимался политикой, примыкал к анархистскому движению и был убежденным антимилитаристом. Он увлекался стихами Франи Шрамека{155} и распевал его бунтарские песни.

За антивоенную пропаганду среди солдат Борек был арестован и в наручниках препровожден с пристани Пула в Прагу. Военный трибунал осудил его на десять месяцев тюрьмы за подстрекательскую деятельность.

Вместе с С. К. Нейманом, Богуславом Врбенским и Михаэлом Кахой{156} Власта Борек создал анархистскую группу, снискавшую немало сторонников среди горняков Северной Чехии. Группа издавала газеты «Задруга», «Горницке листы» и «Пролетарж», пропагандировала взгляды Кропоткина. Члены группы выезжали к шахтерам, читали для них лекции, устраивали дискуссии, привозили книги и газеты. За эту деятельность Борека снова привлекли к суду и затем отправили в тюрьму города Гётесдорфа. После объявления войны Сербии Борека выпустили из тюрьмы и в составе штрафной роты отправили прямиком на фронт. Вскоре он был ранен.

Тюрьма и фронт лишь укрепили антимилитаристские убеждения Борека. После войны он с еще большим пылом ринулся в политику. До Чехословакии доходили первые правдивые вести о Советской России; очевидцы революционных перемен — Иван Ольбрахт, Мария Майерова и другие — делились своими впечатлениями о Москве{157}, народ постепенно узнавал о трудах Владимира Ильича Ленина, имевших всемирно-историческое значение. Люди размышляли, подвергали критике свои прежние взгляды. События в России помогли Бореку избавиться от анархистских увлечений, он примкнул к марксизму, вступил в коммунистическую партию и стал редактором газеты «Руде право».

Мы любили Борека за добродушный нрав и отзывчивое сердце, а также за то, что он легко нашел общий язык с нами, молодежью, и сделал это без всяких усилий. Борек отлично чувствовал себя среди нас, и нам льстило, что опытный, искушенный газетчик держится с нами запросто. Человек он был скромный. Борек перевел на чешский язык «Тихий Дон»; по-моему, его перевод отличался глубоким проникновением в поэтический язык Шолохова.

* * *

Несмотря на трудности жизни, Прага оставалась прекрасной. Прекрасны были не только ее знаменитые места, которым нет равных ни в Париже, ни в Риме, но даже самые глухие ее уголки с булыжными мостовыми. Велькопршеворская площадь под вековыми деревьями, Погоржелец, Шитковские мельницы, дворики Старого Места, живописные улочки за Кампой, где перед тобой вдруг неожиданно возникают миниатюрные площади и где жизнь разматывается незаметно, словно время остановилось…

В полдень мы съедали обед, состоявший из двух жареных колбасок, булки и чашки черного кофе, и бродили с Юлиусом Фучиком по улицам, обходя окраины Карлина, вдоль Влтавы, где по берегам сплошь тянулись склады, сараи, доки и свалки, огороженные заборами, мы доходили до рукава реки, который вместе с основным руслом омывал остров Штванице. В сторону шлюза плыл пароход, по Голешовицкому мосту сновали локомотивы, на берегу шумели ольхи, а прямо напротив, на самой стрелке острова, неподвижными изваяниями вырисовывались рыболовы.

Карлин был бедным кварталом в центре Праги. Достаточно было свернуть в сторону от Краловского проспекта, чтобы

очутиться среди старых облупленных домов с грязными дворами и закоулками, напоминавшими Прагу восьмидесятых годов прошлого столетия. На каждом шагу попадались фабрички и мастерские, и казалось, что Роганский остров, по которому мы шли, — это огромная мусорная куча, куда Прага вывозит отбросы со всего города и стыдливо прячет подальше от глаз свою суетливую и грязную жизнь.

Наша редакция находилась в Карлине, однако мы так и не приросли сердцем к этому кварталу, не прижились здесь. Мы редко выходили за карлинский виадук, нас больше тянуло в город — отчасти потому, что в Карлине не было подходящего места, чтобы устроиться и писать. Ближайшее кафе «Опера» размещалось против Денисова вокзала; «Имка», «Империал» были уже на Поржичи. Чаще всего мы ходили в «Имку», когда же на Поржичи построили гостиницу «Акса» с закрытым плавательным бассейном, стали ходить в маленькое кафе при этой гостинице. Писалось там отлично, а стоило поднять голову от стола — внизу за окном ты видел мальчишек и девчонок, постигавших тонкости стиля «кроль».

Здесь мы работали. Затем Фучик, отложив ручку, указывал на русский бильярд со словами:

— Как, сгоняем партию? До пятидесяти, а?

Некоторое время мы играли, тяжелые бильярдные шары с глухим, стуком отскакивали от бортов; я по большей части проигрывал, потому что Фучик был виртуозным бильярдистом, он владел такими приемами, что тягаться с ним было не под силу. Очень скоро счет достигал пятидесяти — разумеется, в его пользу, — и мы возвращались к своим статьям.

В другие кафе мы по утрам не ходили, только сюда, здесь никто нам не мешал.

Ближе к центру кафе были совсем другого рода. Некоторые будто специально существовали для людей, не имевших иного занятия, нежели разглядывать друг друга. Писать там не было никакой возможности, равно как и в кафе, оккупированных художниками: чуть не за каждым столиком сидел кто-нибудь из знакомых, который искал собеседника либо случая «стрельнуть» крон десять. Здешняя публика отличалась крайним любопытством и непременно хотела знать, что мы пишем, заглядывала через плечо, и, даже если вас одолевали самые блестящие идеи, любопытные мешали и надоедали до того, что становилось невыносимо и не оставалось ничего другого, как встать и уйти.

Когда наше присутствие в редакции не было необходимым и предстояло подготовить большую статью для воскресного номера,

мы отправлялись в кафе. В редакции обстановка не располагала к писанию. Двери за посетителями не закрывались, трезвонили телефоны. Для приема визитеров оставались несколько человек, этого было вполне достаточно, а прочие сотрудники, сообщив на всякий случай номер телефона, где их разыскивать, разбредались кто куда.

— Но лучше, если мы никому не понадобимся, — говаривали мы, уходя.

Обычно же нам постоянно приходилось торчать в редакции, домой удавалось уйти не раньше, чем ротация выдавала первые сигнальные оттиски. И когда машина начинала работать вовсю, мы брали по экземпляру свеженького, пахнущего типографской краской номера газеты и отбывали — наш рабочий день был окончен.

Лучше всего работалось в кафе «Метро». Сидеть там можно было с утра до ночи, заказав лишь кофе или воду, когда не было денег на кофе. Нужного поэта или архитектора, писателя или редактора из «Деветсила», кого-либо из «Левой фронты»{158} или из киношников вы непременно заставали в «Метро», за это можно было ручаться головой.

В «Метро» вы могли заказать статью, обсудить политические и культурные события, устроить дела. Там происходили бурные дискуссии о Мейерхольде и Пастернаке, об Эйзенштейне, Корбюзье, Рене Клере — и о ком только там не спорили! Здесь вы узнавали самые свежие новости из мира политики и искусства. Сюда ежедневно приходил играть в бильярд Иван Секанина, заглядывал Йозеф Гакен, а то и Богумир Шмераль{159}, вернувшийся из Москвы или с Дальнего Востока. «Метро» было сказочным пресс-центром, располагавшим надежной информацией как о больших, так и о незначительных событиях внешнего мира.

Но вот кого не встретить было ни в одном из пражских кафе или погребов, это Эмиля Франтишека Буриана; ни когда он был в Освобожденном театре на Слупи, ни когда перешел в литературное кабаре «Красный туз» на Лютцовой улице, а затем открыл театр «Д-34» в концертном зале «Моцартеум».

Эмиль Ф. Буриан был невероятно трудолюбив, с фанатичным рвением набрасывался он на любое дело, целиком погружаясь в работу, и ничто, кроме нее, его не занимало. Глаза его лихорадочно блестели, и, если вы случайно с ним сталкивались, он обрушивал на вас водопад точно сформулированных фраз, содержащих совершенно немыслимые идеи, и бывал настолько ими захвачен, что ни у кого даже на миг не возникало сомнения в их осуществимости. Оставалось лишь сожалеть, что этот

искрометный, талант, в избытке наделенный творческой энергией, никогда не располагал достаточными средствами для претворения в жизнь замыслов, которые извергала его вулканическая фантазия.

Работать под его началом было далеко не сладко. Он требовал безоговорочной преданности работе, полной отдачи служению искусству. Не выдержав напряжения, артисты нередко оставляли его театр; проработав несколько лет, они уходили, чтобы где-нибудь на другой сцене немного перевести дух. Но годы, проведенные у Буриана, давали им очень много, и своим безукоризненным актерским исполнением они отличались от актеров любого другого театра. Школа Буриана славилась, и актеров, прошедших ее, вы всегда могли узнать уже по тому, как они произносили текст своей роли. Актеры других театров нередко говорили так невнятно, что их невозможно было понять; актеры же Буриана блестяще владели культурой речи, слушать их было одно удовольствие.

Э. Ф. Буриан был музыкантом, это помогало ему компоновать инсценировки пьес как музыкальное сочинение. За что бы он ни брался, все приобретало свой ритм, свой характер.

Юношей, едва покинув стены консерватории, он написал смелую оперу, имевшую большой успех. Разносторонне талантливый человек, он мог стать отличным актером, точно так же как и художником. Это был выдающийся публицист и журналист, проницательный, сведущий теоретик, композитор, поэт и прозаик. Все сделанное Бурианом носило печать незаурядности, неистового темперамента художника, исключительно своеобразного восприятия, яркого интеллекта и бескомпромиссного, всегда изобретательного творческого мышления. Его коллектив декламаторов имел потрясающий успех, и Буриан отваживался гастролировать с ним даже за рубежом.

Но вершиной славы Буриана стал театр «Д-34».

Этот театрик возник, как и газета «Гало-новины»: его основали актеры, не получившие ангажемента. Они образовали самоуправление; совместно с директором актеры решали вопросы приема и увольнения, оплаты и все экономические дела театра, они же были администрацией, обсуждали художественные планы, утверждали репертуар и разбирали отдельные постановки. У них были профессиональные курсы, занятия по пению, ритмике, физической культуре, часы политпросвещения. В течение долгого времени политинструктором театра был Юлиус Фучик, затем Ян Крейчи и Курт Конрад{160}. Пожалуй, все до единого актеры были коммунистами. Театр «Д-34» и по направлению, и по духу

был новым театром в полном смысле слова. Актеры устраивали концерты, художественные выставки и вечера поэзии. И любое их начинание было отмечено ярким талантом Буриана.

Начиная с пьесы «Мы хотим жить» К. Нового, я был у них почти на всех премьерах, о большинстве из них писал. Я наблюдал за деятельностью театра в течение ряда лет, и Буриан называл меня летописцем театра. Я видел «Кафе на главной улице» Г. Вчелички, «Джона Д.» Ф. Вольфа, «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда, «Страдания молодого Вертера», «Севильского цирюльника», «Евгения Онегина», «Трехгрошовую оперу» Б. Брехта, «Плотину на Тисе» Д. Хаи, «Май» Махи, «Скупого» Мольера, комедию Клицперы «Каждый что-нибудь для родины», «Адвоката Поклена» и «Солдатчину»{161}.

Любая новая постановка становилась событием, потому что в каждой из них мы всякий раз видели нового Буриана. Он никогда не подбирал крохи вчерашнего. Спектакли изобиловали находками, имели свою неповторимую атмосферу. Режиссерской трактовке сопутствовало оригинальное сценическое воплощение. Буриан впервые применил кинопроекцию, чем создавал на сцене великолепное впечатления простора, хотя все эти чудеса происходили на нескольких квадратных метрах. У сцены не было глубины и пространства за кулисами, это-то и заставляло Буриана проявлять невероятную изобретательность. Трудно поверить, что на такой крошечной площадке вообще можно было играть, мало того — ставить самые сложные вещи. По существу, он применял очень простые, но остроумные средства и при помощи света, ширмы, диапозитивов и кино творил чудеса.

* * *

У домов, как и у людей, своя история, свои судьбы, свои воспоминания. События, происходившие в их стенах, давно поглотило время, и стены о них молчат, оберегая тайну. И сейчас во дворе звучат отголоски совсем иных звуков и шорохов, слышны шаги других людей, идущих по лестницам, новые голоса раздаются в комнатах и коридорах, хранящих связанные с домом предания.

Только табличка на доме, который все так же покрывается пылью и копотью и омывается дождями, лаконично и сухо сообщает нам несколько скудных фактов, извлеченных из преисподней времени. На табличке — имена людей, которые работали здесь. Они улыбались и хмурились, о чем-то беспокоились, к чему-то стремились, добивались чего-то, что

давно уже заслонили новые события и новые дела.

Нынешний Соколовский проспект в Карлине прежде назывался Краловским, а дом этот значился под тринадцатым номером. Мимо проходят люди, занятые своими думами. Прозвенит трамвай, вынырнув из-под виадука, навстречу ему к Инвалидовне мчится другой. Во двор въедет двенадцатитонка, возьмет или оставит груз и уедет. В окнах дома мелькают совсем другие лица; кто-то что-то строчит, кто-то кому-то звонит, с кем-то говорит; что-то укладывают в шкафы, выносят из складов.

В доме воцарилась новая, более размеренная жизнь, тихая и спокойная, и только стены и распахнутые настежь ворота да лестница остались те же. Они напоминают о прошлом, ставшем историей.

По утрам сюда приезжала грузовая машина и сбрасывала во дворе огромные белые рулоны ротационной бумаги. Типографские грузчики, подкатив бумагу к подъемнику, спускали ее в подвал типографии. В десять часов утра и после четырех дня ротация начинала печатать, и дому сообщалась мелкая ритмичная дрожь, разносилось ворчливое жужжание, к которому обитатели дома давно привыкли: эти звуки говорили им — все идет своим чередом. Гудение типографии было жизнью дома; привыкнув, вы радовались, услыхав его обычный пульс.

А во дворе уже собирались шумливые группки разносчиков. Они прислушивались к знакомому гулу и знали — как только гул и ворчание наберут силу, с транспортера типографского колосса газетные листы начнут поступать в экспедицию. Затем с кипами этих газет разносчики спешили на трамвайные остановки, чтобы поспеть к концу смены к заводам и фабрикам, пока рабочие — наши постоянные читатели — не разошлись по домам. Разносчики ехали на Высочаны, в Либень, на Смихов, в Инонице — туда, где были заказчики; в эти районы они ехали наверняка; каждая минута задержки била их по карману.

Накануне Первого мая к нам приходил со своей группой Эмануэль Фамира{162} и украшал фасад дома. Во всю длину здания между верхними этажами натягивались транспаранты с майскими лозунгами и плакаты с надписями:

***ДА ЗДРАВСТВУЕТ КПЧ!***

***ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!***

Свернув из подворотни налево, поднимался в свою контору по крутой лестнице Иван Секанина, адвокат коммунистов, друг Волькера. Защитник рабочих, публицист, организатор и оратор, видный деятель МОПРа и других многочисленных международных антифашистских организаций в защиту мира. Одним из первых Секанина заявил о своей решимости выступить на Лейпцигском процессе в защиту Димитрова.

Иван Секанина был серьезный и закаленный в политических схватках партийный работник, пользовавшийся большим авторитетом и в кругах деятелей культуры. Нацисты арестовали его в первый же день оккупации и отправили в концлагерь Заксенхаузен, откуда он уже не вернулся.

Куда девался судебный архив из сейфа его адвокатской конторы, материалы, в которых была заключена история партии, газеты «Руде право»? В этих документах были судьбы коммунистов, вдохновленных идеями Ленина, готовых вынести любые испытания, выпавшие на их долю. Этих людей травили, преследовали, подвергали арестам, увольняли с работы, но ничто не сломило их — не испугали ни террор, ни тюрьмы. Имена руководящих работников партии перемежались здесь с именами простых и безвестных людей.

Каждодневный путь Секанины лежал к зданию суда на Карловой площади и на Панкрац. Перед зданием суда на Карловой площади 15 марта 1939 года его поджидали гестаповцы. Секанина бывал в судебных зданиях и в других местах — там, где судили коммунистов и где он выступал их адвокатом. Такие же дела вели адвокаты Бартошек, Штейн, Флейшнер из Брно{163} и Клементис из Братиславы.

Прага.

Никакие другие документы не отражали так точно и беспристрастно положение трудящихся в условиях капитализма, как материалы судебных процессов, прошедшие через руки юристов-коммунистов. Судьбы и трагедии конкретных людей, сообщения о стычках с вооруженной полицией, истории, нередко заканчивавшиеся многолетним пребыванием в тюрьме, представляли собой обычное явление, и было их столько, что на них уже не обращали внимания. Эти материалы убедительно свидетельствовали о сути тогдашней демократии.

Когда не было работы и соответственно хлеба у трудящихся, прибавлялось дел в судах и тюрьмах, у жандармов и полиции. Правительство содержало огромную армию охраны порядка, видя в этом панацею от голода и нищеты.

Государственный аппарат цинично считал нормальным положением вещей расстрел демонстрантов и забастовщиков, разгон с помощью штыков голодных толп.

А людям, дошедшим до последней степени отчаяния, порой бывало безразлично — погибнуть от жандармской пули или умереть от голода.

Тюрьмы были переполнены, и многие их обитатели нередко умышленно совершали преступления, лишь бы холодной зимой попасть за решетку, иметь крышу над головой и какую ни на есть тюремную баланду.

Не миновала тюрьма и литераторов. За решеткой побывали Иван Ольбрахт, Карел Конрад, Лацо Новомеский — их судили за «подстрекательство», за то, что они пытались разбудить совесть сытых и власть имущих, тех, от кого зависело положение в стране.

Протестовали против неслыханных полицейских расправ и такие люди, как Ф. К. Шальда.

Франтишек Бидло{164} рисовал для газеты «Руде право» изможденных бедняков с огромными голодными глазами, а рядом — весело скаливших зубы мордастых полицейских. Он так изобразил рождество в семье безработного: отец спрашивает детей «Хотите елку?», а дети отвечают «Поесть бы чего!».

Вышло распоряжение о запрете продавать «Руде право» в вокзальных киосках и в табачных лавочках. Одновременно все больше материалов изымалось из уже готовых номеров. «Руде право» ежедневно выходила с выбеленными полосами.

Ворота дома номер тринадцать по Краловскому проспекту были входом в штаб, центр революционного рабочего движения; через них, правда, и уходили, порывая с партией… Здесь

дислоцировались лидеры партии. Здесь работали полководцы социальных битв, здесь обдумывались стратегия и тактика революции. Среди руководителей были люди выдающиеся и ничем не приметные, и, когда в руководстве партии оказывались именно эти последние, положение сильно осложнялось; так было в тяжелые для партии времена при Бубнике, Нейрате, Илеке и Верчике, но партия смела подобных деятелей{165}.

На V съезде КПЧ в руководство влились новые молодые силы во главе с Клементом Готвальдом. Им пришлось нелегко — предстояло завоевывать доверие, и они завоевали его, укрепляя партию и превращая ее в стальную боеспособную организацию.

Разрыв многих с партией был неизбежен, но не обошлось и без потерь. Случалось, партию оставляли талантливые люди, такие, как поэт Йозеф Гора, один из первых редакторов газеты «Руде право», или Завиш Каландра, способный историк, не давший себе труда задуматься над тем, какой вред принесет его отход от партии{166}.

К счастью, вступавших в партию было больше.

Не случайно с партией были связаны и деятели новой культуры. Большинство художников, жаждущих создавать новое искусство были коммунисты, и партия являлась для них опорой. Они стремились, чтобы искусство было правдивым и гуманным, и примыкали к движению, которое боролось за гуманное и справедливое устройство мира.

В дом на Краловском проспекте приходили деятели искусства, писатели, поэты, художники, музыканты, карикатуристы, студенческая молодежь, учителя; все ходили сюда запросто, как к себе домой, к своим друзьям. Многие из них представляли коммунистов в студенческих обществах и культурных учреждениях. Один приносил стихотворение, другой статейку, рассказ, какое-нибудь объявление, деньги в фонд печати. Они входили, осматривались, садились за редакторские столы, взволнованно спорили. Некоторые «застревали» у нас, написав заметку, стихи для «Руде право» или другой материал. Затем они появлялись регулярно, атмосфера редакции действовала на них притягательно. Примостившись у столов как добровольные редакторы, они читали корректуры, правили сообщения с мест, выполняли и другую редакторскую работу и вообще помогали как могли. Они учились ремеслу газетчиков и в конце концов становились опытными работниками. Так было с Юлиусом Фучиком, Куртом Конрадом, Станиславом Брунцликом, Вацлавом Синкуле, Вратиславом Шантрохом{167}. Иные, например Ян Крейчи, Эдуард Уркс, Войтех Долейши и Лацо Новомеский, перешли в «Руде право» из других газет —

«Ровности»{168}, острaвского «Делницкого денника», словацкой «Правды худобы».

С нами постоянно сотрудничали художники, карикатуристы, особенно частым гостем был Франта Бидло, он приносил рисунки на темы жизни пролетариата, проникнутые мрачным юмором. Из музыкантов здесь всегда бывали Йозеф Станислав и Вит Неедлы{169}.

К Новомескому забегали студенты-словаки, учившиеся в Праге, поэты Костра и Безек, литературные критики Александр Матушка, Михал Хорват и многие другие{170}.

У ворот частенько дежурили сыщики, беря на заметку всех входящих. Им вменялось в обязанность запоминать лица, присматриваться, нет ли здесь тех, на кого заготовлен ордер на арест.

А ордера эти всегда были наготове — для кого-нибудь из секретариата партии, депутата, лишенного права неприкосновенности, или одного из ответственных редакторов газеты, кого ждали на Панкраце для отсидки «по совокупности» — «за оскорбление в печати», за публикацию недозволенных материалов; однако тот, кого искали, естественно, туда не рвался и предпочитал на глаза полиции не попадаться.

В это время мы заглядывали также в кафе «Рокса», или, как его еще называли, «У Ашерманов», на Длоугом проспекте. Чтобы попасть туда, надо было подняться по лестнице на второй этаж; это кафе посещали коммивояжеры и всякие подозрительные личности. Тут всегда бывало сильно накурено, торговые агенты приносили с собой портфели, набитые образцами товаров, делились новостями, оживленно переговаривались, развлекали друг друга еврейскими анекдотами.

Посреди зала бильярдисты целыми днями гоняли по зеленому сукну тяжелые шары из слоновой кости, делали карамболи.

Три-четыре раза в неделю нас дожидался здесь доктор Мареш. Обычно он сидел за мраморным столиком и попивал черный кофе. Его напомаженные волосы были расчесаны на косой пробор, элегантный галстук, отутюженный костюм, очки в черной роговой оправе, а в петлице нередко красовался большой цветок — ни дать ни взять франт, только что из модного салона.

Если мы опережали его, кельнеры придвигали нам стулья со словами «Садитесь, пожалуйста», осведомлялись, не подать ли кофе.

— Пожалуй, — соглашались мы и заказывали кофе по-турецки или «капуцина» — кофе, забеленный молоком.

Не успевали мы его допить, как стремительно появлялся Мареш. Завидев нас с Яном Крейчи и Братиславой Шантрохом, доктор Мареш радостно сиял.

К нашему столику подходили посетители и звали «пана доктора» сыграть в бильярд.

Он улыбался и, извинившись, покидал нас минут на пятнадцать, а мы наблюдали, как ловко и профессионально орудует он кием; игрок он действительно был хоть куда. Во всяком случае, лучше нас, мы-то давно убедились, что чемпионов из нас не получится. Он и в самом деле был почти профессионал, к тому же получал огромное удовольствие от манипуляций на зеленом поле бильярда.

Каким неподражаемым жестом взвешивал он в руке кий, выбирая наиболее удобный, а затем с удовольствием натирал кончик мелом! Сколько изящества было в его движениях, в том, как он ходил вокруг стола! Он никогда не позволял себе распускаться — ни словом, ни жестом не проявляя своего настроения, улыбка не сходила с его лица, даже если фортуна благоприятствовала не ему, а партнеру.

Он любил умышленно переиначивать поговорки и пословицы и, повторяя их, таким образом реагировал на изменившуюся ситуацию. Когда партнер теснил его, он приговаривал: «Кто копает другому яму, с того семь потов сойдет», «И первая ласточка ходит без сапог».

Отбыв дружескую повинность у бильярдного стола, он возвращался к нам, и уж тут такие начинались разговоры, что любой филер с Бартоломейской улицы{171} отдал бы многое, лишь бы услышать нас, узнать, что мы прячем в карманы, прощаясь с паном доктором Марешем, что уносим в нашу типографию из кафе «Рокса», а затем набираем и верстаем, да и вообще, что это такое за материал…

В один прекрасный день Мареш не явился в кафе, наши встречи с ним, увы, прекратились.

Это происходило в пору, когда паном доктором Марешем полиция заинтересовалась особенно пристально, на Панкраце для него был приготовлен одноместный номер с зарешеченным окошком под потолком. Появилась опасность, что в франтоватом завсегдатае кафе, похожем на брачного афериста, полиция узнает нашего Юлиуса Фучика с его непослушными вихрами.

Был издан приказ о его аресте за то, что он не отбыл предыдущих наказаний, хотя прошли все отсрочки. Агенты полиции выслеживали его, упорно околачиваясь возле ворот редакции газеты «Руде право» на Краловском проспекте в Карлине. Фучику не оставалось ничего другого, как скрыться.

Доктора Мареша он сыграл бесподобно, впервые попробовав себя в роли подпольщика. Этот опыт пригодился ему позже, во время оккупации, когда он успешно изображал «учителя Горака».

В кафе «Рокса»…

Вскоре по распоряжению партии Фучик уехал в Советский Союз. Он гостил в Москве, побывал в Средней Азии, посылал домой репортажи и привез уйму впечатлений и наблюдений; годы спустя из его очерков о Советском Союзе Густа Фучикова составила книгу «В стране любимой».

Из дома на Краловском, номер тринадцать, в то время уезжали не только в Советский Союз, но и на гражданскую войну в Испанию, отбывали в тюрьму, отправлялись для участия в забастовках, митингах, демонстрациях, публичных выступлениях и мы, редакторы, тоже. Прямо отсюда направились мы в сентябрьские дни 1938 года в свои воинские части. Затем нас разбросало в разные стороны, и больше мы уже не собрались вместе.

> Будто капли, мы рассыпались повсюду
> и дождем впитались в землю…{172}

Точнее, чем строками этого стихотворения, трудно сказать о судьбах близких мне людей, чьи имена я здесь упоминал!

* * *

Когда «Гало-новины» стали вечерней газетой — к этому времени, после четырехмесячного перерыва, по утрам снова выпускали «Руде право», — я ходил на работу пешком. Работа начиналась около полудня, однако никто из сотрудников не мог усидеть дома, все являлись в редакцию раньше положенного времени.

Карлин был кварталом бедняков, и если по пути в старую Прагу из Дейвиц, где я жил, не свернуть на виадук к площади Кирилла и Мефодия и к Инвалидовне — там раскинулись два неплохих парка, — то сразу за воротами дома буквально окунешься в грязь и нищету. По виадукам курсировали поезда и локомотивы, с вокзала Масарика и с Денисова, из депо на Грабовке валили клубы тяжелого черного дыма. Дома казались выкрашенными сажей. И этот закопченный бедняцкий Карлин с «Колбенкой» и заводами поменьше, с грязными складами и мастерскими во дворах, жители которых редко выбирались дальше Поржичских ворот, — все это создавало самый

подходящий фон для нашей работы.

Нам явно не пристало размещаться где-нибудь на главной — Вацлавской — площади в шикарном дворце. Да и власти едва ли радовались бы, зная, что к нам ходят люди, вид которых не украсил бы центр столицы. Здесь у нас было оживленно, как когда-то то в Братиславе в Управлении помощи пострадавшим от войны. Являлись депутации заводских рабочих, когда совершалось какое-либо беззаконие по отношению к трудящимся. Обездоленные приходили пожаловаться и облегчить душу, и, когда они выкладывали нам свои горести, им хоть немного становилось легче. Внизу под окнами давали концерты безработные. Они бродили с гитарой по дворам и пели тоскливые песни о взрыве на шахте «Нельсон»{173}, о нищете, о тяжелой работе горняков.

С утра до вечера жизнь в доме кипела, в его недрах постоянно что-то гудело, сипело и шумело, стены дрожали от типографских машин, топота множества людей, которые выходили из дверей в глубине двора или исчезали в них: редакторы, печатники, разносчики газет, работники секретариата партии и типографии, журналисты, сотрудники пресс-агентств и агентств, поставлявших иллюстративный материал. Рычали грузовики, привозившие рулоны ротационной бумаги или уголь. Дом жил неутомимо и размеренно, все его составные части исправно работали. Живой организм этого издательского предприятия кипел от избытка энергии, гудел ульем.

Никто не мог пожаловаться на недостаток загруженности. Все постепенно сходившиеся сотрудники один за другим незаметно вступали в это коловращение, приноравливались к его ритму, включались в его нескончаемую деятельную работу.

Йозеф Копта убеждал меня бросить газету и заняться литературой:

— Газета — школа для писателя. Но нужно вовремя из нее уйти, иначе погибнешь.

Не раз, когда я еще и не подозревал, что буду тут работать, на лестнице этого дома я встречал «погибшего» Ивана Ольбрахта и «погибшего» Йозефа Гору, а потом мы и сами «погибали» здесь, счастливые, несмотря ни на что, потому что наших книг могло и не быть, зато не могло не быть дела, которое делали мы все вместе. Ян Шверма{174} мог стать историком, доктором Яном Швермой; Эдуард Уркс — литературоведом, профессором, доктором Урксом; Станислав Брунцлик, Курт Конрад, Ян Крейчи и особенно Юлиус Фучик страстно мечтали заниматься литературой и литературоведением, но они добровольно отказались от этого. Лацо Новомеский был поэт, но сколько

времени он отдавал газете! И меня не оставляло честолюбие — хотелось писать не только газетные статьи. Но никто из нас и в мыслях не держал — жить тем, чем хотелось бы, делать то, что приятней. Наше место было здесь. Так велела нам совесть.

В партии нельзя было просто числиться — в ней не было места бездельникам, нечего было делать и искателям легкого успеха. Вступившие в коммунистическую партию не могли рассчитывать на какую-то личную выгоду. Наоборот, им грозили увольнения, преследования, тюрьма. Тем не менее все новые и новые энтузиасты пополняли партийные ряды, и не только рабочие, но и люди искусства, интеллигенция.

Среди нас, редакторов, было несколько рабочих, вступивших в партию еще на заводе, закаленных в борьбе за рабочую копейку. Мы пришли в партию благодаря литературе, революционным произведениям С. К. Неймана, Зденека Неедлы, Ивана Ольбрахта и Марии Майеровой, благодаря журналам «Червен», «Пролеткульт» и «Вар»{175}, стихам Волькера и Сейферта, убежденные статьями «Руде право». Естественно, этому способствовала и наша жизнь с самого детства — условия в семье и война, отнявшая отцов и открывшая нам глаза на ужасы и бесчеловечность действительности. А Нейман, Неедлы, Ольбрахт и Шмераль первыми заставили нас обратить взоры к Советскому Союзу, научили понимать смысл революционных событий в этой огромной, далекой и в то же время такой близкой стране, судьбы которой не давали нам спокойно мириться с нашей жизнью.

Занятые политикой, мы все же улучали минутку и забегали в «Метро» повидаться с Карелом Тайге и Витезславом Незвалом, Индржихом Гонзлом{176}, с нашими левыми архитекторами, побеседовать с ними. Правда, особенно засиживаться по вечерам было некогда. Время складывалось иначе, чем у наших друзей, живших вольными художниками и после ночных бдений имевших возможность выспаться днем. А в партии была дисциплина, и у каждого был свой круг обязанностей.

Но когда нам надоедали ежедневные сардельки у колбасника Коржана, а в кармане заводились лишние двадцать крон — скажем, гонорар за статьи в «Творбе», — мы, охваченные грешным желанием выйти, что называется, проветриться, отправлялись куда-нибудь. Юлиус Фучик всегда готов был поддержать компанию и с удовольствием предводительствовал нами.

Чаще всего мы ходили к Бушару в Дейвицах; он держал ресторан с французской кухней и французскими винами; Фучик любил ходить сюда, и, если мы могли позволить себе посидеть у Бушара, для Фучика это был настоящий праздник.

Мы заказывали бульон, мясо по-бургундски с жареной

картошкой, полбутылки божоле и чувствовали себя преотлично. Фучик восторженно любил Советскую Россию. С горячей симпатией относился он и к Франции, французскому народу; французскую литературу прекрасно знал от Бодлера до дадаистов, был ревностным почитателем Парижской коммуны и всего связанного с ней. Ему как-то случилось побывать с Иваном Секаниной в Бретани, в рыбачьем поселке Дуарнене. Рыбаки как раз бастовали и не выходили в море; у мола качались на волнах пустые лодки; рыбаки митинговали. Фучик окунулся в привычную стихию. Жители поселка сплошь были коммунистами, и Фучик чувствовал себя здесь как дома. После окончания забастовки он еще какое-то время жил в поселке, бывал в семьях рыбаков. Стоило Фучику вспомнить о той поездке, у него загорались глаза, словно рыбачий поселок вставал перед его взором как одно из прекраснейших мест на свете…

У Бушара мы нередко касались больной темы — наших литературных планов, которые каждый из нас хранил про себя, в самых потаенных уголках души.

— Знаешь, что я хотел бы написать, Рыбачевский? — как-то раз ни с того ни с сего обратился ко мне Фучик.

— Ты собираешься писать?

— Разумеется, я хотел бы кое-что написать.

— Чем же ты собираешься нас поразить?

— Не пугайся. Двумя романами.

— Ого-го!

— А знаешь, почему два?

— Уж избавил бы нас от догадок. Видимо, один будешь писать правой рукой, а другой — левой ногой.

— Рыбачевский, — укоризненно протянул Фучик, — за кого ты меня принимаешь, подобные шуточки скорее пристало адресовать кому-нибудь из вас.

— Ну сдаюсь, сдаюсь!

— Что ты скажешь, если я напишу детективный роман? А еще — утопию о недалеком будущем!

— Блестяще! Киш, запиши это, пожалуйста.

Наступила пауза. Фучик достал из кармана пачку сигарет, закурил и продолжал:

— Утопию в духе Жюля Верна, только современную, о том, каким будет мир лет через пятьдесят и какие удастся творить чудеса, когда технику поставят на службу прогрессу. Представляешь, до чего прекрасной станет жизнь, если не будет войн?

— Да уж мог бы кое-что представить, — похвастался я, чтобы не оставаться в долгу.

— Представляешь, какую замечательную вещь мог бы написать о будущем коммунист? И не какие-нибудь там досужие вымыслы, вроде замятинского «Мы»{177}, а самое настоящее научное предвидение, в духе жюль-верновских прогнозов. Кто, по-твоему, одолел бы эту тему?

— А ты сам?

— Хм…

— В самом деле, отчего бы тебе не взяться за это?

— Ты думаешь? В самом деле, а?.. — серьезно проговорил Фучик.

И мы пошли догонять друзей.

Фучик был одним из самых добросовестных журналистов, каких мне довелось знать. Он считал себя романтиком, однако большего поборника правды, чем он, трудно было найти.

* * *

Большую часть своей жизни мое поколение прожило по чужим углам, проводя время в кафе. Там, где ты снимал койку, можно было только поздно вечером лечь в постель, а рано утром уйти. В квартире обычно не было ванны, в углу комнаты стоял на табурете жестяной таз, рядом с ним на полу — кувшин с водой. Шкаф для одежды, маленький стол и два стула. Вам принадлежало здесь только то, что вы принесли с собой в чемоданчике, — две-три смены белья, зубная щетка и книги. Получить комнату на одного жильца было трудно. Еще труднее было найти комнату с отдельным входом из коридора. Такая комнатушка стоила до четырехсот крон в месяц, а мы зарабатывали крон семьсот-восемьсот. Самые дешевые были комнаты, где жило по нескольку ночлежников.

Современная молодежь этого себе не представляет. Теперь двадцатипятилетние живут в отдельных квартирах с ваннами и центральным отоплением.

А я впервые заимел собственную квартиру в сорок один год.

Нашим домом было кафе.

Там мы проводили большую часть времени после работы.

Но это вовсе не значило, что мы бездельничали или выпивали.

В кафе писали, занимались, читали, встречались с друзьями и знакомыми.

Чтобы пойти в кафе, довольно было двух крон.

В Праге, Брно и Братиславе некоторые кафе посещались исключительно людьми искусства. В Праге это были «Тумовка», «Метро», «Народни»; в Брно — «Авион», а в Братиславе — «Редута», «Астория» и «Метрополь».

Кафе были нашими политическими и художественными университетами.

И все мы любили природу.

Все, кого я знал, питали к ней самые глубокие и горячие чувства.

Будь я художником, я бы ни за что не стал рисовать портреты людей, а писал бы портреты природы.

Я вырос среди природы и любил книги Лондона, Твена, Гоголя, Чехова, Толстого, Тургенева, Горького, Неймана и Шрамека.

О природе вы прочтете во всех моих книгах, потому что любовь к ней я пронес через жизнь. Мне нравится природа, она

дорога мне, как и самые смелые достижения в науке и технике, в устройстве современного мира. Мне дороги любые проявления, свидетельствующие о романтичности человеческой души, нашедшей отражение в литературе конца прошлого века. Чего бы добился человек, если бы все на свете служило миру, прогрессу и счастью людей!

Любил природу и Незвал.

Я познакомился с ним в конце двадцатых годов, но задолго до этого знал его поэтические сборники и мог прочитать наизусть половину его «Пантомимы» и почти всего «Эдисона». Книжечку Незвала о Волькере я зачитал до дыр. Он видел Волькера глазами поэта и судил о нем так верно и точно, что одна эта книга могла затмить ученые труды о Волькере.

Мы с Незвалом распили не одну бутылку вина и прободрствовали не одну ночь. Не всегда это кончалось мирно. Незвал вспыхивал как порох, и в такие минуты его взрывная энергия удесятерялась. А если присутствовал и Ян Славичек{178}, то пространство вокруг нас походило на бушующую стихию.

Незвал, человек открытой души, бесхитростный, любил проводить время в кругу друзей, но, когда речь заходила об искусстве, был непримирим и с друзьями, оказывавшимися по другую сторону баррикады, расходился без всяких околичностей. С некоторой долей меланхолии, но бесповоротно.

Он любил поэтов и никому не завидовал, всегда охотно покровительствовал молодым.

А вот скуку и виновников скуки ненавидел.

Никто лучше его не описал атмосферу ночи большого города:

> Белку огненную будущих годов,
> ангела углов, ворот, домов,
> розу ресторанов и хрустальных баров,
> огненный фонтан ночных бульваров,
> городских мостов светящиеся четки,
> ореол для уличной красотки,
> светлые венцы для кораблей морских,
> сдержанные слезы башен городских…[17]

И никто лучше его не выразил поэтическим словом мимолетные впечатления деревенской жизни:

> Кузнец стоит над горном во весь рост
> и, целый небосвод схватив клещами,

кидает в чан. И брызги шалых звезд
отражены юнонскими очами
кобыл. Кругом окалина и пыль,
и пахнет подпаленным рогом.
И кузня кажется горящим стогом
и громыхает, как локомобиль[18].

Для Незвала, когда он творил, были важны три момента: сохранить детскую непосредственность восприятия, не повторяться и не делать уступок ничему, что отдает ремесленнической рутиной. Писал он играючи, несмотря на то что это был напряженный и нелегкий труд.

Он создавал свой собственный мир, поэтическую вселенную, веселую и праздничную, как весенние народные гулянья; в этом его мире всегда было место для ярких эффектов.

Он любил зеленый цвет и с удовольствием писал зелеными чернилами.

При этом вряд ли какой другой поэт понимал точные науки, как понимал их Незвал. Сколько всего он перечитал, чтобы изучить проблематику современности, постичь самое передовое учение времени — марксизм-ленинизм. Пожалуй, среди своих друзей-поэтов он единственный проштудировал «Капитал» Маркса и все труды Ленина, какие можно было достать в переводе на чешский.

Из поэтов послевоенного поколения Незвал дебютировал последним — книга стихов «Мост» увидела свет лишь в 1922 году. Она не вошла в число книг тех поэтов, что, по выражению Библа{179}, объединились под шляпой Иржи Волькера, но в ней Незвал уже был Незвалом со всей его неповторимой эмоциональностью, фантазией и в то же время поэтической конкретностью.

Уже для этого сборника характерны только ему свойственная образность, восходящая к глубоко народному мироощущению, юмор, оптимизм, восхитительная простота, как, например, в стихотворениях «Сахарная баллада» и «Копатели извести».

Его «Пантомима» явилась событием. Благодаря этой книге деревенский парень из учительской семьи встал во главе современной чешской поэзии и уже никому этого места не уступил.

Редко кому удавалось выразить себя в поэзии так полно, как Незвалу. И никто не передал в своей лирике настроения послевоенного поколения так всеобъемлюще, как это сделал Незвал. Наши судьбы и судьбы мира. Наши надежды, надежды

нашего времени.

* * *

Когда Юлиус Фучик уехал в Советский Союз, спасаясь от рыскавших в поисках его по всей Праге тайных агентов, я перешел из «Гало-новин» в «Руде право» на его место. Когда же уехал в Оломоуц призванный в армию Курт Конрад, редактировавший «Творбу» вместо Фучика, я стал редактором «Творбы». Это была интереснейшая работа, как в свое время в «Даве», и все мы — Лацо Новомеский, Ян Крейчи, Ладислав Штолл{180} и другие, по очереди выпускавшие «Творбу», — делали ее с удовольствием. Курт Конрад писал мне из Оломоуца длинные письма, делясь соображениями по поводу некоторых статей и советуя, что и как лучше сделать. С ним произошло в армии то же, что и с Фучиком: его исключили из школы офицеров запаса. Он не сильно огорчился и вместо параграфов воинского устава, баллистики и методов противовоздушной обороны изучал то, что ему было ближе: историю революционных войн, эстетику, работы Маркса и Энгельса. Во время службы в армии он начал писать большую статью о проблематике социалистического реализма, которую позже опубликовал выходивший четыре раза в год журнал Вацлавека «У»{181}.

В «Творбе» с делами управлялся один редактор, и, кроме самых непосредственных, у него был еще добрый десяток косвенных обязанностей. Но в статьях недостатка никогда не было. Для «Творбы» писали сотрудники газеты «Руде право». Фучик создал такой широкий круг авторов, что мне всегда было из чего выбирать. В «Творбу» все писали охотно, да и фотографы, художники, карикатуристы считали за честь поместить свои вещи в «Творбе», которая от первой до последней страницы была детищем Фучика. Если бы в пору его редакторства вы заглянули в ручную наборную «Творбы», то застали бы Фучика со шпагатом в руках — он перекладывал металлические полосы набора, склонялся над кассами в поисках подходящих шрифтов для заголовков или же переносил связанные строчки набора, чего никто другой из сотрудников редакции не смог бы сделать так ловко. Случалось, кто-нибудь из нас все же брал строчки в руки, и они непременно рассыпались. Наборщики и метранпажи любили работать с Фучиком, он все делал словно играючи. А мы еще только сдавали экзамен по техническому редактированию.

Первая и последняя полосы «Творбы» делались под конец. Материалы на последнюю полосу, «Сообщения с мест», мы

вырезали из чужих газет. Передовица тоже писалась под занавес, в заключительный момент. Этот порядок завел Фучик, и мы приняли его, так как в передовице были всегда самые свежие сообщения. Печаталась «Творба» по средам. Во вторник на столе лежало пятнадцать готовых сверстанных полос; ждали только завершающих абзацев передовицы. Метранпаж Карел Штафл, Карлуша, нервно поглядывал на часы, а мастер Гоушка допивал третью кружку пива. Он метался между машинами и кричал на всю наборную:

— Проклятые бездельники! Долго мы будем канителиться?! Чтоб они провалились, чертовы редакторы! Как будто передовицу нельзя написать в воскресенье!

«Творбе» давно пора быть у цензора.

— Неужели нельзя обойтись без этой нервотрепки? Будем мы когда-нибудь работать спокойно?

«Будем ли мы работать спокойно» — эта фраза помогала создавать иллюзию, будто кто-то лично виноват в типографской гонке, и, не будь этого злосчастного бездельника, все шло бы как по маслу, и работа в типографии была бы райской благодатью. Но никто не представлял себе этой райской благодати конкретно, а также как работать в условиях этой благодати. Делать газету — уже само по себе спешка и волнение, большое нервное напряжение. Лихорадочную атмосферу в типографии, естественно, создавали редакторы, лихорадочное напряжение передавалось наборщикам, метранпажам, печатникам, корректорам и прочим работникам типографии, не считая нетерпеливых разносчиков. Разносчики беспокойно шумели во дворе, дожидаясь, пока ротация выплюнет первые оттиски, а затем завалит экспедицию. Напряжение, царившее в типографии, раскручивало маховик сосредоточенной работы всего коллектива, членами которого были как редактор, так и остальные сотрудники. Все делалось в последнюю минуту. Типографы это учитывали. У них был свой маленький резерв времени, но они скрывали его от нас, чтобы мы не покусились на него. Когда появлялся долгожданный конец передовицы, мастер брал ножницы, разрезал рукопись на куски, разбрасывал их наборщикам, и дело мигом было готово. Отлитые строчки набора складывали, верстали, на ходу корректировали — обычно это делал сам автор, — и вскоре типография отправляла оттиски в цензуру.

«Творбу» я делал по совместительству, основной была моя работа в газете «Руде право».

Однажды в начале 1935 года, когда я явился на

редакционный совет, в комнате стоял незнакомый высокий стройный мужчина. У него было худое лицо и умный, задумчивый взгляд. Он внимательно рассматривал каждого из нас, по мере того как мы входили.

Я вопросительно обернулся к Франтишеку Немецу{182}, он наклонился ко мне и шепнул:

— Шверма! Новый главный редактор!

Выждав, Шверма спросил:

— Все собрались, товарищи? — обвел взглядом присутствующих и улыбнулся: — Кое-кого я уже знаю. — И Урксу: — Можем начинать!

Шверма сообщил, что ему доверили руководство газетой «Руде право», и выразил надежду, что мы сработаемся. Эдо Уркс будет его заместителем. Он предложил тут же взяться за дело и договориться, как должна выглядеть газета.

Нам понравилось, что он просто и по-деловому повел себя с первого дня в редакции. В тот день он только выслушивал нас, а мы один за другим докладывали, какие материалы даем в газету и что сколько займет места. Эдо Уркс набрасывал макет, вставляя свои замечания, затем Шверма заключил:

— На этом закончим. Идите, товарищи, работайте. В понедельник соберемся и обсудим план работы на следующую неделю. Возможно, у меня к тому времени появится что-нибудь злободневное. Раз в неделю я хотел бы информировать вас о работе секретариата, а в основном о наиболее важных международных и внутренних событиях.

Эти редсоветы мы устраивали в «Аксе» и в «Опере», и Шверма делал на них сообщения о происходящем в стране и за рубежом, разбирая факты с точки зрения политики партии, а потом выступали мы, оценивали ситуацию и предлагали, о чем следует написать в газете.

Ян Шверма, уроженец Мнихова Градиште, происходил из состоятельной семьи, отец его был адвокатом, бургомистром. Отца Ян потерял в десять лет. Мать отдала его в среднюю школу, затем он изучал юриспруденцию в Праге. Вдумчивый студент рано начал проявлять интерес к общественной жизни и вскоре показал себя способным оратором и хорошим организатором студенческого движения. Вдохновленный идеями Великой Октябрьской революции, он стал марксистом, вступил в Союз коммунистической молодежи и вскоре стал одним из его руководителей. В 1925 году он работал в газете «Руде право» и был избран членом областного комитета партии. Через год его направили в Москву в Ленинскую школу.

Нелегко писать о человеке, с которым проработал бок о бок

столько лет. Все равно как если б художник захотел сделать портрет углем: контуры отражают лишь внешнее сходство, видимо, следовало выбрать иную технику — сделать гравюру на дереве или взять масло, чтобы портрет вернее и полнее выражал характер. Люди, о которых я пишу, как правило, прожили содержательную жизнь, драматичную и волнующую, как роман. Воспоминания выхватывают из нее лишь частности. Фиксируя основное, определяющее, они остаются неполными: чего-то не хватает, многое унесло время, а многое словами и не описать — голос, улыбку, неброский и в то же время характерный жест, мимолетную радость и тень печали, промелькнувшие на озабоченном лице.

Ян Шверма был последним главным редактором «Руде право» перед второй мировой войной, в годы, связанные с мюнхенскими событиями. Ему шел сороковой год. Шверма был пламенный оратор; горя искренним негодованием, он умел увлечь слушателей и привести веские аргументы. В тяжкие минуты, когда над республикой сгущались тучи гитлеровых угроз, он выступал на сотнях митингов. Шверма предсказывал предательство людей, заигрывавших с фашизмом, предупреждал о вероломстве английских лордов. У него было полно дел в редакции, в парламенте, партийные обязанности — от всего этого голова могла пойти кругом. Большинство передовиц для газеты он диктовал прямо на машинку. Его напряженная политическая деятельность заслоняла нередко тот факт, что Шверма к тому же историк-марксист, теоретик. Ясная голова и отважное сердце — вот основное впечатление, складывавшееся при общении с ним. Своей рассудительностью, скромностью и сердечностью он скоро завоевал уважение и любовь всей редакции. Он вырос на практической политической работе, в огне классовых схваток. Его выдающиеся способности сулили ему большое будущее. Увы, судьба его сложилась трагично.

Шверма приходил в редакцию около девяти и уже точно знал, как сегодня должна выглядеть газета. Он никогда не забывал о читателе и требовал, чтобы наряду с политическими статьями отводилось место и для материалов, которые немного развлекали бы читателя.

— Давайте будем помещать хорошие рассказы, — предложил он. — Напечатаем роман с продолжением.

Рассказы писали Уркс, Фучик, Крейчи, писал их и я. Печатались рассказы под разными псевдонимами; некоторые рассказы написал и Шверма. Фучик сочинял тогда сатирические фельетоны, в которых остроумно комментировались внутренние и внешние политические события, фельетоны били по фашистам,

аграриям и «Народни съедноцени» Годача{183}. Подписывался Фучик — «Якуб». Фельетоны писали и другие, в зависимости от авторства они по-разному выражали стиль и характер пишущего. Как-то раз Якуб нечаянно оказался героем моего фельетона — так родился персонаж, который каждое воскресенье описывал свои похождения среди главарей политических партий; Якуб встречался с Прейсом, Годжей, Бераном{184}, даже с Гитлером и Геббельсом. Донкихотские эскапады Якуба стали у читателей самыми популярными среди других материалов газеты. Характер Якуба менялся от номера к номеру. Сперва это был простодушный герой швейковского типа, с точки зрения своей морали он судил о поступках и делах политических воротил, потом он превратился в шута-активиста фашистского движения, который умел создать абсурдную ситуацию, всегда компрометирующую фашистских деятелей. Вацлав Кршен{185}, в очередной раз писавший о Якубе, придумал ему тетю — характерный антипод героя; он довел фельетон до совершенства, создав после Гашека необычайно меткую и действенную политическую сатиру.

«Якубов» писал иногда и Шверма.

Чтобы дать более цельную картину жизни Швермы, мне придется нарушить хронологическую последовательность событий и забежать на несколько лет вперед. Мы расстались со Швермой в тревожные мюнхенские дни, когда он через Париж отправился в Советский Союз; оттуда во время войны он помогал организовывать национально-освободительное движение в Чехословакии, консолидировать силы для изгнания немецких фашистов и освобождения республики. Этими годами датируются его основополагающие статьи, посвященные общности славянских народов, новым взаимоотношениям между чехами и словаками, которым надлежало зиждиться на иных принципах, нежели прежде.

Когда в Словакии вспыхнуло Национальное восстание, Шверма по приказу партии вылетел из Москвы в Словакию и возглавил вооруженную освободительную борьбу. Он выступал в Подбрезовой, и речь его оставила у слушателей незабываемое впечатление. В Банска-Бистрице он намечает основные принципы решения словацкого национального вопроса. Когда враг прорвался к Банска-Бистрице, Шверма ушел с партизанами в горы, чтобы оттуда вести действия против врага. Теперь он адресует свои памятные слова всем, кто, несмотря на тяжелейшие условия, полон решимости бороться за свободу:

«Мы будем продолжать войну и в горах, снова

сконцентрируем свои силы. Если придется разбиться на группы, будем драться группами. А понадобится — будем драться и в одиночку».

Война сильно подорвала его здоровье, но он отказался покинуть восставшую Словакию и уехать в безопасный тыл. Он говорил: «Я всю жизнь стыдился бы этого шага». И он отступает вместе с партизанскими частями. Им предстояло перейти из Доновал через Козий хребет и Прашивую. Погода испортилась, подошли к концу запасы еды. Бушевала снежная буря. Немцы, выследив отступающих партизан, предпринимали все более настойчивые атаки. Не оставалось ничего иного, как попытаться перейти через самый трудный участок — перевал Хабенец. Метель свирепствовала, крепчал мороз, люди проваливались в полуметровый снег. У Швермы была высокая температура, он брел с трудом, с каждым шагом силы его убывали. Он отставал все больше и больше. Товарищи некоторое время несли его. Но сердце этого большого человека отсчитывало последние удары…

Когда приближалась пятая годовщина Словацкого национального восстания, я поехал в Подбрезовую и прошел по тропкам, где Шверма ходил в последние минуты своей жизни, представляя его себе таким, каким он был в пору нашей совместной работы в «Руде право». Я отправился на Подбрезовской металлургический комбинат, нашел там старых товарищей, помнивших его, тех, кто в дни Восстания подняли на высокой заводской трубе красный флаг. Они рассказывали о Шверме просто и искренне, в их словах звучали любовь и благодарность к этому человеку большого и благородного сердца. Они показали мне место под высокими деревьями на площади в Подбрезовой, где был похоронен Шверма, когда после изгнания фашистов тело его перенесли с гор и предали земле. Позже останки его были захоронены в семейном склепе в Мниховом Градиште.

— Ян Шверма, — говорили они мне, — был настоящий человек.

* * *

Многие события давно забылись. Последовательность их память тоже хранит неточно, некоторые факты помнятся довольно отчетливо, а многое из того, что в свое время не давало спать, держало в напряжении нервы и терзало сердце, расплылось

туманными воспоминаниями.

Но мне никогда не забыть Ивана Секанину. Я слышу, как сейчас, его громовой голос на антифашистских митингах, вижу его мощную фигуру, когда он призывал к защите Осецкого и Мюзама{186}. Помню беднягу Киша, когда он в ужасном состоянии вернулся из Берлина после пребывания в нацистской тюрьме. Помню статьи Горького, Барбюса и Ромена Роллана. Помню волну первых эмигрантов, спасавшихся от коричневой чумы. В Прагу переселился художник Джон Хартфилд{187}, автор блестящих фотомонтажей; в Прагу переехало берлинское издательство «Малик». Графики, живописцы, карикатуристы толпами ходили в «Руде право» и «Творбу» и предлагали свои работы. В Праге начали выходить немецкие антифашистские журналы «Симплициус» и «Арбайтер иллюстрирте цайтунг»[19], или сокращенно АИЦ.

Вернувшийся из Советского Союза Фучик писал замечательные репортажи о советских людях, о гигантских стройках, о советской Средней Азии, как бы шагнувшей из феодализма со всеми его суевериями и предрассудками прямо в двадцатое столетие. Кое-кто беззаботно отмахивался при имени Гитлера, считая его заурядным болтуном, но Гитлер имел успех, фашизм укреплялся в Японии и Италии. Мы с Фучиком написали рассказ «Поступь времени», заглянув на десять лет вперед, когда не будет Гитлера и люди станут счастливее. Однако до этого времени было далеко, и рассказ был всего-навсего фантастической утопией.

Подражатели Гитлеру нашлись и у нас.

Рубашки, они, правда, носили не коричневые, а зеленые, фиолетовые и серые. Фанатичные студенты под водительством профессора Домина{188} устраивали на улицах беспорядки, били окна и творили насилия. В редакцию пришел Вацлав Синкуле с разбитой головой. Его избили, когда он попытался выступить на митинге одного из факультетов.

Дерзкие выходки доморощенных фашистов возмущали честных и прогрессивно настроенных людей. Они стали объединяться, отбрасывая разделявшие их прежде разногласия и антипатию. После того как Йозеф Гора ушел из газеты «Руде право» и написал неприятную книжонку «Литература и политика», между нами наступило длившееся несколько лет отчуждение, а теперь мы снова протянули друг другу руки. Была создана «Община писателей». Впервые в жизни увидел я на ее собрании рядом Владислава Ванучуру и Карела Чапека. Когда вспыхнули беспорядки, вызванные спором, кому должны принадлежать старинные регалии Карлова университета, и

чешские фашисты примкнули к демонстрантам, чтобы устроить погромы в домах коммунистов и прогрессивных деятелей, «Община писателей» издала манифест против фашизма, в защиту демократических прав. Манифест подписали шестьдесят пять чешских и словацких писателей. Свои подписи под манифестом поставили также композиторы, артисты, преподаватели университета, учителя, студенты и рабочие.

Четыре года спустя я снова поехал в Словакию принять участие в Конгрессе словацких писателей, происходившем в Тренчанских Теплицах{189}. Идея созыва конгресса принадлежала Клементису, он же подыскал место для конгресса. Петр Илемницкий писал тогда:

> «Конечно, перед литературой стоит немало задач, определить которые не всегда легко. Но если сегодня опасность угрожает всем с таким трудом завоеванным национальным, социальным и политическим правам и свободам человека, литература обязана по мере своих сил отстаивать их. Если человечество, отстаивающее эти свои права, стремится сегодня упрочить, углубить и расширить их, литература обязана всемерно помогать в утверждении этих самых дорогих и прекрасных человеческих идеалов».

На конгресс приехал Эренбург, писатели из чешских областей: С. К. Нейман, Карел Новый, Петр Кршичка, Ярослав Сейферт, Бедржих Вацлавек, Вилем Завада{190} и другие. Нас приветствовали Эмиль Болеслав Лукач и патроны конгресса, старые писатели Йозеф Грегор Тайовский и Янко Есенский{191}. Шел дождь, над теплицкой долиной перекатывались клубы густого тумана, однако атмосфера конгресса была ясной. Мы выслушали доклады о литературе, о взаимоотношениях между чехами и словаками, был затронут довольно широкий круг вопросов; конгресс высказался против использования культуры в антигуманных целях. Мне радостно было встретить старых друзей, товарищей по партии; кое-кто из них успел поседеть. Встретились сердечно, но я чувствовал, что за годы разлуки я от многого отошел. Меня подхватил, закружил вихрь пражской общественной и культурной жизни, и, хотя я все эти годы не забывал Словакию, прежняя непосредственная связь с ее жизнью и образом мыслей, очень важная для понимания ее проблем, мной была утрачена. Связь эту ничем не восполнить — надо дышать воздухом той земли, которую любишь, и вместе с ней переживать радости и невзгоды, суровые зимы и ликующие весны,

непогоду и вёдро, доброе и злое.

В Тренчанских Теплицах у меня сложилось впечатление, что словаки политически более зрелы и проницательны, чем мы, а словацкие писатели отчетливее представляют себе нависшую над страной опасность. В Праге на культурном фронте еще не утихли споры, вносившие разлад в среду живых деятелей культуры, разделявшие их на разные группировки в зависимости от того, сторонники они «Деветсила» или «У» Вацлавека, симпатизируют Эренбургу, писавшему памфлеты на французских сюрреалистов, или Андре Брегону, который начал заигрывать с сомнительными политическими кругами троцкистской ориентации.

Во всех этих схватках мы — Незвал, Секанина, С. К. Нейман, Фучик, Лацо Новомеский, Вацлавек, Курт Конрад и я — принимали самое деятельное участие. Иногда в запале переходили на личности, это бывало больно и обидно. Казалось, различия взглядов на искусство не стоят того, чтобы разрушать дружбу, без которой мир искусства — безжизненная пустыня. Я тогда не был приверженцем социалистического реализма, мои симпатии, скорее, были на стороне Витезслава Незвала и его друзей, но сюрреализм меня никогда не вдохновлял. Сюрреалистические работы я считал профанацией искусства, какое-то время они могут забавлять, но скоро наскучат. Я полагал, что искусство не должно связывать человека никакими, даже самыми современными догматами, оно должно активно участвовать в освобождении человека. И деятели искусства призваны не только познавать мир, но и переделывать его.

Незвал вскоре распустил свою сюрреалистическую группу, но разногласия среди деятелей культуры обострились еще больше.

Я вспоминаю первую официальную делегацию советских писателей{192}, других советских литераторов — гостей Праги: Алексея Толстого, чем-то напоминающего Пьера Безухова из «Войны и мира», миниатюрную Лидию Сейфуллину, Анну Караваеву и Корнейчука. Вспоминаю «Гибель эскадры» Корнейчука в Театре на Виноградах в постановке Стейскала{193}, яростное тявканье буржуазных газет по поводу этой пьесы, до невменяемости взбешенных красным флагом на мачте боевого корабля, который моряки предпочитают потопить, но не сдать врагу.

Буржуазная пресса писала, что в театр вторглись «коммунистические элементы» и использовали искусство для политической провокации, хотя зрители никуда не вторгались и пришли на премьеру обычным образом, предварительно купив билеты, и аплодировали.

В Испании шла война.

— Враги свободы в Испании — враги всех свободных народов, — заявил Владислав Ванчура.

«В Мадриде идет бой за Прагу», — писала газета «Руде право».

Подавляющему большинству людей было ясно, что гражданская война в Испании — это только прелюдия будущих военных авантюр. За Испанией последуют другие страны. Окажется ли среди них и Чехословакия? В Испанию ехали добровольцы со всего света. Уехали туда и многие известные литераторы: венгерский писатель Мате Залка стал генералом Лукачем, командиром Интербригады, Андре Мальро — военным летчиком. Были там Хемингуэй, Эренбург, Киш, Людвиг Ренн, Йозеф Ласт{194}. Из наших редакторов в Испании побывали Вратислав Шантрох, Вацлав Синкуле и Богуслав Лаштовичка{195}. Какое-то время провел там Илья Барт. С делегацией деятелей культуры посетили Испанию Зденек Неедлы, Ярослав Кратохвил, Иван Секанина, Лацо Новомеский, Франтишек Галас{196}. Новомеский привез оттуда прекрасное стихотворение «Испанский край».

Галас рассказывал, вернувшись:

— В Испании не хватает винтовок. На фронт отправляются безоружные полки. Голыми руками, на одном воодушевлении нельзя выиграть войну против вооруженного до зубов врага.

Я помню мягкий, теплый голос Галаса, его жесты, да и события, так или иначе связанные с ним. Я вижу его в кафе «Народни», вижу, как он в Брно садится в наш поезд, когда мы возвращаемся в Прагу с Выставки современной культуры, и ищет, с кем бы перекинуться в карты, вижу его в Словакии, а еще чаще — за стаканом красного вина в одном из пражских винных погребков, где литераторы были завсегдатаями. Вот он на одной из дискуссий об искусстве, председательствует или просто присутствует на собрании. И вижу разноцветные полосы брненского журнала «Пасмо»{197} с его первыми стихами. В ту пору в моде были всякие словесные выкрутасы и фокусы поэтистов. Какое-то время Галас тоже увлекался этим, но вскоре бросил. В сборнике «Сепия» он нашел свое «я», себя как поэта. Потом он выпускал книгу за книгой с небольшими промежутками, одну тоньше другой, но автора этих стихов вы узнали бы и без подписи.

Я вспоминаю собрания, демонстрации, коммунистические активы, отчетливо ощущаю атмосферу двадцатых и тридцатых годов, борьбу, которую вела партия, забастовки, манифесты в защиту республики, вспоминаю вереницу ужасных дней — бесчинства фашистов, рабочую Вену, утопающую в крови жертв

Дольфуса{198}, Испанию, Мюнхен, мрачную пору оккупации. Все это я не могу представить себе, не вспомнив Галаса. Я имею в виду его стихи, которыми он откликался на события, слова этих стихов с неодолимой силой врезались в память. До сих пор они сохраняют свои краски и аромат, своеобразный галасовский ритм, передают атмосферу тех тревожных лет, насыщенную запахом роз и пороха, атмосферу, прочувствованную сердцем поэта, который в своих строках донес до нас отзвуки исторических битв.

Галас был поэт глубоко человечный и искренний, терзавшийся судьбами мира и людей. Преодолевая уязвлявшие его сомнения, пробивался он к истинам, которые снова и снова испытывал на прочность. Наивнее многих своих сверстников-поэтов, он был доверчив в отношениях с людьми. Это усложняло его жизнь. Но он хотел быть самим собой. Во имя этого, ради слова, сказанного по-своему, он карабкался на крутые вершины, лишь бы не идти торными дорогами, по которым шли некоторые его друзья.

Но в трудную минуту, когда страна нуждалась в слове поэта, он всегда первый приходил со стихами, звучавшими мощным, монументальным боевым аккордом.

Галас был из числа тех больших поэтов, чьи полные гнева стихи звали в бой, — поэт Галас стоял во главе борьбы, которую мы вели в те решающие трагические дни.

Его голос, придававший нам силы и звавший к оружию, был голосом всех нас.

* * *

Чему никто из нашей семьи никогда не научился, так это, что называется, зашибать деньгу. Не было таланта. Каждую крону зарабатывали мы потом и кровью. Не умели порхать по жизни и создавать видимость работы — уж если брались за что, делали на совесть, а это стоило напряжения. И не всегда нам сопутствовала удача.

Быть может, нам недоставало маминого терпения? Впрочем, мама со своим ангельским терпением тоже не многого добилась.

Слесарную мастерскую я бросил, однако и карьера мелкого чиновника меня не устраивала. Не деньги были главным в моей жизни. Я пошел туда, куда влекло меня сердце. Эда выучился на продавца, но и ему не улыбалось оставаться всю жизнь на побегушках. Он экстерном окончил торговое училище и подыскал место в конторе кондитерской фабрики. Маня была швеей, но ей пришлось работать уборщицей. Власта окончила четыре класса

городской школы и, выучившись шляпному делу, стала модисткой, однако больше трехсот крон в месяц не зарабатывала. Владя учился в Праге и еле сводил концы с концами. Да и Тоника, который сдавал на аттестат зрелости, ждала отнюдь не беззаботная жизнь. Ярка был автомехаником, работал в Страконицах управляющим мастерской. Что зарабатывал, уходило на еду да на курево.

Мы не отличались предприимчивостью. Мама, как вдова погибшего на войне, могла бы получить разрешение на табачную лавочку, но мы заранее отказались от этой затеи — откуда брать деньги на аренду помещения, на закупку сигарет и табака и, если торговать марками и открытками, как и все владельцы табачных лавок, где взять залог?

И мама по-прежнему убирала в школе; возраст ее приближался к шестидесяти пяти, и она предполагала уйти оттуда. Десять лет с ней ходила убирать Маня — с тех пор, как мама не отпустила ее в Прагу. Они вставали чуть свет, около пяти, дел было много, а особенно зимой. Мама торопилась управиться до семи часов — в это время приходили школьницы из окрестных деревень, они бы только мешали. Девочки ходили в школу пешком, у иных дорога отнимала и два часа, и как им было приятно согреться в теплом классе!

Мама с Маней убирали каждая по пять классных комнат, а потом вместе — директорский кабинет и учительскую. Они выгребали из всех печей золу, закладывали дрова и разжигали огонь, как следует проветривали все помещение, наливали воду в умывальники, вытирали пыль. После занятий они торопились наносить дров и угля, доставали из-под парт бумажки, выносили грязную воду из умывальников. В общем, вертелись как белки в колесе. По средам и субботам, когда кончались занятия, подметали классы, уборные, коридоры и лестницы, посыпав пол сырыми опилками. Мама привыкла работать быстро, делая часть работы и за Маню, которая никак не могла поспеть за мамой. После уборки классов и коридоров сторожиха пани Милерова просила вымыть пол и у нее; не даром, конечно, — она давала за это пять крон, но мама частенько сердилась, потому что дома ее всегда ждали дела, и она порой предпочла бы отказаться от этих денег.

Уборка в школе была и нашей работой. Едва мы подрастали и могли держать в руке совок и щетку, как уже плелись следом за мамой, и она всегда находила для нас дело. Кроме старшего брата, который учился и возвращался домой поздно вечером, все мы попробовали, что значит убирать классы. Владя с Тоником заканчивали реальное училище, но и они не были освобождены

от уборки и после занятий орудовали щетками, хотя им вскоре предстояли выпускные экзамены. Владя уже увлекался девочками, которые не давали ему прохода — парень он был красивый, видный. Мама не упускала случая поддеть его:

— Позвал бы какую сюда, пускай помогает.

Владя обладал качествами, немаловажными для молодого человека, — приятный собеседник, отличный спортсмен и вообще человек открытый и решительный, компанейский. Владя прекрасно танцевал, любил веселых товарищей и красивых, независимых девушек. Всем нам было далеко до него.

Помогая маме в школе, я предпочитал подметать коридоры и лестницы; выметать мусор из-под лавок мне не нравилось, почему-то у меня там вечно застревала часть опилок, а мама этого не терпела. После меня ей приходилось пройтись щеткой еще раз, и она досадовала:

— Всякое дело надо делать как следует.

Сестры накладывали для мамы в заплечные корзины дрова и уголь, выгребали и выносили золу, наливали воду в умывальники. А Тоник, наш поскребышек, в школе чувствовал себя как дома чуть не с пеленок. Его знали и баловали все учительницы, бездетные старые девы, совали то яблоко, то рогалик, брали в учительскую и давали рассматривать книжки с картинками, согревали его теплом своей любви. Но больше всего Тонику нравилось, когда мама сажала его в свою заплечную корзину с лямками, откуда торчала одна его макушка, и сбегала с ним вниз по ступенькам во двор.

Во время каникул мама не работала только один месяц. В июле школу красили, а весь август она с помощницами отмывала после ремонта окна и скребла классы. Попотеть приходилось изрядно. Четыре уборщицы из женской и мужской школ сами не управились бы, и городской подрядчик, ведавший уборкой города, присылал им в помощь шумных и сварливых баб. Добром это никогда не кончалось. Одна мойщица работала не переводя дыхания, а другая знай ходила за горячей водой. Ссоры при этом не утихали.

— Оставьте меня ради господа бога в покое, — говаривала мама. Она недолюбливала подрядчика. Он мелочно торговался с уборщицами за каждый геллер, суля наперед золотые горы, а при расчете, как правило, обманывал, колотя при этом себя в грудь и божась, что больше у него нет ни гроша и он непременно компенсирует недоплату в другой раз. Следующий раз повторялось то же самое.

— Ну что за человек! — возмущалась мама. — Представьте себе: как праздники и школа закрыта хоть на один день, так он

снимает нас со страхования по болезни. Видели вы что-либо подобное?

Деньги, заработанные в летние каникулы, она прятала в горшок.

— Этих денег я не трону, — заявляла она нам. — Это деньги на рождество. Уж никак не меньше двух сотен надо — сотню на угощенье, на сдобные булки и рыбу и еще сотню — на подарки.

Рождество было нашим любимым праздником, и мы свято хранили все старые семейные традиции, заведенные еще при отце. Куда бы нас ни забросило — был я в Праге или в Братиславе, Ярка — в Страконицах, Владя — в Праге или отбывал срок службы в армии, — на рождество мы всегда собирались вместе. Больше всех радовалась этим встречам мама. Наша «замковая зала» выглядела очень торжественно — у окошка сверкает убранная елочка, стол накрыт новой скатертью, все сияет чистотой. Кто бы ни зашел к нам, всем у нас очень нравилось.

На рождество двери в доме не закрывались, словно был объявлен приемный день. Это маму тоже очень радовало. Она знала, что приедут из Праги Ванековы, придут приятельницы Власты, сестры Вособовы, Ярка приведет страконицких знакомых, заглянут мои старые товарищи, приезжавшие на праздники из Словакии и Ужгорода, и кого только у нас не будет: спортсмены, помощники продавцов, школьные друзья Эды, Влади и Тоника — все они придут к нам, а главное — к маме, пожать ей руку и пожелать всего наилучшего к празднику.

Мамины рождественские подарки всегда были практичными. Она ни за что не стала бы выбрасывать деньги на игрушки или другую подобную ерунду — и непременно дарила чулки, перчатки, шарфы, муфты, а мы ей что-нибудь для дома: головку сахара, ром, ножницы, клубки ниток и всегда — шелковую косынку.

Интересы в нашей семье были самые разные, но всегда преобладало какое-нибудь увлечение. Так, когда у Влади прорезался талант форварда, общим увлечением стал футбол. После того как юное поколение приняло из рук старших игроков, возглавляемых знаменитым Ароном, звездой писецкого футбола, символический серебряный мяч, Владю признали лучшим нападающим клуба «Писек», и не было недели, чтобы имя его не украшало спортивные рубрики городских газет. Что был против него я с какими-то там стишками! Стихи читаются единицами, а трибуны стадионов по выходным заполняют толпы орущих взволнованных болельщиков. И Владя действительно играл блестяще!

— Только вот каждую победу они потом обмывают, — с досадой говорила мама. — И частенько не знают, на какой рюмке остановиться.

По этим причинам футболистов мама не жаловала. Владя являлся домой поздно, нередко покачиваясь, много говорил, и все-то ему хотелось рассказывать и рассказывать, он сидел, курил и варил себе кофе, хотя было за полночь. Эда сердито огрызался и, когда монологи Влади слишком уж затягивались, взрывался:

— А ну, черт и дьявол тебя подери, заткнись и хватит!

Владя, которому надлежало заткнуться, выпрямлялся и с недоумением смотрел на второго после мамы главу семьи.

— Тебе что, не хочется поговорить? — спрашивал он невинно.

— То-то и оно, что не хочется! — Ответ был как ушат холодной воды.

Потом Владя перестал приезжать на матчи в Писек. Он играл за Кладно, Злихов, на смену футболу пришла легкая атлетика. Однажды Тоник, к тому времени ученик шестого класса, раскопал где-то метательное ядро. В свое время ядром увлекался и Ярка. Тоник, следуя по Владиным стопам, к семнадцати годам стал спортивной звездой и чемпионом города. Это было в пору расцвета в Писеке атлетики. Воскресла слава местного хоккея. Возобновились состязания в беге вокруг «Америки»[20].

Тоник стал активистом спортклуба «Унион», через его руки проходила значительная часть текущих дел клуба. Наша комната превратилась в его филиал. Мама взяла над клубом шефство. Все углы у нас были завалены ядрами, дисками, копьями, кипами всевозможных деловых бумаг клуба; ящика уже не хватало. Перед каждым состязанием или накануне традиционного забега по пересеченной местности мама была незаменима. В отсутствие Тоника она принимала спортсменов, выдавала им бланки для заявок на участие в состязаниях, проспекты условий, ссужала клубу деньги, когда в наш адрес присылали наложенным платежом медали для награждения победителей.

Ярка, пионер метания ядра в нашей семье, наблюдал за всем этим с грустным изумлением. Восьмилетние карапузы с восторгом носились по беговой дорожке. Добровольная самоотверженная работа приносила плоды. Подающая надежды спортивная мелюзга окружала Тоника, не отпуская ни на шаг. С восхищением любовались они его атлетической фигурой. А Ярка в последнее время сильно похудел и выглядел неважно, особенно в сравнении с Тоником, жаловался на колотье под лопаткой и одышку, но, когда мы велели ему не шутить с этим и показаться врачу, отмахнулся:

— Ерунда, пройдет!

Ребята были полны энергии и по примеру пражан решили устроить в Писеке «Народные игры». Из Праги их отговаривали, объясняя, что речь идет о политике, но дело пахло политикой и в Берлине на Олимпийских играх{199}. Писецкие игры все же состоялись и прошли с большим успехом. В них принял участие и знаменитый бегун, коммунист Эвжен Рошицкий{200}.

Мы совершили дома революцию — отважились провести электричество.

Повернешь выключатель — и по комнате разливается сияние; это был праздник, будто пятьдесят лет назад, когда город осветили дуговые лампы Кршижика.

— Да будет свет! — провозгласил Эда.

В нашей жизни стали понемногу происходить изменения.

Как-то, придя домой, Эда заявил:

— Мне надо с вами посоветоваться.

Созвали семейный совет.

— Освобождается помещение под магазин, которое сдавали Кафки, — сказал Эда. — Кондитер Главачек съезжает. Кафкова отказалась продлить ему аренду, а срок прежней скоро истекает. Что, если я возьму помещение и открою торговлю?

От изумления мы не могли произнести ни слова.

— Она, конечно, запросит кругленькую сумму, — добавил Эда.

— Где же ты ее возьмешь?

— Кое-что у меня есть.

Мы только глаза вытаращили.

— Я накопил десять тысяч.

Бедняга! За пятнадцать лет он накопил десять тысяч, откладывая в год одно месячное жалованье.

— А оборудование? А деньги на товар?

— Да и захочет ли она сдать это помещение тебе?

— Думаю, что да. Наш домохозяин замолвил бы за меня словечко. Они дружат с Кафковой.

— А если кто перехватит у тебя из-под носа?

— Все может случиться. Но не должны бы. Лавочники, у кого торговля на ходу, не пойдут туда: всегда рискованно менять привычное место. А кто только собирается открыть дело — побоится. Уж больно мрачное помещение, просто сарай.

Старая пани Кафкова запросила ни много ни мало десять тысяч в год — ровно столько, сколько у Эды было накоплено, — и дала неделю на размышление.

Эда ходил как в тумане, не зная — пренебречь ли синицей в руках ради журавля в небе: на фабрике ему со временем сулили повысить жалованье до тысячи крон в месяц, а тут — кто знает…

С десятью тысячами далеко не уедешь.

— Оборудование сделал бы в долг двоюродный брат из Кршештёвиц, столяр Йозеф Кунт. Он подождет с годик, пока я смогу заплатить.

— Чем ты собираешься торговать?

— Гастрономией и кондитерскими товарами. Чем и торговал.

— Ты забываешь, что тогда была война, ты продавал турнепс, повидло из свеклы да искусственный мед.

— Товар мне дадут в кредит, с выручки я в течение месяца выплачу.

— Тебя же разденет догола налоговое управление.

— Если я буду аккуратно вести бухгалтерский учет, не пытаясь обманывать государство, как это иногда делается, и честно заявлю о своих доходах, чего бояться?

— А если не привлечешь покупателей? С чего заплатишь за товар?

— Если я буду продавать свежие, хорошие продукты, не буду обвешивать, отчего им не ходить ко мне?

Мы рассуждали, прикидывали и так и эдак.

— Кризис, судя по всему, скоро минует, экономика набирает силу, страны начинают вооружаться, в мире неспокойно.

— Ничего со мной не случится, разве что обанкрочусь.

— Даст бог, не обанкротишься.

— Власта помогла бы мне.

Решимость брата взяться за новое дело, на какое я ни за что не отважился бы при таких условиях, понравилась мне. Импонировала фанатичная порядочность Эды, вера в людей, твердая, отчаянная уверенность в торжестве добра на земле. Это придает сил человеку. Короче, я был за предприятие брата.

Все вышло, как мы и рассчитывали. Лавку оборудовал двоюродный брат. Получили товар. Богатый выбор вин и ликеров, пачки чая, сардины, шоколад, словацкие колбасы, брынза от Маковицких, костелецкая копченая колбаса — все это было красиво расставлено и разложено на полках. Я подарил Эде щипцы для ветчины, а сестры — лопаточки. Братья Шпринцлы, поставщики кофе, дали в долг четыре великолепные медные мерки для кофе, они украсили прилавки. Все было красивое, чистое и сверкало новизной.

Едва магазин открылся, покупатели повалили толпой. А когда первое любопытство было удовлетворено, покупателей было когда больше, когда меньше, и товар, грозивший испортиться, ела наша семья. Горбушки от салями съедал Тоник. Он получил аттестат зрелости и на время подготовки к выборам устроился при магистрате составлять списки избирателей.

Горбушки от салями покупателям не предлагались, это считалось невежливым, да их и не купили бы. Как будто никому из нас не приходилось обнаруживать в покупке между тонко нарезанными кружочками колбасы кусочки кожуры или обрезки!

* * *

Летом в Чехословакию приехал богатый британский судовладелец лорд Ренсимен{201}. Неприметной внешности, небольшого роста, светлые, с проседью волосы, крахмальный воротничок, благодушный вид — в общем, добропорядочный, почтенный джентльмен, который желает всем добра. Такое честное и благородное лицо! Однако это было лицо человека, давно научившегося скрывать свои чувства и мысли. Ведь богачи всегда совершали преступления, прикрываясь масками святош.

Я как раз читал «Войну и мир», ни одна книга не произвела на меня такого глубокого впечатления, как это прекрасное произведение. Меня восхитили размышления Толстого о Наполеоне и битве под Бородином, критика взглядов французских историков и вообще оценка войны, в ходе которой проявилось неведомое доселе величие русского духа и которая смела существовавшие до этого представления французов о войне как о турнире, где стороны по-рыцарски меряются силами. Французские историки возмущались, что русские в тяжелый момент отступили от правил и начали не знавшую пощады партизанскую войну.

Я много думал над высказываниями Толстого о народных войнах, и из головы не шли слова о том, что сила армии зависит не от ее количества, а от ее духа.

Благородный лорд Ренсимен приехал к нам в тот раз как частное лицо, и если б кто попытался сделать какие-либо выводы о цели его приезда, то едва ли додумался бы, на что направлены интересы английских лордов, впрочем, если б ему показалось, что дело в случайном стечении обстоятельств, он бы ошибся.

Лорд Ренсимен отправился в маленький замок в Червеном Градке, договорился там с Генлейном{202} о расчленении республики и тихо уехал все с той же милой, невинно-лицемерной улыбкой прожженного мошенника, а потом произошло то, что вы хорошо знаете сами или можете прочесть в книге о фашизме, мюнхенском сговоре и причинах второй мировой войны.

* * *

В те дни я плохо спал. Было не до сна. Люди перестали жить своими незначительными личными интересами, чувствуя, что их личное счастье зависит от счастья страны. Они тоже не могли спать — из-за тревоги за судьбу республики, свою судьбу и судьбу своих детей.

Двери в редакции не закрывались. Посетители шли один за другим; появлялись новые лица, не те, к кому мы привыкли. Наши люди бывали сердитыми, взбешенными, мрачными, умели скрывать боль. И чем больше их охватывал гнев, тем решительнее они готовы были ринуться в драку; они умели с достоинством проигрывать, но сдаваться без боя не умели; это было все равно что оплевать себя, пренебречь своей рабочей честью. Новые посетители приносили с собой боль и тревогу, в глазах их притаился страх, тихий, беспомощный, не сразу заметный страх, коварный, как болезнь, которую нельзя определить, а когда она становится явной, лечить поздно. Они приносили деньги на оборону республики, ничего не требуя от нас, кроме заверения, что перед лицом фашистской угрозы наша страна не останется в одиночестве, что французы не предадут нас в случае войны и на помощь нам придет Красная Армия.

Почему правительство не объявляет всеобщую мобилизацию? Почему заигрывает с врагами республики? Почему не закроет границу?

Телефон трезвонил не переставая. «Что Советы?.. Как с мобилизацией?», «Как с теми, что предают республику?..» — одни и те же вопросы.

Пришла бледная, взволнованная женщина, представилась дочерью директора Живностенского банка доктора Ярослава Прейса, который отказался выдать правительству заем на оборону республики. Она говорила срывающимся голосом, называя своего отца предателем, пособником Гитлера.

Богатые слои общества были поражены маразмом. Для них республика была идущим ко дну кораблем, их заботило лишь спасение собственной шкуры. Они не хотели воевать, они ратовали за капитуляцию. В бою погибают, а капитулировав, можно остаться в живых. Честно ли это? Что ж, тогда трупам честь! Мы приспособимся, говорили они, будем по-волчьи выть с волками. Зато будем живы. Это было отвратительно, а они даже не стыдились этого.

После угрожающих вымогательств французских и английских посредников правительство Годжи дало согласие на передачу Гитлеру пограничных областей.

Прага вздрогнула от боли, стыда и гнева. Половодьем затопили улицы возмущенные толпы.

Со всех сторон к центру шли люди с остановившихся заводов. Глубоко страдающие, оскорбленные и униженные, но с твердостью и презрением во взгляде, шли они угрожающе и торжественно. Что-то исконное всколыхнулось с самого дна их души, что долгое время было скрыто и теперь прорвалось наружу как оскорбленное достоинство, презрение и в то же время решимость препятствовать измене, пусть и ценой собственной жизни.

Тысячеголовый поток подхватил нас и лавой понес по Краловскому проспекту через Поржичи, Пршикопы и Народни проспект к парламенту, где с балкона говорили Готвальд, Неедлы и молодой Рашин{203}. Под хмурым небом, сжав губы, застыла Прага, молчаливая и грозная.

Вечером на улицах прогремели лозунги:

«Дайте нам оружие! Мы платили за него!»

Было ясно, что уже подготовленный номер газеты «Руде право» надо целиком переделать. Мы поспешили в редакцию и лихорадочно принялись за работу. Волновались и наборщики, делая все, чтобы не потерять ни секунды. Разносчики в крайнем нетерпении уже бродили по коридорам в нижних этажах, у ротационной. Дом сотрясался от давно знакомых звуков — грохота, голосов, шагов; утихая на какое-то мгновение, они в следующую минуту раздавались с новой силой. Вдруг наступила тишина. Дом замер.

Приникнув к окнам, мы увидели каски полицейских. От неожиданности у нас перехватило дыхание. Что это?

А полиция уже ворвалась в здание. Мы выбежали в коридор: полиция занимала печатный цех.

— Что происходит?

Стражи порядка пожимали плечами и ехидно усмехались.

— Где ваш главный?

— Наверно, в канцелярии.

Мы помчались к нему, и офицер предъявил нам распоряжение о немедленном закрытии газеты «Руде право» на основании закона об охране республики.

Это было невероятно. Правительство Годжи соглашается на расчленение республики, без боя отдает врагу пограничные области, а закон об охране республики применяют против коммунистов, призывающих народ к защите отечества! Не с ума ли они сошли? Это было похоже на жестокую шутку безумца.

Увы, то была не шутка.

Мы позвонили Готвальду. Он не мог нам поверить. Не знаю, что он говорил, знаю только — нам передали: не уходить из редакции и быть в готовности, он все выяснит и позвонит.

История с запретом газеты оказалась продуманной провокацией. Кто-то в министерстве внутренних дел извлек на свет божий старый, утративший силу декрет и с его помощью хотел отыграться на коммунистах. Президент Бенеш по запросу Готвальда отменил запрет, и ротация снова загрохотала. «Руде право» попала на улицы, но с опозданием. Газеты других политических партий давно продавались. На многие поезда мы уже не поспели. Покидавший свой пост министр Черный напоследок отомстил-таки нам за свою аграрную партию.

Вечером Прага бурлила. Толпы людей ходили от здания одного министерства к другому и нигде никого не заставали. Словно в стране наступило безвластие. Всех охватило страшное смятение — никто не знал, имеет ли силу приказ Годжи отдать Германии пограничные земли, поскольку его правительство было сметено народным гневом. Но никто не мог дать вразумительного ответа. По улицам бродили группы правых студентов и выкрикивали:

— Даешь военную диктатуру!

У павильона «Мыслькбека»{204} перед взволнованной толпой выступал Зденек Неедлы:

— Нам не нужна военная диктатура. Это бессмыслица. Присмотритесь хорошенько, кто провозглашает эти провокационные лозунги. Мы хотим, чтобы судьбу республики решал народ!

У казарм Иржи Подебрадского стоял Юлиус Фучик и отвечал людям на расспросы о Советском Союзе и Красной Армии. Я охрип от выступлений и еле держался на ногах после хождений с толпой: с Вацлавской площади к Граду, от Града — на Турновскую улицу, оттуда — к парламенту и назад на Вацлавскую. Потом забежал в редакцию, хотя было довольно поздно и я не рассчитывал кого-либо застать. В редакции у приемника сидел Эдуард Уркс и слушал последние известия. В глазах его стояли слезы. Увидев меня, он смутился и покраснел. Мы молча пожали друг другу руки, и я ушел.

На другой день общественности представили правительство генерала Сыровы{205}. Было издано строгое предписание о затемнении. Придя домой, я не мог зажечь свет, так как нечем было занавесить окна. Я шарил в потемках в поисках хотя бы бумаги, чтобы закрыть лампочку. Не найдя ничего лучшего, я соорудил абажур из синей копирки, в результате ни света не было, ни затемнения не получилось. Сам я в этом полумраке, наверное, был похож на привидение. Впрочем, после всего пережитого я действительно выглядел привидением, а мрачный свет это впечатление лишь подчеркивал. Не хотел бы я вторично

пережить подобное. Нервы мои были на пределе, с утра во рту не было и маковой росинки. Дома, разумеется, кроме завалящих сухих корок, я ничего не нашел. Сбросив лишь пальто и ботинки, я повалился на постель. Вторую неделю я жил один, Владо призвали в армию, а он отбыл в свою часть на границе. От него не было пока ни строчки.

Из головы у меня не шла манифестация перед парламентом, кордоны полицейских, выступление Готвальда и молодого Рашина о низложении старого, продажного правительства. Я погасил свет и снова зажег, встал, напился воды и подошел к окну. Прага спала чутко и напряженно. Когда сон все же сморил меня, мне снились Уркс и Фучик, а потом чудилось, будто по улицам едут автомашины, доносился рев моторов; проснувшись, я услышал рев наяву, а когда открыл окно, увидел и сами машины, которые вереницей мчались по улице. Богачи, имевшие собственные автомобили, забрав вещи, переселялись из Праги на дачи и загородные виллы. Они спасались от налетов — если б вдруг дошло до бомбардировки Праги. А собственно, с какой стати немцы станут бомбить Прагу? Войны ведь нет. И не будет. Мы сдаемся без боя. Годжа дал знак, чтобы нас растерзали, связали нам руки и обращались, как с последней сволочью.

Рассветало, за чертой Праги горели стога, подожженные какими-то мерзавцами. Я снова заснул.

Утром встал совсем разбитый, умылся оделся и вышел на улицу.

Была объявлена мобилизация.

* * *

В ноябре вторая республика{206} уже не скрывала своего истинного лица. Словно выхлестнулись и потекли все нечистоты из сточных канав, все громче, без обиняков стала заявлять о себе всевозможная политическая мразь. Считая, что с коммунистами покончено, яростно ополчились на все хоть в малейшей степени напоминавшее о демократии прошлых лет. Самым отвратительным нападкам подвергался Карел Чапек — олицетворение благородных идеалов гуманизма, порядочности и демократии. Теперь писателя всячески обливали грязью в газетах, его доброе имя поносилось и было ошельмовано настолько, что последняя собака погнушалась бы взять у него корку хлеба. Чапек страдал. Это был хрупкий, чувствительный человек с легкоранимой душой, оскорбить его не составляло большого труда.

Прекрасный, большой писатель. Его место давно было рядом с Ольбрахтом, Ванчурой и Незвалом, но он шел своим собственным путем и отстаивал свою собственную правду. Чего не мог постичь сердцем поэта и художника, он отказывался понимать и не желал прислушиваться к доводам. В языке своих произведений он возродил лучшие традиции нашей национальной литературы. Он был остроумен, любознателен; фантазия и юмор Чапека были неисчерпаемы. У него было сложившееся критическое мышление, но нередко он излагал свои раздумья, не дающие ему покоя, не доводя их, однако, до логического заключения. В двадцатые годы мы с Чапеком часто спорили. Его философия нам оставалась чужда, но мысли его были оригинальны, образность — неиссякаема и неповторима, читать и слушать Чапека было исключительно интересно. Он умел играть с огнем, но ни разу не попытался ничего поджечь, даже того, что мешало жизни двигаться вперед. Он понимал, какое зло таится в бездушной технике, в жестокой бесчеловечности. Он стремился быть хорошим писателем. Но чем бесцеремоннее происходившие в мире события вторгались в представления писателя, грубо нарушая его внутренний покой, тем больше Чапек менялся, сам того порой не сознавая. С болезненной озабоченностью он думал о человеке, о его судьбе, о судьбе своей страны. Жизнь вкладывала в его руки оружие. Это отнимало у него много сил. Здоровье его сильно пошатнулось; он с трудом пережил мюнхенскую трагедию. Писатель невыносимо страдал в изувеченной стране. В канун рождества он слег, видимо, у него недоставало воли жить. Циничный мир с налитыми кровью глазами заглядывал в его рабочий кабинет. Чапек не мог дышать в этом мире.

Когда писатель умер, фашисты, бесстыдно оскорблявшие его при жизни, оплевывали ядовитой слюной и мертвого.

Я распродавал свою библиотеку. Самые любимые свои книги относил я в букинистический магазин на Спаленой улице. Мне необходима была теперь каждая крона. Как-то я встретился на улице с Иржи Крогой{207}. Его мягкое, нервное лицо было бледно, в чертах как бы застыло болезненное ощущение стыда за нравственное несчастье, омерзительным зловонием которого тянуло со всех сторон.

— Это ужасно, — сказал он, подавая мне руку. — Невозможно жить.

Раны еще кровоточили, но боль при виде мерзостей, сопутствующих утверждению второй республики, стала менее острой. Остались лишь отвращение и гнев. Однако люди думали

уже не только о том, что происходит сегодня, они задумывались о том, что ожидает их завтра. Следовало ждать худших времен. Настоящее еще можно было выдержать. Страх исчез вместе с опасениями и тревогами. Бояться не стоило. Даже того, что пришло позже…

* * *

После запрета коммунистической партии и закрытия всех ее газет и журналов мы, их сотрудники, оказались вольными художниками, то есть без работы. Но нам даже в голову не приходило искать работу в других изданиях. Мы не были журналистами, которым безразлично, где и кому служить, лишь бы платили. Свою деятельность в красной печати мы расценивали как ответственное партийное поручение и не смогли бы писать ничего, что расходилось с нашими убеждениями.

Так что, думаю, никто из нас особенно и не старался подыскать место в редакциях других газет. Свои личные интересы мы никогда не ставили во главу угла. Нас это не волновало. Самое важное для нас всегда было — идти впереди событий, направлять их. Так нас учила партия.

Поэтому в течение нескольких месяцев, предшествовавших оккупации урезанной Чехословакии, мы были тесно связаны с партийными органами, готовящимися к переходу на нелегальное положение, и продумывали характер конспиративной работы.

Каждый из нас был на счету, каждый получил задания на ближайшее время и на длительный период, были образованы небольшие группы, с которыми мы ни при каких обстоятельствах не должны были терять связи.

Все шло к тому, что впереди нас ждали особенно трудные времена, а для партии — годы тяжелых испытаний.

Мы распределили между собой обязанности — кто с кем будет связан непосредственно, кто будет поддерживать контакты с художниками, писателями, архитекторами, левой и прогрессивно настроенной интеллигенцией. Надо завязать отношения и с людьми, лояльными к коммунистам, которые не были широко известны, учителями, рабочими, разузнать, какими квартирами можно будет воспользоваться при переходе на подпольную работу.

Было совершенно очевидно, что Франция и Англия, великие западные державы, поступили с Чехословакией подло. Убеждая Бенеша, что Чехословакии будет гарантирована неприкосновенность новых границ в случае принятия ею

мюнхенских условий, они теперь готовы были не препятствовать Гитлеру оккупировать всю страну и создать таким образом базу для нападения на Советский Союз.

Так называемая вторая республика практически оказалась в руках Гитлера; он имел в ней своих союзников.

Мы не питали иллюзий насчет того, что наша полиция не выдаст Гитлеру списки активистов партии.

В течение последних двух месяцев мы, пока это было возможно, несколько раз меняли квартиры, чтоб замести следы.

Я снял комнату на Смихове, неподалеку от площади Арбеса, тихую, старомодно обставленную, где была медная кровать, а в запертых застекленных шкафах — аккуратно расставленные томики сочинений Йозефа Сватека и Вацлава Тршебизского{208}, все в красных переплетах. Половину комнаты занимал гигантский филодендрон. Все сверкало убийственной чистотой. От толстых ежегодников «Златой Праги» и «Светозора» веяло прошлым веком и вдовьей аккуратностью, все было пропитано стесняющим дыхание благородным запахом лаванды.

Я разложил вещи, повесил одежду в шкаф и поехал в Писек.

Благо скорым ехать туда было недолго.

В Писеке я стал свидетелем вступления в город оккупантов. Вечером по радио объявили, что немцы в Опаве. В шесть утра поступило сообщение: гитлеровская армия — вермахт — перешла границу Чехословакии на всей ее протяженности.

Первые колонны немцев появились около восьми. Их встречали хмурыми взглядами, грозили кулаками. На дворе вьюжило. С красными носами, закутанные кто во что, превратившиеся в сосульки, немцы походили на огородные пугала.

Оккупация явилась логическим завершением осенних событий. Апогеем предательства. Было ясно: этим не кончится. Понимал это и Чемберлен. Гитлер готовился к войне, забыв свои прошлогодние заверения, будто хочет лишь воссоединить районы, заселенные немцами, с великой Германией, и, пока он не получит чехословацкое пограничье, миру в Европе не бывать.

Остановившись на площади, немцы выжидали, не торопились в казармы. Почем знать — вдруг гарнизон окажет сопротивление? И немцы не спешили. Первым делом они заняли помещения органов власти. В ворота казармы вошли лишь около полудня. Не раздалось ни единого выстрела: это было оговорено с командиром местного гарнизона. Наш полк сложил оружие. Немцам дали ключи от арсеналов, складов, и они тотчас погрузили все оружие в машины — винтовки, пулеметы, мины, ручные гранаты — и быстренько переправили все в Баварию. По

городу были развешаны объявления, сообщавшие населению, что генерал Бласковиц{209} «на приказание фюрера» взял «всю полную власть» в городе. Затем перед ратушей раздавали «Eintopf»[21] населению, а к вечеру оккупационная армия шныряла по всему городу с марками, курс которых был установлен один к десяти. Солдаты ринулись в рестораны и пивные, жрали и пили как безумные, очутившиеся в сказочной стране. За вонючие, ничего не стоившие оккупационные марки они могли получить, чего глотка пожелает. И они ни в чем себе не отказывали. Два, три ужина зараз, десяток сосисок, пирожные, колбасы, ликеры — отчего не пожрать, коли есть на что.

Я сидел дома и крутил ручки приемника. Заграничные станции передавали музыку, а плаксивый голос Праги действовал мне на нервы. Я выключил радио и посмотрел в окно. Наши жили теперь не на площади, они съехали от Конов и снимали в предместье, в небольшом домике, две комнаты с кухней. Кругом были сплошь новостройки, некоторые дома еще отделывались. Жизнь на улицах словно вымерла. Два-три человека пройдут торопливо по тротуару и скроются из виду.

Уже в первые дни выяснилось, кто против оккупантов, а кто с ними заодно. На второй же день оккупации был арестован парикмахер Ганзлик, грозивший немцам кулаком при их вступлении в город. Нашлись и такие, что, не стыдясь, пошли отведать немецкий картофельный гуляш. Но самое поразительное — немцами вдруг объявили себя жители, которых всю жизнь считали чехами. Среди них оказалось несколько офицеров городского гарнизона.

Уж эти-то давно передавали точные сведения о дислокации наших войск, а также кто какие функции выполняет в городе.

После обеда прибыли гестаповцы. Первым делом они вломились в городской архив и начали выписывать адреса коммунистов.

То же происходило в Праге и повсюду. Это Гитлер по просьбе Гахи{210} брал чехов «под свою защиту».

В воскресенье на улицах города появились эсэсовцы в черных мундирах. Гитлеровская элита. Черные вестники смерти. Голубоглазые блондины, стройные и рослые, вышагивавшие картинно и самоуверенно.

* * *

В тридцатые годы, как я уже писал, мы нередко забегали выпить кофе в «Имку» на Поржичи, тихое, малолюдное кафе-

читальню неподалеку от редакции, там можно было писать. Часть глав своей книги «В стране, где наше завтра стало уже вчерашним днем» Юлиус Фучик написал именно здесь, остальное — в Москве и в Берлине, у Ф. К. Вайскопфа. Это была первая книга репортажей Фучика о Советском Союзе. Ее издавал отдельными выпусками в виде тетрадей Карел Борецкий{211} в «Книговне «Творбы», и Фучику приходилось поторапливаться, чтобы каждый выпуск попадал к читателю вовремя. Газета «Руде право» сообщала, что очередная тетрадь выйдет через неделю, потом еще через неделю, а Фучик, чувствуя, что его держат за горло, сидел в «Имке», ничего не видя и не слыша, и строчил. Репортажи все же вышли, получилась объемистая и отличная книга. В этом тихом кафе, где так хорошо работалось, возникли и другие книги, не говоря уже о статьях, которых были написаны горы!

Как-то мы сидели там с Фучиком, еще до того, как он готовил эту книгу для Борецкого. К нам подошел высокий черноволосый молодой человек приятной наружности, с темными пытливыми глазами. Он поздоровался с Фучиком, потом протянул руку мне и назвался. Держался он спокойно, скромно и производил впечатление человека серьезного, вдумчивого и сосредоточенного.

— Присядь, выпей кофе, — пригласил его Фучик.

— Не помешаю? — забеспокоился юноша.

— Что ты. Садись без разговоров, — улыбнулся Фучик.

Юноша сел, а Фучик начал расспрашивать, давно ли тот в Праге и чем занимается. Он отвечал коротко. Я лишь наблюдал за ним, не вмешиваясь в разговор, юноша смущался. Я закурил и слушал, о чем они говорят.

Юноша вернулся из армии. Фучик интересовался, что он намерен делать. Тот пожал плечами — еще, мол, не знает и готов поехать, куда направит партия. Но с радостью остался бы в Праге, добавил молодой человек.

— Я мог бы работать с молодежью.

— Пойдешь в «Гало-новины»? — спросил Фучик.

У юноши загорелись глаза.

— Еще бы! — И с некоторой неуверенностью: — А на какую работу?

— Что-нибудь придумаем.

— Вы-то здорово пишете, а я только учусь.

— Не скромничай, — улыбнулся Фучик.

— Я еще ничего не умею.

Фучик не возразил ему и, подумав, сказал:

— Ты мог бы писать о молодежи и о солдатах.

— А если о спорте?

— На спорт у нас уже есть люди.

— Молодежь и солдаты? А партия не будет возражать?

— Объясни, что тебе хотелось бы работать у нас, и скажи товарищам, что уже разговаривал со мной, я — «за».

— Только хватит ли у вас терпения возиться со мной, — заметил юноша.

— Будет тебе, — остановил его Фучик.

Юноша поднялся, сказав, что ему надо уладить кое-какие дела. После его ухода я спросил Фучика, кто это.

— Помнишь историю с немецкобродскими учащимися, которые написали на костеле «Да здравствует Советский Союз!»? Это один из них, Вратислав Шантрох. Его выгнали из гимназии перед самыми выпускными экзаменами без аттестата и больше никуда не приняли учиться. Безобразие! Возможно, ты читал его статьи. Имя В. Гарт тебе ничего не говорит? Он подписывался этой фамилией.

— Мне он понравился, — заключил я. — Не больно разговорчив, но производит приятное впечатление.

— Безусловно, — кивнул Фучик.

Юлиус Фучик.

Через несколько дней после этой встречи Шантрох пришел к Фучику и остался в редакции. Он был самый молодой у нас и относился к нам с подчеркнутым уважением, а мы все приняли его с искренней сердечностью. Борек был почти вдвое старше его, а остальные — лет на десять, не меньше. На это члены партии не обращали внимания. Разница в возрасте не имела значения. Тебе двадцать, мне сорок — ну и что? Мы делаем общее дело.

Шантрох быстро освоился. Я его очень любил. Он был человеком несколько иного склада, нежели все мы. О себе он говорил, что хочет быть рядовым журналистом. Он относился к числу восторженных молодых людей, для которых и самая будничная работа в газете была праздником. Все он делал с удовольствием и таким усердием, будто ему поручили невесть какое ответственное дело. Многие из нас лелеяли честолюбивые намерения стать писателями, публицистами, заставить о себе говорить. А люди вроде Шантроха были счастливы, когда могли

целиком отдаваться повседневной работе в газете, пусть и самой неблагодарной, редко сулившей славу, но без которой не обходится ни одно периодическое издание. Такие, как Шантрох, порой газете бывали нужнее, чем самолюбивые писаки, не выпускавшие из-под своего пера ни строчки без подписи.

Мы не грезили о славе и тоже не относились к тем тщеславным журналистам, которые жаждут каждый день видеть в газете свое имя. Наше маленькое честолюбие было достаточно самокритично, и никому из нас не угрожала опасность поддаться ему. Мы опубликовали сотни статей вовсе не подписанными, под многими вместо фамилий стояли сокращения или просто буквы, так что сегодня никто не определит, что из этого принадлежит Фучику, что Курту Конраду, Лацо Новомескому, Яну Крейчи, а что мне. Для нас эти подписи не имели никакого значения, равно как и то, что десятки лет спустя дотошные историки станут доискиваться, кто скрывается под этими шифрами. Возможно, авторство отдельных статей они и установят, однако большинство так и останется безымянным. Да это не так уж и важно.

Шантрох писал репортажи, интересовался, чем живет молодежь, любил спорт, и вообще события в мире вызывали его пристальный интерес. Он увлекался искусством и литературой, любил книги, живопись, кино и театр, писать же об этом не решался. Во время войны Шантрох сотрудничал в «Народни праце»{212}, куда его направила партия вместе с Иржи Силой{213}, я должен был с ними регулярно встречаться; мы поступили таким образом: Шантрох сказал, что располагает деньгами, которые получил от брата, директора текстильной фабрики в Новом Этинке, и что на часть этих денег он хотел бы приобрести картины. Он просил меня посоветовать ему выбрать подходящие вещи, зная, что я знаком со многими художниками и в свое время писал о живописи.

Я любил изобразительное искусство, особенно живопись. По-моему, она единственная может нам сказать что-то о форме и облике мира. Стоит внимательно посмотреть на некоторые произведения прославленных мастеров хотя бы так называемой парижской школы, чтобы понять, какими безграничными возможностями обладают художники, с помощью кисти и красок передающие изменения, которые время вызывает в наших лицах, окружающих нас вещах. Когда я смотрю на картины Ван Гога, Матисса, Вламинка, Моне, на полотна нашего Славичека{214}, я думаю о том, что природа, увиденная глазами великих художников, становится гуманнее и ближе человеку; увидев природу глазами художников, мы познаем ее, определяем свое отношение к ней. Глазами великих художников мы видим самих

себя, с их помощью познаем себя.

В картине я прежде всего ищу наиболее точное выражение сути окружающего мира, то, что нельзя выразить иначе, нежели цветом, линией и формой, что воспринимается лишь зрением и что представляет иной по средствам, но такой же правдивый способ познания жизни и постижения внутренних ее закономерностей, как в музыке и поэзии.

Я любил художников, и мне доставляло огромное удовольствие бывать в их мастерских. Из всех людей искусства они были мне наиболее близки — ведь в любом из них всегда оставалось что-то от того счастливого богемного состояния, которому чужд эгоизм и в то же время свойственна готовность ради идеи дать себя распять.

Мы с Шантрохом побывали в мастерских многих художников, и в удушливой атмосфере протектората это было словно живительный глоток свежего воздуха. Нас очаровывала подчеркнутая определенность Яна Бенды, мы не в силах были оторвать взгляда от полотен Яна Зрзавы, ознакомились с творчеством Гудечека, Гросса, Лизлера, побывали у Забранского, Майерника, Ставиноги{215} и уж не помню, где еще.

Остались в памяти визиты к Яну Трампоте{216}, который извлекал свои полотна из каких-то дальних углов в ателье на Паржижском проспекте и объяснял несколько иронически, что ему приходится писать большие картины, потому что у него большой сын. До чего нам нравились его лодки в Этретате и осенние пейзажи с холмами и красными деревенскими крышами! Картины светились червонным золотом, переходившим в киноварь, — это была так любимая нами настоящая чешская осень.

С Яном Трампотой мы беседовали о пейзажах, которые иногда становятся фатальными для художника, и о том, как приверженность этим пейзажам невольно отражается и в чертах характера самого художника. Трампота посвящал нас в тайны своей живописной манеры и техники: он комбинировал масло и пастель и уверял, что так краски значительно дольше сохраняются и потому его картины никогда не постигнет судьба произведений Славичека, на которых зелень оксидируется и темнеет.

Чаще всего мы ходили к Льву Шимаку{217}, которого я знал по нашей партийной ячейке. Свои картины Шимак держал в кладовой, отчего многие у нас не имели представления, какой это отличный художник, и вообще не знали о существовании значительного числа его полотен.

В тридцатые годы Шимак побывал в Советском Союзе и

привез оттуда наброски, этюды и массу впечатлений. На основании этих заготовок возникла затем целая серия картин, дававшая пищу для серьезных размышлений. Шимак был первым художником, воссоздавшим для нас неведомый, пламенный, притягательный, интереснейший мир, который открывал непроторенные пути в истории.

Нам с Шантрохом особенно нравилась одна картина. На берегу реки пасется лошадка, серебрится вода в реке, вдали тянется гряда гор; свежий, пахнущий влагой луг, казалось, источал аромат росистой травы. Такой я и представлял себе Украину, родину Тараса Бульбы и героических запорожцев. От пейзажа веяло прохладой Днепра; мы уносились мыслями в тот край, куда звала нас эта картина, словно слышали украинские песни, которые, случалось, напевал Фучик и другие товарищи, — песни, что привезли они из России.

Едва мы с Шантрохом входили к Шимаку, первым делом спрашивали:

— Лошадка еще у тебя?

Художник утвердительно кивал головой, извлекал откуда-то картину, и нам сразу становилось так хорошо, словно немцы уже проиграли войну или хотя бы битву под Курском или Воронежем.

Эта лошадка придавала нам уверенности. Мы знали — наступит момент, когда Советская Армия погонит оккупантов и они побегут без оглядки.

Вратислав Шантрох не дожил до этого дня. Он был казнен в 1941 году, когда в Прагу приехал Гейдрих{218}. За что он был арестован, я узнал позже. Значительную часть суммы, полученной от брата, он передал партии; каким-то образом это стало известно гестапо, быть может, обнаружилось по каким-нибудь документам, уличавшим Шантроха в том, что он материально поддерживал подпольную деятельность коммунистической партии.

* * *

Война была Гитлером проиграна, немцы поняли это в сорок четвертом. После битвы под Сталинградом они так и не пришли в себя. Отступая, они вели ожесточенные, кровопролитные бои, наносили значительный урон в людях и военной технике, но уже ничто не могло изменить окончательного итога войны. Они продолжали совершать преступления против гражданского населения, на это они еще были способны! Армия изо дня в день «сокращала» и «выравнивала» линию фронта, «занимала более выгодные позиции», и вот война уже велась на немецкой

территории. Генералы давно перестали верить в Гитлера, в его полководческий гений. А Гитлер перестал верить им. По его мнению, это генералы проиграли его войну. Разгромленные отступающие части тянулись на запад, там была их надежда — в благоустроенном плену у американцев.

Гестапо орудовало с той же хладнокровной жестокостью, что и в первые годы войны. У гестапо было немало дел в Италии, где обанкротился Муссолини. Но порабощенные народы чем дальше, тем решительнее поднимали голову. Во Франции, Норвегии, Югославии, в Польше и у нас. Движение Сопротивления ширилось по всей Европе. В лесах действовали партизаны.

Вспыхнуло Словацкое национальное восстание, и людацкие союзники Гитлера{219} бесславно отступали. Немецкие «фау-2» уничтожали Лондон. Печи крематориев в Майданеке и Освенциме работали круглосуточно. Но дела нацистов были плохи.

С наступлением сорок пятого года перед нами вставали новые задачи ведения подпольной работы. Возникло много вопросов. В частности, вопрос о взятии власти после нацистов. О новых формах послевоенной жизни. О справедливом возмездии коллаборационистам и предателям, о власти трудящегося народа. Немецкие главари на оккупированных территориях в спешке собирали чемоданы. Земля горела у них под ногами. Подпольный Центральный Комитет Коммунистической партии Чехословакии приступил к организации революционных национальных комитетов. ЦК занимался также некоторыми наиболее неотложными вопросами просвещения, культуры и печати. Было очевидно, что дни прессы, служившей немцам, сочтены. Будет ли выходить «Руде право»? Сомнений в этом не было. Газета выходила нелегально, этому не помешал самый жестокий террор. «Руде право» будет выходить! Снова обычным порядком, отпечатанная на ротационной машине, как и прежде!

Мы прохаживались с Иржи Силой по Марианской площади; неподалеку от Клементинума{220} у нас было назначено свидание с товарищем, направленным к нам партией именно в связи с изданием газеты «Руде право». Стройный черноглазый юноша представился нам Сламой. Мы рассказали друг другу, что нам было известно. Партия приняла решение издавать «Руде право» в Народном доме. Это было наше предложение. У Народного дома было славное прошлое, там в свое время выходила газета «Право лиду»{221}, в нем состоялась историческая конференция русских большевиков во главе с В. И. Лениным{222}. Стены Народного дома сотрясал бурный двадцатый год, когда после раскола социал-демократической партии родилась ее «левица» и на ее базе возникла

коммунистическая партия.

Молодой человек, которого мы ждали у Клементинума, был, как стало известно потом, Владимир Коуцкий{223}, редактор подпольной газеты «Руде право».

Мне предстояло встретиться также со Штоллом и Долейши и разыскать Вацлава Вацека{224}. Во время оккупации я никого из них не встречал, но свидания с ними состоялись. С Вацеком я встретился на парапете перед Национальным музеем. Пришел и Сила. Было Первое мая. В Берлине шли бои возле имперской канцелярии. Гитлер покончил с собой. По Вацлавской площади ходили вооруженные военные патрули, у памятника князю Вацлаву работы Мысльбека стоял наготове немецкий танк. День был пасмурный, на улицах — малолюдно, ничего не происходило, но в воздухе чувствовалось напряжение.

Прага производила впечатление вулкана перед извержением. Накопившийся гнев сконцентрировался в энергию, которая ждала только подходящего момента, чтобы вырваться наружу.

В пятницу 4 мая в Праге начали перекрашивать немецкие вывески. На многих домах уже развевались чехословацкие флаги. В магазинах отказывались брать немецкие марки. Гражданское население разоружало немецких солдат, а они предпочитали мирно отдать оружие и в последние минуты войны не рисковать головой.

Любой немецкий солдат, позволяя разоружить себя и отдавая свое оружие чеху, как бы смывал тем самым позор, который 15 марта 1939 года осквернил лицо Праги и отвратительным плевком покрывал его все годы оккупации. Впервые за многие годы город охватило ликование, которое уже испытали жители освобожденных от оккупации городов Советского Союза. Испытали эту радость Варшава, Париж. И многие другие города. Прага дождалась этого лишь пятого мая — и словно молодая животворная кровь вливалась в ее истомившиеся жилы.

Неравный, но открытый бой — неравный, потому что у города не было оружия и в бой приходилось идти с голыми руками. Но каждый чувствовал и знал: он идет бороться, чтобы сбросить наконец ярмо многих лет порабощения. Поэтому каждая найденная или захваченная винтовка стоила десяти. И это стремление помериться силами в открытом, пусть неравном бою было сильнейшим оружием Праги, как и гнев и отвага народа, готовящегося к восстанию.

Утром во «Вчеле» на площади Тыла состоялось собрание представителей революционных заводских комитетов. Мы пошли туда с Коуцким и Силой. В зале шумели, одни выходили, другие приходили на их место. Мы узнали, что возле здания Дома радио

стреляют. Прага восстала. Все тут же разошлись, а мы поспешили в Народный дом. Наборщики смахнули со столов свинцовые строчки набора «Народни праце» и начали составлять заголовок первого номера свободной «Руде право». На улицах кое-где слышалась перестрелка, к вечеру по городу нельзя было пройти. Появились первые убитые. Немецкий солдат, раненный в висок, упал ничком, широко раскинув руки, женщина, погибшая от шальной пули, лежала прямо на рельсах, сумочка приоткрыта, задравшаяся юбка открывала ноги выше колен. Немец в кожаных галифе сидел в луже крови, опершись о стену и свесив голову чуть не до колен. Прага давно не видела трупов, хотя погибших было немало; немцы убивали ежедневно везде, только не на улицах — на Панкраце, где обреченных вешали на крюки, как мясники подвешивают тяжелые говяжьи туши; в панкрацких подвалах, где казнили, отрубая головы топором; в пражском пригороде Кобылисы, где расстреливали шеренгами по десять человек. Теперь Прага рассчитывалась за все. Она смело шла на восстание с наивной уверенностью, что враг сдастся, а союзники пришлют оружие. Однако враг и не думал сдаваться, а оружия было отчаянно мало. Прага видела не только мертвых чехов и немцев, но и мертвые дома, мертвые трамваи, опрокинутые вверх колесами, мертвые канделябры уличных фонарей, мертвые башни и танки с развороченным чревом; некоторые улицы вымерли в первый же день, как началась стрельба. Потом Прага уже не боялась смерти, даже коварной смерти из-за угла, от пули с крыши — ее можно было ждать отовсюду, где жили немцы.

Когда над нашей головой начали посвистывать пули, мы переселились в подвалы, забитые поломанными типографскими машинами, наборными столами и прочим хламом. В подвальные помещения по соседству с нашим, переоборудованные во время войны под бомбоубежища и соединенные между собой подземными переходами с подвалами близлежащих домов, набились сотни людей с улицы; из-за стрельбы они не могли попасть домой. Среди них были и старики, и женщины с детьми. Для больных наскоро соорудили какие-то постели, остальные спали прямо на скамьях и на земле. Эти люди доставляли нам немало хлопот. Народный дом, открытый со всех сторон, как остров, едва ли мог быть надежным укрытием. Но мы не могли отказать пришельцам в приюте и несли за них полную ответственность. Единственное, чего мы от них требовали, — не соваться в наши дела и знать о них как можно меньше. Тем не менее невозможно было утаить, что мы делаем. Люди переходили из одного отсека в другой, заглядывали к нам, а позже отваживались подходить и к радиоприемникам, чтобы следить за

ходом событий. Большинство из них легко поддавалось настроениям, а это всегда плохо. Стоило ситуации измениться к худшему, этл люди угнетающе действовали на остальных.

В Народном доме был запас продуктов, еды было достаточно, нормально работала и типографская столовая. Немало продуктов захватила наша воинская часть, в первый день восстания занявшая немецкое общежитие в Стайнеровом зале Народного дома и немецкие казармы в гостинице «Монополь», нам выделили порядочное количество копченой колбасы и сигарет. Все это пришлось кстати. Было, правда, не до еды, зато курили мы сигарету за сигаретой.

Первую статью в повстанческом номере «Руде право» я написал в буквальном смысле слова на колене; я писал о настроениях Пятого мая и о том, что занимало нас тогда:

> «Над Прагой нависло дождливое серое небо; хмурый, бесцветный день, словно и не весна на дворе. Пятое мая 1945 года. Серый цвет дня как серый лист бумаги. Какими буквами впишет история свои слова на этом листе? Слова, которых мы ждали в тревоге, с замиранием сердца, сжав зубы, с надеждой, с несломленной верой долгие, нескончаемо долго тянущиеся дни, что петлей затягивались на шее каждого из нас? Какими буквами напишет история свои слова на этом листе? Какими красками заиграет серый цвет, впитавший в себя всю грязь войны, развязанной самыми преступными силами, какие когда-либо носила земля? Пятое мая 1945 года! День, снова объединивший нас узами самого крепкого содружества со всеми свободными народами мира, к каким мы причисляли и себя, когда вынуждены были молчать, переживая ужасы бесконечных страданий. Наступил ли конец войны и для нас? Серый, пасмурный день расцвечивается красно-белыми и красными флагами. Конец войны! Это звучит почти невероятно. И все же это правда. Конец войны!.. Выходит, еще не мир? Лишь конец войны? Злобно лают пулеметы на улицах Праги, свистят пули, стреляют из винтовок и пистолетов, грохочут орудия… Орудия? Здесь, в Праге, в городе, который еще несколько дней назад нагло и милостиво объявили городом-госпиталем? Грохочут орудия. Дом за домом, улица за улицей отражают грохот выстрелов. Едет танк с чехословацким трехцветным флагом. Вон те улицы уже очищены от врага. Тут и там сдаются немецкие солдаты.

Громкоговорители нарушают тишину настойчивым обращением чехословацкого радио с призывом о помощи. И затем сообщения из разных районов Праги — Вршовиц, Нуслей, Жижкова… добрые вести… Но продолжает литься кровь борцов за свободу. Она, а также яркие краски флагов создают фон майского дня.

До темноты грохочут пушки где-то на окраине Праги. До поздней ночи звучит призыв Национального совета. До поздней ночи, которая словно поглощает бремя шести лет ужасов и страданий, до поздней ночи. Нас объединяет одна общая для всех мысль: «Мы победили!»

Партия обратилась к коммунистам:

«Докажите, что вы с таким же энтузиазмом и упорством, с такой же отвагой и находчивостью, какие проявили в шестилетней схватке с кровавыми гестаповскими извергами, выступите и в открытом бою против фашизма».

За ночь в Праге выросли две тысячи баррикад. Разбитые остатки гитлеровских войск в эти последние дни войны пытались пробиться через Прагу к американцам и при отступлении уничтожить ее, как и Варшаву.

Баррикады сохранили Прагу.

Историки еще долго будут изучать эти пять дней самоотверженных боев, когда почти безоружные пражане вступили в последнюю схватку с оккупантами. Историки будут разбирать и ошибки, допущенные Национальным советом. Но я видел людей, которые не думали о себе. С оружием в руках шли они на самые опасные участки и стояли насмерть. Я видел мужчин, переживших худшие времена и сложивших головы на самом пороге новой жизни. Была весна, благоухала сирень, цвели каштаны. Прага была прекрасна. В красивом городе вдвойне тяжелей умирать. Помню слова Фучика из его «Репортажа с петлей на шее»:

«Я всегда думал о том, как грустно быть последним солдатом, которого в последнюю секунду войны поразит в сердце последняя пуля. Но кому-то надо быть последним. Если б я знал, что могу стать этим солдатом, я хотел бы стать им сейчас же».

Последних солдат в эти последние минуты войны дала миру Прага. Оккупацией Праги была de facto начата вторая мировая война. Освобождением Праги она должна была завершиться.

В Лондоне уже звонили колокола, возвещая о мире, народ радовался и ликовал. Но Прага еще писала последние страницы этой страшной войны.

И писала их кровью…

* * *

В ночь с понедельника на вторник в Народном доме никто не спал. Рано утром, когда тучи на небе рассеялись, пали последние баррикады недалеко от центра города, у гостиницы «Империал» на Поржичи, и немцы предприняли атаку на Масариков вокзал и на Народный дом.

В памяти о тех драматических минутах многое стерлось; а вот записки того времени, нервный и неровный стиль их отвечал волнению, пережитому нами в те тревожные мгновенья.

Вот эти строки:

> «В убежище на земле, на ступеньках, в углах, на камнях спят люди. Это странный сон. Так, вполглаза. Случится что-нибудь в ближайшие полчаса? Стоит кому-нибудь заговорить даже шепотом, половина спящих тут же вскакивает.
>
> На дворе дышится легче. Дождь перестал. Довольно ясно. На Петршинском холме наверняка цветет сирень. Если бы не гром канонады, это была б одна из волшебных майских ночей, одна из прекраснейших ночей в Праге. Иногда грохнет так близко, что задрожат стекла в окнах. Выйдешь во двор — у ворот стоит караульный, разговаривает приглушенно, глаза устремлены в темноту, палец — на спуске револьвера. Вся Прага спит вполглаза. Покой — если не считать орудийной пальбы. Ночью не воюют. Лишь изредка покров тишины разорвет автоматная очередь и после долгой паузы на другом конце города ей ответит тупой гулкий выстрел фаустпатрона.
>
> Внизу, в подвале, у приемника теснится кучка людей. Товарищи из службы прослушивания терпеливо ловят то одну, то другую заграничную станцию. Пражское радио передает музыку. Всю ночь из приемника раздаются звуки трескучих маршей, лишь

изредка сообщают известия.

— Что-нибудь передавали?

— Ничего особенного. То же, что и час назад.

— Ничего особенного!

И все же мы ощущаем страшное напряжение, которым проникнута атмосфера. Изменилось ли что-нибудь за последний час? То и дело в подземелье появляется патруль и ищет командира. Любопытно, что, несмотря на сильную усталость, заметную у всех по глазам, чувства обострены до предела. Словно кто-то читает мысли, неожиданно пришедшие в голову, которые тебе хотелось бы скрыть. Странная нервозность будто переносится из помещения в помещение. Или это потому, что утихла артиллерийская стрельба?

Тягостны минуты, когда к тебе поворачиваются сонные люди и люди хотят знать, что происходит. Почему ты не можешь им сказать, что эсэсовцы заняли Масариков вокзал — это рядом с нами, и теперь черед Народного дома? Пока что об этом знают всего несколько человек. Наборщики торопливо прячут клише «Руде право» и «Праце»{225}, и несколько десятков оставшихся подобных оттисков быстро исчезают вместе с рукописями в груде мятого бумажного мусора и отходов ротационной бумаги. Поможет ли это? Разве на здании не развеваются два флага: красный и рядом трехцветный чехословацкий? Известно ли немцам, какую роль играет в восстании Народный дом?

Те, на чьей ответственности питание нескольких сотен людей, спешат укрыть продовольствие, захваченное у немецкого гарнизона. Мы располагаемся в первом помещении, куда выходит подземный коридор из соседнего дома. На самом открытом месте, под прицелом.

Эх, если бы оружие!.. Много-много оружия!

Все происходит словно в лихорадке или в фильме, когда время и действие в бешено чередующихся кадрах сконцентрированы до предела. Все происходит быстрее, чем промелькнет мысль.

Первый эсэсовец падает в нескольких шагах от нас, получив пулю в живот. А второй, вбежавший следом? Сколько ему может быть лет? Будет ли он стрелять? Мы смотрим, как он судорожно стискивает автомат. Дрожит, боится… У нас, по существу, нет оружия, всего несколько револьверов и винтовок… Мы поднимаем руки —

мужчины справа, женщины слева. Нас пересчитывают. Сколько? Сорок?

С поднятыми руками протискиваемся мы сквозь строй эсэсовцев сначала во двор соседнего дома, а оттуда выходим на улицу.

Искореженные столбы, вороха спутанных электропроводов — все это лежит поперек дороги. Мы ступаем по битому стеклу и дышим запахом пороховой гари, дыма и крови. Этот приторно-дурманящий запах не спутаешь ни с чем. Пустая, безлюдная улица неузнаваема.

Нас обдает теплым чадом от пылающего здания дирекции железных дорог, доходящим даже сюда. Сколько ударов обрушилось на Прагу, но, несмотря на все эти удары судьбы, она прекрасна и облик ее незабываем…»

И вот 8 мая 1945 года нас погнали на перрон Масарикова вокзала. Было около четырех часов утра; бои, видимо, прекратились. Мы, небритые, заросшие недельной щетиной, идем по развороченной мостовой, по кучам щебня и обломкам штукатурки, проходим через вестибюль со следами обстрела, топчем осколки стекла, они скрежещут под ногами. Со стороны Булгара валят клубы дыма от горящих жилых домов. Дым щиплет глаза, забивает легкие. На заре прекрасного майского дня мы стояли на путях у перрона с поднятыми вверх руками перед трупами расстрелянных на наших глазах людей и понимали, что нас ждет та же участь. В одной шеренге с нами рядом с Коуцким, Силой и Штоллом стояли Ярослав Сейферт, А. М. Пиша и Йозеф Троян{226}.

Впереди горел пассажирский поезд. В окнах плясали языки пламени, внутри раздавались глухие удары, как выстрелы из орудий. После каждого взрыва огонь взмывал высоко вверх, и дерево трещало еще яростней. Словно огню было ужасно некогда, и он торопился побыстрей разделаться с пылающим составом.

А над вокзалом в густом дыму развевался чехословацкий флаг, поднятый в первый день восстания. Когда дым немного отнесло в сторону, показался кусочек неба, башню над вокзалом залило яркое солнце, флаг засиял и затрепетал веселыми праздничными красками.

Солдаты, стоявшие напротив, были молоденькие, в пятнистых куртках. Их лица были бесчувственными, глаза ничего не выражали. Им не больше семнадцати-восемнадцати, но при

взгляде на них охватывал ужас. Еще вчера — дети, сейчас законченные головорезы. Они запихивали в рот конфеты, награбленные в разбитых витринах кондитерских; у всех значки СС, на груди болтались автоматы. Их командир, не вынимая изо рта дымящуюся сигарету, добивал раненых, стреляя из пистолета в затылок. Один из солдат обшаривал наши карманы, вытаскивал часы, авторучки, деньги. От бетонированного перрона, где лежали убитые, поднимался сладковатый запах крови.

Стрелка на часах дрогнула и передвинулась. Появились и исчезли, потом снова появились полицейские с белым флагом и стали что-то выяснять у начальника комендантского взвода.

Мы понятия не имели, что речь шла о нас. Потом уже только мы узнали, что полицейские с крыши дома на Гибернской улице увидели, как эсэсовцы ведут нас на вокзал, и попытались спасти. Они трижды подходили, подняв белый флаг, и уходили ни с чем. Потом немцы увели нас на Карлин, и весь день мы простояли перед казармами Франтишека Палацкого; к вечеру нас отпустили, обменяв на пленных солдат, главным образом эсэсовцев, судьба которых волновала немцев в первую очередь.

Я помчался через Грабовку на Жижков, и вдогонку у моей головы просвистело несколько пуль. Тут и там раздавались сухие щелчки выстрелов из винтовок. На улицах лежали трупы солдат и мирных жителей. Их не успевали убирать. В двух шагах от нашего дома, под первым виадуком, лежал солдат с простреленной головой. Пилотка валялась в стороне; он лежал ничком, раскинув ноги. Вокруг головы растекалась лужа крови.

Я взбежал по лестнице и открыл дверь в нашу квартиру. Владя стоял в коридоре с выражением ужаса на лице; увидев меня, жена его Мария зарыдала. Повернувшись ко мне, Владя прерывающимся голосом еле выговорил:

— Откуда ты?

Я не мог произнести ни слова.

— Владя тоже только что пришел, — первой заговорила Мария. — Утром немцы повыгоняли всех мужчин из подвалов и заставили разбирать баррикады, а потом погнали впереди танков. Я уж думала, вас обоих убили.

Я взглянул в зеркало: вид у меня был прежалкий. Я расплакался, спрятавшись в кухне, чтобы меня не видели. Было невыразимо тяжело. Я остался жив, но нет в живых Фучика, нет Уркса, Шантроха, Рошицкого. Я плакал, думая о всех этих последних годах, о своей горькой доле — вот и пришел ей конец! — оплакивал мертвых товарищей, чьи имена станут легендарными, — товарищей, могилы которых этот невероятно

прекрасный май сорок пятого года усыпал цветами. Оставшихся в городе местных немцев яростно избивали, мстя за всех мертвых, за убитых мужчин, братьев, родителей, за убитых лидицких детей, за все унижения и позор последних лет. От стыда, от гнева, от страшного отчаяния били их, но главные-то виновники давно были в безопасности, у американцев, обеспечив себе алиби и средства на жизнь. Хладнокровные убийцы, обагрившие свои руки кровью невинных жертв, они не стали ждать, страшной мести карающей десницы. А люди били тех немцев, которые им случайно попадались и которые олицетворяли для них оккупантов. Я оплакивал себя, вся невероятная тяжесть пережитого давила страшной глыбой, и я рвался из-под нее, словно из темной пропасти, на свет божий. Казалось, случись со мной такое еще раз, я не переживу. Я не был героем, герои были мертвы, я жил. Дышал. И чтобы не пасть духом, приказал себе идти назад в Народный дом, выпустить газету, которая из-за событий не увидела свет.

На улицах не было ни души. На Булгаре горели дома. Масариков вокзал был совершенно разбит. Во дворе Народного дома валялись убитые немцами. Я содрогнулся при виде этих последних жертв. Народный дом был погружен в жуткую тишину; спускались сумерки, и мертвые придавали ужаса этой тишине взглядом своих широко раскрытых погасших глаз. Меня охватил страх — нет ли тут ловушки? Ноги сделались деревянными, я застыл посреди двора, превращенного в гробницу. Прислушался — не раздастся ли какой звук. Тишина, я слышал только свое дыхание. Сбросив с себя оцепенение, я спустился в типографию и в темноте на ощупь пробрался в подвал, откуда нас извлекли немцы. Внезапно что-то с шумом посыпалось и раздался истерический женский крик, я тоже закричал, что я свой, не немец. Из всех углов стали выползать люди, попрятавшиеся во время нашего ареста.

Я с трудом мог разглядеть их в сумеречном свете уходящего дня, они казались мне посиневшими от страха и не отличались от мертвецов, лежавших в первом дворе. А разве я сам не был живым призраком, выходцем с того света?

— Вас не убили?

— Нет, из наших никого, — ответил я.

— А что они тут устроили! Когда вас увели, очередями простреливали все закутки.

— Ну хватит, — решительно заявил я. — Надо доделать газету. Она почти готова.

Я наивно полагал, что сделать это не составит большого труда.

— Мы не в состоянии работать, — в отчаянии заявили типографы, стыдясь своих слов. Люди они были откровенные, и я любил их за это. Глядя на них, я приуныл.

Утром в Праге была Советская Армия.

* * *

Слезы не раз застилали мне глаза и позже, когда я шел с Жижкова в центр Праги по улицам с разобранными мостовыми, из которых вынули брусчатку на баррикады, а теперь кое-как свалили на дороге. Проезжавшие танки и автомобили поднимали золотистую пыль, она висела в воздухе и не опускалась. Эта пыль щипала глаза, и текли слезы. Золотистая пыль поднималась над землей на несколько метров, тонким слоем покрывая затем все вокруг, припудривая обгоревшие немецкие танки в саду Врхлицкого и перед Староместской ратушей, кисти цветущей сирени, газоны у здания парламента, где были свежие могилы красноармейцев. Вся Прага будто утопала в золотистом сиянии, которое искрилось под лучами майского солнца, окрашивая в золото также и печаль, витавшую над мертвыми, над их могилами с гирляндами красных цветов.

Глаза были полны слез у всех пражан; они слезились от золотистой пыли, подымаемой железными гусеницами; эти слезы смешивались с другими слезами — люди плакали от счастья и радости.

Вечерами после захода солнца над улицами раздавались выстрелы коварных убийц, прятавшихся по чердакам. Советские солдаты доставали их оттуда, вытаскивали из подвалов и канализационных каналов — отовсюду, где б они ни скрывались.

Несмотря на все свои еще кровоточащие раны, Прага, просыпаясь по утрам, подставляла солнцу свое прекрасное, счастливое, хотя и измученное лицо. Большой, красивый, старинный непокорившийся город, одно из уникальных сокровищ Европы, которое немцы не успели уничтожить при отступлении, вставал из руин, поднимал свое гордое чело.

Следы боев встречались на каждом шагу.

Сожженные дома на Вацлавской площади, сгоревшая Староместская ратуша, Паржижский проспект, Тройский мост, оборванные и вспученные железные шторы магазинов, выбитые стекла витрин — так выглядели улицы. Расстрелянные фасады дворцов с отбитой штукатуркой казались покрытыми отвратительной сыпью.

Староместская ратуша после Пражского восстания.

Последние зверства оккупантов — штабеля расстрелянных жителей в Еленим рву, на Пражачке, на Панкраце, у Зеленой Лишки. Павшие во время Пражского восстания, сотни мертвых на каменных полах в полумраке костелов; толпы людей, бродивших от одного костела к другому и разыскивавших среди мертвых своих близких.

Поэт Витезслав Незвал, с огромной красной звездой на лацкане пиджака, запыхавшись, ворвался в Народный дом с только что написанным стихотворением:

Вступили, как войска из легендарных хроник.

Победа к нам пришла, поют лады гармоник.
О песни русские, здесь каждый — ваш поклонник[22].

Помню, как ходили мы в гостиницу «Алькрон», где временно размещалось новое правительство.

Всюду — в холле, кафе, ресторане, в коридорах и на лестницах — было полно людей, они обнимались, горячо жали руки, громко разговаривали, отчаянно жестикулировали, смеялись во весь голос, не задумываясь, из какого кто лагеря, кого представляет и какую роль в ближайшее время будет играть.

Все это были члены политических партий, принимавших участие в сопротивлении фашизму, бывшие депутаты и нынешние министры, государственные секретари, участники обсуждения Кошицкой единой правительственной программы{227}, пестрая оживленная и плотная толпа. Коммунисты почти терялись в ней. Иногда мы с радостью видели тут и Клемента Готвальда, похудевшего, серьезного и задумчивого, в простой одежде, по которой сразу можно было узнать пролетарского вождя. Мелькал тут и Зденек Неедлы, грустный и молчаливый, в трауре по сыну, погибшему в боях за Дукельский перевал{228}. Новые министры и государственные секретари были сплошь молодые и симпатичные. Вижу мысленным взором статную фигуру Яна Гаруса{229} в форме нашей восточной армии. Кажется, он был в чине майора; может быть, я ошибаюсь, и чин у него был поменьше — старший лейтенант или капитан, — неважно, но выглядел он настоящим майором — густые, тронутые сединой волосы, отличная воинская выправка, держался он как истый фронтовик — скромно и с достоинством.

Слова, серьезные и веселые, громкие и чуть слышные, произносились тут с утра до вечера и звучали многозначительно, но даже те, что сказаны были с легкой небрежностью государственных мужей, в этой обстановке приобретали значительность, весомость и какой-то дополнительный скрытый смысл. Все это заставляло воспринимать здешнее пестрое общество с некоторой осмотрительностью, сознавать, что в руках этих людей сосредоточена вся власть нового государства. От счастья я был немного сам не свой и особенно терялся, когда на меня налетал вдруг кто-нибудь из свиты Эдуарда Бенеша, тиская и пожимая руку, полагая, видимо, что я принадлежу к выдающимся деятелям. С некоторыми из этих людей, газетчиками, мы были знакомы и раньше, но теплые чувства нас отнюдь не связывали. Однако теперь все напропалую братались, многие политики это к тому же сильно афишировали. Я очень

вырос в глазах многих людей после того, как меня видели беседующим с Готвальдом; с тех пор при встрече они спешили здороваться со мной первыми.

Кулуары этого большого международного отеля бурлили. Были здесь и счастливчики, у которых кружилась голова.

В одном молодом человеке, удостоенном ответственного поста государственного секретаря министерства иностранных дел, я узнал своего давнего друга Владо Клементиса и поспешил к нему с распростертыми объятиями. Я поздравил его. Мы сели и стали вспоминать прошедшую молодость. Ни о чем серьезном он говорить не хотел, даже о том, что меня интересовало: я спросил о наших западных союзниках. Владо всегда был немногословен, а на этот раз он показался мне молчаливее обычного, замкнутым и невеселым; больше я ни о чем его не расспрашивал, догадываясь, что его мучит. Его настроение наверняка было связано с той лондонской историей и его странной точкой зрения на войну с Финляндией перед нападением немцев на Советский Союз. Вид у Клементиса был очень озабоченный. Конечно, он больше знал о сложностях мировой обстановки, чем те, кто наивно увлекался внешней стороной событий и рисовал себе будущее в одних розовых тонах.

Когда выдавалась свободная минута, я забегал в «Алькрон» окунуться в эту возбуждающую атмосферу, но свободного времени у меня особенно не было; в редакции «Руде право» двери почти не закрывались. Министерства только начали формироваться, толком даже не было известно, где какое из них расположено. Поэтому со всеми неотложными делами шли к нам, и мы представляли эти только что формирующиеся министерства. Приходили советские офицеры и солдаты, заходили и бывшие узники концлагерей, возвращавшиеся домой через Прагу. Побывал у нас советский писатель Авдеенко, чья книга «Я люблю» мне очень нравилась. Худой, изможденный, с ввалившимися щеками влетел к нам Петр Илемницкий, бывший на тяжелых работах в каменоломнях: его осудили на пятнадцать лет каторги. Его светлые глаза смотрели, как всегда, весело, больше всего он радовался, что снова увидит Словакию.

Мне тоже очень хотелось побывать в Словакии. Но мосты через Мораву все до единого были взорваны отступавшими немцами, поезда туда, так же как и в Писек, не ходили, а мне хотелось наведаться домой, хотя бы ненадолго, повидать маму и близких, успокоить их. Ни обо мне, ни о Владе они не имели вестей со времени Пражского восстания и, разумеется, сильно беспокоились. В Рузынь Владя, конечно, уже не ездил, но и в свое учреждение на службу еще не ходил. Владю тоже волновали дела

в Писеке, писем оттуда мы не получали вторую неделю. Вечером, когда мы вспоминали маму, он вдруг сказал:

— Я доеду до Писека, хоть поезда и не ходят — до Табора железнодорожное полотно цело, — а оттуда на попутных.

Где-то в середине мая он собрался в путь, и я верил, что он доберется. Конечно, эта поездка была авантюрой, особенно путь от Табора до Писека; по лесам вдоль Влтавы прятались немцы, там нередко стреляли. Владю подвозили советские солдаты, если пути их расходились, он ждал следующих и ехал с ними дальше. Увидев его, мама страшно перепугалась — уж не с дурной ли вестью обо мне он приехал? До них дошли сведения о жестокой расправе на Масариковом вокзале и в Народном доме, они давно оплакивали меня. В Писеке все были живы-здоровы. Немцы промчались через город не задерживаясь — торопились успеть к американцам, и советские войска, наступавшие им на пятки, заняли город без боя.

Узнав, что дома все в порядке, я успокоился. Владя вернулся в Прагу снова окольными путями, а потом и я поехал в Братиславу. Вместе со мной отправился Карел Конрад.

Поездку нам устроил Зденек Фирлингер{230}. На этот раз все обошлось гораздо проще, достаточно было поднять телефонную трубку, и нас доставил в Братиславу советский бомбардировщик. Через час мы приземлились в Братиславе. Само собой, бомб в самолете не было. Стоял круглый стол со стульями вокруг да деревянная бадейка с водой; стены сплошь обклеены женскими головками.

Через Братиславу прошел фронт, из Дуная торчали изуродованные железные конструкции моста. Крижовая улица, где я когда-то жил, сровнена с землей, на улицах полно солдат; по вечерам с разных сторон раздавались резкие, отрывистые пистолетные выстрелы. Братислава спала неспокойным сном, стрельба продолжалась обычно до поздней ночи.

Я зашел к друзьям; все мы постарели, это было сильно заметно. Познакомился я и с новыми симпатичными людьми, художниками и поэтами — Мудрохом, Гудерной, Прибишем, Хмелем, Лайчаком, Райзелом, Бунчаком{231}, и многими другими. Я увидел Словакию, полную творческого энтузиазма, с надеждой устремленную в будущее. В жилах ее бурлила повстанческая кровь. Это была совсем не прежняя забитая Словакия первой республики и не Словакия тисовского клерикально-фашистского режима.

Я провел там несколько дней. Мне было хорошо. Домой я вернулся в отличном настроении.

— Что ж, — сказал я себе. — Кончилась власть Тисо и Туки,

Маха и Сидора, Мургаша и Дюрчанского{232} и молодцов из «Словака», с которыми мы, бывало, не раз спорили за стаканом вина и которые оказались зловещими черными воронами в высоких сапогах.

Из Народного дома мы вскоре переселились на Флоренц в бывший Дом печати аграриев, где выходила газета, сыгравшая печальную роль в первые дни оккупации, когда стране было тяжелее всего.

Обстановка там была непривычная. На каждого из нас приходилось по два-три кабинета, со вкусом или безвкусно обставленных на свой лад. Карел Конрад бродил по бесконечным коридорам, озорно свистел и каждый день переселялся в новую комнату. Наконец он осел в закутке в начале коридора и всегда держал нараспашку двери, чтобы видеть входящих. К нему в ту пору ходило немало просителей — писатели, деятели искусства, работники театров и кино. И Карел Конрад, как всегда темпераментно, со свойственным ему жаром и участием, устраивал дела коллег, отводя своими заботливыми руками их беды.

Алькроновская романтика была позади, теперь в свою очередь ожил Слованский дом{233}, когда весь первый этаж заполнили люди из аппарата партии. Радостные и неожиданные встречи продолжались: вернулись из концлагеря Антонин Запотоцкий с Яромиром Доланским{234}, время от времени кто-нибудь объявлялся, сообщая, что жив и здоров.

Приехала и Густа Фучикова, чудом пережившая страшные годы в нацистском концлагере. Она привезла первые листки «Репортажа с петлей на шее» Юлиуса Фучика, при чтении которого перехватывало дыхание.

Вместе со С. К. Нейманом, Марией Пуймановой{235} и Ладиславом Штоллом мы предприняли первые шаги, чтобы как можно скорее выпустить «Творбу». Руководил нами Иржи Тауфер{236}, только что прибывший из Советского Союза.

Мы были полны вдохновенной решимости продолжать то, что делали до оккупации, но часто это оказывалось невозможным, как невозможно было стереть из памяти и из жизни все, что отделяло нас от той поры. Мы и сами были не те, что в тридцатые годы, и люди вокруг нас переменились, иным стал и мир. Быть может, кто-то и мог продолжать делать то, что делал прежде, а я не мог. Мешало многое. Причина отчасти крылась во мне самом, отчасти во внешних факторах, но даже привычную мне газетную работу сейчас нельзя было делать по старинке.

Со всех сторон света съезжались эмигранты, спасшиеся от

Гитлера. Не вернулся Ярослав Ежек{237}. Он умер в ненастный зимний день среди нью-йоркских небоскребов, одинокий и заброшенный. Один в чужом мире, полуслепой.

В 1946 году, наверное, последним добрался до Чехословакии Эгон Эрвин Киш. Он прибыл из Мексики, привез с собой Андре Симона, мы с Винцеком Нечасом{238} после восьмилетней разлуки встречали его на Рузыньском аэродроме.

Из-под мексиканской широкополой шляпы с болью смотрели на нас печальные усталые глаза: в нацистских лагерях смерти, в газовых камерах погибло большинство его близких друзей.

После войны прошел год, розовая дымка беззаботного оптимизма заметно поблекла. Речь Черчилля в Фултоне внесла новый тон в послевоенные отношения между странами, подчеркнув, что победители гитлеровской Германии относятся к двум непримиримым лагерям, и положила начало новым конфликтам. Это время было названо «периодом холодной войны»…

Как и все мы, Эгон Эрвин Киш хотел вернуться к тому, что составляло его внутренний мир, к тому, что он утратил, когда вынужден был покинуть свой родной старопражский дом «У двух золотых медведей». За то время, что мы не виделись, он сильно сдал, на него наложила свой отпечаток война. Но, как и прежде, вернувшись из поездок домой в Прагу, он радовался встрече, как корабль, который после океанских широт причаливает к родной гавани.

Расцвели каштаны, и Прага снова была прекрасна. В парках золотым дождем сверкали на солнце форзиции, и, стоя под старыми деревьями, ты снова чувствовал себя счастливым. Несмотря на все сложности и трудности жизни, дышалось легко и свободно. Прошел густой майский дождь, намочив стены, на которых постепенно бледнели немецкие надписи военных лет: «Ins Freie!» — «К свободе!»

В молодости Киш отличался бурным темпераментом. Неистовый характер постоянно побуждал его исследовать самые темные стороны жизни, чтобы понять ее смысл. Вижу — вот он сидит у себя в доме «У двух золотых медведей», беспрерывно курит и строчит свои оригинальные, несколько вычурные статьи, которые не могли скрыть сжигавшее его внутреннее беспокойство, неуемную непоседливость и стремление непременно попасть туда, где что-то происходит.

Как и молодого Горького, Киша интересовала жизнь людей, оказавшихся на дне. Он принимал близко к сердцу исковерканные судьбы изгоев общества, судьбы добрых, хороших, порядочных, но несчастных людей, чьи недуги общество способно

было врачевать лишь с помощью тюрем, полиции и судов. Киш ликовал, когда видел, что отчаявшийся, презираемый богачами отщепенец имеет гордость, честь и способен переносить гонения и нищету, но не унижение. Киш верил, что в этих людях таится неукротимая бунтарская сила. Со временем эта сила превратилась в бушующий вулкан, извергающий огонь и лаву на весь старый мир, и, когда такие неистовые силы приходили в движение, Киш был счастлив, как никто другой. Ведь на его глазах происходили интереснейшие события. Он умел описывать, анализировать и объяснять их. Делал он это блестяще, мастерски, с юмором, с неистощимым увлечением и предельной добросовестностью. Киш вернулся домой автором прославленных книг. Он собирался продолжать писать, однако никто не в состоянии сделать нечто свыше своих сил и возможностей. Наступает момент, когда человек это осознает; понял это и Киш.

Приехав из Мексики, он увидел, что все вокруг переменилось, рождался новый мир. Киш торопился догнать его, но жизнь умеет быть жестокой и не принимает в расчет того, что силы у человека на исходе. Она шагает дальше, уходит вперед, прочь от событий и людей, и все это остается лишь в вашей памяти да в памяти тех, кто пережил эти события вместе с вами или, быть может, переживет их, прочитав вашу книгу. Вы будете счастливы, если убедите читателя, что описанные вами места были чудесны, люди — замечательны, а события имели глубокий смысл и значение. Еще радостней вам будет, если вы убедите читателей, что смысл существования этих людей был в том, чтобы сделать жизнь счастливей для других.

И хорошо, если читатели найдут в себе силы не согласиться с мнением, будто техника вышла из повиновения и подчинила человека себе. Возможно, в каких-то странах так оно и есть, но — смотрите внимательно, где это!

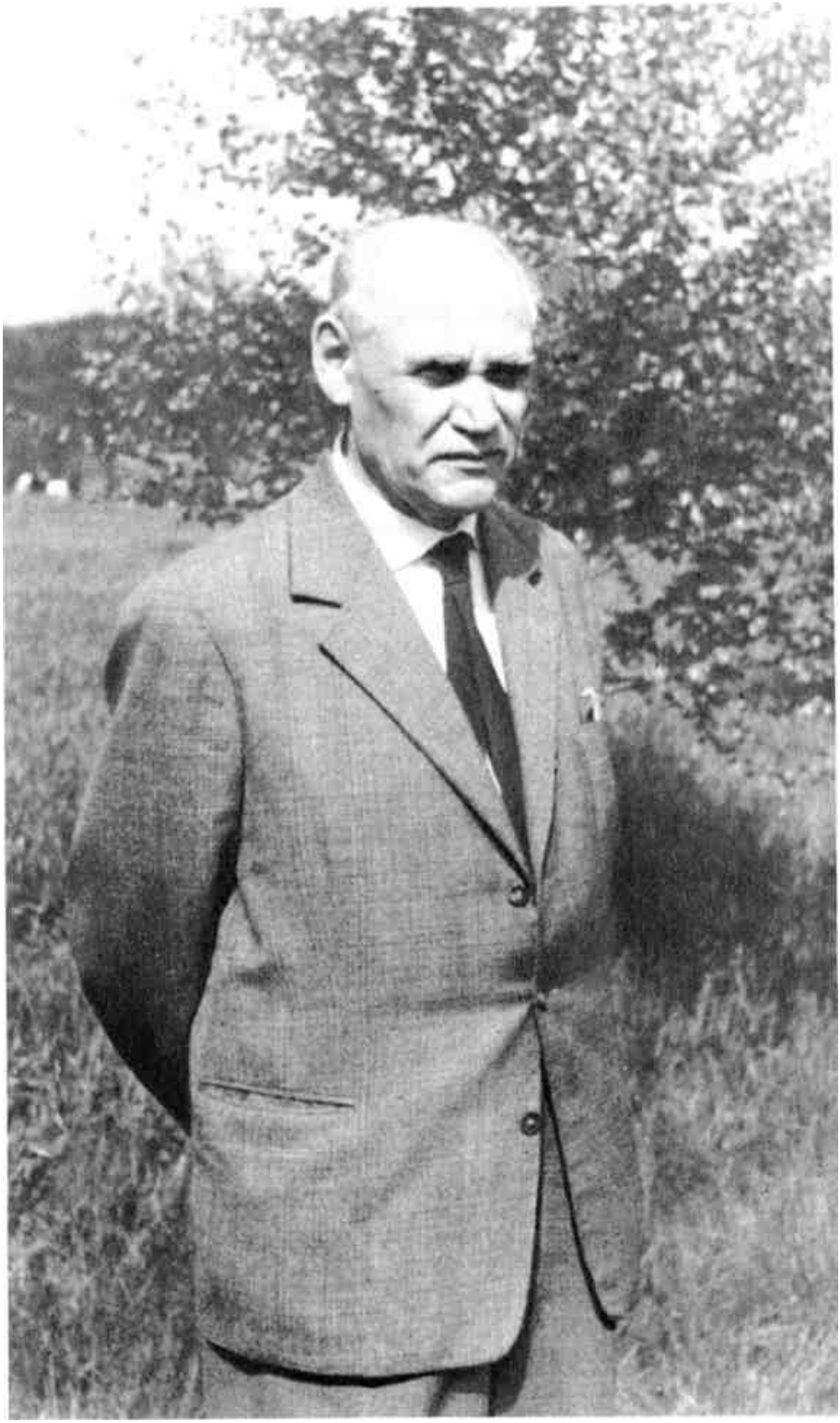
Достижения современной техники способны превратиться в орудие уничтожения лишь там, где это допускает негодная общественная система и сами люди не противятся этому.

Замечательно, что существует Советский Союз и страны, следующие по проложенному Советским Союзом пути.

Люди, о которых я здесь писал, не щадили своих сил, чтобы предотвратить катастрофы и вывести мир из мрака на освещенные солнцем просторы. Те, кто приходит им на смену, призваны продолжать начатое ими дело. Перед новыми, молодыми поколениями развивающегося мира нет важней задачи, чем объединить усилия человечества, направленные на творческое созидание, как сказали бы мы вместе с поэтом — на созидание новых форм и новой звезды свободы.

*Перевод И. И. Ивановой.*

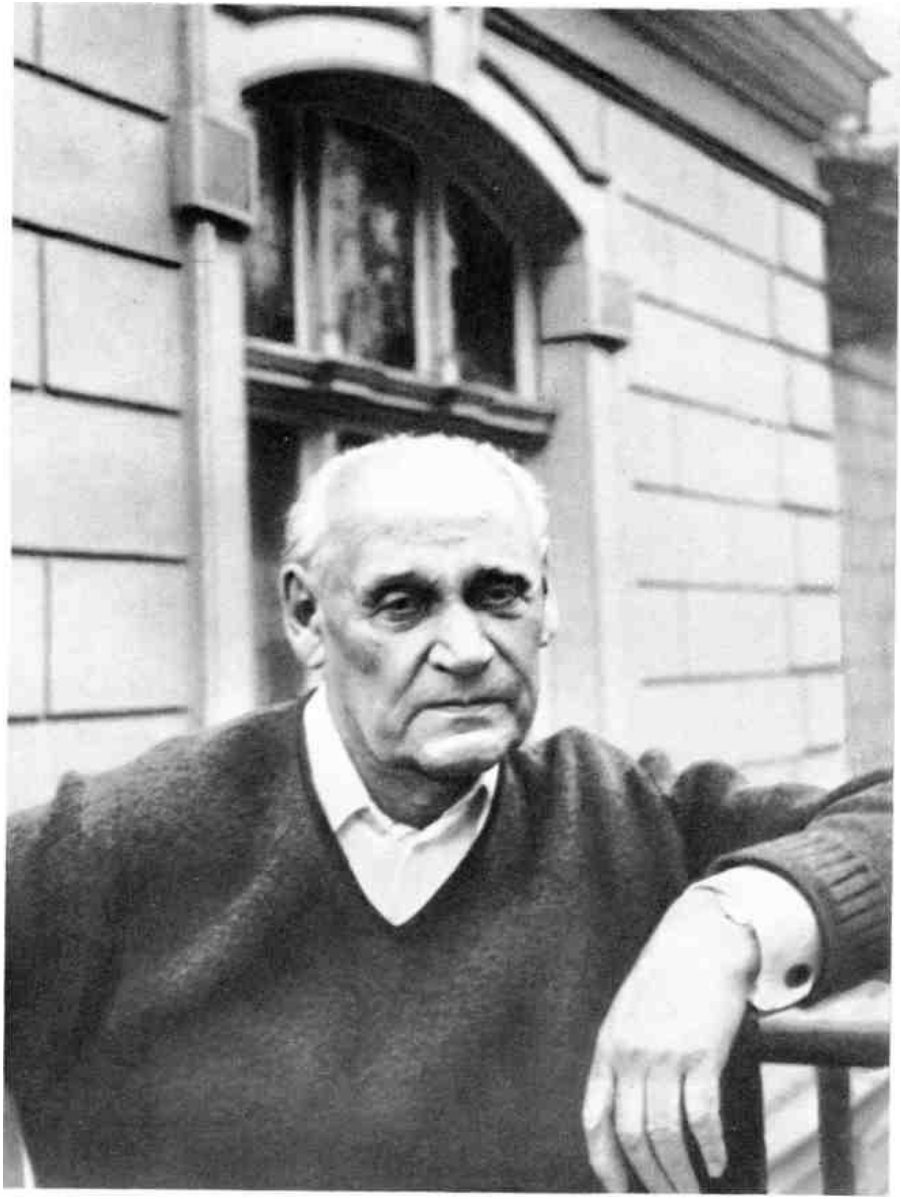
# ФОТОГРАФИИ



Йозеф Рыбак. 1948 г.

Й. Рыбак с французским писателем В. Познером. Прага. 1952 г.

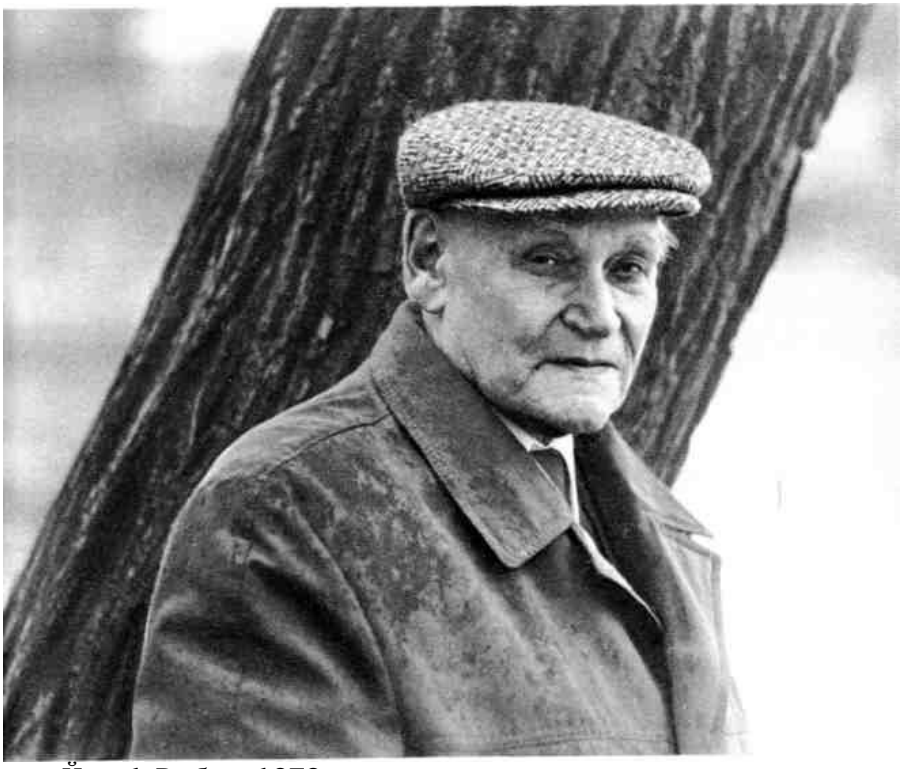
Йозеф Рыбак. 1952 г.



В Доме творчества писателей. Карловы Вары. 1968 г.

Й. Рыбак на выставке своих произведений.

Й. Рыбак и народный писатель ЧССР Я. Козак.



Йозеф Рыбак. 1978 г.

Й. Рыбак в Москве на вечере чехословацкой поэзии.

# ИЗ КНИГИ «ПАЛЬЦЫ В ЧЕРНИЛАХ»{239}

*Смысл искусства в том и состоит, что оно борется во имя чего-то и против чего-то, что оно является частью борьбы за новые социальные идеалы, оружием в борьбе против сил зла и бездуховности, за подлинный прогресс и такое общественное устройство, при котором человеку не угрожают никакие формы насилия, столь унизительные для него.*

# О названиях книг

— Послушайте, почему вы хотите, чтоб эта книга носила такое странное название?

— Что?

— Почему эта книга должна называться «Пальцы в чернилах»?

— Вам не нравится?

— Дело не в этом…

— Тогда в чем же? Любая книга должна как-то называться. Иметь какое-то имя. Как человек.

— Но она могла бы называться и по-другому. Скажем, «О литературе, искусстве и художниках». Или «Серьезные и легкомысленные рассуждения о литературе». Читатель уже по названию должен понять, о чем идет речь.

— А вы поймете, о чем идет речь, если книга называется «Саламбо»? Если она называется «Крейцерова соната»? «Самая темная тюрьма»? «Кракатит»? Или «Крестный отец»? Или «Колеса»? «Облако в штанах»? «Двенадцать»?

— Значит, по-вашему, название неважно?

— Наоборот. Думаю, важно. Всегда важно. Но иной раз труднее придумать название, чем написать новеллу. Книготорговцы говорят, что выигрышное название, равно как и удачная обложка, продают книгу. Названием книги можно соблазнить читателя. Поймать его, как рыбу на крючок. В этом что-то есть. По собственному опыту знаю. Еще мальчиком я выбирал в книжных лавках книжки по их названию: «Школа Робинзонов», «На волнах Ориноко», «Человек, ведущий крупную игру», «Фантастическое гетто», «Гаремы без чар», «Монт-Ориоль», «Блеск и нищета куртизанок».

— А вы полагаете, название «Пальцы в чернилах» заманчиво?

— Ну нет, но полагаю, что книга не может называться иначе.

— Объясните мне.

— Весьма охотно. Вот послушайте. Согласитесь, что у пекаря, выпекающего хлеб и булки, пальцы всегда в муке. У трубочиста, который чистит трубы, они, как правило, бывают в саже. У рабочего, стоящего у станка, — в машинном масле, а у шахтера — в угольной пыли. У писателя же на пальцах зачастую видны следы чернил.

— Даже сегодня? Когда большинство писателей пользуется машинкой? Или диктофоном?

— Далеко не каждый писатель любит диктофон, и, коль скоро речь идет об истинном писателе, сомневаюсь, чтобы он писал

свое произведение прямо на пишущей машинке. Даже самая квалифицированная машинистка ему мешала бы. Потому что писательский труд в любом случае работа более или менее ручная, вы должны высидеть произведение за столом и изрядно с ним намучиться.

— По-моему, я уже тысячи раз читал, что писательский труд — это добросовестное ремесло, а писатель — нечто вроде рабочего.

— Безусловно. Но скорее из тех рабочих, что бывали в прежние времена, а не таких, кто сейчас работает на современных станках. Вы удивитесь, но писателю, пусть даже он шагает в ногу с эпохой или опережает ее, не требуется никакой техники, никакой пишущей машинки. Скорее она для него помеха. Она мешает ему размышлять, не дает сосредоточиться, переключает его мысли на какие-то жесты при работе на машинке и не позволяет следовать за прекрасной и меткой фразой, удачно выбранным словом и писать так, чтобы чувствовать удовлетворение. Быстро он пишет или медленно, сидя за письменным столом или стоя, на коленях, в поезде, на лугу, лежа на спине или на животе, на тахте, под музыку или в полной тишине и, если это пойдет на пользу делу, пусть хоть на крыше, на трубе, или на ветках дерева, писатель каждое слово должен взвесить на руке и ощутить его вес. Пишущая машинка используется в большинстве случаев для переписки готового произведения. Известно ли вам, что техника — вещь коварная? Иногда плохо написанный стишок, красиво перепечатанный на машинке, выглядит интереснее написанных от руки выдающихся стихов. Нет, лучше писать рукой. Пером или карандашом. Это труднее, но зато позволяет более терпеливо вслушиваться в творческий процесс поэта, в его фантазии, в разумные выводы и его выдумки. Рука — усилие, машинка — комфорт. Комфорт не в ладу с усидчивым, целеустремленным и тяжелым трудом, каковым является литература. Л. Н. Толстой не ленился и чуть ли не десять раз переписывал рукой «Войну и мир». И по произведению это чувствуется. Диктовка секретарше прямо на машинку может означать для произведения катастрофу. Рука — часть живого, машинка — ненадежный слуга, которому вы безразличны и который в любой момент может вам доставить неприятность. Рука — это вы, рука, держащая перо, ручку, карандаш или авторучку, — ваш друг. Пальцы — ваши товарищи. Если ваши намерения и ваша душа чисты, они никогда не причинят вам ничего дурного. У меня пальцы в чернилах, потому что я пишу.

— Но перо — тоже машинка, пусть и примитивная. Оно также

претерпело эволюцию от гусиного пера вплоть до наших дней. И оно для вас годится?

— Думаю, что да, даже если название этой книги подсказывает, что и авторучка иной раз начинает бунтовать, словно ей вдруг надоели ваши придирки, кричит, что вы хотите ее уморить, и ни с того ни с сего начинает обливаться чернильным потом. Но пальцы в чернилах облагораживают писателя.

— Говорят, у писателей довольно много чудачеств. Есть у вас какие-то особые пристрастия в отношении чернил?

— Не знаю, что вам на это ответить.

— Вам нравятся чернила какого-нибудь определенного цвета?

— А что мне в цвете чернил должно нравиться?

— Говорят, поэт Витезслав Незвал любил писать зелеными чернилами. Он будто любил зеленый цвет.

— Возможно. Но дело не в цвете чернил. Незвал был великим поэтом не потому, что писал зелеными чернилами. Чтобы писателю добиться того, чего он хочет, достаточно самых обыкновенных чернил.

— Это само собой. Но все-таки и для вас цвет важен. Ваша последняя книга называется «Иду на красный свет». Почему на красный? Красный цвет в качестве дорожного указателя означает «стоп»! Почему вы дали такое название? Намеренно?

— Я бы не сказал… В этом есть свой смысл. Как, например, есть особый смысл в названии неймановского сборника стихов «Красные песни». Нам освещал дорогу цвет пролитой крови, цвет красных гвоздик на могилах коммунаров, цвет красных знамен, цвет красного флага, развевающегося над Московским Кремлем, как символ новой эры в истории человечества. На красный цвет шла наша коммунистическая партия со дня своего основания и этому цвету осталась верна навеки. С. К. Нейман, полемизируя с Виктором Дыком, писал, что красный цвет{240} — это цвет отношения к миру, интеллектуального и эмоционального, это цвет его убеждений, его любви и ненависти. На красный свет шли те, кто стремился осуществить извечную мечту человечества — мечту о всеобщем счастье, о справедливом решении вопроса, связанного с общественным неравенством, о мире без войн и эксплуатации. Они шли к этим целям вопреки тому, что красный цвет означает «стоп»! Они не останавливались, они испытывали лишения и все же продолжали идти вперед. Они падали в бою, но на их место вставали новые бойцы. Вместе с этим авангардом человечества я шел с юных лет. И в название сборника, в стихи, содержащиеся в нем, я вложил также смысл всей своей пройденной жизни. Я шел на красный свет вместе с миллионами

товарищей во всем мире. Даже если это было опасно. И я не покинул их ряды. И смысл моих требований к литературе и искусству заключался в том, чтобы художественное произведение также шло вместе с нами в этом историческом движении вперед и служило великому делу. Искусство тоже должно быть смелым, исполненным боевого духа. Идеи Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина не были бы претворены в жизнь, если бы массы угнетенных и эксплуатируемых ожидали, пока их историческому движению вперед во имя преобразования мира дадут зеленый свет.

# Чему учить молодых авторов

Я считаю величайшей пыткой для писателя — давать советы начинающим авторам. И стараюсь избегать этой неблагодарной работы. С ней разве что может сравниться рецензирование стихов тринадцатилетней Иванки, присланных вам ее счастливым папашей, который просит вас решить, есть ли у Иванки талант и стоит ли ей продолжать писать. Вам предлагают стать чем-то вроде ясновидца, который должен угадать, что будет с бедным ребенком через пять или десять лет.

В самых сердечных письмах, которые я получал и в которых превозносились мои книги, в конце, как правило, была приписка — не мог бы я, раз уж я автор по меньшей мере гениальный, который пишет также и о книгах, оценить творчество автора письма или его жены. Он, мол, не хочет отнимать у меня драгоценное время, но поступает так с глубокой верой в то, что я его не обману и что я — единственный, кому он доверяет. Он ни в коем случае не верит издательским редакторам. Это лодыри, которые только наносят вред литературе. Они не пропустят в литературу ни одного поистине талантливого человека, только лишь своих друзей и знакомых. В заключение письма автор еще скромно заметит: «Я уверен, то, что я написал, имело бы у читателей огромный успех. Но у кого нет знакомства, того в наших издательствах не издают».

Думаю, что не только у нас, но и во всем мире существуют люди, которые коротают время, сочиняя стихи или романы. Они красиво, без ошибок перепечатывают их на машинке на мелованной бумаге, переплетают в твердый переплет, на котором вытиснено имя автора и название. Эти красиво переплетенные рукописи время от времени попадают на ваш стол. И на столы в редакциях. Издательства тоже могли бы порассказать о подобной благородной и душеспасительной работе.

Из писателей, уже известных общественности, в таких случаях со своей задачей справляется тот, кто присланную ему работу похвалит, автора обласкает, упомянет, что у него, к сожалению, нет ни влияния, ни знакомств, чтобы для этого человека в каком-нибудь издательстве что-либо сделать, но он назовет ему два-три адреса других писателей, рекомендуя обратиться к ним.

Но горе вам, если вы напишите правду — что прочитанное вами никуда не годится, что это не имеет ничего общего с литературой и никому не нужно. Тогда вы тотчас превращаетесь в человека, так же ненавидящего таланты, наносящего такой же

вред литературе, как литературные и издательские редакторы и их помощники-рецензенты.

Однако это еще не конец. Вас подстерегает и другая беда. Так, к вам может обратиться редакция литературного журнала с просьбой написать что-нибудь в адрес молодых. Если вы в ответ кивнете, то навлечете на себя новые муки и лишитесь последних остатков уважения и чувства собственного достоинства, потому что перейдете в ряды безумцев, о которых у молодых одно мнение: старики желают высокомерно поучать литературные таланты.

И маэстро, «высокомерно поучающий ученика», в конце концов понимает, что всякие проповеди в духе «когда я был молодым», и все добрые советы, и этот предостерегающе поднятый палец, в общем-то, ни к чему. И вам не остается ничего иного, как спешно искать пути отступления с этого тонкого льда.

Но вместе с тем это дает вам возможность, уж и не знаю, в который раз, задуматься над тем, что такое вообще литература, что такое творчество и что такое искусство писать стихи и прозу. Вы не выдумаете ничего нового, кроме того, что было уже написано и тысячу раз говорено мудрыми и высокообразованными людьми. Никакой Америки вы не откроете, если станете утверждать,, что литература — такой же каторжный труд, как работа плотника, кузнеца, каменщика или шахтера, что писатель — не гений, упавший с неба, не какой-то ненормальный тип, гость из чужих миров среди самых обычных людей, а работник, от которого также требуется немало работы, честно, добросовестно и хорошо выполненной, а не какая-то там халтура, которая развалится прежде, чем вы донесете ее домой.

Если писатель подобен рабочему, то он должен, как и рабочий, знать материал, с которым работает, и знать, для какой цели служит то, что он делает.

Начинающий писатель обязан пройти все ступени своего ремесла. Поначалу быть учеником, затем подмастерьем, а потом уж мастером. Но учеником и подмастерьем — у себя самого и мастером — по собственному разумению.

У литературы в отличие от изобразительного, актерского, музыкального и балетного искусства нет никаких школ, ни средних, ни высших, где бы воспитывались молодые авторы. Может, это хорошо, ибо тому, что является сутью словесного искусства, нельзя научиться ни в какой школе и ни у каких профессоров.

Итак, если вы как опытный автор хотите написать что-то для молодежи, начните прежде всего размышлять о себе — кто учил вас и как вы прислушивались к советам старых и мудрых людей,

когда начинали писать.

И тут вдруг вы осозна́ете, что вы отнюдь не пример для молодежи и не имеете оснований для того, чтобы поучать молодых людей, как должна делаться литература, потому что ваш путь в литературу был всем, чем угодно, только не действием по заранее обдуманному плану и он не может служить в качестве примера для начинающих писателей. По вопросам стилизации и прочих школьных премудростей вы наверняка провалились бы у всяких там педантов, потому что вам вообще не интересно было учиться чему-то подобному. А ваши метания от одного гения к другому, от Петра к Павлу, и от больших мастеров, отличающихся благоразумием, свойственным преклонному возрасту, к тем, кто выкидывал всякие трюки в искусстве?

А то, что вы глотали книги без разбору, что впитывали все с пятого на десятое, ощущая неутолимый голод к любой печатной странице, относящейся не только к художественной литературе, но и к политике, физике, химии, социологии, географическим открытиям, истории и бог знает к чему еще? А то, что вы перечитали всю библиотеку своего родного города — будь то низкопробное чтиво или произведения, достойные олимпийских наград? И что на этом пути ваши метания и наклонности, опрометчивость и сумасбродство, уважение и неуважение к авторитетам и общественным системам сдерживало и направляло лишь одно: сознание того, что вы родились в Чехии, что принадлежите ей, и только ей, и что вы оказались в таких-то и таких-то условиях и в такой-то и такой-то ситуации, и что вам близко, а что далеко, что является безраздельно вашим и что чуждо вам, что составляет ваш мир и что не принадлежит ему. И отсюда, осмысляя себя в обществе близких вам людей, вы учились понимать правду и справедливость, красоту и счастье, несправедливость и бесправие, правду своих близких и тем самым, по сути дела, свою правду.

Мне всегда были близки писатели, с которыми у меня было что-то общее. Безрадостное детство или тяга к образованию, желание научиться тому или иному и потребность находиться среди людей и понимать их. Моими любимыми авторами были Джек Лондон и Максим Горький, которые стали писателями в силу обстоятельств, давивших на них и потрясших их души, у которых также была незавидная молодость, так что они с особой силой чувствовали удары окружающего их мира, и как писатели они рождались под воздействием жизненного опыта, благодаря тому, что они многое пережили, что жизнь нещадно хлестала их, словно суровый норд, и учила встречать действительность с широко раскрытыми глазами и вступать с ней в рукопашную, ибо

с ними жизнь не церемонилась и сроду их не баловала.

Я всегда считал и продолжаю считать, что литература приходит в упадок тогда, когда переоценивается стиль, когда в нем усматривают некую цель; когда стремятся подражать чему-то, чего добились другие авторы; когда не принимают во внимание, что главное — это уметь видеть мир собственными глазами, открывать в нем нечто новое, что необходима лишь такая литература, которая вновь и вновь открывает нам человека и создает произведения, исходя из требований общества и во имя его будущего.

В литературе нет ничего более сомнительного, чем попытки писать так, как писали до вас.

На эту тему было сказано много умных слов, и нет надобности их повторять. Я перелистывал книги некоторых любимых мною авторов, и их слова могут оказаться вам полезны.

Как рождаются, с какого момента начинаются поэт и писатель? Вот как об этом говорится, например, у Ф. К. Шальды:

> «Наступил момент, когда я должен был что-то написать. Должен, говорю. Это было внутреннее давление, мучительное напряжение. Долго сопротивлялась моя природная лень, моя природная пассивность и равнодушие… Но давление росло, напряжение повышалось, достигая невероятного уровня. Волей-неволей я должен был от него избавиться, исторгнуть его из себя, конкретизировать его, высказать, запечатлеть на бумаге. А для этого мне пришлось найти для него форму».

Или прочтите Горького, Ромена Роллана, Илью Эренбурга, М. А.-Нексё, и у них вы тоже найдете ответ на вопрос, почему они взялись за перо, как учились писать. Возьмите творчество Неруды{241} или Зденека Неедлы — и там вы найдете ответ на этот вопрос. Или снова вернитесь к Ф. К. Шальде и послушайте его мнение о том, что идет на пользу молодым авторам. Он говорит так:

> «Не учите юношей прекрасному или поэтическому стилю путем чтения и разбора стихотворений, как старых, так и современных: вы не научите их ничему иному, кроме душевной лености, маскирующейся под рвение и усердие, пережевывание готовых фраз, перекраивание старых комбинаций… Разрешите дать вам совет: возьмите мальчика из школы и сведите его в поле, или на луг, или на двор и гумно, чтобы он

познакомился со всеми важными работами в хозяйстве: пахотой и севом, сенокосом на лугу и уборкой хлеба, его молотьбой — цепом или машиной. Пусть не останется для него тайн в устройстве мельницы, в процессе превращения зерна в муку; спуститесь с ним в шахту, пройдите на металлургический завод, на фабрику, на стекольный завод, на склад, в больницу, на бойню, на пристани и вокзалы. Пусть он познает человека в труде и муках, познает язык его мускулов, огонь его глаз, пот его чела, его мужество, смекалку, находчивость, упорство; увидит рождение изделий и перемещение товаров, коммуникации и производство, муки человеческие и усилия, славу человеческую в победном деле! Начните с того, что наиболее близко, и продвигайтесь к более далекому и сложному. Отведите его прежде всего к кузнецу, сапожнику, токарю, кожевнику, ткачу и везде покажите ему характерные, целесообразные, экономные движения такого ремесленника и в этой целесообразности, в этой функциональной обоснованности учите его видеть красоту и стиль…»

Завидую Ф. К. Шальде, что он так прекрасно и точно написал это за много лет до меня.

# Когда начинается поэт?

Когда человек становится поэтом? Когда поэт начинает свой творческий путь? После публикации первых опытов? Или когда издает первый сборник? А когда он становится зрелым художником? Какой факт является решающим для его судьбы, которой кое-кто завидует, ибо пребывает во мнении, будто художники — лентяи и на их головы незаслуженно сыплются богатство и слава? Когда начинается писатель?

Время от времени я задаю себе подобные вопросы, читая иной раз, что тот или другой — поэт, прозаик, драматург — начинающий автор.

Такое определение в последнее время часто употребляется, но мне думается, оно искажает суть проблемы.

Начинающий поэт!

Начинающий писатель!

У кого-то опубликовали стихотвореньице или рассказ или пять рассказов в разных газетах или журналах, во всяких там иллюстрированных изданиях, которых несметное количество и в которых не больно-то обращают внимание на то, имеют ли опубликованные материалы какую-либо литературную ценность или нет. Кого-то включили наряду с несколькими другими новыми именами в какой-нибудь сборник или альманах, и вот уже он — начинающий автор. Было ли им уже что-то написано раньше, что не напечатали и вернули ему? Можно ли принимать в расчет те незрелые школярские опыты, которые он скрывал или показывал своей девушке? Равно как и те, которыми он обременял редакции и которые у него не только не напечатали и не вернули, но даже и не ответили, не сказали об этих опусах, что они — ни рыба ни мясо? Выходит, начинающий писатель начинает лишь тогда, когда его имя появляется в печати?

Определение «начинающий поэт» или «начинающий писатель» мне не нравится. Я делю литературу на хорошую и плохую, а писателей на старых и молодых и знаю, что не говорят начинающий художник или начинающий актер, начинающий оперный певец или начинающий скульптор. Так же как начинающий пекарь, колбасник или шляпник, начинающий повар или хирург, начинающий архитектор, шофер, пилот или начинающий милиционер.

Позволю себе утверждать, что к начинающему хирургу люди вряд ли обратились бы, веря, что он им поможет, и лишь в самом крайнем случае позволили бы ему себя оперировать. Блюда начинающего повара, вероятно, мало кто пожелал бы

попробовать. А доверить свою жизнь в самолете начинающему пилоту? И при том вы наверняка без колебаний обратились бы в случае необходимости к талантливому молодому врачу или попробовали блюдо, приготовленное неким молодым человеком, который, только-только окончив школу, победил в каком-то конкурсе поваров и приобрел славу знаменитого кулинара.

Если бы какое-нибудь важное строительство проектировал начинающий архитектор, если бы какое-нибудь очень сложное гидросооружение доверили начинающему проектировщику, было бы справедливо предположить, что, по всей вероятности, он пока мало что умеет и поручение ему — это большая смелость и безответственность.

Литература же кишит начинающими авторами.

Свои блестящие стихи Артюр Рембо написал в шестнадцать лет. Первой книжкой поколения, вступавшего в литературу после первой мировой войны, заявил о себе Франтишек Немец. Было ему восемнадцать лет, и книжка эта называлась «Себя и вас». Свой первый сборник стихов, «Гость на порог», Иржи Волькер издал примерно в двадцать лет. До того он печатал свои стихи в «Цесте»{242}, «Червене» и «Пролеткульте». Его товарищи делали то же. Имя Иржи Волькера стало в один ряд с именем Карела Чапека или Карела Чапека-Хода{243}, наряду с именами С. К. Неймана, Марии Майеровой, Индржиха Горжейши{244}, Карела Томана или Йозефа Горы. Вряд ли в тех давнишних журналах вы нашли бы упоминание о том, что Иржи Волькера называют начинающим поэтом. Ни он, ни его друзья-писатели, такие, как Свата Кадлец{245} или А. М. Пиша, не считались начинающими литераторами. Стихи их издавали потому, что они казались хорошими и новыми, что были молодыми, со свежей и яркой образностью, новыми в силу нового видения мира. Эти поэты начинали новую эпоху поэзии, но они не были начинающими поэтами. Критика, которая их не понимала, писала о них язвительно, иной раз даже ехидно и оскорбительно, пытаясь высмеять их искренность и откровенность, но С. К. Нейман, Ф. К. Шальда, Зденек Неедлы и Йозеф Гора видели в них новую кровь и новую молодую бурливую силу литературы.

Думаю, поэт вступает на путь творчества значительно раньше, чем ему придут в голову первые неумелые рифмы, чем он начнет подражать какому-нибудь хрестоматийному автору. Возможно, поэт в нем родится уже тогда, когда он видит, что снег иногда розовый, а иногда голубой, когда он замечает что-то прекрасное в шуме дождя, когда засмотрится на плывущие облака, когда слышит, как в казармах трубят вечернюю зарю и испытывает при этом резкую боль, когда у него чуть ли не

кружится голова от ощущения какого-то счастливого мгновения, когда он подметит какое-то особое движение материнской руки, стелющей постель, вдевающей нитку в иголку или отжимающей тряпку после мытья полов, и осознает его во времени, которое мгновенно и никогда уже не вернется, когда он сидит на берегу реки и смотрит, как бегущая вода уносит кленовый лист и как в ней отражается ива, и когда глубоко переживает несправедливость по отношению к себе или к кому-либо из собратьев.

Поэт проживает жизнь, в два, в три, в десять раз более волнующую, чем обыкновенный человек. Его глаза видят то, что другой человек не видит или не хочет видеть, его чувства и сердце реагируют на каждое проявление жизни, как тончайший инструмент. Поэт — это тот, в чьей душе нет и следа равнодушно прожитой жизни, эгоизма и злобы, кто чувствует все, что чувствуют десятки, сотни, тысячи и миллионы людей, кто знает лучше любого другого, что такое бесправие и угнетение, что такое подлость и преступление против общества, что такое низость и лицемерие, что такое благородство и красота, что такое правда и справедливость, и кто заглядывает далеко в будущее. Это тот, кто чувствует, что все, что он переживает и что переживают люди вокруг него, он должен за них высказать. Он должен научить их смотреть на события новыми глазами, научить их видеть то, чего они не видят, слышать то, чего они не слышат, и воспринимать то, чего они воспринимать не могут. В его силах заставить зазвучать струны человечности, любви и товарищеских отношений даже в самых очерствевших душах.

Такова сила слова поэта. Оно очеловечивает мир, постоянно находящийся под угрозой жестокости, делает его более гуманным, мобилизует гнев народа против зла, направляет здоровые силы человека на защиту мира, всей планеты и человечества, учит людей видеть смысл и красоту жизни, ее счастье и будущее, ненавидеть подлость и злобу.

Поэзия — не игра со словечками. Она существует не для того, чтобы кудрявить облачка и помогать веять ветеркам, с этим природа и сама справится, и ей не нужна тут помощь какого-то дилетанта; поэзия — не буколическая песенка, сыгранная на дудочке ради какой-нибудь порожденной фантазией Аркадии, нечто слезливое, плаксивое и сентиментальное, мучительно-сладкое, существующее вне времени и пространства и вне человека и его мира, нечто наподобие бумажного голубя, пущенного туда, где бушуют разыгравшиеся стихии, грохочут громы и беснуется буря, где земной шар похож на арену и где нет ни покоя, ни мира, а лишь ожесточенная борьба прогрессивных

сил с теми, кто стремится к гибели и уничтожению всех и вся.

Хорошая поэзия — та, чей голос создает человеческую общность, которая звучит в лад с сердцами всех людей, с их надеждами, любовью, ненавистью, с их внутренним миром, с их чувствами и образом мыслей.

Кого же в таком случае можно считать поэтом, а кого нельзя?

Поэт — это не идиллический трубадур и не примитив, украшенный побрякушками и разноцветными перьями. История человечества ясно говорит, кто есть истинный поэт: легендарный Гомер, Петрарка, Данте, Пушкин, Гёте, Ян Неруда, Маяковский, Гарсия Лорка, Ванчура, Волькер, Незвал, Пабло Неруда, Назым Хикмет — все те, кто выразил сущность своей эпохи, кто передал ее точно, правдиво и сильно своим собственным словом и своим собственным стихом. Носители света и бойцы!

Они тоже были начинающими поэтами в начале своего пути?

Поэт всегда приходит в нужный час и как раз вовремя, и все, чем он в один прекрасный день станет, в нем заложено. Даже если на продолжении всей своей жизни он вновь и вновь будет начинать все сначала. Каждое стихотворение такого поэта и каждая его книга — это завоевание, открывающее в нем нечто новое. Поэт не повторяется и не повторяет ничего из того, что было написано им самим или его предшественниками. Ему всегда недостаточно того, что он знает, и он вновь и вновь учится. Он не рутинер, раз и навсегда освоивший писательское ремесло и теперь лихо выжимающий из себя книги — чтиво, похожие одна на другую, как две капли воды.

Литература, поэзия, проза, драма — это творчество, а творчество — это неустанная борьба за новое, неустанное движение вперед. Нечто вроде работы первопроходца, нечто вроде завоевания новых областей чувств, новых для сердца и мыслей человека областей поэзии, — областей, куда доселе не проникала душа человека. И не во имя литературы как таковой, не во имя удовлетворения писательского самолюбия и гордости, а во имя человека и его глубоко гуманной и благородной цели.

Истинный поэт не повторяется. «Гость на порог» мог быть написан только однажды, и после него появился «Час рождения». Неймановская «Книга лесов, холмов и вод» тоже могла быть написана только однажды, а вслед за ней появились «Новые песни» и «Красные песни» и «Соната земных горизонтов». Каждая из этих книг, равно как и те, которые я не назвал — а я мог бы добавить сюда еще незваловского «Эдисона» и сборник «Васильки и города» или «Из родного края», — представляют собой определенный отрезок жизни поэта, определенный этап его творческого пути, и вместе с тем это всегда картина новой

поэтической действительности.

Каждая новая книга ставит перед поэтом новые проблемы, требует, чтобы он высказал что-то, чего раньше не говорил, чтобы зафиксировал жизнь в ее движении и непрерывности и в ее изменениях. И поэтому начинающий поэт — не начинающий новичок, а художник слова, который не хочет повторять ни себя самого, ни кого-либо из предшественников.

В этом ценность литературы.

Молодым поэтам следовало бы учиться и у тех, у кого в двадцать лет — как, например, у Иржи Волькера — уже существовал свой незыблемый и определившийся мир поэзии, в котором жизнь текла в своей непрерывности, словно река, и потому их поэзия была столь конкретна, полна вещей и людей, полна повседневных событий, которые под пером поэта становились похожими на чудо.

Стихи всегда должны быть написаны о чем-то. Надуманный лиризм, украшательство, абстрактные туманности, слепота и глухота лирика, который не видит и не слышит ничего происходящего вокруг, поэзию убивают.

А что убивает поэта?

Аполитичность и леность мысли. Когда он сидит меж двух стульев. Когда полагает, будто он — центр вселенной. Когда компрометирует себя, когда изменяет самому себе и тому миру, сыном которого он является. Это его конец, даже если он продолжает писать, даже если у него выходят книги.

Поэт, который верен всему тому, с чем связан тысячами уз, не умирает. Его творчество продолжает жить, и он живет в своем творчестве. Он вновь и вновь встает перед глазами людей, войдя в их жизнь, что великолепно выразил в поэме «Во весь голос» Владимир Маяковский.

# Поэт и политика

В октябре 1973 года мы с поэтом Иржи Тауфером были в Италии. Стояла прекрасная итальянская осень. Рощи над Флоренцией напоминали нам краски наших пейзажей, быть может, они были чуть мягче, пастельно прозрачнее, но сочетание то же — желтые, золотисто-красные и оливковые-серо-зеленые, переходящие буквально в серебристый цвет. Удивительным показался нам и сам город Микеланджело и Данте. Мы смотрели на него из окон дворца Уффици. Перед нами во всю ширь простиралось море киноварных крыш, они походили на волны и напомнили мне сепии Яна Славичека из его итальянского блокнота, а над ними доминантами вздымались колокольня Джотто и купол собора Брунеллески… Туристический сезон был еще в полном разгаре. От Синьории к Понте-Веккиа и к садам Боболи спешили толпы измученных туристов. Немцы, французы, англичане и прочие пешеходы.

Вскоре мы осмотрели, должно быть, все достопримечательности этого знаменитого и великолепного города, и нам оставалось уже не так много. Мы хотели посетить еще церковь Санта Крус, но в тот день, хотя это было воскресенье, она оказалась закрытой для посетителей. Там проходила какая-то научная конференция, у входа стоял швейцар в историческом костюме и предупреждал посетителей, что закрыто. Пришлось ограничиться тем, что мы хоть перед храмом поклонились автору «Божественной комедии», который высился пред нами, высеченный из белого мрамора.

Данте присутствует во Флоренции не только в силу своей биографии. Его присутствие, его блестящий ум вы ощущаете на каждом шагу, духом Данте веет отовсюду, от любой улочки, от всего того богатого наследия, которое оставил после себя Ренессанс.

Если вы обладаете пытливым умом и если вашим размышлениям не мешают демонстрации безработных, которые здесь в порядке вещей, вас в этом городе посетит много интересных мыслей.

Высшие достижения изобразительного, скульптурного, художественного и литературного искусства присутствуют здесь повсюду, пренебрежительно возвышаясь над произведениями определенного уровня современного вкуса, которые также предстают перед глазами туристов. Они возвышаются над несметным количеством ярмарочных товаров, над покрытыми бронзой десятисантиметровыми гипсовыми Давидами, над

бюстами пап и всевозможных святых, окруженных уймой иллюстрированных журналов с голыми женщинами на обложках, потоком прочей низкопробной литературы.

И в первую очередь американцы буквально набрасываются на весь этот товар, что не удивительно. Соединенные Штаты не прошли школу Адольфа Лоса, чьи «Разговоры впустую» еще в самом начале двадцатых годов стали для нас одним из замечательных учебников новой художественной школы.

Но нас интересовала классическая Флоренция. Мы до изнеможения бродили с Иржи Тауфером по этому знаменитому городу, пробирались по его улочкам, рынкам и маленьким площадям, с наслаждением внимая мелодичному языку Данте, трели которого доносились со всех сторон, из тратторий и ларечков. Мы не могли не думать о Данте, создателе этого языка. По сей час вспоминаю, с каким восторгом говорил об авторе «Божественной комедии» Иржи Тауфер и как напоминал нашим итальянским друзьям о непреходящем отношении нашей национальной культуры к их прославленному сыну, величайшему из поэтов, каких родила земля. И в качестве примера приводил им в основном статью Шальды о Данте. Он с восторгом цитировал ее:

> «Данте — первый поэт по влечению моего сердца, поэт в современном смысле слова, сведущий в науке своего времени, который, словно доспехи, несет все знание своей эпохи и не падает под его тяжестью».

Великолепная фраза, достойная этого гиганта, землянина, политика, знатока современной ему науки, астрономии, геологии и физики и при всем том поэта, которого Шальда характеризует в упоминавшейся статье как «объективиста, коллективиста и первого коммуниста, чей опыт политической, гражданской и практической жизни вылился в веру в глубокую обоснованность всего материального мира».

Я должен был очутиться на родине Данте, чтобы снова со всей настоятельностью задать себе вопрос, касающийся темы «поэт и политика». Именно великий Данте, и никто иной, вдохновил меня на это.

Ты хочешь, мой современник, понять, кто такой поэт?

В таком случае преклони колена пред судьбой Данте, перед этим итальянцем нашей эпохи, поражающим своей творческой способностью, знавшим в жизни взлеты и падения в бездну, который после всех испытаний, горя и нищеты смог выстрадать большую и глубокую любовь, объемлющую человечество не пассивной мечтательностью, а героизмом духа и действий.

Поэт, достойный называться поэтом, — из рода Данте. Известно, что жизнь катится вперед бурливыми волнами, что общественные системы и формы жизни уходят и отмирают, что, отживая, они исчезают, а все успехи положительных сил сопровождают нас в нашем настоящем. К сожалению, низость жизни тоже. Поэтому в таком мире не может быть покоя, идиллии, самоуспокоенности, равнодушия, нравственной ограниченности. Никто не останется в стороне от этой борьбы, хочешь не хочешь, тебе от нее не уклониться. Ты можешь отвернуться от нее, сделать вид, будто о ней не ведаешь, можешь в каком-нибудь тихом уголке мира, если таковой найдется, играть сам для себя на скрипочке, а когда бури эпохи ударяют в окна, можешь заткнуть дома все щелочки и заложить уши ватой. Или, облачась в свои поэтические доспехи, которым не страшны ни огонь, ни гибель, ибо они закалены в добром пламени, поспешить туда, где ты нужен.

И спроси самого себя, не в разладе ли ты сам с собой? Как обстоит дело с твоими мыслями. Так ли и они «наполнены знанием»? Сведущи ли они «в науке своего времени»?

Едва ли кто выразил сущность современного материализма лучше, чем Ф. К. Шальда, который не был марксистом.

Поэт и общество! Поэт и политика!

Издавна и до наших дней — это все те же инструменты, которые выковывают оружие поэта. В мировой истории и у нас. И у нас — уже с незапамятных времен.

Попытка сделать из поэта только комментатора личных настроений и мелких чувств, пусть и выраженных в рафинированной форме, и оградить его от грозного натиска жизни, от бурных событий века — означает начало упадка литературы.

Дантовский тип поэта, включает ли он в круг своих интересов весь мир или часть его, соответствует нашему национальному типу. И у нас поэт был выразителем политики, отвечавшей времени, гуманистическому восприятию жизненной правды и всему тому, что заключали в себе слова «свобода народу», «справедливость», «хлеб и работа для всех», «мир без войн и без угнетения». Это была не слабость нашей литературы, как утверждал кое-кто еще недавно, ее сила.

Не будем обращаться в далекое прошлое и ссылаться, например, на Гавличека-Боровского{246} или Яна Неруду, равно и на тех, кто в мировой литературе, как, скажем, Пушкин, поднимали знамя Данте. Останемся в настоящем времени и остановимся на тех именах, которые позволяют нам ориентироваться в проблеме, названной нами поэт и политика.

Современный пример у нас под рукой. Он связан с именем чилийского поэта Пабло Неруды. А одновременно он дает и ответ на вопрос: поэт и какая политика?

Борьбой поэта за самого себя называет Шальда обыкновенность Данте, видя в ней конечный итог всего, что прошло через глубины души поэта, что задевало струны его поэзии, что выражало его собственную любовь, муки, стремления, ненависть и что привело в конце концов к его величию как человека.

Поэт и политик!

До недавнего времени, что называется, на наших глазах таким человеком, открыто связанным с этим понятием, был наш словацкий поэт Лацо Новомеский. Тонкий, даже целомудренный лирик, бережно относившийся к изобразительным средствам, самобытный и неповторимый уже с самого начала; поэт, который вывел словацкую поэзию на новые пути и который, благодаря всему тому, что было им сделано, вошел в словацкую, да и в чешскую историю. Следовательно, характер полностью чехословацкий, но не в старом смысле этого слова, а так, как понимаем это мы, коммунисты. Это был одновременно журналист фучиковского толка, публицист, полемист, политик и один из организаторов Словацкого национального восстания. Поэт и творец, борющийся за неразрывность общественной и художественной революции, целеустремленный с начала своего творческого пути, верный себе и тому миру, который его сформировал, созиданию которого он помогал в борьбе нашего коммунистического движения. Продолжатель Янко Краля{247}, современник и друг Ванчуры, Незвала, необычайно самобытный и притом друг людей доброй воли всего мира. Один из числа тех, для кого поэзия и политика всегда были неразделимы, неповторимый в своем собственном облике, каждым своим стихом и каждым словом революционного журналиста меряющийся силами со своим временем.

Поэт и политика!

А С. К. Нейман? А Иржи Волькер? А Витезслав Незвал?

Это созвездие из трех величин придало нашей современной, социалистической поэзии основные черты. Высокий уровень и глубину, мысль и художественные завоевания, гуманность и гражданственность, а также стремление бороться и добиваться. Видеть и открывать. Широта чувств и знаний, сердца и ума, таланта, свободного в ленинском понимании и вдумчивого в силу дисциплины — все это собрано в качестве живой энергии, и ничто не выходит за пределы человеческих масштабов, за пределы материального мира, вдохновляющего истинного творца тем, что

Шальда называет в применении к Данте «опытом политической, гражданской и практической жизни» и что, на его взгляд, имеет свою глубокую закономерность.

Поэт и политика!

Сколь жива и сколь вечно актуальна эта тема!

# Почетная задача

Не так давно один молодой литератор пытался меня убедить, что нынешняя литература не терпит пафоса, как, мол, не терпит его нынешнее актерское искусство, которое уже не является ни выдровским, ни штепанковским{248}, а простым и совершенно иным, нежели прежде. И что литература тоже должна быть деловой, обыкновенной и какой-то там еще, как нынче говорят со сцены и как пишут. В душе я жалел о той прославленной эпохе, когда на пражских сценах звучал голос Выдры и Штепанка, Прухи, Когоута, Смолика{249}, Плахты и Вейражки, Гюбнеровой и Досталовой, и когда жили Ванчура, Незвал, Библ{250}, и когда писали Конрад и Бранислав{251}.

Я полагаю, что подобный спор имеет смысл лишь тогда, когда мы зададим себе вопрос: какая литература и какой пафос?

Когда молодая буржуазия рвалась к вершинам власти, она выдвинула из своей среды множество писателей, творчество которых было проникнуто пафосом того класса, который полагал, что его солнце никогда не закатится.

Однако между пламенными лозунгами буржуазии ее начального периода и целями этой жестокой и беспощадной общественной формации в скором времени обнаружилось большое различие. Идеи остались на бумаге, являя собой лишь величественную декорацию для корыстной жадности и грубого эгоизма.

Наша литература — литература социалистического мира, и черты этого мира — ее черты. Холодная деловитость, мнимая беспристрастность свидетельских показаний — таковы сегодня общепринятые символы коммерческой литературы буржуазных стран. Какой там можно искать пафос?

Социалистической же литературе, напротив, присущ и должен быть присущ горячий пафос социалистического мира. Там, где этого пафоса нет, там, где литература ему изменяет, где она стремится походить на то, что модно на Западе, она теряет свой смысл.

У меня в ушах звучат слова, сказанные на одной из конференций чешских и словацких писателей Зденеком Неедлы:

> «Литературе слава! Да поможет она строить этот новый мир, мир социализма и коммунизма. Это почетная задача, а вовсе не навязанное задание, это самое прекрасное, что любой творческий человек может поставить себе целью».

Наша литература в лице лучших ее представителей всегда шла в ногу с народом и от него переняла наиболее ценные качества: глубокий демократизм, любовь к родине, мечты и стремление к справедливости и свободе, ненависть к господам, иезуитству, корыстолюбию, которое не брезгует даже изменой. Таковы национальные традиции нашей литературы, идущие от Тыла{252} и Божены Немцовой к Гавличеку и Неруде, от них — к Безручу{253}, а от него к тем нашим писателям, которые связали свою судьбу с миром социализма. Когда речь шла о литературной активности, о творчестве, целиком поставившем себя на службу широкой народной общности, то имелось в виду лишь такое и никакое другое творчество, лишь такая литература, родившаяся из чистого и прекрасного энтузиазма благородных создателей, отважных сердец и внутреннего героизма, неподкупной целеустремленности и пламенного пафоса, питаемого великой бескорыстной любовью к народу, а также ненавистью к тем, кто порождает угнетение и рабство.

Эта литература всегда стояла там, где шла борьба за великие начинания, и равнодушно проходила мимо мешающих или умаляющих ее значение враждебно настроенных филистеров, которые предпочитали бы, чтоб ее не было, которые не желали ее видеть, чувствуя в ней угрозу.

Никакая другая литература, кроме как литература, самыми крепкими узами связанная с жизнью народа, не могла оказать такого сильного воздействия и влияния на его воспитание. Она возвращала ему все, что у него заимствовала, и стала его опорой и защитой при утверждении и упрочении подлинных ценностей нашей жизни. Она явилась той силой, которая помогала избавляться от пережитков прошлого, от предрассудков и иллюзий, той силой, которая помогала нравственно и идейно вооружать народ.

Из этих прекрасных, благородных традиций родилась наша социалистическая литература, каждым своим произведением все красноречивее демонстрирующая единство с трудовым народом.

В минуты серьезных размышлений о новых задачах современная литература обращается к своим давним источникам и к тем, кто прочно вписал свое имя в память наших народов. И это вовсе не формализм, вовсе не бездоказательное и поверхностное напоминание о национальных традициях. За последние десятилетия все значительные произведения связаны с этими традициями. Несмотря на попытки врагов, которые, будь то в нашей стране или за границей, пытались опровергнуть эту веру и переманить колеблющиеся и идейно шаткие элементы на свою сторону. Что им за это обещали? Что перед ними распахнутся

ворота в мир? Что их осыплют деньгами? Что им обеспечат популярность и славу за границей? Что их будут показывать, словно манекенов, на своих шарлатанских эстрадах?

Несмотря на подобные жалкие попытки, продолжающиеся по сей день, наша современная литература не утратила свое лицо, свою честь, свою гордость, которых не может коснуться грязь всяких любителей ловить рыбку в мутной воде.

Ведь такие условия, которые создает наше общество для своих творческих работников — поэтов, писателей и прочих художников, — не способно создать ни одно другое общество.

Большое дело, что наша социалистическая литература может черпать свое вдохновение в атмосфере нашей эпохи, в героическом творческом труде миллионов людей, в самоотверженных усилиях миллионов строителей коммунистического мира. Только художник, вдохновившийся пафосом современности, найдет самого себя, обретет свой истинно неповторимый творческий характер, откроет невиданные возможности для развития своих личных художественных вкусов, своей здоровой творческой индивидуальности.

В этом заключены трудности, стоящие перед ним и призывающие к решению тех задач, в преодолении которых он испытывает собственные силы. Чтобы достичь творческим трудом того, что требуется только от него и чего не может достичь никто иной, потому что произведение, которое он создает ценой своих творческих усилий, может быть произведением, созданным лишь благодаря его взгляду, его видению, благодаря опыту, приобретенному в практической жизни только им, произведением, рожденным лишь его сердцем и его душой.

Мир социализма благодаря своему целеустремленному движению вперед и своим повседневным выдающимся результатам гигантского трудового подъема предоставляет возможность для любой творческой работы, для творческих мечтаний, для блестящего полета фантазии, которой ничто не мешает быть воплощенной в дело, в поступок, в окружающую нас жизнь, в материальный мир — для всеобщей пользы.

О мечте, которая не утрачивает точек соприкосновения с действительностью, говорил Ленин. Он писал о присущей коммунистам мечтательности, — мечтательности, чуждой благоразумному равнодушию и безучастности в решении самых значительных жизненных вопросов. Это та мечтательность, которая ошеломила даже фантаста Г. Д. Уэллса, когда в беседе с ним Ленин излагал план электрификации Советской России. Этого трезвого фантаста, неспособного понять пафос нового мира, убедить не удалось. Да и не только его. Весь враждебно

ожесточенный капиталистический мир не желал считаться с революционной силой этих мечтаний, когда Советское государство, управляемое и созданное на основе марксистско-ленинской науки, встало перед ним во всей своей силе.

Старый мир, сердце которого и все прекрасные порывы зачерствели и окаменели, словно застывшая лава погасшего вулкана, уже давно утратил свой гуманный пафос. Да откуда ему его взять, если в правящих верхах этого общества мы находим только глубокое моральное разложение, только коррупцию и цинизм, только чудовищную одержимость в стремлении изобрести оружие массового уничтожения и истребления человечества.

Пафос присущ **нашему** миру!

И он должен быть присущ и нашей литературе!

Для литературы нет большей чести, чем прилагать все силы к тому, чтобы в ней звучал этот пафос, чтобы она формировала мечты нашего мира, чтобы честолюбиво стремилась по-новому и ярко отображать дела и борьбу нашего народа и идти с этим народом в одном строю. Творчеством, каждым новым произведением, открывающим новые горизонты для людских сердец, для новых мечтаний во имя гуманности.

# Каковы границы романа

Как сегодня обстоят дела с романом? В мире и у нас?

Этот вопрос мог бы нас интересовать, и по поводу него могли бы высказаться и специалисты в области литературы.

Действительно ли большой роман умер, а то, что пишется сегодня, лишь отзвуки и жалкие остатки его былой славы?

Покончено ли со славным прошлым романа, начатого Вальтером Скоттом, Сервантесом, Бальзаком, Стендалем, Достоевским, Л. Н. Толстым, Золя, Горьким, Роменом Ролланом, Томасом Манном, скандинавскими авторами, такими, как Лагерлёф, А.-Нексё? Поставили ли на романе точку Константин Федин и Шолохов? Синклер Льюис, Фолкнер и Хемингуэй? Означают ли нечто вроде продолжения его последующие попытки Мейлера, Стайрона{254}, некоторых французов и авторов из нашего социалистического содружества? Или это финал упадка, начатого Прустом и Джойсом, Кафкой и Музилем{255} и всевозможными эпигонскими школами, пытавшимися сделать из романа произведение психологическое, заимствующее что-то у Достоевского, что-то у Кафки, Фрейда, Камю или даже у Селина{256}? А главное, заимствующее что-то из философии и псевдофилософии всевозможных экзистенциалистов и тех, кто завершил философскую бесплодность буржуазного мира? Декадентские литературные теории в западных странах уже длительное время пытаются обрубить живительные корни всего того, что делало роман романом. А безуспешные эксперименты, возникающие на основе гнилостной закваски старого мира, сужают горизонты романа и утверждают, что содержанием его может быть только то, что существует в искаженном сознании его автора.

Неприятие объективной реальности, пусть даже оно исходит из отвращения к разлагающемуся буржуазному обществу, включая и то, что происходило во время войны в Корее и во Вьетнаме и что по сей день происходит в расистской Америке, приводит к противоположным результатам в силу погони за всевозможными абсурдами и патологической сексуальностью. Все дальнейшее внимание сосредоточивается на формальных сторонах, на самом крайнем формализме, на творчестве, предназначенном для снобов. Если отбросить в сторону чтиво, явно политически преднамеренное, создаваемое стойкими антикоммунистами, все это могло бы привести к мнению, что с романом действительно все кончено и что потребность широкого читателя в чтении спокойно можно восполнить за счет

макулатуры, детективов самого низкого уровня, равно как и всяких прочих средств массового духовного отравления и деморализации людей.

Но о кризисе романа писали и взволнованно дискутировали еще в годы моей молодости, более полувека назад. Сколько мы тогда наслушались таких и подобных утверждений, сколько начитались пророчеств, что новый роман перестанет быть романом, что роман зашел в тупик, что он уже сыграл свою роль, что романистам больше не о чем писать, потому что все уже было написано, и что место романа занимает репортаж, то, что сегодня называют литературой факта.

Так уж повелось, что если где-нибудь какие-то новые формы и виды художественно творческих процессов пробивают себе дорогу, всегда предсказывают конец тому, что уже существует. Некогда, когда появилось кино, предвещали конец театра; когда появилось телевидение, предвещали конец радио и кино; когда из кино родилось производное — стереокино, пророчили конец так называемой плоской картины и живописи, а когда появилось что-то еще, сулили конец уж не знаю чего. Лозунги о гибели тех или иных жанров искусства, провозглашающиеся на страницах художественных журналов с ярмарочным шумом, сопровождающим рождение какого-то нового направления, — явление не столь уж редкое. Аполитичная часть так называемого авангарда наделала здесь, вероятно, шума больше всех. Это вспыхнуло, как бенгальский огонь, и пронеслось, словно апрельский кратковременный дождичек.

Не будь Октябрьской революции, не будь марксистско-ленинской философии, не будь того факта, что целых полмира руководствуется уже иными общественными законами, иными мыслями и чувствами, иными человеческими отношениями и иными взглядами на действительность, в области искусства каждые два года могли бы происходить вышеназванные спектакли всяких там поп-искусств, под-искусств и над-искусств для всеобщего увеселения любопытствующих, кончающиеся экстравагантными оргиями для наиболее эксцентричных из них. А смерть и погребение могли бы свершаться без шума, как то было со смертью так называемого французского нового романа, по поводу которого тоже было немало крика.

Однако перемены в искусстве — дело не столь простое. На искусство, его структуру воздействуют гораздо более серьезные силы, которые невозможно ни обуздать, ни победить никакими формальными средствами и которые прочно обеспечивают искусству его общественное значение и его компетенцию. То, что эти силы сосредоточены на стороне нашего социалистического

мира, не случайно. Обнадеживает тот факт, что правильность их действия подтверждает и то, что в нынешнем буржуазном мире пытаются идти в ногу с истинно «гуманным прогрессом».

Эти точки соприкосновения между передовыми творческими силами капиталистических стран и социалистического мира — сегодня единственно возможное решение, с помощью которого искусство способно проложить новые художественные пути в духе реализма. Буржуазные теоретики в это не верят. Оно понятно. Но немало значительных и выдающихся авторов на Западе показало, что литература, как и любое другое искусство, не может быть оторвана ни от действительности, ни от реалистического взгляда на эту действительность. Следовательно, от реальности. Понятно, что реальность эта не универсальна — одно дело у нас, в социалистическом мире, и другое — в буржуазных странах. Поэтому и реалистическое отображение этой реальности отвечает двоякой реальности, создает двоякое видение, двоякую эстетику и двоякое отображение правды, у честных художников Запада в основе ее лежит сила возмущения, гнева, противодействие существующей действительности, в мире социализма — исторический оптимизм и убеждение в непреодолимой силе этого молодого мира, трудами которого — в том числе и художественными — совместно создается и узаконивается все то положительное, что служит человеку и что когда-нибудь переустроит весь мир.

Там, где роман идет вразрез с этими закономерностями, где сам себя лишает смысла, где он порвал все узы, связывающие его с движущими и прогрессивными силами общества, где он ограничивается тем, что находит себе прибежище в чистом субъективизме, — там он готовит свой собственный конец. Но это всегда будет концом лишь того романа, который зашел в тупик, дошел до творческого маразма, откуда нет выхода.

С точки зрения дальнейшего развития современного романа не играют роли как неудачи, так и претенциозные попытки приукрасить трупы, чтобы они выглядели как живые, как то описывает известный английский писатель Ивлин Во.

Полагаю, что главная борьба за новый роман как в социалистических странах, так и в остальном мире, если говорить о настоящем творчестве, опирающемся на свои лучшие традиции, и здесь и там сходна. Это — поток реалистического видения жизни, поток художественного реализма, который сохраняет общую для всего мира преемственность традиций и продолжает эти традиции, оставаясь верным идейным ценностям общества, которые, само собой разумеется, питаются из современных, пусть даже различных источников. Речь всегда идет о том, где ты

ищешь и находишь этот источник, в какой мере ты способен воспринять и выразить максимум реальности и ее правдивую картину. Эта направленность важна не только сегодня, она будет важна и впредь. Необходимо, чтобы писатели нашли форму для современного содержания и изображения мира и людей, живущих в нем, чтобы сумели ухватить его сущность и помогали объединить силы, способные вступить в борьбу за благо этого мира.

Недавно я читал книгу одного американского автора, на которую и в Праге был большой спрос. Не потому, что это американец, а потому, что эта книга разоблачает врагов в теории искусства, доказывая их неправоту. Имя этого автора — Хейли, а роман — «Аэропорт». Когда этот роман вышел в Соединенных Штатах, он сделался бестселлером. Именно к подобному роду литературы я не испытываю доверия, и роман Хейли не является чем-то сенсационным и новаторским, это всего лишь средняя, хорошо написанная книга, описывающая среду, которая для читателя сама по себе притягательна, и можно сказать, что спрос на нее объясняется не самым плохим читательским вкусом. Если отвлечься от притягательности темы и сюжета и сосредоточиться лишь на том, как книга написана, можно безошибочно сказать, что и это произведение представляет собой очередной успех реалистической литературы.

Действие романа Хейли развертывается в аэропорту и в самолете и позволяет читателям познакомиться с работой и жизнью летчиков, этих людей высокой квалификации, которые являются героями нашего времени и без которых воздушный транспорт не мог бы существовать. Следовательно, роман из той области, где знаменитый француз Сент-Экзюпери, писатель и одновременно летчик, чувствовал себя как дома. С его мастерством нашему американцу не сравниться, но тем не менее и его работа заслуживает внимания по нескольким причинам.

Во-первых, это роман о живых людях, о здоровых, нормальных мужчинах, какие встречаются повсюду, о людях высокого профессионального уровня, в совершенстве овладевших своей профессией и занимающихся ею с максимальной степенью ответственности за доверенную им жизнь людей. Во-вторых, это роман о той области работы, которая ранее была неизвестна. Он показывает своих героев в их повседневной деятельности, будь то летчики, навигаторы или работники различных служб аэропорта, этого разветвленного и сложного организма, который прилагает все усилия для того, чтобы сотни и сотни самолетов при любой погоде и при самых неблагоприятных условиях могли беспрепятственно взлетать и безопасно садиться. Я не говорю о

крепкой сюжетной композиции, в рамках которой развивается напряженное действие, ограниченное временем с 18.30 вечера до 1.30 утра, то есть всего в течение семи часов. В-третьих, этот роман дает возможность и для нескольких серьезных выводов, которых я попытался коснуться в названии, предшествующем этим размышлениям.

Когда-то у нас много писали о так называемом производственном романе, авторы которого делали попытку запечатлеть сцены нашего социалистического строительства и вместе с тем дать несколько характеров, показать, кто как относится к трудной работе, не имеющей по своим масштабам ничего подобного в прошлом. Эти романы описывали работу больших коллективов, на металлургических заводах и шахтах, а особенно на строительстве крупных плотин, и авторы той поры при создании этих произведений весьма переоценили свои силы. С этими романами, которым были свойственны многие ошибки так называемой схематичной литературы, в скором времени было покончено, а тема, которую еще Максим Горький отмечал как одну из самых значительных, была объявлена чуть ли не бесплодной.

Наш американский автор вносит в эту тему свой вклад.

Он подтверждает, что для сегодняшней прогрессивной литературы не существует материала, который был бы запретным. Что мир с новейшей техникой, с новейшими предприятиями и с современными людьми, раскрывающими в процессе по-новому организованной работы свои характеры, свои человеческие отношения и свои конфликты, представляет самую важную тему современного творчества. Это вдвойне важно для литературы социалистических стран, для литературы, которая стремится показать преимущества социалистического реализма и которая поставила своей целью не только отображение, но и формирование человека мира социализма.

Речь идет лишь о том, как эту тему выразить.

Несомненно, наш так называемый производственный роман и романы о строительстве, созидании, например Седлачека{257}, рассказывающие о возведении гидроэлектростанций и плотин, имели свои недостатки. Однако решительный отказ от этого жанра, который как бы таил в себе одни лишь подводные камни, вряд ли пошел на пользу развитию нашей социалистической прозы. Здоровое ядро подобных попыток состояло в том, что этот роман искал героя, ничем не походившего на персонажи, демонстрирующие читателю лишь свой раздвоенный внутренний мир.

Каковы границы романа и каково его будущее? Этот вопрос

крайне мало интересует нас в качестве абстрактной проблемы. Нас интересуют примеры, доказывающие, что залогом жизненности художественного произведения является его реалистическая форма. Только такое произведение может осмыслить действительность современной жизни и правдиво, с художественной убедительностью ее изобразить. Такие примеры можно найти не только в творчестве писателей социалистических стран, но и в произведениях других передовых авторов мира.

Мне хотелось бы тут привести в качестве одного из доказательств, коль скоро речь идет о нашем отечественном творчестве, роман Яна Козака «Гнездо аиста». Это волнующая хроника сложной, но победной борьбы за нашу кооперативную деревню. Книга, написанная правдиво и на высоком художественном уровне, населенная живыми людьми и истинными героями социалистического труда.

Реалистическому искусству принадлежит будущее. Только ему. Реализм, который мы имеем в виду, не повторение того, что уже было. Он обусловлен размахом и глубиной жизни, контуры и материал которой всякий раз могут приобретать новые формы, отличаться необычностью видения, мысли и жанра.

# Мосты поэзии

В конце августа 1972 года в македонском городе Струга состоялся одиннадцатый фестиваль, посвященный поэзии, с традиционным названием Стружские поэтические вечера.

Струга — небольшой город на самой южной границе Югославии, в непосредственной близости от Албании и Греции. Он расположен на берегу Охридского озера, в нескольких километрах от Охрида. Озеро замечательное. Тридцать километров в длину, восемнадцать — в ширину и почти триста метров глубиной. Вода в нем прозрачная и синяя, как море. Даже когда озеро спокойно, гладь слегка волнуется и мягкие ласковые волны омывают берег. Противоположный берег его теряется в необозримой дали. Лишь далеко на горизонте вырисовываются горы. С югославской стороны над озером тоже поднимаются довольно высокие горы. На их склонах расположены виллы, отели, дачные поселки. В прежние времена Струга была рыбацкой деревней, славящейся своим культурным прошлым. Узнав, что вы из Чехословакии, местные жители с гордостью расскажут, что уже в десятом веке в расположенном неподалеку Охриде находился университет св. Климента{258}, первого ученика наших просветителей Кирилла и Мефодия. Расскажут вам они и то, что Струга — родина македонских патриотов братьев Миладиновых{259}, в честь которых были основаны Стружские вечера поэзии.

Македонцы необычайно гордятся своим краем и своей культурой. Они любят книги и уважают поэтов, которых немало. Их десятки, и я с трудом мог запомнить их имена.

Как и вся Македония, Струга расстается с прошлым, меняясь шаг за шагом, и в ее жилах пульсирует кровь социалистического государства. Струга, быть может, единственный город в мире, где существует Дом поэзии. Так прямо и написано на фасаде красивого современного здания с большим лекционным залом и большой сценой, с которой каждый год звучат стихи всех стран мира.

Первоначально фестиваль был посвящен только македонской поэзии. Позже тут стали собираться и поэты остальных республик Югославии. С 1966 года фестиваль стал международным.

В 1946 году вместе с художником Львом Шимаком эти края посетил наш Карел Конрад. Он посвятил Македонии одну главу из книжки своих путевых заметок «Югославское коло». Камерой своей поэтической души он запечатлел в этой книге все видимое и скрытое. Никто, как он, не сумел столь волнующими словами

воссоздать очарование этого края и его характер. И местную историю, и прославленные памятники, и современность. Как это было свойственно только ему, он все потрогал собственными руками: древние памятники, деревья; все попробовал: аромат и вкус воздуха и воды; ничто не укрылось от глаз и слуха поэта — ни волшебные красоты природы, ни величественные монастыри, ни шум ветра и гул вод, ни народные песни, равно как ничто из того, что в пору его посещения составляло будни македонского народа.

На одном из перекрестков Охрида стоит могучий дуб, о котором люди говорят, что ему две тысячи лет. Кряжистый ствол его дуплист, и Карел Конрад видел, как в его дупле за столиком посиживают старые мусульмане. Они и сегодня тут посиживают. Столик, вероятно, уже другой, да и мусульмане другие. Но могучее дерево тут стоит и будет еще стоять сотни и сотни лет. Стройные белые минареты, домики и дачи также напоминают о былых временах. Узкие улочки, поднимающиеся в гору по каменным ступенькам, заполнены лавчонками сапожников, золотых дел мастеров, портных, жестянщиков, торговцев коврами. Но там, где удается, сегодняшний день уже вытесняет это прошлое. Прекрасные домики на одну семью и роскошные виллы, а вместо ревущих осликов в тени улочек отдыхают автомобили всевозможных марок, в том числе и наши «шкоды».

В витрине одного книжного магазина я увидел избранные стихотворения Витезслава Незвала, Назыма Хикмета и Пабло Неруды на македонском языке.

Но я пишу не путевые заметки.

Когда я снова взял в руки книжку Конрада, меня в той части, которая касается Македонии, заинтересовали его призывы, которыми он перемежает свои разнообразные зарисовки:

*«Поэты, приезжайте сюда!»*

Он не предполагал, что его призыв из сорок шестого года получит такой широкий отклик. Здесь побывали уже десятки и десятки поэтов. И Вилем Завада, и Мирослав Флориан{260}, и советские поэты Симонов, Окуджава, Рождественский и Евтушенко, поэты из других стран.

А на одиннадцатый стружский фестиваль поэзии из Белградского аэропорта отправлялось несколько дюжин других поэтов. Нас набралось два полных самолета.

*«Поэты, приезжайте сюда!»* — не раз повторял свой призыв Карел Конрад на страницах поэтических путевых заметок.

В этом году самой многочисленной была советская делегация во главе с поэтом Михаилом Лукониным. В нее входили поэты из РСФСР, Украины, Белоруссии, Эстонии, Литвы и Молдавии:

Николай Нагнибеда, Максим Танк, Юстинас Марцинкявичюс и другие. В числе делегатов был и старейший представитель советских писателей, семидесятидевятилетний Виктор Шкловский. Я напомнил ему, что у нас был общий друг, ученый этнограф Петр Богатырев, который большую часть своих трудов посвятил нашему народному искусству, а Виктор Шкловский в свою очередь произнес теплые слова о Богумиле Матезиусе, одном из зачинателей чехословацко-советских культурных отношений и блестящем переводчике русской и советской поэзии. А поэт Луконин с большим уважением говорил о том, сколько сделал поэт Иржи Тауфер для знакомства Чехословакии с советской поэзией. Прибыли поэты из США, например У. С. Мервин, Амрита Притам{261} из Индии, поэты из Польши, Австралии, Австрии, Англии, Финляндии, Франции, Голландии, Венгрии, Италии, Норвегии, Румынии, Ирландии, ГДР, Чехословакии и Турции. А также из всех югославских республик и автономных областей: из Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Черногории и т. д., среди них те, кто у нас больше всего известен, — Оскар Давичо, Иван Минати и Васко Попа{262}.

А кроме них, в фестивале приняло участие более ста сорока македонских поэтов, прозаиков и критиков.

Молодые поэты из всех стран большей частью были с бородами и усами, с длинными волосами, в очках и без очков, черноволосые, рыжие и светлые, как кони белой масти. У тех, кто постарше, волосы уже покороче, а у многих пробивалась седина.

Впрочем, это было неважно.

Главное в том, говоря словами Маяковского, чтобы в их поэзии не было ни одного седого волоса.

Отдельные вечера были посвящены македонской и словенской поэзии, молодые поэты читали свои стихи даже в винных погребках, посвящались вечера и отдельным литературам Югославии, состоялся свой вечер и у советских поэтов.

Кульминацией всех встреч стал международный митинг поэзии под названием «Мосты». На нем вместе с поэтами югославскими читали свои стихи и гости. Митинг проходил под открытым небом, вечером, после захода солнца. На мосту через реку Дрим, вытекающую по широкому руслу прямо из озера, была сооружена эстрада, на которой в шесть рядов сидели гости и хозяева. Густые толпы слушателей расположились по обоим берегам реки. Прожектора ярко освещали место празднества, а перед началом программы вспыхнул фейерверк. Приехавшие читали стихи на родном языке, а македонские актеры из Скопье или македонские поэты, кто мог, декламировали их на своем

языке.

Публика составляла с поэтами одну большую семью и награждала исполнителей бурными аплодисментами.

Это было красиво, торжественно и возвышенно. Такого количества увлеченных слушателей не было доселе, вероятно, ни у кого из присутствующих. За исключением тех, кто здесь уже побывал.

Были тут и удивительные случайности, по следам которых написана эта статья. Так же как мне представляется чудесной поэтической случайностью замечательное претворение в жизнь призыва Конрада *«Поэты, приезжайте сюда!»,* не менее поразительным кажется мне и само название международного поэтического вечера, который как бы взял не только свое название, но и идейное содержание из прекрасной мысли Виктора Шкловского, которую я в подтверждение своих слов отыскал в его размышлениях. Он писал, что из всех прекрасных достижений — в прыжках, беге или поднятии тяжестей — путь к слову, то есть к стремлению создать *мост* от человека к человеку, несомненно, самый великолепный из успехов.

Стало быть, название для Стружских поэтических вечеров и в самом деле подходящее не только потому, что мы действительно выступали на мосту, но и потому, что мостом от сердца к сердцу и от народа к народу является идейно богатая поэзия, делающая акцент на активном участии в жизни. Такая поэзия и впрямь перекидывает мосты от народа к народу, несмотря на различие языков, на которых она написана. Общественное значение такой поэзии объединяет поэтов всего мира в их благороднейшем труде.

Следовательно, *мосты* — во имя человечности, интернационального братства, взаимоуважения к национальным культурам и общей решимости в деле защиты мира во всем мире.

Для митинга под открытым небом была характерна еще одна, не менее удивительная особенность. Я имею в виду саму форму современной поэзии.

Благодаря тому что поэзия здесь, по сути, вырвалась из камерных залов и салончиков на широкий простор, подвергалось испытанию и качество ее звучания, которым ныне в большинстве случаев просто пренебрегают. Исключение составляет Советский Союз с его лучшими поэтическими традициями, берущими начало со времен поэтического трибуна революции, «главаря агитаторов» Владимира Маяковского.

В отличие от Советского Союза, к сожалению, у нас нынешняя современная поэзия, как правило, поэзия визуальная. Стихи пишутся для восприятия их глазами, для тихого чтения под лампой, для одного читателя, который с книжкой в руках

скрывается от людей, как бы стыдясь своего увлечения поэзией, считая это слабостью. Кроме того, большинство поэтов пишут теперь стихи, пренебрегая рифмой и ритмом, такая поэзия стремится быть как можно прозаичнее, пишущие считают мелодичность чем-то старомодным и полагают, что чтение стихов — самое интимнейшее занятие и что их будут разгадывать, как кроссворд.

У западноевропейских культур мы заимствовали много хорошего, что явно обогатило нашу поэзию и указало ей путь к новому, более эмоциональному поэтическому самовыражению. Многое из того, что мы взяли у Рембо, Аполлинера, Верлена и Верхарна, явилось ценными, вдохновляющими импульсами, которые помогли созданию наших собственных ценностей. Но в последние годы мы переняли у Запада и многое преходящее, весь этот, с позволения сказать, рафинированный изоляционизм, превращающий поэтическое творчество в дело сугубо личное и достаточно далекое от народного читателя. Нормальный культурный человек не принимает подобную поэзию, потому что она ему ничего не дает. Перестает он читать и хорошие стихи. И не дай ему бог читать их в поезде, в трамвае или в кафе и быть при этом пойманным с поличным! Он провалился бы от стыда. Телевидение в большинстве своих программ, где главное слово остается за режиссером, а вовсе не за поэтическими строфами, также способствует тому, что поэтическое творчество считают стоящим как бы в стороне от жизни, чем-то вроде украшения. И поэты к этому привыкают, не принимают в расчет массовую публику, им и в голову не приходит, что их стихи надо бы читать и вслух. И вот качества звучания стиха чахнут и сходят на нет, а способность поэзии воздействовать на массы людей уменьшается чем дальше, тем больше.

И при этом вне сомнения тот факт, что у поэзии, не пренебрегающей качеством звучания, стихами, написанными для исполнения и для чуткого уха слушателя, гораздо больше предпосылок для того, чтобы выполнить общественную задачу, воздействовать на читателя и увлечь его ярким и живым словом.

«Слово в соединении с жестом имеет громадное значение», — говорил Виктор Шкловский. Ведь он прошел школу бурных двадцатых годов, когда поэзия гремела с трибун и на площадях революционной России, когда она сотрясала заводы и лекционные залы, вызывала бурный отклик, приводила к дискуссиям.

Это было время, когда поэты забрасывали слушателей словами «нечесаными» и «немытыми», наполненными новым ритмом и новыми образами, добытыми из самой современной

современности.

В такие эпохи нет места для поэзии, копающейся в мелких чувствах, для позерства нытиков, для семинаристской прилизанности, не выходящей за рамки пристойности.

И здесь, в Струге, на поэтическом мосту, перед моими глазами вновь повторялось то, что уже когда-то было. И оно проходило испытание. После каждого выступления того или иного поэта я чувствовал, что Струга вновь возвращает нас куда-то, где поэзия некогда чувствовала себя хорошо, во времена русских революционных поэтов, во времена С. К. Неймана, Иржи Волькера и пролетарской поэзии двадцатых годов, когда благодаря своему неподражаемому исполнению огромную популярность снискал человек по имени Йозеф Зора, один из самых известных наших чтецов.

Меня удивило, сколько поэтов, считающих себя тем не менее создателями современной поэзии, придерживаются этой традиции. И понял, чего смогли бы добиться эстрады, если б поэты пожелали использовать их для своего искусства и если б руководители эстрад не довольствовались лишь заурядной и весьма пустой развлекательной программой.

Ведущее место здесь вновь занимали советские поэты во главе с Михаилом Лукониным.

Для участников фестиваля проводились симпозиумы на темы: *«Возвращение к прошлому — возвращение к поэзии?», «Будущее мира — отрицание или упрочение поэзии»* и *«Угроза поэзии и ее безотлагательная потребность».*

На первом симпозиуме председательствовал старейший участник фестиваля в Струге, член советской делегации Виктор Шкловский. Он невысокого роста и для своего возраста был поразительно живым и полным энергии. Шкловский — выдающийся советский литературовед и один из основных представителей знаменитого советского художественного авангарда двадцатых годов. Человек с творческим размахом и смелостью, сумевший разойтись с созданной им же теорией, когда понял ее несостоятельность.

Сколько порой в людях, внешне неприметных, взрывчатой энергии и силы!

Виктор Шкловский сидел за столом празднично одетый, он походил на какого-нибудь господина советника, не хватало только сигары во рту. Но когда он встал, чтобы сказать слово, он преобразился, как будто в нем пробудилось все то, что дал ему громадный опыт зачинателя всего поистине нового, всего того, что должно завоевывать все новые и новые области искусства и жизни, потому что остановиться и застыть на одном месте —

означает конец любого творчества.

Ему не понадобился даже микрофон. Громким голосом он попросил слова и прочитал свое вступление к симпозиуму. И вдруг он показался всем присутствующим моложе их. И голос его гремел, когда он цитировал Маяковского:

«Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год».

Своим вступлением — вместе с этими стихами — он внес наиболее весомую лепту в дело симпозиума.

Сколько раз именно в связи с этими стихами Владимира Маяковского размышляли мы о поэтическом ясновидении могучего пролетарского поэта, чья взрывчатая фантазия, поэтическая сила воображения и умение увидеть, обострившиеся в пламени бурной и мятежной юности и революционной, агитационной работы, возвестили Октябрь — не с опозданием, а за год до того, как в Петрограде выстрел «Авроры» дал сигнал к атаке на Зимний дворец.

Виктор Шкловский по праву ссылался тут на стихи Маяковского, определяя смысл и значение поэзии и объясняя, каким образом она может участвовать в преобразовании мира.

Следующие выступления я мало понял. Я слушал их довольно невнимательно. Зарубежные гости выступали на родном языке, а наушники, через которые давался перевод, сжимали уши. И кроме того, все время приходилось раздавать автографы. Выступления были разные, одни длинные, другие лаконичные. Михаил Луконин и Владимир Огнев говорили коротко, как и многие последующие ораторы. Самые длинные выступления — написанные в форме докладов — принадлежали румынской писательнице Жоржете Городинке и французскому поэту Деги{263}. Молодым поэтам тоже нравились выступления короткие.

Я не хочу каким-то образом принизить значение симпозиума. Я верил всем выступавшим, каждому их слову, и, если бы мне пришлось говорить, я, вероятно, тоже говорил бы что-нибудь похожее. Поэты, наделенные интеллектуальной силой, мне ближе тех, кто полагается на свою чуть слышно звучащую песню, которую не трогает ничто из того, что мобилизует и настроение и умственные способности человека.

Выступавшие на симпозиуме говорили уверенно, умно — они выражали то же, что вложено в их поэзию, только иными

словами. Впрочем, вопросы, поставленные в Струге, были не новыми. Каждый художник ощущает, что они в высшей степени актуальны, и отвечает на них своим подходом к этим вопросам и своим творчеством. Пытались найти на них ответ и наши предшественники.

Беспокойство за искусство, вера в его высокое предназначение свойственны любому поколению. Это вечные вопросы и каждое поколение, размышляя над ними, уясняет для себя свои собственные позиции, собственные пути и характер собственного творчества.

Еще в годы моей молодости мы дискутировали по поводу того, не переживает ли искусство, поэтическое творчество кризис, не иссякнет ли все это с появлением кино или радио, каким образом возможно предотвратить создавшуюся ситуацию. И мы пришли к выводу, что без трудностей невозможно развитие, движение вперед, что и в искусстве постоянно что-то отмирает и уходит, уступая свое место чему-то новому; что один из основных законов искусства — постоянное обновление, искусство неустанно ищет новые жанровые формы, новый язык. Искусство должно идти в ногу с жизнью…

Настоящее искусство не желает довольствоваться прошлыми изобретениями, заимствовать уже устоявшиеся формы, окаменелые приемы, использовать бездушный эксперимент. Искусственность, пускай сколько угодно «модерная», «современная», убивает искусство.

Смысл искусства в том и состоит, что оно борется во имя чего-то и против чего-то, что оно является частью борьбы за новые социальные идеалы, оружием в борьбе против сил зла и бездуховности, за подлинный прогресс и такое общественное устройство, при котором человеку не угрожают никакие формы насилия, столь унизительные для него.

Без сомнения, ответом на вопрос о смысле, нужности и форме поэзии были и тысячи слушателей стругских вечеров, простые люди, которые своим участием торжественно показали, что им нужна красота и радость, получаемая от художественного произведения.

Присутствие огромного количества людей убедило нас, что поэзия важна для жизни, а жизнь важна для поэзии. Не играет роли, что такую поэзию создают люди, отличающиеся друг от друга внешним видом. Важно не то, кто как выглядит, молод он или стар. Важно то, что́ есть у поэтов общего, чему стремится служить их творчество.

Большинство поэтов мира это понимает, и лишь немногие пишут стихи, чтобы выразить свое чувство неудовлетворенности и

отчуждения, проблемы своего изломанного душевного мира и шаткость своих гражданских позиций. Большинство поэтов — разных и хороших — хочет общими усилиями сделать мир лучше, где не будет места ужасам войны и человеческим слезам, боли, отчаянию, горю, порожденными поджигателями войны.

Капиталистическая цивилизация бесплодна, если речь идет о создании истинной красоты и истинных ценностей, потому что она бездуховна, превратилась в уродство. Она изобретает машины массового уничтожения. Она придумала вредоносный дождь, на долгие годы уничтожающий плодородность земли, она финансирует исследования, как с помощью зараженных насекомых распространять пагубные эпидемии; она изобретает машины, чтобы писать стихи вместо человека. Но покуда человек будет жить на этой земле, ни одной преступной силе не убить его гуманности, а также поэзии.

В стороне от борьбы останутся лишь маловеры, отшельники да люди запуганные, не способные объединиться с человеком труда и создавать вместе с ним будущий мир. В стороне от борьбы останутся люди эгоистичные, с высохшей душой и окаменевшим сердцем, отказывающиеся идти с теми, кто, говоря словами Ромена Роллана, выступил в поход.

В Струге не читали стихи «отшельников». Ни надрывные, слезливые вирши, ни самодовольная высокомерная поэзия, презирающая простого человека. Здесь демонстрировалась вера в добрые силы поэзии и в ее способность преобразовать человека и мир. Это было самым приятным и это звучало во весь голос. Вера в силу поэзии нашла свое выражение и в том, что премия, ежегодно присуждаемая за лучшую поэзию, Золотой венок стругских вечеров, была присуждена великому чилийскому поэту Пабло Неруде за его боевое поэтическое творчество, кое-что из которого, как, например, поэма «Пусть проснется лесоруб», у нас хорошо известно.

Сам этот факт и весь ход поэтического фестиваля в Струге, думаю, убедительно опровергают некоторые высказывания о беспомощности поэзии. Волькер когда-то отмечал, что с помощью поэзии экономическую революцию не свершишь. Но о том, что он полностью оценил значение поэзии, свидетельствует его творчество.

Старая ветошь кое-где еще распродается, и кое-где, даже во многих стихах молодых поэтов, читатель встречается с остатками мелкобуржуазного нонконформизма. Это нужно выметать метлой, равно как и поэтическое пустословие, в котором сегодня тонет даже малейший проблеск мысли, которое чуждо материалистической колоритности Неймана, Волькера и Незвала

и которая напоминает бесцветные и допотопные времена Арношта Прохазки и его «Модерни ревю»{264}.

Один из вопросов, поставленных в Струге, касался также возврата поэзии. К чему и куда? К каким ценностям?

Если бы я выступил на симпозиуме, я бы сказал так:

Поэт может вернуться только к тем, кто был до него и кто придет после него. Только к людям будущего. Его честолюбие должно сводиться к тому, чтоб его понимали и будущие поколения. Как понимаем мы сегодня Пушкина, Маху, Яна Неруду. Как будут их понимать и наши потомки.

# Век гуманизма

В природе все развивается от низшей ступени к высшей. Этот закон касается как человеческого общества, так и самого сознания человека. В прошлом столетии простые люди верили еще в чертей, приведения, волшебников и сверхъестественные силы. Известный английский писатель Д. Б. Шоу пишет в предисловии к роману «Незрелость» о своем дяде, на которого красочные библейские картины произвели такое сильное впечатление, что он начал снимать ботинки, предчувствуя, что с минуты на минуту будет взят на небо, а ботинки могут помешать его чудесному вознесению. У нас черти, привидения и чудовища перекочевали в сказки и пьесы для детей.

Наше столетие было свидетелем первых опытов братьев Райт, построивших самолет тяжелее воздуха. Видело комету. На наших глазах взлетели на своих машинах наши первые летчики Кашпар и Чигак{265}. Француз Блерио перелетел на аэроплане пролив Ла-Манш. Мы стояли у колыбели первых кинокартин. Наблюдали за первым автомобилем, двигавшимся по улицам со скоростью двадцать километров в час. Видели мы также австрийских пехотинцев, отъезжавших в Боснию. Помним гибель «Титаника». И убийство в Сараеве. Мы пережили первую мировую войну и распад Австро-Венгрии. Иллюстрированные журналы задолго до этого опубликовали снимки, на которых германский император Вильгельм II прогуливается по Конопиште с эрцгерцогом Францем Фердинандом. О чем они говорили, мы не имели ни малейшего понятия. Для многих людей первая мировая война разразилась как неожиданная, стихийная катастрофа. Как наводнение или землетрясение. Люди набожные повторяли услышанное от священников с амвона, что война — кара господня. Воспользовавшись этой карой, оружейные фирмы «Шнейдер-Крёзо», «Виккерс» и «Крупп», невзирая на враждебные отношения, играли друг другу на руку и солидно приумножали свои прибыли, торгуя между собой при посредничестве нейтральных стран.

Перед первой мировой войной на нашем дворе появлялось много нищих, точильщиков, цыган и всяких бродяг. Однажды пришел какой-то странник и объявил, что в тысяча девятьсот семнадцатом году наступит конец света. Этот конец света действительно наступил в 1917 году в царской России для тамошних капиталистов и помещиков. Пламя Октябрьской революции выжгло из сознания широких масс представление о сверхъестественности вещей. Имея за плечами богатый и горький

жизненный опыт, они вступили в новую школу жизни, которая избавляла от предрассудков и учила разбираться в сложностях истории и объясняла причины и следствия явлений. Люди нашли ключ к правде. Доискались ответа на вопросы, почему потонул «Титаник», почему вспыхнула первая мировая война, почему рухнула царская империя и распалась Австро-Венгрия. Нашли они и ответы на вопросы, почему была сброшена атомная бомба на Хиросиму, почему главы Соединенных Штатов Америки молятся за «освобождение» восточноевропейских стран, почему нужно скрывать правду о том, как был убит Кеннеди, почему те, кто превозносит американскую демократию и свободы, помогали уничтожить демократию и свободы в Чили и установить там кровавый фашистский режим.

Тысяча девятьсот семнадцатый год ознаменовал собой зарю современной истории человечества. Начало эпохи истинного гуманизма. Сотни миллионов людей избавились от суеверия, поднялись на высшую ступень образованности, возникла новая общественная система. Человек, который перестал верить старым, «подлым правдам» мира эксплуатации, начал жить и думать по-своему. Он создал новое в области техники, экономики, общественных наук и искусства. Показал отсталость старого общественного устройства. Установил новые, лучшие законы, отвечающие интересам человека. Искусство получило новый размах, новые крылья, стало компасом миллионов людей. «Мать» Горького, «Как закалялась сталь» Островского, «Репортаж с петлей на шее» Фучика, «Судьба человека» Шолохова, «Всеобщая песнь» Пабло Неруды с помощью ярких средств художественной выразительности показывают революцию в мышлении людей.

Враги социализма и коммунизма в течение десятилетий плели и по сей час плетут интриги с целью задушить социалистический мир. Они наивно надеялись, что усилия масс в строительстве социализма потерпят крах из-за трудности и сложности задач и немыслимых препятствий, которые им чинил старый мир. Они насмехались над непонятным героизмом до тех пор, пока на их глазах эти люди чуть ли не голыми руками преобразовали отсталую Россию в промышленно развитую страну. Построили электростанции и каналы, провели электричество в самые отдаленные и самые отсталые части страны, уничтожили вековую нищету деревни, создали новые города, покорили природу, завоевали Арктику, возвели мощные плотины, овладели воздушным океаном, первыми послали человека в космос, а наука и культура вошли в каждый дом. Эти люди доказали, что наука охраняет человека, что она впервые в истории человечества служит ему, работает во имя его

счастливого будущего.

Героев социалистического труда сформировала и наша страна. Мы тоже уничтожили нищету и отсталость во всех уголках республики. Наш человек, ранее униженный, притесняемый, живущий в нужде, ныне управляет государством, совершенствует методы работы и шаг за шагом повышает свой материальный и культурный уровень.

Понятно, что, строя новую жизнь и свободно решая небывалые общественные задачи, мы порой ошибаемся, встречаем на пути препятствия и трудности, пережитки прошлого и паразитов, живущих за счет других и пользующихся достижениями социализма, хотя честная работа им не по нутру.

На эти обломки старого общества и на людей, которые пытаются жить в противоречии с законом и совершают преступления, направлены все надежды наших врагов в капиталистических странах.

В этих странах не раз находили убежище и защиту не только преступники, преследуемые за такие тягчайшие преступления, как угон гражданских самолетов и убийство. Достаточно им было просто заявить о своем несогласии с нашим общественным строем.

Но честные и добросовестные люди всех стран, глаза которых не застилает злоба, видят, в чем наше превосходство над капитализмом и в чем преимущество нашего мира. Видят, что в нашем обществе нет ни капиталистов, ни жаждущих войны генералов, ни монополий и что ведущая сила нашей страны — трудовой народ, который желает договориться с людьми других стран, имеющими иной общественный строй, жить с ними в дружбе и общими усилиями завоевать и обеспечить прочный мир. Социалистические страны во главе с Советским Союзом с неослабевающим усилием демонстрируют это желание миллионов и миллионов людей на любых переговорах с иностранными государственными деятелями и добиваются поддержки всех прогрессивных сил планеты в том, чтобы вопросам обеспечения прочного мира и постепенного разоружения уделялось такое внимание, какого они заслуживают.

Незачем напоминать, что передовые художники всех стран мира в первую очередь заинтересованы в решении этих вопросов.

# О традициях, любви и ненависти

Меня пригласили на литературную беседу в Турнов. Я не был там десятки лет и радовался, что вновь увижу этот прекрасный город в сердце Чешского рая, с богатым культурным прошлым, отличающийся трудолюбием и работоспособностью городов, которые горды не только своими прекрасными окрестностями, но и тем, что могут создать руки живущих в них людей и чем можно похвастать миру.

Некогда тут выходил журнал «Север и восток»{266}, в котором я тоже публиковал свои первые стихи. Здесь находилась одна из тех сельских типографий, которые имели превосходную репутацию и в которых печатали свои книги и пражские издательские фирмы. В тот раз я посетил также ювелирную школу, Седмигорки, а оттуда направился в Железный Брод со знакомыми специалистами стекольного производства, инженером Метелаком и профессором Брихтой{267}: там, кажется, как раз открылась выставка железнобродского стекла. Воспоминания о Турнове вернули меня в дни моей молодости, когда я разбрасывался, не представляя еще, каким путем пойдет моя жизнь, когда меня, помимо литературы, интересовало все — от живописи, скульптуры, театра вплоть до архитектуры, современной фотографии, типографского дела и графики, а кроме того, прикладное искусство, где уже недостаточно было одних рассуждений и статей, а хотелось проверить свои идеи непосредственно на практике — в текстиле, металле, дереве, керамике и бог знает где еще. В то время возникало что-то прекрасное, в чем я тоже принимал участие и что принесло свои плоды. Сегодня вопросы вкуса, целесообразности и красоты изделий, использования материалов более высокого качества, с учетом эстетического вкуса при выпуске товаров широкого потребления стоят уже на повестке дня любого нашего предприятия, и большой успех наших зарубежных выставок свидетельствует о том, что в этом направлении мы заняли одно из ведущих мест в мире.

Турнов, куда я спустя годы приехал вновь, отмечал необычайную годовщину: семьсот лет со дня своего основания. Он изменился, как изменилось все вокруг нас, как изменился Писек, мой родной город, как изменились все областные и районные города в чешских землях, и в Словакии.

Куда девались нищета, нужда, убогая жизнь, прозябание трудящихся и спесивость богачей, высокомерие чинуш, барская пренебрежительность и политика «барачников» и лавочников,

роскошь и богатство избранных и тяжелая участь неимущих семей, истощенные от недоедания дети и измученные, безработные рабочие, которым обещали или угрожали — в зависимости от того, как они себя вели. От этих времен ни в Турнове, ни в других местах не осталось и следа.

Турновские друзья приветствовали меня с открытым сердцем, и среди учащихся тамошней гимназии мне тоже было хорошо. На всех встречах меня засыпали вопросами, и я рассказывал им о литературе и о том, над какими книгами работают наши писатели.

Интерес к литературе у нас огромный. Вероятно, только в Советском Союзе он больше. Люди радуются хорошим книгам, и писателям крайне необходимо знать об этом. Можно ли сидеть дома на печи и не интересоваться тем, что людям хочется читать, как они живут и мыслят. Литература должна влиять на жизнь и вмешиваться в нее. Но откуда она должна брать идейную направленность? Из своих собственных источников? И какие это должны быть источники? Только наша жизнь, из которой искусство всегда вырастало, в которой находило вдохновение и которой в свою очередь возвращало то, что оставалось ей должно. Настоящее искусство всегда отображало жизнь общества, оттуда черпало характеры и героев, воплощало идеи своего времени. Эту материальную действительность в ее движении искусство переносило в сферу человеческих понятий через художественные произведения. Стало быть, никому из писателей связь с жизнью и с людьми не только не мешает, но в высшей степени необходима для их работы. Даже если это не выявляется мгновенно. Общение с читателями заставляет писателя больше всех других задуматься над книгой и ее смыслом. И дает возможность контролировать себя — тесно ли он связан с жизнью, необходимость чего писатель полностью признает; не следует ли проверить — а не увеличивается ли расстояние между его кабинетом и тем, что происходит за его окнами. У литературы должны быть традиции, которым она преданна, а у писателя — та или иная почва, в которую он врос корнями и чувствует себя там как дома. И чем полнее и ощутимее это чувство его родного дома, не исчерпывающееся лишь местом его рождения, тем лучше для него и для его творчества.

И наконец, находиться в контакте с людьми необходимо и для того, чтобы писатель не переставал говорить простым и ясным языком народа, чтобы избавлялся от литературщины, которой у него порой набита голова, от той ученой фразеологии и словесной шелухи, которую чем дальше, тем больше усваивают люди, занимающие различные общественные должности, мало-

помалу уже отвыкающие говорить по-человечески, просто и ясно. Их речи наполнены выражениями и кошмарными словами, вошедшими в обиход, в которых иные наши языковеды видят обогащение живого языка и его словарного запаса. А это величайшая ошибка.

В Турнове меня смутили вопросом, как я отношусь к их городу. Такого вопроса я не ожидал и больше всего раздумывал над ним в те короткие секунды, которые даются на то, чтобы решить, что отвечать. К счастью, передо мной положили карту Чешского рая, я посмотрел на нее и почувствовал себя как дома. Перед моим взором словно бы прошла целая вереница людей, товарищей, друзей, с которыми я встречался и жизнь которых была связана с Турновом и его окрестностями. Многие тут родились, навеки прикипели сердцем к этому краю, всей душой полюбили его, сроднились с ним, а иные отправлялись отсюда в большой мир, взяв с собой и частицу своей родины, этой живописной сокровищницы нашей страны.

В Мнихово Градиште, неподалеку от Турнова, родился Ян Шверма и прожил там свои детские и студенческие годы. Отсюда он вынес любовь к народу и его истории, здесь научился уважать и любить простых людей. Смыслом его жизни стала борьба за их счастье. В Мале Скале возле Турнова родился будущий академик и литературовед Ладислав Штолл, который в любых сложных ситуациях всегда знал, на чьей он стороне. С ним мы тоже прожили вместе немало бурных лет, полных восторга от всего нового, что шло из Страны Советов и что мы поставили целью осуществить и у нас. Семили — место, связанное с Иваном Ольбрахтом и его отцом Анталом Сташеком, двумя писателями, творчество которых прочно вошло в нашу литературу. Они каждый по-своему отдали нашим современникам все лучшее, что было создано их духом и их творческими усилиями. А потом тут существует Ровенско! Стоит произнести это название, и я вижу перед собой красивое юношеское лицо Вратислава Шантроха, родившегося здесь. Лицо ученика немецкобродской гимназии, выгнанного из всех средних школ предмюнхенской республики за то, что он со своими товарищами в знак протеста против враждебной политики по отношению к Советскому Союзу исписал стены тамошней церкви антицерковными лозунгами. Он стал в нашей редакции газеты «Руде право» самым молодым и полезным членом коллектива. Любознательный, серьезный, самоотверженный, талантливый красный журналист, расстрелянный в Кобылисы во время репрессий в связи с убийством Гейдриха. Во главе этих моих боевых товарищей вижу выразительную фигуру Зденека Неедлы, уроженца Литомишля, но

больше чем кто-либо полюбившего Турнов и его окрестности.

Эта молодая культурная традиция турновского края, обосновавшаяся здесь на вечные времена, тесно связана не только со своими знаменитыми предшественниками, но и с жителями этих мест, с их творческой деятельностью, существующей и сегодня, в которую каждый из тех, кого я называю, внес свой личный вклад.

Я никогда не считал искусство и литературу чем-то, что рождается лишь в своем собственном мирке. Художественное творчество для меня прежде всего это то, что не отрекается от своей родственной принадлежности, связано прочными отношениями и узами со своей землей, краем, родной почвой, узами, освободить от которых себя могут лишь люди, готовые в любой момент продаться за тридцать сребреников.

Я не делаю также различий между работой художника и какой-либо другой, словно работа художника — нечто такое, что само по себе требует большего уважения и признания. Уважения и признания требуют результаты работы. И тем большего уважения и признания, чем ощутимее и глубже участвуют они в жизни. Литературные ценности имеют свои критерии, но писатели работают в том же мире, что и рабочие, ученые, крестьяне, инженеры, техники, врачи, учителя и политики.

К мысли о том, что цель труда, разнообразного и необходимого для человека и его счастья, и труда созидательного и творческого в истинном смысле этого слова, едина, меня подводят и воспоминания о моей новой встрече в Турнове. Я мог бы начать и с другого города, скажем, Кладно, Братиславы, Остравы — не хочу далее перечислять, — чтобы подчеркнуть, что пришел бы к точно таким же выводам.

Писатель и художник, ученый и техник, летчик и обыкновенный человек, работающий на металлургическом заводе, на шахте, на фабрике или в поле, должны иметь прочные традиции, связывающие их с историей, с краем, с близкими людьми, а также со всем современным обществом и с его борьбой. Эти традиции включают их в широкое человеческое сообщество и помогают идти по дорогам, по которым в противном случае ему пришлось бы пробираться ощупью и плутать. В этом его прочность, это его компас, который помогает ориентироваться, чтобы понять, зачем он живет, работает и творит, на чьей он стороне, что он будет любить, а что всегда будет ненавидеть.

Любая литература, мировая и наша, издавна задававшая вопросы, как включиться в общественные процессы и как на них воздействовать, желавшая служить правде во имя человека, никогда не была литературой об абстрактном мире и об

абстрактных людях. Это всегда была литература о конкретной стране, о конкретной местности и о конкретных людях. Только потому, что она исходила из конкретного, она могла служить правде и жизни. Такая литература высвечивает мгновения и одновременно как бы останавливает время, освобождается от его неумолимого течения. Что-то замедляет, а что-то ускоряет, мысленно воспроизводит прошлое, но показывает многое и из будущего; то, что еще только грядет, она уже превращает в настоящее. Словно маяк, бросающий свет на бушующие волны, высится она над повседневной суматохой и надежно освещает путь.

Те, кто создают такую литературу — а это тем более относится к писателям социалистического мира, — не могут оставаться равнодушными к происходящему вокруг. Они не могут иметь каменные сердца и холодный ум. Истинный творец, будь то поэт, романист или драматург, — это всегда человек, увлеченный красотой жизни, человек благородных страстей и чувств, со всей своей убежденностью борющийся за освобождение человечества, за счастливую жизнь людей. Это всегда человек большой любви, но и человек большой ненависти ко всему, что стоит на пути к достижению этих гуманных целей.

Таким был поэт Иржи Волькер!

Вспомните его стихотворение «В рентгеновском кабинете», одно из самых прекрасных из числа написанных им, и о полемике вокруг него. В этом стихотворении больной рабочий разговаривает с врачом, который просвечивает рентгеновскими лучами его тело; рабочий спрашивает врача, что он видит, и тот ему отвечает:

«Вижу я сердце твое человечье,
которому умереть много легче,
чем жить без любви».

«И это бремя, доктор, я знаю,
но глубже, до дна просмотрите меня,
там тяжесть, что я лишь едва поднимаю,
там горькая накипь, железо и мрак,
который лишь вынь — покачнется земля».
«Глубже — я н е н а в и с т ь вижу, бедняк»[23].

Противники социалистической литературы выступили тогда против Волькера с демагогическим утверждением, будто чувство ненависти нельзя рассматривать как некую положительную ценность, что ненависть, а особенно классовая ненависть, —

порок, единственная же положительная ценность — любовь. Стало быть, рабочим следовало обожать своих эксплуататоров, выкачивавших из них все силы и наживавшихся на их труде, виновников их нищеты, болезней и преждевременной смерти.

Слов о любви сказано более чем достаточно, более чем достаточно о ней читалось нравоучений и писалось. Проповедовала любовь и католическая церковь, и из любви сжигала еретиков. Требовали от трудящихся любви и те, кто их закабалял.

Двадцатитрехлетний поэт Иржи Волькер ответил тогда на все эти советы:

> «Пока будут антагонистические классы — будет и классовая ненависть между ними… Сначала необходимо уничтожить к л а с с ы, а потом исчезнет остальное. Долой проповеди о том, что классовая ненависть могла бы быть устранена при существовании классов. Ничто не принесло бы пролетариату большего вреда. Он стал бы рабочим скотом с вечным ярмом, ибо именно ненависть позволяет ему сохранить свое человеческое достоинство. Классовая ненависть — сила, которая однажды сама уничтожит классы».

С помощью этой силы рабочие под руководством Ленина в 1917 году низвергли царский режим и русскую буржуазию. Они первые в мире уничтожили неравенство и эксплуатацию. А как на это ответил и по сей день отвечает капиталистический мир?

Уже десятки лет он изрыгает на Советский Союз ожесточенную ненависть, грязью и клеветой поливает систему социализма, бешено осуществляет гонку вооружений; ведомый слепой злобой, не имеющей границ, неукротимой жаждой мести, он накинулся бы на первую истинно свободную часть света и на другие страны, идущие с ней, чтобы уничтожить, сжечь, сровнять с землей. И наверное, капиталистический мир пошел бы на это, если б не боялся, что тем самым уничтожит и себя.

Пока будут антагонистические классы — будет и классовая ненависть, заявил еще в 1923 году Иржи Волькер. С той поры не опровергнута истинность его слов.

Есть наша ненависть ко всему тому, что убивает и закабаляет человека, и есть ненависть класса, который беспокоится за свои привилегии, за свою власть над людьми и свои мешки с золотом. С этим миром идут солженицыны.

С нами идут художники, для которых важно, чтобы совесть искусства и литературы оставалась незапятнанной. И их честь. И все, что происходит вокруг и что их мобилизует на то, чтобы идти

вместе с народом.

# О Главной книге писателя{268}

…У каждого читателя есть свой любимый автор, которого он отличает от всех других писателей, которые ему тоже близки, но иначе. К такому автору он возвращается и ищет в его книгах ответ на беспокоящие его вопросы. Особенно ему дорога какая-то конкретная его книга, героев которой он полюбил. А иногда читатель открывает эту книгу лишь ради конкретной сцены, ради конкретного поэтического образа, ради какой-то ситуации, напоминающей ему о чем-то, что пережил сам, или просто для того, чтобы погрузиться в глубины языка и мысли писателя, которые ему чрезвычайно близки.

С такой книгой человек чувствует себя хорошо, он хочет, чтобы она постоянно находилась у него, чтобы ее можно было почитать, когда захочется. Он бережет ее как зеницу ока и огорчается, если почему-либо лишится ее. Поэтому он неохотно дает свою любимую книгу даже друзьям. Дело в том, что ему известна отвратительная привычка не возвращать книги.

У меня тоже есть несколько любимых книг, которые я время от времени открываю на любой странице. Они мне близки и милы тем, что их авторы вложили в них все — свое сердце, свою собственную борьбу за себя самого, свой богатый жизненный опыт, поражения и непреклонность в поисках понимания правды жизни и искусства и их смысла.

Одна из таких книг — «Дневные звезды», написанная ленинградской поэтессой Ольгой Берггольц.

Пережившая страшную блокаду осажденного немцами Ленинграда, она запечатлела в этой книге всю свою жизнь, похожую на жизнь тысяч и тысяч советских людей. Она рассказывает в ней о своем счастливом детстве в семье ученого, о первых годах Октябрьской революции, о своей комсомольской юности, о жизни перед самым нападением гитлеровских орд на Советский Союз. Сегодня тот, кто не сталкивался с гитлеровской машиной, не может себе представить, что это было за чудовище и с какой хладнокровной жестокостью истребляли фашисты миллионы и миллионы людей в оккупированной Европе, что такое гитлеровская армия, подразделения СС, что такое гестапо и гитлеровские прислужники в концентрационных лагерях, нацистская элита, в том числе судьи и врачи. Берггольц пишет о суровых днях войны в блокадном, голодном Ленинграде, имевшем одну-единственную дорогу, через которую он мог поддерживать связь с воюющим фронтом. Она вела через замерзшее Ладожское озеро, и ее называли «Дорогой жизни». По

ней приходила единственная помощь, чтобы город мог устоять в своем сопротивлении.

«Дневные звезды» — прекрасная, глубокая книга, полная потрясающих сцен, книга о страшных страданиях и нечеловеческом героизме ленинградцев, об их решимости не сдаться и выстоять, не уступить ни пяди и не потерпеть поражения в неравном бою. Это книга о мужестве и большой любви к жизни, которая показывает, что человек может все выдержать, если он сохранил нравственную силу и чувство товарищества. Эту книгу могла написать только писательница-коммунистка. Поэтесса ее написала от лица сотен тысяч жертв, похороненных на Пискаревском кладбище, подобно тому как Юлиус Фучик писал свой «Репортаж с петлей на шее» от лица сотен тысяч людей, уничтоженных в нацистских концентрационных лагерях.

В книге есть страницы, исполненные горячего чувства и человеческого тепла, мир, увиденный сердцем истинной поэтессы, и есть в ней мысли и рассуждения, в которых она высказала все, что должна была сказать во имя любви к жизни и во имя ненависти ко всему, что этой жизни всегда угрожало и угрожает по сей день.

В строках этой книги — прекрасное кредо поэтессы, которое и поныне не утратило своей силы, и есть много интересного о писательской работе.

> «Я уверена, — пишет в «Дневных звездах» Ольга Берггольц, — что если не у каждого, то у большинства писателей есть Главная книга, которая всегда впереди… Писатель может не знать заранее, в какой **форме** она воплотится — в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, **чем** она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее будет **он сам,** его жизнь, и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания, — и все это неотделимое от жизни народа… Как на фундаменте, Главная книга покоится на едином всеобъемлющем и ясном чувстве, то есть на фундаменте нашей великой идеи, которая стала всеми пятью чувствами человека и объединяющим их особым, художественным чувством писателя. В Главной книге совершается открытый и правдивый показ становления, мужания и созревания этой идеи-чувства, иначе — коммунистического мировоззрения и мироощущения человека, раскрывается борьба за него — с обстоятельствами, с самим собой, с

пережитками прошлого в себе и вокруг себя, с врагами, недругами, а иногда и с друзьями».

И поэтесса продолжает:

> «Главная книга… не чуждается ни собирательных героев, ни домысла, ни вымысла, не отказывается ни от одного из чудес искусства и прежде всего — ни на минуту не отказывается от великих задач коммунистической пропаганды. Но коммунистическая пропаганда-проповедь в таких книгах — это прежде всего действенная передача личного душевного и жизненного опыта, приобретенного в общенародной борьбе за создание нового, справедливого общества, а потому она нужна согражданам; это — настойчивое внушение читателю той большой правды жизни, которую лично постиг писатель».

Была ли такой Главной книгой «Бабушка» Божены Немцовой? Или «Сирена» Марии Майеровой? А «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика? Стали ли Главными книгами «Соната земных горизонтов» С. К. Неймана, сборник «Васильки и города» или воспоминания «Из моей жизни» Витезслава Незвала? Создал ли ее Библ стихами, вошедшими в сборник «Без опасений»? Напишут ли такую книгу те, кто по сей день трудится или кто только начинает? Готовят ли они себя к ней тем, что пишут сейчас, тем, что звучит в их сердце и что ведет их на ту единственную в жизни дорогу, которая служит гарантией, что в один прекрасный день они станут настоящими писателями своего народа?

Я хотел бы сказать о Петре Илемницком, последним трудом которого, завершившим его творческий путь, был роман «Хроника», посвященный Словацкому национальному восстанию. В чешском переводе он получил название «Ветер возвращается». Это Главная книга Илемницкого. Он взялся за нее, вернувшись из гитлеровских тюрем и концентрационных лагерей, когда у него еще были силы завершить свое творчество, начатое романом «Победное падение» и продолженное книгами «Поле невспаханное» и «Компас — в нас». «Хроника» — заключительная картина, являющая собой итог десятилетней борьбы его народных героев — от их отчаянных бунтов к сознательно организованной борьбе вплоть до победы, великого нравственного выпрямления словака, поднявшегося с оружием в руках на неравную борьбу с самым злейшим из врагов. Илемницкий мог написать все, что лично пережил в немецких застенках, но он должен был прежде всего написать «Хронику». В ней он стилизовал себя в роли

простого хрониста, словно желая подчеркнуть, что писал о том, чего сам не пережил. Но не достиг ли он этой книгой того, к чему стремился всю жизнь? В конце «Хроники» автор вложил в уста рассказчика о повстанческих боях с фашистами основную идею и смысл своего произведения:

> «Когда будете писать свою хронику, следите, чтобы прежде всего было слышно тех, кто знает, за что они бьются. Не те, кто приспосабливались к событиям, а те, кто сами их создавали, — вот кто должен быть на первом месте».

Те, кто знал, почему они сражаются! Те, кто создавал историю! Те, кто решал, каким путем должна идти жизнь! Те, кто сознательно вступал да и теперь вступают в каждодневные сражения и в великую борьбу за высокие жизненные идеалы! Те, чья борьба является частью борьбы народа! А не те, кто лишь приспосабливался к ситуации.

И нашей высоко идейной социалистической литературе следовало бы руководствоваться словами Илемницкого. И ей следовало бы обращать внимание на то, чтобы прежде всего было слышно тех, кто знает, почему они сражаются!

*Перевод И. С. Граковой.*

# ИЗ КНИГИ «С ПЯТОГО НА ДЕСЯТОЕ»{269}

*Истинный творец, поэт, романист или драматург — это всегда человек, увлеченный красотой жизни, человек больших, благородных страстей и чувств, со всей силой своей убежденности борющийся за освобождение человечества и его счастливую жизнь. Это всегда человек большой любви и большой ненависти ко всему, что стоит на пути этих гуманных целей.*

# Из Введения

В эту книжку входят заметки и статьи об известных и выдающихся людях, которых я любил и о которых по тому или иному подходящему поводу писал. Некоторые из них были моими учителями, большинство — друзьями. И они многое для меня значили. Читатель поймет, что их имена я выбирал не случайно и не потому, что это входило в круг моих обязанностей публициста или журналиста. Работать столь систематично я предоставлял другим. О чем бы я ни писал, я никогда не делал этого с холодным умом, бесстрастно, всего-навсего как объективист, а всегда писал потому, что определенная тема, сюжет или жизненный факт глубоко интересовали меня. То же относилось и к людям, о которых я писал. Хотя речь шла о художниках и людях творческих, живущих и работающих в различных исторических условиях, я сосредоточил свой интерес как на их общественной и политической позиции, так и на общественном значении их творчества, на нераздельном единстве личности и творчества, на правдивости и художественном мастерстве этой личности, которое благодаря внутренней правде и вытекающей из нее силе выражения оказалось способно преодолеть границы своего времени и сохранить свою жизненность и актуальность и для последующих эпох. Из всех человеческих занятий это прежде всего относится к литературе, музыке, изобразительному искусству и т. д. — к искусству, наделенному вышеупомянутыми чертами, что свидетельствует о пути, пройденном человечеством, и о его высоких нравственных ценностях со времен Гомера и до наших дней.

Искусство неодолимо и непобедимо и всегда торжествует над низменностью человеческой злобы, над темными силами войны — величайшего из человеческих несчастий.

Искусство никогда нельзя использовать во зло человеку.

Подготавливая эту книжку к печати, я больше всего был озабочен тем, как ее построить, в каком ключе.

Разумеется, можно было бы расположить статьи в исторической последовательности, в соответствии с хронологией их написания, или (что я считал и считаю неправомерным) в соответствии со значением той или иной личности. Дело это оказалось довольно щекотливым и проблематичным с точки зрения единства книги. Кто после кого жил и создавал свои произведения — это довольно мало интересует читателя, равно как и то, когда отдельные статьи и заметки были написаны, — ведь изначальная актуальность, о которой я думал при их

написании, уже ушла.

Поэтому я исходил из того, что всех, о ком тут идет речь, объединяет одна и та же идея, вытекающая из их творчества, даже если мировоззрение кое-кого из этих художников отражало влияния своего времени. Кроме того, я считаю, что и читатель, не только в данном случае, но и вообще в литературе и искусстве, нередко руководствуется в своих интересах тем, каким языком написана та или иная книга, эссе, статья, заметка или очерк. Я решил это учесть. Поэтому при составлении книги я избрал такой метод, который вообще не является никаким методом. Он позволяет листать книгу как угодно, останавливаясь то здесь, то там, смотреть ее с начала или с конца, кому как нравится.

Данной точке зрения отвечает и название книги.

*Перевод И. С. Граковой.*

# СТАНИСЛАВ КОСТКА НЕЙМАН
# «Поэт и человек — всегда одно»{270}

## *1*

Когда журналисты интервьюируют какого-нибудь писателя, они всегда задают один и тот же вопрос: «Как вы пришли в литературу?»

Большинство авторов отвечает на это одинаково: «У меня была такая-то и такая-то жизнь. Я любил читать. Что-то во мне накопилось, что требовало выхода, и я попытался это высказать». И тому подобное.

В литературу ведет тысяча дорог. Каждый автор попадает в нее по-своему, у каждого своя юность и своя судьба.

Возьмем, к примеру, поколение Иржи Волькера, к которому относятся Витезслав Незвал, Франтишек Бранислав, А. М. Пиша, Ярослав Сейферт, Константин Библ, Юлиус Фучик, Сватоплук Кадлец и к которому по возрасту и убеждениям принадлежу и я. У них было гораздо больше общего, чем разделяющего.

Когда началась первая мировая война, нам было от десяти до четырнадцати лет. На фронт уезжали солдаты, на войну призывали наших отцов, мы видели возвращавшихся с фронта раненых. Вокруг нас все приходило в запустение, исчезали из магазинов товары, не было ни хлеба, ни сахара, ни муки, люди одевались в крапивный холст, давно уже забылось, что такое мясо или булки, как вкусен был хлеб из кукурузной муки, всем отвратителен был вкус вареного турнепса. Мы ходили в башмаках на деревянной подошве, и не было куска угля, чтобы затопить печь. Мы были свидетелями голодных демонстраций, а также видели, как жандармы разгоняли толпы людей, выкрикивающих антивоенные лозунги. И не переставали спрашивать себя, почему все это? Кто выдумал войны? И ради чего воюют и какая от этого польза людям?

Станислав Костка Нейман.

А потом окончилась война, а потом распалась Австро-Венгрия, а потом не вернулись с войны наши отцы, а потом в мире происходило столько нового и жизнь была похожа на бушующее море, а где-то далеко, словно маяк во тьме, вздымалось над миром красное зарево русской Октябрьской революции. Ни одно поколение молодежи ни до нас, ни после нас не пережило столько, сколько мы. Через какие испытания мы прошли! Сколько балласта из того, что почерпнули мы за школьной партой, пришлось нам от себя отбросить, когда мы сравнивали эти свои знания с действительностью! Какие психологические процессы происходили в наших головах, когда мы пытались понять смысл событий. Война и то, что последовало за ней, сделали нас до срока взрослыми. Тяжелые жизненные испытания научили нас смотреть на мир открытыми глазами, следить за всем, что происходит вокруг, чтобы не пропустить никаких общественных явлений. Так мы учились политике. От войны у нас осталась ненависть к императорам и царям, к нужде

и неволе, к господам, скопившим за время войны состояния. Мы чувствовали, что с нищими, с бедными людьми, с рабочими, которым и в мирное время по-прежнему приходилось заботиться о куске хлеба и своем существовании, мы составляем одну большую семью.

Мы учились видеть, отличать, где правда, а где ложь, тянулись к газетам, книгам, напряженно вслушивались в каждое живое слово.

Оказали на нас влияние и определенные стихи, вошедшие в некоторые школьные книги для чтения, мы научились запоминать отдельных авторов. Йозеф Сватоплук Махар был одним из них. Еще во время войны мы слышали, что он был посажен в тюрьму, как австрийский государственный изменник, и тем самым он был для нас еще ближе. Однако больше, чем Махар-поэт, он был близок нам как автор «Тюрьмы», «Католических рассказов», полемики с Римом и со священником Досталом из Лутина. И только потом, через эти работы, мы приходили и к его поэтическим книжкам, таким, как сборники «Tristium Vindobona», «Здесь бы должны были цвести розы…», «Варвары», «Яд из Иудеи» и т. п.

Эти стихи казались нам новыми и близкими, их реалистичная нота, образность в изображении обычного человеческого дня с его драмами и судьбами близких нам людей пленяли наши сердца.

Мы внимали Махару до тех пор, пока нас не захватил другой поэт — Франя Шрамек. Он буквально завораживал нас своими стихами. В его поэзии царили спокойствие прекрасных благоухающих укромных лесных уголков, трепет чувств и волшебный звонкий язык, наполнявший его «Плотину», которую мы помним по сей день.

Тот отрезок пути, который мы прошли с Франей Шрамеком, навсегда покорил нас своими пленительными образами, восхвалением прекрасной и чистой жизни, а также красоты молодого человеческого тела, которую этот поэт так понимал! От молодого нетерпеливого ожидания, от шрамековской красоты и от этого юношеского томления у нас сладко щемило сердце.

Но и тут мы вскоре поняли, что реальная жизнь — не здесь и что она бросает нам в лицо свои вопросы, на которые этот прелестный лирик не мог нам дать ответа.

И тут свою выдающуюся роль сыграл поэт, уже полностью наш — Станислав Костка Нейман.

Ни одно последующее поколение не испытало подобного счастья — получить такого учителя, который избавил бы его от неуверенности и указал направление творчеству. Это для нас был

первый поэт, который одновременно являлся мыслителем, который не только своей поэзией, но и своей мудростью и опытом привил нам основы передовых взглядов — будь то литература, искусство или политические убеждения. Все в Неймане существовало в идеальном единстве. Было в нем и то, что сблизило нас с Франей Шрамеком и что еще в зародышевой форме пробудил в нас Йозеф Сватоплук Махар. С Нейманом и его «Червеном» мы уже не догоняли жизнь, а оказывались в самой ее гуще, в ее политическом и общественном эпицентре. От Неймана к нам пришло понимание того, что просто какой-либо политики недостаточно, нужна политика конкретная, вытекающая из действительного материального, разделенного на классы мира, который нас окружал.

В ту пору о русской Октябрьской революции ходили страшные слухи. «Народни листы»{271} издали брошюрку «Ужасы большевизма». На обложке была нарисована рука, с которой капает кровь. Стало быть, Гитлер имел своих предшественников. Газеты, называвшие себя патриотическими, были полны лжи и подлости, когда писали о России, да и не только о России. «Гумористицке листы» Вилимека{272} превзошли себя в убогих остротах и карикатурах, высмеивавших коммунистов.

Чем нас увлек Станислав Костка Нейман?

> «Да не обвинят меня в нескромности, — написал он в «Творбе» в 1946 году, — я был, полагаю, первым чешским писателем, который полностью понял значение Октябрьской революции и с той минуты остался ей безоговорочно верен».

Он напомнил, что к этому привела его в первую очередь книга статей Максима Горького периода революции и что несколько месяцев спустя он уже издал первый отечественный перевод ленинской работы «Государство и революция»{273}.

Казалось, что превращение Неймана из социально чуткого и образованного человека в коммуниста произошло буквально в мгновение ока. Однако это было не так. Нейман не случайно вскочил в скорый поезд социалистической революции. Если вы знаете его жизнь, в ней нет случайностей. В ней есть этапы по-своему извилистые, как у человека, который жаждет света и пробивается сквозь густые заросли. К свету, к человеку он еще смолоду шел кружными путями, постепенно избавляясь от иллюзий и предрассудков, пока не дал тот решительный бой самому себе, не стал поистине свободным человеком, который нашел смелость освободиться от всякого идейного балласта.

Он говорит об этом так:

> «Как человек и поэт я всегда соблюдал законы живущих. Кровь, бурная, кипучая и упрямая, всегда толкала меня в ряды левых. Так возникало окружение, в пределах которого я менялся…»

Поиск поэта закончился победой в двадцатые годы, как это произошло с Роменом Ролланом, Анри Барбюсом, Анатолем Франсом и другими великими европейскими личностями.

Размышляя над тем, как менялось мировоззрение Неймана, мы могли бы задать вопрос, как обходилась жизнь с писательской судьбой Неймана-поэта? Была ли она к нему щедра, ласкова и деликатна при всех экстравагантностях беспокойного его характера?

Ему был отпущен долгий век и пятьдесят лет творческой жизни, которая постоянно пульсировала, сбрасывала с пьедесталов идолов, разрушала прогнившие опоры лживой, аморальной, безнравственной, грязной и омерзительной в своих ошибках и шарлатанских жестах действительности:

> Так оставьте себе храмы, пагоды, башни из слоновой кости,
> все, что ладаном пахнет, флаконом пачулей дешевых, —
> мне нужны мастерская и лес.
> Так оставьте себе облаченья церковные — как потускнели их краски! —
> Позу всезнающих и горделивые маски, —
> Мне костюм нужен самый простой.
> Маски ваши пригодны лишь к масленой для карнавала,
> но со всеми сомненьями, с каждой удачей, провалом
> и со всеми делами, со всеми трудами своими —
> я рабочий
> и гражданин[24].

В стихотворении «Глядя на шалфей», выражавшем поэтическое расхождение Неймана с прошлым, он с гневом обрушивается на маскарад, каковым представляется ему то, что он отвергает:

> …Знайте: поэт — это нечто иное,
> он на кресте не дает представленья
> Тем, кому слезы и стоны милы.
> Он головой о решетку не бьется,

рук не ломает, не хнычет, не ноет…
Может он пропасть собою закрыть,
в поле под паром колосья взрастить,
встать, как плотина в ревущем потоке…

И посмотрите на конец этого стихотворения:

Я же веселый, простой и свободный,
дальше иду, размышляя о песне.
Песня должна быть полезна, как хлеб,
дать, словно уголь, тепло человеку,
благоухать, как шалфей[25].

Это стихотворение из «Новых песен», из книги, которая в нашей новейшей поэзии означает революцию. У колыбели ее стояли Уитмен и Верлен, что ничуть не умаляет ее ценности и своеобразия. Стихи, входящие в сборник, возникали уже в 1911, 1912, 1913 и 1914 годах, так же как размышления об искусстве, собранные в книгу «Да здравствует жизнь!». Книга эта вышла в 1920 году. После четырехлетнего перерыва, вызванного войной, поэт ворвался в жизнь, словно завоеватель, и даже у мудрых людей, каким был Ф. К. Шальда, перехватило дыхание, что видно по его раздраженной рецензии. Шальда еще находился в плену старой эстетики и поэтических условностей, распространенных в начале войны, чтобы понять дух новой поэзии Неймана. Он высмеивает ее, стараясь умалить. Неймановский неистовый и бунтарский характер, тяготеющий к изобретательству, к новому слову, он пытается представить бурей в стакане воды, а поэта — всего-навсего певцом букетиков да прирожденным создателем идиллий, который служит абстрактным идеям, прикрывая все это шумом, фразами и пустой болтовней. Сути «Новых песен» Шальда не понял. А тем более решающего значения этой книги. Автору книги соответствовал образ поэта, который прост и человечен, как рабочий, и который воспевает работу и чудеса техники, созданные руками рабочих, равно как и вещи и обстоятельства, связанные с развлечением трудящихся.

Говоря о зачинателе новейшей поэзии, часто называют Гийома Аполлинера. До известной степени в вопросе, касающемся образности, это верно. Однако, если б нашелся ученый, который взялся за работу над «Новыми песнями» Неймана и молодой поэзией начала двадцатых годов, он вынужден был бы прийти к выводу, что поэтический сборник Неймана, в который, словно притоки в реку, вливается все

человеческое и все лучшее, что поэт мог взять из поэзии Неруды, Махара, Безруча, Верлена и Уитмена, а также из своей «Книги лесов, холмов и вод», — это произведение сугубо оригинальное, сугубо чешское, как, например, сугубо чешскими являются художник Вацлав Шпала{274} или поэт Витезслав Незвал, со всем, что привносится извне и возникает из того, что витает в воздухе, с чем выступает мир современной техники, современного мышления и современной образности.

Жизненный и творческий путь Неймана можно представить как угодно, только не идиллией, покоем, благоразумием, комфортом и теплым местечком под солнцем.

Нейман всю жизнь жил бедно. Чтобы прокормиться литературой, ему приходилось писать научно-популярные книги, но он жил борьбой нашего трудового народа как человек, всем своим сознанием принадлежащий уже миру социализма. Он находился в центре, где шла непрерывная борьба за полное понимание смысла жизни. Как творческая личность он не избежал искушений, встречавшихся на его пути. В нем сталкивался материальный и политический мир с миром его сердца и чувств, и это сопровождало его с юных лет. От участия в движении «Омладина»{275}, принесшего ему тюремное заключение, к испытанию аристократическим индивидуализмом, декадентством и анархизмом. Через увлечение цивилистской лирикой{276} и воспевание технического прогресса путь его вел в мир труда, к рабочим, а там уж оставался всего шаг до того, чтобы он навсегда встал в ряды единственного действительно передового отряда мира — коммунистов, борющихся за освобождение человека от рабской эксплуатации.

Жизненный и творческий путь Неймана был отмечен и субъективными особенностями поэта. Это сложное восхождение его к «земному», сделавшее из него убежденного материалиста, далекого от какого бы то ни было идеалистического толкования мира. В пафосе «Новых песен» внимательный читатель найдет то, чего не заметил проницательный критик Шальда: кредо поэта, которое, окончательно сформировавшись, прозвучало как боевой клич художника-коммуниста в «Красных песнях». Чуткий и внимательный читатель найдет в «Новых песнях» не одну тонкую нить, связывающую эту книгу с первыми сборниками представителей волькеровского поколения, с так называемой пролетарской поэзией, а также с поэзией, которая, подобно задуманному Карелом Тайге воспеванию современной цивилизации, закончила лишь поверхностной красочностью. У Неймана же это пропетое вдохновенно, свободным стихом прославление технических чудес подготавливает переход поэта к

глубокому и героическому перерождению, к полному расхождению с мещанством во всех его формах, духовных атрибутах и в эмоциональном отношении.

Без таких стихотворений, как «Цирк» и «Жажда», я не могу себе представить ни написанных на большом дыхании стихов Незвала, ни «Нового Икара» Библа, без «Похвалы ротационной машине», «Строительства водопровода», «Негра» не могу себе представить ни стихотворений Франтишека Немеца, ни Иржи Волькера, ни Сваты Кадлеца, ни произведений Пиши «Карусель» и «Спираль». Такое стихотворение, как «Поданная рука», многими нитями накрепко связано с творчеством Вилема Завады.

«Новыми песнями» С. К. Нейман совершает форменную поэтическую революцию не только в плане личного своего творчества, но и в нашей новейшей поэзии вообще. В этой книге мы видим поэта уже совершенно нового, с абсолютно новым, не банальным миром чувств, завоевывающего те области, которые через четыре-пять лет сделаются постоянным источником совершенно иного жизнеощущения и новых связей в поэзии послевоенного поколения.

Поэтические картины будущей жизни непонимающая критика считала всего-навсего абстракцией. Вчитаемся в эти стихи сегодня, когда мы живем уже в новые времена. Как далеко вперед смотрел поэт, писавший в ту пору о человеке будущего:

> …Ты вырос, расцвел и созрел
> под потолком бескорыстных мечтаний,
> где не звенят золотые монеты,
> цифры для боя не строятся в ряд, —
> где, разрыхляя поля для посева,
> чей урожай снимет будущий век,
> честный, свободный идет человек![26]

Подлинной революцией стали достижения поэта в области формы, его новый, ясный, обычный, простой язык, его свободный стих, отличный от свободного стиха Бржезины, Совы, Тэра{277}, потому что он был связан с новой действительностью, с новым материалом, равно как и с совершенно новым образом мышления поэта, с личностью, извлекавшей для себя урок из марксистско-ленинской науки, на основе которой претворялось в жизнь общество нового типа… Литературная молодежь, не обремененная поэтическим хламом прежних лет, молодежь, чье сердце открыто для всего нового, восприняла «Новые песни» как свои. И почти незаметно они оказали на нее влияние, словно рентгеновские лучи.

## 2

Известная народная поговорка «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» подходит и для художников. Характер того или иного поэта можно угадать и по тому, какое общество он для себя избирает. Возьмите, к примеру, некоторые книги поэта Станислава К. Неймана и посмотрите, к кому обращается их автор. Одну из самых прекрасных своих поэтических книжек «Сердце и тучи» он посвящает шестидесятилетию Максима Горького, считая его недосягаемым образцом мирового писателя, «творца и борца, который знает, что писательский труд — это тяжкая миссия, обязывающая к жестокой борьбе с врагами освобождающегося человека и с собственной слабостью». Свою книгу «Анти-Жид»{278} — пламенную критику буржуазного индивидуализма и эгоизма, написанную в 1932 году, он адресует «молодому товарищу, без различия полов», людям, которые имеют для него существенное значение и которым он хочет помочь преодолеть путаницу во взглядах и выйти на дорогу, озаренную оптимизмом без предрассудков и иллюзий. Проблема, поднятая в книге несколько десятилетий назад, не только не устарела, но стала еще острее, и не одна страница этой книги читается сегодня так, словно она была написана непосредственно в адрес нынешней молодежи. Свою поэтическую вершину, сборник «Соната земных горизонтов», Нейман посвящает памяти немецкого поэта Генриха Гейне, и это тоже имеет глубокий смысл. Поэтическое творчество Гейне наложило значительный отпечаток и на нашу литературу. С ним сравнивали Гавличека, Галека, Неруду, Махара, Гельнера и Неймана{279}. Участие Гейне в общественной жизни и в политической борьбе, его публицистика также сыграли у нас свою стимулирующую роль. Нейману Гейне был близок и своей дружбой с Карлом Марксом, и своей политической поэзией, в которой он нападал на немецкий абсолютизм и немецкого филистера. Типична для оценки характера Неймана и цитата из «Моби Дика»{280}, которую он предпослал «Сонате земных горизонтов»…

Возьмите любую книгу Неймана, любое его публичное выступление, изучите его мышление вообще, его философию, его органическое «земное» и скажите: разве он думал когда-нибудь о чем-то ином, кроме жизни и счастья людей? Не походила ли его жизнь на корабль, плывущий посреди беснующейся стихии, наносящей удары со всех сторон? И не похож ли он на мореплавателя, который никогда не падал духом, никогда не выпускал из рук руля, сохраняя ясную голову и сердце бойца?

Его называли самым мужественным нашим поэтом, и это не

было преувеличением. Свое перо он отдал борьбе за социализм и не выпустил его из рук, борясь с его помощью до последних минут своей жизни. Доказательство тому — стихотворение «1 Мая 1947 года», в котором, уже тяжело больной, за два месяца до смерти, он высказал свою непоколебимую веру в коммунистическое будущее и свой гнев по адресу бесстыдной ненасытности старого, капиталистического мира, представленного Соединенными Штатами и лицемерным Трумэном.

А постыдная кампания, свидетельствовавшая о неискоренимости чешского мещанства, которая развернулась даже у постели уже тяжело больного поэта?

Социализм был для Неймана нерасторжим с идеями К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Уже в 1921 году он обращал внимание на то, что объявить себя сторонником всякого социализма могут Стршибрный и Тусар{281}, но истинный социализм только один. Тот, за который борются коммунисты, люди великой веры, самоотверженные и преданные делу, единственные, кто без колебаний сжигает за собой мосты, ведущие к старому миру. Однако он предупреждал этих борцов, вдохновленных учением Маркса и Ленина, что симпатии к коммунизму и коммунистической партии не могут быть абстрактны, они должны опираться на желание постоянно учиться и углублять теоретические знания, потому что только знания «не позволяют возникнуть иллюзиям и только они являются источником убежденности».

Как мудро предвидел он ситуацию, проблему, типичную для колеблющейся интеллигенции и интеллектуалов. Проблему, которая в шестьдесят восьмом году обострилась, как никогда и ни в одной стране прежде. Адресуясь к этим кругам, Нейман еще три десятилетия назад напоминал, что только убежденность, вытекающая из теоретических знаний, может преодолеть кризисы и сомнения… И подчеркивал, что социализм родился «из народа и для народа, а вовсе не для интеллигентских экспериментов». Нейман отмечал, что обязан Марксу и Ленину тем, «что они раз и навсегда избавили его не только от мелкобуржуазного оппортунизма, но и от интеллигентского утопизма и «чистого теоретизирования».

Первые заметки, статьи, размышления и полемика Неймана такого рода были написаны пятьдесят лет назад, а последние — два десятилетия тому назад. Когда их читаешь сегодня, то наряду с тем, что отметило и отодвинуло время, в них найдешь столько живых и актуальных мыслей, что покажется, будто они написаны прямо по поводу жгучих сегодняшних проблем и дают ответ на

важнейшие вопросы, решением которых заняты наша партия и общество. Философское наследие С. К. Неймана и по прошествии многих лет представляется компасом, и удивляешься, как вообще оно могло уйти из нашего сознания, когда являет собой классическое идеологическое оружие нашей партии. Культурная и политическая публицистика уже десять лет делает вид, будто Неймана не знает.

Чистые, честные, боевые мысли Неймана бросали, по-видимому, слишком яркий свет на беспринципность разрастающегося оппортунизма, на поверхностность и невежество, на интеллигентские колебания и перестраховку, на тайные ревизионистские интриги, на мелкобуржуазных прогрессистов, склоняющихся перед любой мнимой величиной Запада, на продажность и клерикализм, на эгоизм и аморальность. «Социалистической» публицистике уже незачем было интересоваться Нейманом. Она нашла для себя иные образцы. А те, кто подготавливал контрреволюцию, чьим троянским конем должен был стать мелкобуржуазный «социализм с человеческим лицом», дружески поддерживаемый всем капиталистическим миром, не могли желать ничего иного{282}.

Для нас, кто жил жизнью партии чуть ли не со дня ее основания, кажется почти невероятным, что через пять лет наша общественность будет отмечать столетие со дня рождения Неймана. Как поэт, политик, публицист и общественный деятель Станислав Костка Нейман всегда находился в центре нашей партийной, политической и культурной жизни. Он был подлинным представителем коммунистической интеллигенции, учителем всех образованных людей. Он стоял во главе нашего движения, как мудрый, чистый и честный человек, как неподкупный борец с мужественным и бесстрашным сердцем. Как бунтарь, как настоящий, по-человечески благородный революционер, как художник с мечом в руке.

Вижу его, как впервые увидел шестнадцатилетним юношей вскоре после первой мировой войны — высокого, стройного, с черной бородкой, с пронизывающим взглядом, — на сцене писецкого городского театра, куда мы, школьная молодежь, набились, чтобы с ним познакомиться. Его журнал «Червен» мы глотали, он был откровением, открывал перед нами мир, полный волшебных далей и невообразимых возможностей. Драматические годы, наступившие после переворота{283}, полные взрывчатости, выковали из Неймана коммуниста, а с его помощью сформировали и нас.

Это была пора нового жизнеощущения, и стихи Неймана полностью этому чувству отвечали. Я помню их, и когда

вспоминаю сегодня его «Похвалу ротационной машине», его «Дуб», «Утро», «Корнет», «Цирк» и другие стихи — перед моими глазами с поразительной точностью воскресает атмосфера тех лет в ее конкретности и со всеми волнующими событиями. То же, и в еще большей степени, относится к стихам, включенным в сборник «Красные песни». Они захватывали нас новизной своего содержания и выражения. Нас покоряла их боевитость и то, что в них с невиданной доселе силой во всю мощь звучала любовь и ненависть поэта рабочих и революционного мира. Отсюда путь вел к поэзии Горы, Горжейши, Волькера, Кадлеца, Сейферта, Библа и других. В лице Неймана мы познакомились с поэтом, который не был ни жрецом, ни чародеем, а человеком, каждому необычайно близким и человечным. Была в нем искренность мастера, не знавшего, что такое поза. Он сам считал себя простым рабочим и гражданином, и не было оснований ему не верить. «Поэт и человек — всегда одно» — таково было его кредо, которое он исповедовал еще задолго до того, как высказал это в известном стихотворении.

Правдивость, искренность и убедительность неймановских слов и стихов завоевывали сердца рабочих и молодежи. Никто иной не мог стать поэтом новых горизонтов, вырисовывающихся перед нашими глазами, кроме поэта, объявившего себя сторонником коммунизма.

Когда Нейман вспоминает об этом времени и оговаривается, чтоб это не было воспринято как нескромность, он напоминает, что, по-видимому, был первым чешским писателем, который со всей определенностью понял значение Октябрьской революции и с той поры остался ей безоговорочно верен. А почему ее понял он, а не другие его сверстники? Имел ли он для того особые предпосылки? В книге «Воюющий штатский» он благодарил родителей «за известную способность к логическому суждению и эмоциональному восприятию вещей и окружающей их жизни, в том числе человека». Его жизнь была бурной и сложной. Душевные самокопания были ему чужды. Мелкие тягостные обстоятельства он стремился преодолеть путем лихорадочной активности. Примкнул к анархистам, а когда ему опротивела жизнь большого города, бежал из Праги в моравские леса и там написал одну из самых прекрасных лирических книг — «Книгу лесов, холмов и вод». Он явился одним из инициаторов новых художественных концепций. А потом началась война, и в форме австрийского пехотинца он прошел Венгрию, Сербию, Черногорию и Албанию. А вернувшись с войны, он, должно быть, был одним из немногих, кто со всей остротой уяснил себе, что в социальном отношении ничего не изменилось.

> «Мы снова сделались изгнанниками на родине, которая была освобождена для собственников и оплота собственности, и, если мы вынуждены дышать все в той же атмосфере реакции, как и прежде, хотя на чужбине мечтали о чем-то совершенно ином, радуясь ударам, падающим на габсбургские лапы, — мы более чем вознаграждены за то помощью и уроками, которые дает нам русская Октябрьская революция и прочно существующие Советы».

Именно в журнале «Червен» он осознал, что становится коммунистом, и повлиял на него в этом направлении Горький, — а вскоре после этого он уже издает первый чешский перевод «Государства и революции» Ленина, что со стороны издательства было очень смело. Неоценима в том и заслуга Неймана. А кто тогда был переводчиком известного ленинского произведения? Не сам ли Нейман, скрывающийся под псевдонимом? И было ли то чистой случайностью или преднамеренно? Когда я недавно навестил могилу Киша и встретился там с переводчицей Киша Ярмилой Нечасовой, она повела меня на Ольшанское кладбище и показала неподалеку от главного входа могилу, на которой стоит простой каменный памятник с именем Йозефа Райнера, первого переводчика произведения Ленина на чешский язык. Райнер был студентом-медиком и поэтом, Нейман уже печатал в «Червене» какие-то его стихи. В 1920 году его жизнь окончилась трагически. И думаю, еще до выхода в свет его перевода. Наша история литературы в общей сложности о нем ничего не знает. А известно ли, что над переводом «Государства и революции», сделанном с немецкого издания, вместе с Йозефом Райнером работала и Ярмила Нечасова, которая раньше опубликовала в «Червене» в своем переводе выдержки из этого ленинского произведения?

«Червен» — эта славная история, связанная с именем Неймана. Под эгидой «Червена» родилось послевоенное художественное поколение во главе с Иржи Волькером, под эгидой «Червена» создавались также первые коммунистические ячейки, влившиеся в двадцать первом году в Коммунистическую партию Чехословакии. Позже на смену «Червену» пришел политически определившийся партийный журнал «Пролеткульт», и на протяжении ряда лет имя Неймана было связано со столь же острыми и бескомпромиссными статьями в газетах и журналах, таких, например, как «Рефлектор», «Лидова культура»{284}, «Творба», «Руде право» и другие.

Станислав К. Нейман, занимающий видное место в истории нашей партии, столь же видное место занимает и в истории

нашей современной литературы. С его именем связаны самые смелые поэтические достижения, всегда означавшие в поэзии скачок вперед. Нейман был поэт-инициатор, первопроходец, создатель нового поэтического языка, никогда не забывавший во имя идейной четкости об эмоциональной конкретности и предметности поэтического выражения, всегда прочными узами связанный с жизнью и чуждый эксцентричным интеллигентским грешкам и субъективистской самовлюбленности. Он поставил свою поэзию на службу великому делу, на службу борьбе за новый мир, и тем самым дал ей орлиные крылья. В его поэзии отражается огромный мир чувств и мыслей человека коммунизма, его богатые душевные переживания, любовь и ненависть, его глубоко интернациональное сознание и его социалистический патриотизм, всегда являющийся патриотизмом действия, мужества, самоотверженности и борьбы и не имеющий ничего общего с мелкобуржуазным квасным ура-патриотизмом, с трусостью и жестоким эгоизмом. Поэзия Неймана уходит своими корнями глубоко в чешскую землю, воспеванию которой посвящены его самые прекрасные стихотворения, самая чистая пейзажная лирика. Создать такие произведения мог только человек, близко знающий природу, ее тайны и происходящие в ней процессы. Но поэзия Неймана охватывает весь мир, потому что поэту и коммунисту все трудящиеся мира были товарищами и братьями. Их судьбу, их надежды, их любовь и ненависть воспевал Нейман в своих строфах. Он создал поэзию, которая поет славу рукам рабочих, славу работе, славу революции и товарищеской солидарности. И он написал прекраснейшие стихи о Советском Союзе, колыбели первой социалистической революции. В своих стихах он выразил также горячий гнев и негодование по поводу преступлений ненасытного капитала, по поводу бесчеловечности военнопромышленников и поджигателей войны, по поводу бесстыдной эксплуатации старого мира. Нейман был поэтом любви, свободной от предрассудков, суеверия и лицемерной морали. Он был поэтом всего свободного, земного, языческой красоты и людей, внутренне прекрасных, физически и морально ровных и прямых, как здоровые деревья. Он был беспощадным судьей низости, трусости и измены, продажности и пораженчества. Он был поэтом, который видел гораздо дальше нас, потому что шаг за шагом, с безжалостностью по отношению к самому себе проникал все глубже и глубже в правду. Он был человеком с ясной головой, самокритично расправлявшимся с собственными ошибками и заблуждениями, как честный коммунист. Он был оптимистом, мечтавшим по-ленински, но не мечтателем, витающим в облаках. Он твердо стоял на этой земле

и потому осознавал, что за человеческое счастье и за красоту жизни нужно бороться. В замечательном стихотворении «Поле боя внутри нас» он говорит, что в каждом старый человек борется с новым… «мир новый и мир былого», «сын рабства и сын революции». Но он видел и опасность, грозящую извне, и неустанно предостерегал от нее. Его призывы к бдительности именно сегодня столь же актуальны, как и при его жизни:

Но мы идем сплоченными рядами!
…Будь начеку! Мы только на пороге.
Не кончен бой с ордою темных сил.
Засады вражьи ждут нас на дороге,
завалы хищный враг нагромоздил.
Но мы идем сплоченными рядами,
не зная сна на вахте трудовой.
Вперед ведет нас пламенное знамя,
всемирный чистый стяг передовой»[27].

Жизнь Неймана и его художественное и философское наследие продолжают оставаться для нас источником коммунистического самосознания и силы, мужественной веры в себя и стойкости. Его поэтическое творчество — творчество современного человека, имеет свою незаурядную покоряющую красоту, оно глубоко и эмоционально богато. Это творчество великой любви и великой ненависти, прекрасное и сильное, необходимое, как хлеб и как меч. Это на самом деле поэт из числа самых смелых, каких в нашей литературе было немного. Он стоит в одном ряду с Немцовой, Гавличеком, Нерудой и с нашим народом.

**1970 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ
# В чем величие поэта

Уже не впервые раздумываю я о выдающихся личностях литературы, над судьбами тех, кого без преувеличения можно назвать классиками нашей социалистической культуры. Они должны интересовать нас особенно потому, что эти удивительно талантливые художники внесли оригинальный и глубокий вклад в развитие нашей литературы и в нашу жизнь. Подобные люди редко рождаются в течение столетия. Со знаменитыми предшественниками их объединяет то, что на страницах их произведений запечатлено время, в которое они жили и творили, и эти труды стали непреходящими ценностями, отразившими лицо эпохи. Теперь эти художники интересуют нас вдвойне. В области культуры мы еще не освободились от недавних катастрофических времен{285}, которые отличало целенаправленное подведение мин под ценности, на которые опирается наш социалистический мир. Делались попытки подменить эти ценности всем тем, что мы считали окончательно похороненным. Когда культура служит жажде власти, которой злоупотребляют недостаточно принципиальные, честолюбивые индивиды, беззастенчивые и не имеющие моральных устоев, доселе скорее паразитировавшие и кормившиеся на обочине литературы и искусства, происходит то, что было у нас в недавние времена, которые, слава богу, уже миновали. Значит, нас тем более должны интересовать выдающиеся создатели нашей культуры, за которых говорит их творчество, художественно сильное и независимое, и потому также, что в нем они ни на шаг не могли отступить от верности самим себе и всему тому, с чем были связаны всем своим существом.

Когда нужно на нескольких страницах рассказать и о творчестве и о личности таких художников, это, признаться, нелегко. Особенно перед лицом миллионов читателей. Однако я постараюсь избежать научного теоретизирования и вместе с тем не погрешить против закона, ставшего основным законом творчества данных художников. Закон этот гласит: будь правдив и точен.

Двадцать шестого мая исполнилось бы семьдесят лет поэту Витезславу Незвалу. Все, о чем я писал выше, относится и к нему. Это был художник, ставший, начиная с двадцатых годов, во главе нашего художественного мира, который нес на себе отпечаток его мощного таланта, той неповторимой оригинальности,

неподкупности и бескомпромиссности суждений, при помощи которых Незвал разрушал все старое, отжившее, лицемерное и лживое, все, что цеплялось за прошлое и мешало всестороннему освобождению человека от рабского труда и рабских мыслей. Прямолинейная органическая воинственность характеризует весь жизненный и творческий путь Незвала. Он остается ей верен до самой смерти, скосившей его в 1958 году в еще сравнительно молодом возрасте. Ему было пятьдесят восемь лет.

В двадцать четыре года он стал коммунистом. Образованный и начитанный, он, быть может, единственный из всех своих сверстников прочитал «Капитал» Маркса и проштудировал Гегеля, Энгельса и Ленина. Не в силу эмоций, а обдуманно, сознательно стал он сторонником коммунистического движения, в котором видел самые гуманные основы и единственный компас, указывающий обществу путь к истинной свободе человека. Свою идейную революционность Незвал соединил с революционностью художественной. Это составляло для него единое целое и создавало мир, в котором он не допускал компромиссов. Политическая и идейная определенность не только не мешала его художественным концепциям, но и не раз спасала даже при самых смелых его экспериментах.

> «Чтобы мы не сбились с пути, — пишет он в своих воспоминаниях «Из моей жизни», — перед нами вырисовывался маяк бесклассового общества, свет которого нас ослеплял и к которому мы хотели прийти в полной солидарности с рабочим классом. Возможно, именно благодаря этому ориентиру, которому мы не изменяли ни в хорошие, ни в плохие времена, наш авангард избежал многих ошибок, которые легко могли бы сбить нас с пути».

Коммунистические идеи увлекли его еще в средней школе в Тршебиче, где он видел первые рабочие демонстрации, а еще больше увлекся он ими в Праге, когда сдружился с Волькером, когда узнал Зденека Неедлы и когда его в полном смысле слова заворожило движение «Деветсила», художественная и политическая современность которого открыла ему пути, где он окончательно нашел себя.

Незвал вспоминает о своей первой встрече с «Деветсилом», куда пришел студентом и пока еще почти неизвестным поэтом, чтобы в скором времени сделаться звездой первой величины этого движения. Это был торжественный вечер «Деветсила» в Альбертове, и Незвал так видит его в своих воспоминаниях:

«Каково же было мое удивление, когда вместо реформистских фраз о рабочем классе и его мозолях, когда вместо крокодиловых слез по поводу нищеты бедняков засверкал тут рабочий в новой красоте, в красоте человека, которому суждено победить и строить новый, светлый мир».

Современность Незвала была не только в том, что он ворвался в старую поэтику, как слон в фарфоровую лавку, расшвырял ее во все стороны и создал новый поэтический язык, которого со времен Махи в чешской поэзии никто не создавал, не только в том, что он дал чешскому стиху необыкновенные краски и оттенки, а также широту от народной песенки до захватывающей, пропетой на одном дыхании торжественно-хвалебной песни, не только в том, что изгнал из него все колдовские чары, спекулятивность и стерильность, все спиритуалистические фокусы, мистику и умозрительный субъективизм, наполнил его духом неймановского «земного» и материалистическим чувством жизни, которое только и является несомненным качеством коммунистов.

Витезслав Незвал.

Его современность была и в том, что ему сразу стала близка марксистская философия, в том, как он видел рабочего. Рабочий для него не был забитой, пассивной и страдающей фигурой. Он был для него творцом ценностей, создателем великолепных технических чудес, человеком, способным претворить в жизнь любую научную фантазию. Незвал видел в рабочем строителя современного мира, плоды трудов которого присваивали себе паразитирующие классы. Он был для поэта тем героем, который призван обновить мир, преобразовать его на подлинно гуманистических началах. Такого рабочего и его труд и воспел Незвал в своих стихах. Вместе с ним он боролся за мир и помогал как мог, чтобы ему лучше жилось. Там, где этот рабочий еще не осознал свою историческую роль, он пробуждал в нем его классовое самосознание и напоминал о его исторической миссии:

Почему ты рабски кланяешься
на все четыре стороны?..

Без понимания того, что жизнь отождествляется с исторической миссией рабочего класса, Незвал не создал бы самые прекрасные свои произведения, принадлежащие к жемчужинам нашей поэзии. Он вряд ли создал бы «Удивительного кудесника», «Эдисона», «Влюбленных из киоска» и «Манон Леско», «Стихи ночи» и «Стихи о Праге», «Песнь мира», «Из родного края», «Крылья», «Васильки и города» и «Сегодня еще светит солнце над Атлантидой». Незаурядная сила его поэзии, вспыхнувшей, словно ослепительный фейерверк, была освящена чувством внутренней свободы. А с другой стороны, его поэзия проста, как народное искусство. И сумела воспеть как будничный день человека, так и пьянящую красоту ночей большого города, праздничное захватывающее зрелище иллюминации, перед которым осознаешь восхитительную волшебную силу эдисоновских изобретений. Во всем этом он был землянином и человеком, как мы. Жаль, что он не дожил до полета Гагарина! Какие бы, должно быть, написал он о нем стихи! Незвал был сыном двадцатого столетия, и ничто ему не было так чуждо, как поза унылых романтиков, для которых ночь представлялась призрачной декорацией, дающей им возможность приумножать свои терзания по поводу загробных тайн и делиться с читателями кошмарами жизненной суеты.

Незвал был человеком ясной мысли, любящим жизнь и жаждущим радости:

За революцию я отдал голос свой.
Я понял роковую неизбежность счастья[28].

Он умел радоваться как ребенок, в том числе успеху своего произведения. Он писал для людей, и его честолюбивые мечты состояли лишь в том, чтобы его читали. Он не был поэтом для поэтов, с зашифрованными подтекстами и иносказаниями, и не верил, что кто-то может писать для ящика письменного стола.

О том, насколько в кризисные годы руководство нашей культурой вышло из-под контроля, свидетельствует и то, что вскоре после смерти Незвала над его творчеством нависла тень безмолвия. Такого же безмолвия, какое нависло над творчеством Неймана и Библа.

Люди с претензиями, которым Незвал стоял поперек дороги, поспешили умалить человечность и значение этого поэта в нашей

литературе, содействовали тому, чтобы оставить в тени творчество Незвала, бросавшего вызов поэтическому идолопоклонничеству и всевозможным темным мистификациям. В этом полумраке можно было ловить рыбку в мутной воде. Все, что Незвал беспощадно изгонял еще за несколько лет до шестьдесят восьмого года, вернулось назад, сперва вроде бы с черного хода, а позже уже в широко распахнутые врата, не скрывая намерений и отнюдь не литературных целей. Вернулось и то, что Незвал точно охарактеризовал «психологизирующей сальностью» буржуазного искусства. Все это вместе с имитацией под западное искусство, с мешаниной из Франца Кафки, с новыми разновидностями мелкобуржуазного натурализма, с «модерным» клерикализмом и с подчеркнутой литературщиной, презирающей нормального читателя, справляло шабаш.

Своеобразно начали также оживать традиции художественного авангарда периода между двумя войнами. Крайняя художественная революционность этого движения, направленная в большинстве случаев на шокирование обывателей, отличалась, помимо всего прочего, тем, что демонстрировала свое тождество с крайней политической революционностью. При всем экспериментаторском характере этого движения в нем родились произведения, сыгравшие пусть даже незначительную, но все же общественно прогрессивную роль. Авангард переживал и взлеты и спады, но художники-творцы в нем не потеряли себя. Были здесь и измены первоначальной программе, и уход старых бойцов, и, наконец, воспоминания о прекрасной общности, вдохновляющая заразительность которой преодолевала государственные границы. По прошествии времени кое-кто стал интересоваться этим движением и «переоценивать» его. Возникли группки, которые начали изображать из себя новых авангардистов. Но и здесь применимы слова Маркса об истории, которая никогда не повторяется в прежнем виде, а разве что как фарс{286}. Новые авангардисты в скором времени проявили себя как правые, как политические оппортунисты и антикоммунисты. Они ставили перед собой иные цели, нежели первоначальный авангард. И то, что в авангарде было интересным: объединение всех искусств — литературы, театра, кино, архитектуры, изобразительного искусства, музыки и танца, — также получило свою современную форму в так называемом «координационном совете художественных союзов». Но и здесь речь шла не об искусстве.

Незвал был импульсивным творцом, смелым экспериментатором, но никогда не следовал схеме. Литературщина действовала ему на нервы. Его творчество

питалось самой живой действительностью. Принадлежность к художественному авангарду никогда не являлась для него смирительной рубашкой, из-за которой ему приходилось бы насиловать свою здоровую природу. Даже тогда, когда он возносился на крыльях фантазии в самые далекие выси и «опробовал» самые смелые открытия, порой исполненные игривого озорства, он никогда не забывал, что его место на земле, среди людей. Он был не только отважным художником-революционером, в нем по-прежнему жил и тот простой краснощекий коренастый деревенский парень, который никогда не забывал, что он сын сельского учителя из Бискоупек под Тршебиче, где в его детскую восприимчивую душу навсегда запали картины его родных мест, пейзажи, лужки и речки, с берегами, поросшими ромашкой и вероникой, крестьяне со своими радостями и заботами. Все это вместе с волнующим, современным, фантастическим видением городской действительности проходит через все его творчество. Это его естественный мир, возрожденный воспоминаниями того чудного, детского возраста.

> Где дремлет ящерка на древнем горном склоне,
> где собирают липов цвет весной…[29],

тот характерный будничный день деревенского жителя, где

> Кузнец стоит над горном во весь рост
> и, целый небосвод схватив клещами,
> кидает в чан. И брызги шалых звезд
> отражены юнонскими очами
> кобыл. Кругом окалина и пыль,
> и пахнет подпаленным рогом[30].

Фантазия Незвала не была абстрактной. Она вырастала из жизненного опыта, выливаясь в поразительные художественные формы. Можно было бы шаг за шагом проследить реальную основу каждого его стихотворения.

Если вы хотите понять художественный путь Незвала, если хотите проникнуть в его поэтический метод, если хотите узнать его как художника и как человека и сжиться с миром его чувств и мыслей, нет ничего лучшего, как перечитать его прекрасную книгу «Из моей жизни», которую он, к сожалению, не успел закончить. Даже если, в сущности, все творчество Незвала — это его биография, последняя незваловская книга дает вам ключ к

пониманию его великого вдохновляющего гуманного искусства, борющегося каждой строчкой, каждой строфой, каждым стихотворением за счастье человека и за новый мир в истинно ленинском смысле слова. Незвал был человеком, живущим полной жизнью. Он страстно и горячо любил и страстно ненавидел. Эту любовь и ненависть он проявлял и как гражданин. Он всегда стоял там, где речь шла о великой борьбе, где он мог воспользоваться своим голосом и своей неистребимой творческой энергией. Общеизвестны были его трудолюбие и активность. Он написал до пятидесяти книг, среди которых — тома прозы в несколько сот страниц. Много можно бы сказать о его политической активности, о его месте в общественной и художественной жизни, о том, каким авторитетом он являлся во всемирном движении за мир. И о его плодотворном участии в развитии связей с народами и литературами мира, особенно с Советским Союзом. У него повсюду были друзья. Его близкими друзьями были самые известные художники планеты. Он узнал многие страны, но счастливее всего был тогда, когда возвращался домой, в Прагу или в свой родной край. Он любил свою родину и во славу ее написал самые прекрасные стихи. Они во многом напоминают интонацию волнующих произведений Сметаны.

Ф. К. Шальда в одном своем очерке о Неруде замечает по адресу поэтов, что от них нелегко добиться подлинной внутренней искренности, что означает не лгать себе и перед самим собой. И он не слишком-то верит в подобную искренность у художников.

Витезслав Незвал, который перевернул все старые, отжившие истины вверх дном, опроверг и это сомнение Шальды. Для него искренность была столь же естественна, как дыхание. Без искренности он не мог себе представить художественное произведение. И прежде всего свое творчество. Он никогда не лгал, чтобы поразить читателя. Своей искренности вверил он и книгу своих воспоминаний, даже ценой того, что найдутся какие-то ехидные люди, не пожелающие его понять. Они его не интересовали. Он думал о людях, таких же, каким был он сам, с которыми он завоевывал уверенность в жизни. Политическую, нравственную, поэтическую и человеческую. С этими людьми он видел новый мир и создавал его будущее. Видел его звезды, его пейзажи и его города, которым давала свет и краски его взрывчатая фантазия. На создание этого мира его великолепное поэтическое творчество мобилизует и сегодня.

**1970 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# Иржи Волькер и современность

## *1*

Прошло тридцать лет со дня смерти Иржи Волькера. Двадцатичетырехлетний поэт оставил народу свои произведения, которые до сих пор привлекают к себе внимание широкой общественности и литературных кругов, вызывают одобрение и неодобрение, дискуссии «за» и «против», стимулируют и побуждают к глубоким раздумьям над миссией художественного творчества. Иржи Волькеру, вызвавшему такой резонанс, завидуют многие живущие поэты, поскольку что еще можно желать, кроме того чтобы художественное творчество встретило горячий отклик, чтобы призывало к борьбе, чтобы вокруг него сталкивались мнения и пробуждалось то плодотворное творческое возбуждение, которое двигает искусство вперед, к новым целям.

Творческое наследие Волькера принадлежит к тем счастливым художественным явлениям, которые нельзя просто принять к сведению, а необходимо определить свое отношение к ним, потому что они дают ответ на жгучие и животрепещущие вопросы, которые тебя, поэта, писателя, литературного и художественного критика, живо интересуют и должны интересовать.

Это вновь полностью подтвердила конференция о творчестве Иржи Волькера, организованная в конце января Союзом чехословацких писателей вместе с Институтом чешской литературы Чехословацкой Академии наук.

На ней выступили близкий друг Волькера, знаток и издатель его произведений А. М. Пиша, академик Ян Мукаржовский и словацкий ученый М. Томчик{287}. Многих творческих вопросов коснулись в дискуссии академик Зденек Неедлы, поэты Витезслав Незвал, Франтишек Бранислав, Вилем Завада, Франтишек Нехватал и литературный критик Франтишек Бурианек{288}.

Лекционный зал Национального клуба был полон слушателей. Среди присутствующих находилась и мать поэта, Здена Волькерова.

И, как к тому призывает смысл и дух творчества Волькера, участники конференции не могли ограничиться темой «Иржи Волькер и современность». Конференция была задумана и воспринята как призыв к тому, чтобы наша литература, с учетом задач, стоящих перед ней в настоящее время, еще теснее

сблизилась с творческим наследием Волькера и извлекала из него уроки и помощь. «Все мы, молодые и старые, — сказал Зденек Неедлы, — должны учиться у Иржи Волькера». В этом и заключался истинный смысл конференции. А не в том, чтобы открыть Волькера. Ведь его творчество ясное, в нем нет туманных мест или каких-либо тайн. Даже такой вопрос, что художественнее — «Гость на порог» или «Час рождения», не кажется актуальным, потому что противоречия между поэтическим первенцем Волькера и его второй книгой нет, ибо бессмысленно было бы противопоставлять ранний период поэта периоду творческой зрелости. Творчество Волькера следует рассматривать как одно целое, потому что период «Часа рождения» немыслим без периода «Гостя на порог». И в первой и во второй книге специфические черты индивидуальности Волькера-поэта взаимосвязаны. И при этом «Час рождения», бесспорно, представляет собой высшую ступень развития поэта, когда его искусство становится еще более гуманным и идейно глубоким, когда в сердце поэта звучит не только его внутренний голос, но и голос рабочих масс, борющихся за свое счастье. Пиша, Пекарек{289}, Бурианек и другие, в том числе молодые, литераторы, должны были бы попытаться со всей твердостью решить, чему следует прежде всего учиться у Иржи Волькера и как у него учиться, тем более что кому-то кажется, будто здесь существуют неясности, способные сбить с толку молодых литераторов.

Ответ на такой вопрос неизбежно предполагает более углубленное знакомство литературной молодежи с творчеством Волькера. Нельзя сказать, чтобы Волькер был поэтом, о котором наша молодежь, вступающая в литературу, знала мало. Она знает его стихи, ориентируется в его поэтической биографии, наслышана о его сотрудничестве со Зденеком Неедлы в «Варе», способна процитировать те или иные абзацы из его статей о новом искусстве. И это нельзя недооценивать. Однако необходимо глубже знать Волькера, от общих знаний перейти к изучению сущности его творчества. Такое познание со всей очевидностью объяснит нам, почему Волькер сделался самым любимым поэтом нашего народа, почему его творчество продолжает жить и почему оказывает такое воздействие. Но изучение творчества Волькера может нам многое дать и в вопросах идейности, богатства и яркости поэзии. Мы найдем у поэта немало мыслей о том, как избежать схематизма, серости, односторонности, как создавать искусство боевое и притом глубоко человечное.

К. С. Станиславский учил актеров, как от искусства

представления, то есть такого, когда на сцене лишь изображают определенного героя, перейти к искусству переживания, то есть создавать образ изнутри, а не внешне. Это поучительно и для поэтов при условии, что в настоящей поэзии, как известно, героем является сам поэт. Такому поэту-герою должна быть присуща богатая эмоциональность, и, конечно, исключается упрощение его чувств и взглядов. Это не означает отказа в поэзии от повседневности, напротив — открыто призывает к ней; это не исключает из поэзии революционность, потому что революционность не нечто внешнее — Волькер об этом прекрасно говорит, — а отношение к действительности. Революционность не запрещает воспевать любовь, близко чувствовать природу, красоту жизни, не отменяет богатство эмоционального мира, как полагают многие, а наоборот.

У нас бывало, что поэты вместо полных, богатых жизненных переживаний предлагали нам поэзию, в которой зачастую лишь изображались революционность, внимание к политике, актуальность. Однако подобное может случаться и впредь, если поэт только внешне изменяет свое отношение к действительности, если он будет обращаться, например, к любовной поэзии лишь в надежде уберечься от серости и однобокости.

В нашей поэзии существует до сих пор и еще одна опасность, вытекающая из ошибочного представления, будто борьба за новую жизнь уже давно позади, будто времена боевой поэзии уже ушли в прошлое, будто поэтом-борцом мог быть, например, только Пабло Неруда, будто боевая поэзия могла родиться лишь в странах, находящихся под игом, будто у нас все уже завоевано и наш путь к социализму требует не борцов, а лишь тех, кто воспевает победу, будто конфликты в нашей жизни ограничивались только мелкими недостатками и трудностями, которые мы преодолеваем.

Нам хорошо известно, что боевой дух искусства — в его правдивости и что художник во всей широте и глубине должен знать правду жизни. Такую правду жизни переживал всем сердцем, чувствами и разумом Иржи Волькер. И сердце, чувства, равно как и свое убеждение коммуниста, вкладывал он в поэзию. Поэтому в ней он предстает как человек глубоко гуманный, со всем своим эмоциональным богатством, поэтому он развивал свою образность, свое поэтическое искусство, желая создавать искусство поистине новое.

Всем этим Волькер чрезвычайно близок нашей современной поэзии. Поэтому особенно нашим молодым поэтам может быть очень полезно, если они будут учиться у Волькера и изучать его.

Точно так же Волькер может быть учителем и нашей молодой литературной критики. Прежде всего это касается мужества и смелости, с какими он сумел теоретически сформулировать основы революционного искусства, творчески развивал теорию социалистического искусства, всегда мог увидеть в искусстве его основные черты.

Но как учиться у Волькера? Это вопрос более широкий. Это вопрос о том, как вообще учиться у мастеров литературы. Здесь до сих пор много неясностей. Молодые критики и молодые поэты порой сетуют: «Нас никто не учит. Наши учителя мало обращают на нас внимания. Они должны бы нам больше помогать». Часто ссылаются на то, что Иржи Волькер имел великолепного учителя в лице Зденека Неедлы, а Юлиус Фучик — в лице Ф. К. Шальды, что учителем обоих был также поэт С. К. Нейман. Это верно! Но не надо полагать, будто Зденек Неедлы давал какие-то уроки Иржи Волькеру, а Ф. К. Шальда — Юлиусу Фучику. Бесспорно, опытные писатели и литературные критики должны помогать молодым. Но разве не предлагают они эту помощь прежде всего своим творчеством? Фучик учился у Шальды, Неедлы и Неймана, прежде всего изучая их идеи, их творчество, и именно так учился и Иржи Волькер. Такое глубокое понимание творчества учителя и проникновение в дух его творчества и есть та настоящая учеба, плодотворная и творческая, которая приносит пользу.

Бесспорно, нынешняя литературная молодежь имеет в этом смысле гораздо больше учителей, чем это было раньше, в прошедшие времена.

Поэтому можно учиться у Волькера и нужно учиться у Волькера. Конференция, посвященная творчеству Волькера, показала это со всей настоятельностью.

**1954 г.**

## *2*

В 1970 году Иржи Волькеру исполнилось бы семьдесят лет. Он умер в двадцатичетырехлетнем возрасте от пролетарской болезни — туберкулеза. Почти полстолетия прошло с той поры, когда журналы «Червен», «Пролеткульт» и газета «Руде право» публиковали его стихи, которые звучали буквально на всех собраниях коммунистов. Не было другого поэта, который имел бы столь громкое имя среди рабочих, как Иржи Волькер. Были, правда, и другие молодые поэты, которые шли тогда его путем, например Ярослав Сейферт, А. М. Пиша, но Волькер с точки

зрения художественной и идейной был наиболее зрелым из них, глубже понимал сущность марксизма и лучше всех выразил свое революционное убеждение в поэтических произведениях, имеющих непреходящую ценность. Стихи Волькера, родившиеся из глубоко пережитого, были простыми, ясными, удивительно проникновенными, честными; они отличались свежей поэтической образностью, чисто волькеровской, отображали поистине новую действительность, близкую людям, и потому привлекали к себе внимание.

«Это был ваш поэт, товарищи, о котором вы не можете и не имеете права забывать» — этими словами С. К. Нейман закончил в 1946 году свое предисловие к книге избранных произведений Волькера, предназначенных для широкой читательской аудитории.

Как метко это сказано!

Волькер действительно был поэтом рабочих, пролетариев, революционных масс трудящихся. Он вышел из мещанской семьи, довольно состоятельной, но мещанином не стал. Всем своим существом поэта он был связан с революционным рабочим классом и отдал свой незаурядный талант его борьбе.

Это было полное отождествление себя с революционным марксизмом, с ленинизмом, с коммунистической партией; Волькер отвергал любое извращение научного социализма, любой мелкобуржуазный утопизм. Даже тогда, когда он не был достаточно философски образован, он полемизировал с утопистами, фантастами и романтиками, мечтавшими о революции как о каком-то чуде, которое установит рай на земле и приведет к тому, что из мира исчезнет все дурное, а каждый человек станет святым. Он возражал таким мечтателям, говоря, что тогда трудящемуся люду не оставалось бы ничего иного, как умереть или отрубить себе руки, потому что не было бы ни работы, ни жизни.

Он не гонится за химерами:

> «Фабрики стихами, к сожалению, не социализируешь. Экономическую революцию с их помощью тоже не совершим и не будем пытаться этого сделать. Но коль скоро мы взываем к сердцу, то стремимся, чтобы наш голос не угас в нем, а, пройдя сквозь сердце, дошел бы до самых мозолистых кулаков. Сердце стало сегодня образом слишком абстрактным, и мир, в общем-то, не особо придает ему значение».

Таков был ответ Волькера тем, кто отбрасывал научный марксизм и превозносил в противовес ему революцию сердца, то

есть так называемый «социализм», вернувшийся к нам полстолетия спустя под новыми лозунгами вроде «социализма с человеческим лицом», «демократического социализма» и т. д. Для Волькера это уже в его время казалось туманным. Он стоял за социализм, опирающийся только на Маркса и Ленина, потому что только такой социализм переходит от теории к жизненной практике.

Просто удивительно, как всего лишь двадцатилетний Волькер высказывает свое мнение об абстрактном социализме, отвергая его, поскольку под ним каждый может представить себе что угодно, и именно этим подобный социализм в конечном счете приемлем для врагов социализма:

> «Если какую-нибудь глубокую мысль мы будем слишком пространно толковать и истолкуем так, что каждый может ею прикрыться, лишим ее всякой остроты, если мы откажемся принимать на себя всякий риск, связанный с ней, и красивым голосом будем восхвалять результаты этой операции, то тем самым пробудим «энтузиазм» в чехословацком народе».

Разумеется, само время способствовало тому, чтобы мировоззрение Волькера выкристаллизовалось. Окончилась первая мировая война, буржуазный гуманизм показал свое подлинное лицо в кровавых бойнях, в России победила пролетарская революция, и ее влияние распространялось по всей Европе. Известную роль сыграл и жизненный опыт волькеровского поколения. Фучик метко говорит об этом, вспоминая свое начало:

> «Я рос во время войны. Для подрастающих это имело особое значение. Кому в начале войны было двенадцать лет, тот видел события к концу войны, хотя еще и детскими глазами, но уже с опытом двадцатипятилетнего».

С Волькером было примерно то же. Первая его книжка — «Гость на порог» — лирика юного сердца, мир, увиденный глазами юноши, верившего в его волшебство, сказочность. Но мальчишеское сердце поэта взрослеет, сказывается жизненный опыт, и наступает «Час рождения» поэта, в результате которого он обретает новое сердце, воинственное и непримиримое. Сборник «Час рождения», представляющий собой вершину творчества Волькера, буквально монашески строг, поэт отбрасывает аполлинеровский стих, так завороживший его своей поэтической формой, и создает поэзию, которую безоговорочно ставит на

службу пролетариату. Из поэтов, которые какое-то время идут вместе с ним, Волькер — единственный, кто не подвержен сухой агитационности, поверхностности и преходящей бессодержательности. Из тогдашних молодых он стал наиболее глубоким, создал наиболее чистую форму поэзии, про которую знал, что она еще не вполне отвечает понятию подлинно социалистической поэзии, поскольку вырастает на переломе двух эпох, а следовательно, даже если в ней уже существуют многие признаки нового, она еще в значительной степени отражает влияние старого мира в силу некоторых эмоциональных и формальных связей. Но эта поэзия уже не имеет ничего общего с мещанской сентиментальностью, с плаксивой «социальной» поэзией, отображающей пассивного угнетенного человека. Поэзия Волькера стремилась быть прежде всего действенным оружием рабочих, борющихся за социалистический мир. Его герой — трудящийся человек, рожденный для весны жизни, которую он должен для себя завоевать, рабочий, являющийся самой реальной реальностью, человек с пламенным сердцем и с классовой ненавистью, воспитанный жизненными трудностями, создатель ценностей, как Антонин из «Баллады о глазах кочегара», как те люди с заводов и чердаков, с прекрасными мечтами:

> …Люди из плоти и крови, наследники мира, земного создатели рая,
> чудный сон убивают они, в несомненную явь претворяя… [31]

Эта поэзия написана для чтения вслух. Там, где ее читают и декламируют, она зажигает в сердцах слушателей коммунистические идеи. Она производит захватывающее впечатление своей простотой, своей убедительностью, своей революционной этикой, своим пафосом, своей образной силой, с какой она доходит до сердца и ума слушателей. Волькер — поэт, которому нельзя не верить. Поэт рабочих. Поэт, которому, доживи он до зрелых лет, ничего из созданного им не пришлось бы оправдывать наивностью. Поэт, который имел свою классовую честь. И свое лицо. Волькер не был поэтом для эстрады. Он был не из тех, кто меняет свои убеждения. Он читал на собраниях коммунистов, на рабочих и студенческих вечерах передовой молодежи и делал это не для развлечения публики. Для сотен слушающих его это был праздник культуры. К ним впервые обращалось настоящее искусство, и это искусство было их искусством. Поэт был одним из них. Он не надевал маску шута или арлекина, у него не было честолюбивого желания вызвать

восторг, как у эстрадного куплетиста или клоуна.

Некоторые его друзья — кто-то раньше, кто-то позже — дезертировали, отошли от знамени. Дезертирство — не новость для литераторов иного эмоционального склада и имеющих иные намерения. Впрочем, они и не создали ничего значительного. Разве могут они сравниться с Нейманом, Горой, Волькером. Во многих странах в ту пору началась стабилизация капиталистических устоев, поэтому в среде рабочих стала утрачиваться революционная перспектива. Для коммунистов же наступил полный мучений период длительных боев, репрессий и преследований. Это не прибавляло оптимизма. Лишь самые мужественные остались верны. Для Волькера революционным поэтом был тот, кто мог слиться не только с победившим революционным рабочим классом, но и с еще ожесточенно борющимся. И слиться с ним не только эмоционально, но и в силу глубокого убеждения, что иного пути нет.

В чем состояла «пролетарская мудрость» Волькера?

Волькер так определял ее в своем докладе о пролетарском искусстве на вечере «Вара»:

> «Она не мечтает о райском блаженстве, она хочет человеческого счастья в рамках возможности мира. Я писал уже ранее по этому вопросу, что пролетарское искусство отходит от безответственного витания в облаках и приближается к сознающей свою ответственность человечности, что оно хочет конкретного изменения конкретной действительности. Такое изменение возможно, и человеческое мужество в состоянии добиться его».

После таких размышлений напрашивается вопрос: осталось ли что-то живое из волькеровского наследия спустя пятьдесят лет, прошедших с момента рождения его как поэта?

Естественно, да. Народ живет прогрессивными традициями, сознанием взаимосвязи между сегодняшним днем и тем, что в прошлом оправдало себя как ценность, что вмешивалось в жизнь и влияло на нее. Разумеется, такие ценности, без которых ни один народ не является народом, не могут появиться буквально за неделю, просто для удовольствия, как нечто парадное и праздничное, чем можно время от времени похвастаться, но что не годится на каждый день. Ценности существуют прежде всего для того, чтобы быть живой памятью народа, компасом и ежедневным спутником на его пути. Творчество Волькера принадлежит к ним вне всяких дискуссий.

Иржи Волькер.

Для сегодняшнего человека, завороженного субъективистскими произведениями Запада, Волькера, очевидно, уже мало. На вопрос, имеет ли Волькер еще какое-нибудь значение, культурный сноб наверняка ответит отрицательно. Чем для него может быть сегодня актуален Волькер? Своей верностью коммунизму, партии и рабочему классу? Своей этикой и своим классовым подходом к основным вопросам этого мира, подходом, не имеющим ничего общего с абстрактным гуманизмом и мелкобуржуазной идейной неустойчивостью? Своим противодействием по отношению ко всевозможным формам декадентского субъективизма? Или простотой и ясностью своих стихов, которым чуждо бесплодное «искусство для искусства» и формалистический произвол?

Вряд ли можно утаить, что существует несомненное различие между поэзией Волькера и сегодняшними произведениями. Было бы неверно полагать, что за несколько десятков лет поэзия, в своей лучшей части, не слишком продвинулась вперед в вопросах формы, смыслового значения слова, метафоричности и диапазона. Поэтический язык со времен Волькера достиг поистине несравнимых высот. Способность поэзии сделать свой инструмент более утонченным и проникать в душевные состояния человека, конечно, достойна уважения. Равно как ее необычайная образность. У нее более широкий размах. Она тоньше и сложней, как сложнее чувства нынешнего человека. Но какова ее общественная роль? Может ли она вообще по своей общественной ангажированности сравниться с Волькером?

Я имею в виду лучшую сегодняшнюю поэзию. Не ту, которая представляет собой лишь пеструю смесь из модного фантазирования и пассивного отражения болезненности чуждого мещанского мира. Не ту, для которой нет иного честолюбия, кроме как усложнение усложненной жизни эгоистичного и корыстолюбивого человека, неспособного вдохновиться какой-то истинно возвышенной мыслью и служить ей самоотверженно и бескорыстно. Не ту, которая заставила эмоциональность служить аморальности, вульгарности, сексу, анархизму и цинизму, которая кичится своей зашифрованностью, своим экспериментированием, доведенным до абсурда.

Иржи Волькер все это знал, потому что ничто не ново под луной. Он был против мещанства, прикрывшегося позой самого современного прогресса. Мещанство имеет множество особенностей, и так же, как от него можно избавиться, им можно и заразиться даже там, где для этого вроде бы и нет предпосылок. Стоять над обществом, считать себя лучше других людей, называть себя элитой духа, которой предопределено занимать высокие посты, — вот некоторые из особенностей этого мещанства.

Волькер актуален и потому, что подставляет зеркало даже тем представителям этого мещанства, которые носили в кармане такой же партийный билет. Он актуален той нравственной чистотой, с какой выступил за единственно прогрессивный мир и высказал его правду, увиденную с классовой точки зрения. И тем, что отобразил героев этого мира глубоко человечно и шел бок о бок с ними, неподкупно и верно.

**1970 г.**

…Редкостной была многосторонность Волькера, удивительным размах его творчества. От поэзии к прозе и драме, от литературной критики к теоретическим статьям, в которых он точно сформулировал задачи и позиции революционной литературы. Он был поэтом мужества, поэтом действия, который за пять лет своей творческой жизни словно хотел высказать все, что переполняло его сердце и душу.

Если мы будем изучать наследие Волькера, если прочитаем все его произведения, бережно изданные его ближайшим другом А. М. Пишей, перед нами, словно фильм, пройдет драматическая, стремительная художественная эволюция Волькера от ранних стихов до первого сборника «Гость на порог» и от «Часа рождения» до баллад и стихов, оставшихся после его смерти.

Иржи Волькер в июне 1921 года издает первую книгу своих лирических стихов, «Гость на порог», а за его плечами уже богатое поэтическое творчество. Вышел тоненький сборник, состоящий из тридцати двух строго отобранных стихотворений, имеющих четкую концепцию. Сам автор называл эти стихи юношеской поэзией, считая, что это — выражение поэтического юношеского сердца. Действительно, стихи полны нежности, смирения, чистоты души и чувств, поразительной образности, из которой возникает мир поэта, где вещи живут в содружестве с человеком, где господь бог ходит по улицам с сумой и посохом, как нищий, который спит где-нибудь на сене. Дни поэта идут один за другим, словно вагоны праздничного поезда. Поэт хотел бы, чтобы печи полнились хлебами и пирогами, чтобы во время жатвы солнце было гениальным поэтом, написавшим красивое стихотворение золотым пером по земле, где окно — стеклянный корабль, а смерть лишь белое распятие на развилке в поле, где зимой на площади туман и снег разыгрывают свои колядки.

Через год после первого поэтического сборника выходит «Час рождения» Волькера с такими стихами, как «Глаза», «Море», «Баллада о сне», «Баллада о неродившемся ребенке» и «Баллада о глазах кочегара». В этой книге поэт прощается со своей юностью, со своим юношеским сердцем, которое было «запевкой» и которое умирает в тот трудный час, когда у него рождается новое сердце, «непримиримое и храброе» сердце мужчины, сердце — горн, призывающий к борьбе.

В этой второй поэтической книжке мужественная и активная поэзия Волькера зазвучала с новых позиций. Это новое сильное слово поэта. Вот как, например, звучит оно в одном из самых ярких стихотворений — «Море»:

Играй! Ты мне всех милее, шарманка — хриплая птица!

Мир — те, кто дает ему пищу, чтоб жить и самим кормиться,
а море — это мы сами, чьи мускулы ходя, волнами.
И явственней нету, чем явь, творимая нами![32]

После «Часа рождения» осталось еще много значительных стихов. Большую часть их составляют стихотворения, написанные во время болезни поэта и в последние дни его жизни. Эти стихи, когда поэт уже стоит лицом к лицу со смертью, поражают своим мужеством, и в этом мужественном прощании с жизнью мы находим те же черты пролетарского героизма, с какими позднее встретимся у Юлиуса Фучика, осужденного на смерть:

На койку немощного свет упал,
он под бинты проник, тревожа боль мою.
Товарищи идут за справедливость в бой,
товарищи идут — все, как один, в строю.

На койку немощного свет упал,
и дышит на нее из мрака ночи смерть.
Но почему идти я с вами не могу?
Я пасть хотел в бою, а должен умереть[33].

Это стихотворение, наряду с «Эпитафией», является финалом поэтического и драматургического творчества Волькера, завершившегося с кончиной поэта в начале 1924 года.

После смерти Волькера творчество его товарищей пошло иными путями. Словно волькеровская революционная этика связывала им крылья. И после периода культа поэта, в котором он не был повинен, когда к поэту пролетариев и коммунистов начало проявлять свою благосклонность и мелкобуржуазное общество, пытавшееся притупить острие его поэзии и приспособить ее для своих нужд, настали времена, когда лишь рабочие остались верны его завету. Творчество Волькера подверглось критике с мелкобуржуазных позиций. Волькер вдруг сделался поэтом, стоящим на сентиментально-социальных позициях, за его творчеством не признавали революционности, он был объявлен посредственным поэтом, его «Часу рождения» противопоставили книжку «Гость на порог», раздавались даже некоторые голоса, вообще высказывающие сомнения в ценности творчества Волькера, признающие отдельные поэтические достоинства лишь за некоторыми стихотворениями, написанными в последние минуты его жизни.

И именно С. К. Нейман, Витезслав Незвал, Юлиус Фучик и Зденек Неедлы подняли свой голос в защиту творчества Волькера и не позволили принизить значение поэта.

В истории нашей литературы хватает подобных конфликтов. Вспомним кампанию против Галека, Врхлицкого, споры о Махе, Ирасеке или в музыкальном мире — о наследии Сметаны и т. д. Но время проверяет жизнеспособность художественного творчества, с годами всегда становится ясно, каким ценностям нечего сказать жизни, а какие и на новых этапах общественного развития остаются нужными и живыми. Такую проверку временем в течение последнего полувека прошло и творчество Волькера.

Сегодня уже нет сомнений в том, что творчество Иржи Волькера — это одно из основных звеньев нашей социалистической литературы. Оно проверено историей, закалено в борьбе за социальную свободу трудящихся, за победу социализма в нашей стране. Творчество Волькера является значительным вкладом в нашу культуру. В нем правдиво, с художественной силой выражены основные черты нашего мира после первой мировой войны, рост революционного сознания трудящихся Чехословакии и их вступление в борьбу за конечную победу. В поэзии Волькера и в его программных статьях — история нашей коммунистической партии на этапе кульминационных боев. Наиболее ценным и решающим является то, что поэзия Волькера, впитавшая эту действительность, осталась поэзией, что она запечатлела во всей глубине подлинные чувства трудового человека, его любовь и ненависть, равно как и значение классовой борьбы рабочих и трудящихся. Этим она доказала, что искусство, осененное ленинской партийностью, не только ничего не теряет, наоборот, оно становится более сильным, и благодаря этому сохраняет свою актуальность и на будущее.

Наследие Волькера и поныне свидетельствует о том, что поэт, который стал поэтом и певцом народных масс, более поэт, чем тот, кто придает поэзии какое-то иное значение. В годы после первой мировой войны одновременно с Иржи Волькером заявила о себе плеяда молодых поэтов, но большинство из них уже поглотила история. Живыми остались те, чье творчество глубоко уходит своими корнями в почву, которую перепахала и взрыхлила пролетарская Октябрьская революция. Живым осталось творчество, ставшее частью борьбы нашей коммунистической партии, которая явилась исторической силой, способной создать новую культуру. Поэтому жива и будет жить поэзия Йозефа Горы, Индржиха Горжейши, Витезслава Незвала, Константина Библа, Иржи Тауфера, Ф. Бранислава, Л. Новомеского и идущих по их

стопам других молодых поэтов; потому останется живым творчество таких прозаиков, как Мария Майерова, Иван Ольбрахт, Владислав Ванчура, Мария Пуйманова, Петр Илемницкий и другие.

История нашей коммунистической партии — это не только история классовых боев, но также история борьбы с буржуазной идеологией, история борьбы за новую, народную культуру и новое, социалистическое искусство.

Благодаря своей исторической миссии наша коммунистическая партия, как партия совершенно нового типа, сделалась притягательной силой для большей части лучших художников. Уже в период предмюнхенской республики вместе с партией верно шли поэты, архитекторы, музыканты, художники, скульпторы, большинство учителей, то есть передовая интеллигенция, даже если это означало впасть в немилость у буржуазии и подвергнуться преследованиям и произволу со стороны аппарата властей.

Сотрудничество с творческой интеллигенцией, во главе которой стояли такие художники, как С. К. Нейман, Иржи Волькер, Юлиус Фучик, Бедржих Вацлавек, — это одна из самых значительных страниц нашей партии. Почему так было, почему так происходит и сейчас? Потому что мастера культуры поняли: партия борется за высокие и возвышенные жизненные идеалы, партия проповедует правду, идет на жертвы во имя осуществления своих целей.

Верная ленинскому пониманию культуры и искусства, коммунистическая партия сразу после освобождения{290} восстановила эти свои традиции и содействовала включению творческих работников в борьбу за широкую демократизацию культуры, достижение новых целей нашей освобожденной страны.

Несмотря на попытки буржуазии отвлечь культурный фронт от этих целей, истинно честные художники остались верны партии, а тем самым и самим себе. Эта верность помогла им создать простор для собственного творчества, как создал его для себя в начале двадцатых годов Иржи Волькер. Партия никогда не стремилась к тому, чтобы художники походили друг на друга, чтобы поэты излагали в стихах политические тезисы. Она требовала от каждого мастера, чтобы он был самим собой, чтобы в рамках партийности находил применение своим индивидуальным творческим особенностям, чтобы творчество его отличалось образностью, чтобы он полностью отдал свой талант своему народу, создавая произведения искусства, которые воздействуют на человека и воспитывают его в духе нашего социалистического мира.

Творчество Иржи Волькера представляет собой один из краеугольных камней нашей социалистической культуры. Оно вечно живо и поучительно в том смысле, что связь художника с народом, с его культурными интересами и запросами определяет его идейный масштаб, без которого художественное произведение — мертвый цветок.

Позвольте мне здесь процитировать мысли Иржи Волькера, которые для социалистического поэта и писателя по сей день являются мобилизующими.

> «Пролетариат — это труженики нового мира. Художники хотят быть в нем творцами новой красоты».

В заключение я хотел бы сказать еще следующее: из этой статьи у некоторых читателей может сложиться ошибочное впечатление, будто поэт Иржи Волькер был каким-то гением, который за пять лет своей творческой жизни создал произведения, не имеющие себе равных, что, учась в университете, он каким-то чудом сделался поэтом трудящихся, хотя происходил из состоятельной семьи.

Мы познакомились с основными обстоятельствами, сформировавшими талант Волькера. Его поэтическое созревание происходило в годы первой мировой войны. Сильно притягивала действительность новой России, рожденной Октябрьской революцией. Оставило след влияние поэта С. К. Неймана и профессора Зденека Неедлы. Все это оказало глубокое воздействие и на поэтические жанры Волькера. В идейном отношении, по своему мировоззрению он является зрелым, а в поэтическом творчестве — абсолютно самостоятельным, отличающимся мастерством, образностью, направленностью от поэтов своего поколения. Как это сложилось?

Разумеется, многое дала ему семья. Его свободомыслящая мать Здена Волькерова направляла способности и интересы сына на музыку и литературу. Сказалось и влияние классного руководителя в гимназии Докоупила, который сумел разглядеть незаурядный талант Волькера. Сыграл тут свою роль и родной город Простеев, где было сильное рабочее движение, имевшее опыт стачек, классовых боев и демонстраций, которые не прекратились даже во время первой мировой войны. Иржи Волькер еще мальчиком, став скаутом, узнал, что такое коллективизм, он имел близких друзей среди рабочих. Отсюда его интерес к жизни трудящихся, любовь к природе, которые, начиная с первых литературных опытов, сопровождали его поэзию до самого конца.

Неповторимость его поэзии не упала с неба. В ранних стихах

еще отчетливо видно влияние, оказываемое на Волькера поэтом Антонином Совой, а главное, Франей Шрамеком, чья чувственная лирика, сильная и покоряющая, оказала воздействие на все послевоенное поколение поэтов. Некоторые элементы Волькер перенимал и у современной французской поэзии, особенно у Аполлинера. Но когда он понял опасность этого влияния, обратился к Эрбену{291}. Эта связь с народной традицией видна в его балладах.

Чтобы проследить, что направляет поэтический талант, требуется более глубокое выяснение взаимоотношений и взаимосвязей. Тут важны и дружба, и характер поэта, и его человеческая сущность. Нельзя забывать, что решающими для каждого таланта являются не только внешние обстоятельства, но и то, как сам поэт по своей доброй воле намечает цели и пути творческой работы в соответствии с тем, как он сформулировал свое отношение к жизни, к действительности, к обществу.

Иржи Волькер поставил перед собой высокие цели. Его талант был из ряда вон выходящим. Волькер сердцем и умом устремился к жизни трудящихся, к их классовой борьбе, понял, кому принадлежит будущее. В этом его вдохновение черпало свою силу и нашло ту почву, на которой вырастали самые прекрасные цветы его поэзии.

Когда в 1946 году С. К. Нейман издал книгу избранных произведений Волькера, он заключил свое предисловие к ней словами:

> «Это был ваш поэт, товарищи, о котором вы не можете и не имеете права забывать».

Эти слова сохраняют свою силу и поныне!

**1980 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# Эгон Эрвин Киш

29 апреля 1982 года исполнилось 85 лет со дня рождения Эгона Эрвина Киша. Прежде чем начать писать об этом, я решил пойти посмотреть на дом под вывеской «У трех золотых медведей», в котором родился писатель и который находится на перекрестье двух улиц — Мелантриховой и Коженой, в той части Праги, которая именуется Старым городом. Этот дом сейчас ремонтируют. О Кише здесь напоминает мемориальная доска. Но мне пришла в голову мысль, что если бы все зависело от моей воли — я, право, не знаю, какие планы на этот счет имеются у наших городских властей, — то я открыл бы в доме под вывеской «У трех золотых медведей» музей Киша. Для этого совсем не требуется занимать весь дом. Вполне хватило бы одной комнаты. Той, в которой находился рабочий кабинет Э. Э. Киша (минуло почти пятьдесят лет с той поры, когда он впервые принял меня, совсем незнакомого ему молодого человека, в этом своем кабинете). Я разместил бы в нем все то, что касается его жизни и творчества, все, что напоминает о нем. Разместил бы книги и вещи, которые пылятся сейчас в хранилищах Музея национальной письменности и будут еще, наверное, долго пылиться, потому что едва ли когда-нибудь для них найдется более подходящее место, чем здесь. Эти книги и вещи, как и то, что удалось бы разыскать дополнительно и что пока находится бог весть где, я и собрал бы в бывшей рабочей комнате Эгона Эрвина Киша.

С какой целью?

Во-первых, Киш был уроженцем Праги, прекрасным писателем, зачинателем современного репортажа. Во-вторых, его имя всецело принадлежит чешской литературе: несмотря на то, что он писал по-немецки, его произведения выходили в переводе на чешский язык одновременно с оригиналами, благодаря заслугам переводчицы Ярмилы Гаасовой-Нечасовой, долгие годы сотрудничавшей с писателем. В-третьих, среди пражских немецкоязычных писателей Э. Э. Киш был, пожалуй, единственным, кто, несмотря на склонность к странствиям, наперекор вынужденным скитаниям по свету неизменно хранил верность родному городу, непременно возвращался в него. Прага всегда оставалась для него ничем не заменимым отчим домом. И если для таких художников, как Франц Верфель, Райнер Мария Рильке, Макс Брод и другие, пребывание в Праге воспринималось лишь как прекрасный эпизод, то сердцу Киша она была дорога на протяжении всей его жизни. Прага вскормила его, выпестовала его характер. Его шутки, остроты, юмор восходят к тому же

источнику, из которого черпали Гашек, Лонген и веселая пражская богема начала XX столетия. И наконец, творчество Эгона Эрвина Киша буквально пропитано атмосферой, духом чешского окружения, в его произведениях события, судьбы людей, их образы несут на себе печать неповторимого пражского колорита.

После Яна Неруды у нас не было другого писателя, который бы так проникновенно знал старую Прагу, так человечно, страстно воссоздал ее облик. Достаточно обратиться к героям Киша — многочисленным фигуркам тех, кто населял старопражские кварталы: к образу уличного певца, к образу слепого Мефодия из «Ярмарки сенсаций». Или взять хотя бы его полицейских, детективов, завсегдатаев ночных заведений, жителей пражских предместий и трущоб, старомодных журналистов. Или все те же скандальные, незначительные или шумные аферы, возмущавшие спокойствие Праги. Разве не подобен весь этот мир обыкновенных, маленьких людишек тому, который был создан Нерудой? А эта столь превосходно прослеженная цепь мелких трагедий, растекающихся и расползающихся по непохожим одна на другую старопражским улочкам, кафешантанам, полицейским участкам, больницам, тюрьмам и судам? А эта мелкая суета людей, по большей части родившихся под несчастливой звездой и понапрасну мечтающих о лучшей доле? А этот мир, угасающий под напором хищного современного буржуа?

Киш высоко ценил Яна Неруду. Он восхищался тем, как тот отображал «внутренний мир», и ставил своего любимого писателя в один ряд с Диккенсом. Вполне очевидно, что на него оказали влияние «Малостранские повести» Неруды. Однако у этих писателей были еще и другие сходные черты, благодаря которым Неруда стал Нерудой, а Киш — Кишем.

Что касается Яна Неруды, то Юлиус Фучик в «Репортаже с петлей на шее» говорит об этом:

> «На него налепили ярлык любителя малостранской идиллии и не видели, что для этой «идиллической» старосветской Малой Страны он был «шарлатаном», что родился он на окраине Смихова, в рабочем центре и что на малостранское кладбище за своими «Кладбищенскими цветами» он ходил через Рингхоферовку»{292}.

Киш родился в пражском Старом Месте. С детских лет его окружала та же среда, что и Неруду. Это была чешская Прага девяностых годов, Прага рабочих, пролетариев, ремесленников,

бродячего люда, заполнявшего старинные улочки и дворики вокруг Староместской площади. Непоседливый и любознательный мальчик из старинной немецко-еврейской семьи встречался с ними на каждом шагу. Киш был дитя улицы, и этот мир народных низов во всей его красочности, ядрености, а иногда какой-то франтоватости, мир озорства и бунтарства против существующих порядков навсегда покорил его. Возможно, в этом кроется одна из главных причин, почему Киш сумел подняться над големовской романтикой, почему осталось чуждым для него еврейское гетто и почему он не попал в сети эстетского круга немецких писателей-сверстников. Почему Ярослав Гашек был для него гораздо ближе, чем Рильке или Макс Брод.

Другим чешским писателем, к которому с большим уважением относился Эгон Киш, был Петр Безруч. Он виделся с ним лишь однажды, и то уже в конце своей жизни, вскоре после освобождения, когда по возвращении из Мексики задумал написать книгу о новой Чехословакии и, собирая материал, посетил также и город Злин. После встречи с Безручем Киш, в частности, писал в своих «Заметках»:

> «Это был Петр Безруч, который некогда широко распахнул для меня двери в мир социальной литературы и помог мне понять, в каком рабстве пребывает чешский народ. Он пробивал для меня в искусстве дорогу к знаниям, следуя которым я легко пришел к скульптуре Константина Менье и стихам Поля Верлена, а затем — к мировоззрению, которому остался верным навсегда».

Свой путь журналиста Эгон Эрвин Киш начал в редакции пражской газеты, выходившей на немецком языке, куда был принят на должность репортера. Он должен был следить за полицейской хроникой, криминальными и всякими другими событиями и происшествиями. Примерно в это время и формируется будущий прославленный журналист. Уже здесь, в редакции, проявилась его способность быть повсюду, где происходит что-то интересное, заслуживающее внимания. Уже тогда зарождается его вошедшее в пословицу стремление во что бы то ни стало добраться до истины, что Киш считал делом своей чести. В погоне за фактами он сам зачастую перевоплощался в криминалиста и детектива: мелочи, казалось бы на первый взгляд незначительные, нередко открывали для него завесу на вещи очень серьезные. Возможно, даже незаметно для самого себя Киш шел от конкретного к общему, от судеб отдельных людей к судьбам общества. С помощью шутки, юмора, иронии он начинает обличать общественное зло. Началась война. Эгон Эрвин Киш

призван в армию. Потом известие о первой в мире социалистической революции, а затем революционные события в Вене. И Киш становится коммунистом. Это произошло абсолютно органично, потому что он научился познавать правду, потому что научился отличать белое от черного, а Маркс и Ленин по-научному обосновали для него то, что постигалось им на собственном опыте. Глубина и широта их знаний захватили писателя, стали для него образцом, он учился у них точности, обстоятельности, уважению к фактам, статистике и реальной жизни.

Эгон Эрвин Киш.

Книги Киша являются образцовыми учебниками, воспитывающими подрастающую молодежь в социалистическом духе. Я отнюдь не против того, чтобы она увлекалась песнями наших популярных эстрадных певцов. Я — за это. Но если бы в душах молодых людей не нашлось места ни для чего другого, то

этого было бы невероятно, до отчаяния мало. Нашей молодежи следовало бы побольше читать такие книги, как «Цари, попы, большевики», «Американский рай», «Высадка в Австралии», «Открытия в Мексике». Все эти произведения Киша, взятые вместе, несут правдивую информацию о современном мире. О том, чего достиг человек, о том, как он сам сумел осложнить свою жизнь, о бедах, которые принесли людям эгоизм, золото, милитаризм, шовинизм, жажда денег, наживы, бешеное накопительство, погоня за рынками. О судьбе человека, который рассчитывает только на собственные руки. О том, что надо делать, как бороться против социального зла.

Киша интересует подъем производства, современная техника, наука, трущобы, в которых ютится беднота, «собачьи» кладбища, на которых богатеи хоронят своих четвероногих любимцев, кинематограф, «звезды», спекуляции земельными наделами, негры и индейцы, налоги, убийцы и долларовые короли. Он вглядывается в то, что происходит там, в глубине, за сверкающими, ослепляющими своим блеском витринами. И куда бы Киш ни кинул свой взгляд, он видит не только преуспеяние капитализма, но его неустранимые недуги. С той поры, когда Киш писал свои книги, этих недугов стало еще больше. Как писатель Эгон Киш конкретен, умеет позабавить, заинтересовать читателя, ему чужда скука. Он изображает жестокость и лицемерие капиталистического мира, говорит о неизбывной человеческой мечте об освобождении от пут рабства, о борьбе человека за свое счастье. С каким блеском написаны его репортажи о Стране Советов! Репортажи, в которых он рассказывает о героических усилиях советского народа в первые годы после революции.

Читая Киша, никогда не испытываешь сомнений, на чьей он стороне. Он всегда по левую сторону фронта! Эгон Киш ненавидит войну — он сам пережил эту бессмысленную бойню. Он — заклятый враг фашизма: писателю ведомо его истинное лицо еще со времени гражданской войны в Испании, он был в числе первых узников гитлеровской Германии. Его призвание журналиста — огромный риск. Когда американские власти отказались выдать ему визу на въезд в Соединенные Штаты, он едет туда под вымышленным именем. Когда он спешит в Австралию на Всемирный конгресс против войны и фашизма и ему запрещают сойти с трапа корабля, он не задумываясь прыгает с палубы, с десятиметровой высоты, на прибрежную дамбу, чтобы добраться до берега. Часто он не колеблясь ставит на карту жизнь, только бы добыть правдивые сведения и донести их до читателя. Только бы написать правду, ибо правда — самое действенное оружие.

> «Нет ничего более ошеломляющего, чем подлинная правда, нет ничего более экзотичного, чем окружающий нас мир, нет ничего более фантастичного, чем самые конкретные факты. И нет на свете ничего более сенсационного, чем эпоха, в которую мы живем».

Возможно, именно потому, что книги Эгона Эрвина Киша обладают способностью открывать людям глаза, избавляя их от иллюзий и ложных представлений, сотрудник одного из пражских издательств, узнав о выходе в свет очередного тома сочинений писателя, — а это было в 1968 году, — недовольно заметил: «Опять Киш? Пора бы оставить его в покое!»

Киш, этот неистовый правдолюбец, едва ли мог импонировать тем, кто восставал против правды, поднимал волну лжи и клеветы, прославляя оргии впавшего в фанатизм мещанства, которое ненавидело коммунистов и социализм, строящийся на базе учения Маркса и Ленина.

Действительно, как мог он импонировать им?

Мелкобуржуазный снобизм презрительно отвергает воспитательную роль литературы, ибо испытывает страх перед такой литературой. Однако только писатель, не изменивший правде, может создать произведение, которое остается жить и способно помочь изменить мир к лучшему. Таким был Бальзак, мастер художественного реализма. В «Человеческой комедии» Бальзака Маркс увидел «самую замечательную реалистическую историю французского „общества“»{293}, из которой в смысле экономических деталей он узнал больше, чем из книг специалистов-историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых. Точно так же Лев Николаевич Толстой сумел создать произведения, которые несут правду эпохи и которые переросли его исходные мировоззренческие идеалы, в силу чего Ленин смог назвать его зеркалом русской революции.

Эгон Эрвин Киш не был ни Толстым, ни Бальзаком, хотя в молодые годы тоже пробовал писать романы. Киш стал создателем современного репортажа. И все-таки у него есть что-то общее с Бальзаком и Толстым. Его творчеству свойственна та же способность высвечивать мир во всех его деталях и реалиях. Однако Бальзак изобразил, как писал Маркс, только Францию своей эпохи, а Толстой, по словам Ленина, только часть Европы времени Наполеона. У Эрвина Киша же читатель найдет поучительные свидетельства о жизни всех пяти континентов. И он освещает ее гораздо лучше, чем многие профессиональные экономисты и историки, вместе взятые.

Удивительно, как умел Киш отыскать необходимые сведения,

в том числе и в старых книгах и архивах. В заграничных библиотеках он чувствовал себя как дома. У него самого была самая большая в мире библиотека криминальной литературы, которую разграбили немцы. И все-таки Киш всегда отдавал предпочтение тому, что лично видел и пережил. И всегда он стремился увидеть и пережить как можно больше.

> «Я жался среди тех, кто, окоченев от холода, набивался до отказа в теплушки, стоял в очереди с голодающими в ожидании тарелки супа для бедных, спал в ночлежках с обездоленными, вместе с безработными рубил лед на Влтаве, в качестве помощника плотогонов плавал до Гамбурга, исполнял роли статистов в театре, с завербовавшимися люмпен-пролетариями участвовал в уборке хмеля в окрестностях Жатеца, работал подсобным рабочим на живодерне. И если на моем пути возникали препятствия, то я писал и о препятствиях — зачастую это было даже гораздо интереснее, чем сам сюжет».

Подобному раскрытию правды Эгон Киш оставался верным до последних лет своей жизни.

Эгон Эрвин Киш был известным художником, он в совершенстве владел пером. Если бы его искусство заключалось лишь в сухой регистрации фактов и наблюдений, то едва ли бы оно приобрело столь огромную воздействующую силу на читателя и едва ли бы он стал репортером с мировым именем. И поскольку книги Киша — это волнующие приключения, поскольку они написаны живо и красочно, их с интересом читают и недруги писателя.

Киш всегда был там, где что-то происходило. И его интеллект, его популярность всегда действовали в мире прогресса как великая объединяющая сила. Говоря словами Маркса, он хотел не только изображать мир, но и участвовать в его изменении. Только сам он оставался прежним. Убежденным коммунистом, каким стал однажды и навсегда.

Прав был Эмиль Утиц, автор интересной книги о Кише{294}, когда назвал его фанатиком разума. Однако сердце этого фанатика было ласковым, страстным, полным любви к людям, как сердце Максима Горького.

**1970 г.**

*Перевод Р. Л. Филипчиковой.*

# Зденек Неедлы

Умер Зденек Неедлы.

Завершилось творчество, необычайное по своей широте и богатству мыслей. Окончилась жизнь могучего древа, посвященного в тайны грозовых туч, выросшего из прошлого и устремленного в грядущее, на коре которого оставили свои следы борьба за жизнь, удары ураганов и бурь, о котором писал Верхарн:

> Опилки инея, иголки льда
> вонзаются в его кору глубоко,
> но никогда,
> ни на мгновенье
> не прекращает дерево труда,
> идя путем упорства и терпенья
> к поре прекрасного весеннего цветенья[34].

Величие Зденека Неедлы не носило холодно ошеломляющего характера. Он был прост, полон сердечности, глубокого понимания нужд и стремлений человека. Таким он был уже с юных лет, и поэтому позже ему удалось преодолеть ограниченные рамки профессии историка и ученого и отдать свои знания на службу жизни.

Он сосредоточивал свой интерес на великих личностях нашей истории культуры и сам принадлежал к числу таких личностей. В монументальности творческого размаха и горячей человечности Неедлы, преображавших сердца и умы его поколения и поколений грядущих, проявлялись и свойства характера мастера, близкие Бедржиху Сметане, Микулашу Алешу, Божене Немцовой, Алоису Ирасеку.

О нем писали как об учителе, и он с гордостью принимал это почетное звание. Но он не держался проторенных дорог и отживших основ старого мира. Сама история была для него учительницей и зачинщицей революционных преобразований. А когда он понял, что творцом истории является народ, он везде и всюду стал это пропагандировать.

Его работы в области истории, музыковедения, литературы, монографии, философские и политические статьи, полемика и критика, его эстетика — все несет на себе следы смелой и бунтарской борьбы, цели которой всегда определялись самыми высокими требованиями народа и общества. Поэтому Зденек

Неедлы неизменно стоял на передней линии борьбы, на стороне великих дел, на стороне будущего мира.

В этой основной гуманистической концепции его творчества, направленного из прошлого в грядущее, также заключается его жизненность. Те, кто будет подробно и критически анализировать наследие Зденека Неедлы, найдут в нем и то, что уже поглотила Лета, что когда-то осталось недорешенным, что было обусловлено временем и, разумеется, не лишено заблуждений и частичных ошибок. Но никогда не оскудеет глубокая борозда, проложенная Зденеком Неедлы в нашей национальной почве, из нее взошли мысли, которые останутся живыми и необходимыми для дела коммунизма.

Он был современным, но не в узком, временном значении слова, потому что он понимал свою эпоху и ее главные конфликты и потому что понимал современность в соответствии с идеологией марксизма-ленинизма, к постижению которого он шел в течение всей своей деятельности.

Его знали в нашей республике всюду. Места, где он читал лекции, он изучал по их прошлому и по живому сегодняшнему дню. Он был товарищем рабочих, которые уважали его еще с двадцатых годов, когда он примкнул к их борьбе, он был другом студентов и молодежи, к росту и развитию которой он всегда относился с пониманием. Его честолюбие заключалось в том, чтобы всегда оставаться молодым по образу мыслей, как молод был мир, на стороне которого он стоял. Ему благодарно было за расширение кругозора поколение Иржи Волькера и Витезслава Незвала.

И для грядущих поколений, которые подойдут к его трудам творчески и чутко, он навсегда останется надежным компасом, который не обманет.

**1962 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# Наследие Петра Илемницкого

## *1*

Слово, которое труднее всего дается писателю, которое его преследует и ходит за ним, будто собственная тень, — это слово «правда». Но правда — не нечто окаменевшее и застывшее в неподвижности, время воздействует на нее, как и на все остальное. Когда писатели переселились в города и столицы, их начали справедливо упрекать, что они отрываются от жизни. На что они, также в соответствии с правдой, отвечали: «А там, где мы сейчас живем, — это не жизнь?»

Потом появился Стейнбек со своей неоспоримой правдой и вскричал: «Господи, я столько-то и столько-то лет живу в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и вообще не знаю своей страны. Двадцать пять лет я не вдыхал запаха ее трав, не видел ее вод и гор, ее красок и света. А писать о том, о чем я не имею понятия, по-моему, нечто преступное».

Из этих импульсов возникла его книжка «Путешествие с Чарли в поисках Америки».

Наш писатель до сих пор не отважился сказать подобного, но высказанная Стейнбеком правда касается и нас. Ни Прага, ни Братислава, ни Брно — это еще не вся наша страна. И иногда складывается такое впечатление, что по нашей литературе это заметно.

Петр Илемницкий был последним писателем нашего поколения, для которого подобной проблемы не существовало.

Уже его книга — если не считать первого произведения, «Девяносто девять коней белых», — «Победное падение» родилась не на основе каких-то воспоминаний о пережитом в деревне, а на основе реальных наблюдений. Он всегда писал только о том, что видел вокруг себя, всегда черпал материал из окружающей его среды, которую он досконально знал. Поэтому в его книгах жила неподдельная природа, все имело свой адрес, было конкретным: пленительные кысуцкие ночи, дыхание трнавских свекловичных полей, грусть и красота деревенской жизни, боль, надежды, любовь, мечты, отчаяние и борьба за жизнь и ее будущее — все это было взято из реальности и обрело в его книгах желаемую художественную форму.

Нынче в моде некий универсализм речи, засоренной столичным сленгом — либо на манер американского, либо привязанного к словарному составу языка отдельных

общественных групп, — не несущий никакой функции и не вносящий творческого вклада. В этом огромное различие между Яном Нерудой, вводившим в литературу слова «непричесанные и немытые», и частью нашей сегодняшней молодой литературы. Петр Илемницкий наперекор всем модам остается автором, к которому всегда будет возвращаться литература, если она хочет быть творчеством и не зайти в тупик.

Илемницкий чувствовал себя как дома среди обыкновенных людей, был одним из них, старался постичь богатый народный язык и черпал из него народную мудрость. Он не воспринимал Словакию как край, увиденный глазами туристов. То, что он изображал, было истинно Словакией, истинной, правдивой жизнью этой страны. Читая его книги, мы не раз задаем себе вопрос, как этот простой, скромный сын железнодорожника из Восточной Чехии мог создать такие живые и прекрасные словацкие образы, как Зузка Цудракова или Ева Бурдова, Павел Гушчава, Кореска, Марек, Матуш Репка или Гондаж — герои его книг.

С Петром Илемницким мы прожили почти четверть века и были свидетелями его начала. Он входил в нашу группу «Дав». Когда позволяли занятия в школе, он приезжал в Братиславу, и тогда мы сидели с ним где-нибудь в кафе и рассказывали друг другу обо всем, о чем только можно, но главное — о том, что касалось литературы и политики. Он всегда привозил с собой в сумке новую рукопись, написанную каллиграфическим, изящным, четким почерком так старательно, что ее не надо было перепечатывать на машинке.

С его романом «Победное падение» было немало хлопот. В Словакии не нашлось издателя, который проявил бы к этой книге интерес. Петр тем временем уехал в Советскую Киргизию. Об издании книги он и думать перестал. То же самое было с его книгой «Красная семерка».

Когда Петр Илемницкий появлялся среди нас, он всегда привносил что-то праздничное, сердечное и деревенское, и посидеть с ним было одно удовольствие. Точно так же ему радовались и в Праге. Мы до глубокой ночи бродили с ним по ресторанчикам Старого Места. Ночная жизнь столицы имела для него свою прелесть. Однако жить здесь долго ему вряд ли понравилось бы. Даже когда после освобождения он работал в Москве и Белграде, он скучал по словацкой деревенской жизни. Ведь здесь прошла вся его творческая жизнь, три десятка лет, проведенных в деревенских школах. Только в глубоком единстве с жизнью народа мог родиться этот писатель, который только так мог создать столь сильные произведения, покоряющие своей

поэтической мыслью, своей увлеченностью, своей боевой концепцией.

**1951 г.**

## *2*

В 1930 году Петр Илемницкий так писал в автобиографии:

«В различные школы я ходил двенадцать лет. А когда закончил профессиональную учебу, был желторотым юнцом. Будь то возможным, я только теперь начал бы ходить в школу как ученик. А поскольку это не получается, хожу в школу как учитель.

Мое литературное начало? Разумеется, это были стихи. От этой ошибки я как-то долго не мог избавиться. Излечила меня военная служба и политическая обстановка первых пяти лет после переворота.

В 1923 году меня занесло в Кысуцы, в мир людей отчаянно бедных, в край черных гор и тощих склонов. Там возник мой первый опыт романа — «Победное падение», который попал в печать значительно позже (1929), уже тогда, когда я научился смотреть на мир несколько иначе.

В 1926 году я уехал в СССР. Ринулся через голодную пустыню прямо в самую Киргизию, под Тянь-Шань, неподалеку от монгольско-китайской границы. Потом на Кавказ, на побережье Черного моря, где среди старых чешских и словацких переселенцев прошлого столетия провел почти целый год. А потом Москва, морозно звенящая зимой и дремлющая на солнце летом. Два года, наполненные работой, энтузиазмом, открытиями и познаниями, два года, которые не могли остаться неоплаченным счетом. В результате появилась книжка зарисовок и фельетонов «Два года в Стране Советов» (вышла в Чикаго, в США) и роман «Звенящий шаг».

Поездив по свету, я вернулся в Кысуцы. Сегодня я уже не смотрю на них сквозь окрашивающие все в лирические тона очки, как тогда, когда писал «Победное падение». Меня уже не влекут до такой степени кысуцкие ночи с сиянием Большой и Малой Медведиц. В книжке новелл, названной «Возвращение», я отображаю в основном ту ужасающую кысуцкую действительность, из

которой не только Кысуцы, но и весь мир может найти только один-единственный выход».

Вероятно, необходимо дополнить эту биографию еще кое-какими датами. Прежде всего, упомянуть, что в 1922 году, когда Илемницкий в качестве солдата служил в армии в Банска-Бистрице, он уже вступает в КПЧ и, как сам признается, в ту пору больше времени проводит в секретариате партии, чем в казармах. Там и состоялась его первая встреча с Клементом Готвальдом.

Возможно, нужно также поподробнее сказать и о Кысуцах. Что это за край, в котором Илемницкий узнает Словакию несколько с иной стороны, чем о ней пишет в своей книжке Калал{295}, которая, в сущности, и привела Илемницкого в Словакию.

Кысуцы!

Этот край описывает Иван Галек в книге «Мой путь от Толстого к Марксу»:

> «Скопище деревянных построек с окошками, которые можно закрыть широкополой кысуцкой шляпой, дворики с непролазной грязью и кучами навоза, запах которого смягчается ароматом увядающей хвои, служащей обычно подстилкой для скота вместо соломы. Домишки местами еще курные, такие, где нет ни печи, ни дымовой трубы, а просто очаг посреди комнаты, над которым висит котел, прикрепленный к потолку.
>
> Освещалось все чадящей масляной коптилкой или просто лучиной. Пол большей частью был из глины, часто превращавшейся в грязь. В жилой комнате вы не раз встретите корову, теленка или козу — таким образом наши крестьяне хоть зимой заботились о своей скотине.
>
> Завтрак, обед и ужин — картошка и капуста.
>
> В большинстве случаев не было даже соли, и многие употребляли в пищу соли денатурированные, предназначенные для скота.
>
> Эта земля не родила и не могла прокормить живущих на ней, измученных напрасным каторжным трудом.
>
> Многие из трудившихся на этой каменистой почве покидали в конце концов свою кормилицу, чтобы пойти по миру, или стать дратениками{296}, или работать где-нибудь на американских шахтах или на свекле в Южной Венгрии, в Чехии, Австрии и Германии».

Это была зарисовка в годы перед первой мировой войной. Но

Кысуцы не слишком изменились и в предмюнхенские времена. Посмотрим, что об этом говорит Иван Галек:

> «Вместо деревянных, крытых тесом избушек стало больше каменных строений, крытых цементом, шифером или черепицей.
>
> Но конечно, чуть дальше от дорог и от церквей, а особенно в дальних горных селениях все, вплоть до домишек с очагом, выглядит почти так же, как в начале столетия».

В этой кысуцкой глуши, в Сврчиновце, — первое поле деятельности учителя Илемницкого. Здесь создаются также два его первых романа — «Победное падение» и «Поле невспаханное».

Петр Илемницкий учительствует и в окрестностях Трнавы, в краю сахарной свеклы и сахароваренных заводов, откуда выносит впечатляющую картину жизни пролетариата в период экономического кризиса, стачек и демонстраций против сахарных баронов. Все это вошло в роман «Кусок сахару».

За речь на демонстрации против осадного положения на Илемницкого выдается ордер на арест. И ему пришлось оставить школу. Несколько месяцев он на себе испытывает, что такое участь безработного.

В 1939 году Петра Илемницкого изгоняет из Словакии тисовский клерикально-фашистский режим. Он возвращается в Чехию, преподает в сельской школе в Будиславе возле Литомишля, включается в нелегальную борьбу против нацистских оккупантов. В 1942 году его арестовывают и год спустя осуждают на восемь лет каторжных работ в каменоломнях близ Дессау. Советская Армия, преследующая и громящая остатки гитлеровских войск, приносит в апреле 1945 года освобождение и ему.

В результате этого пребывания среди преступников и убийц, с одной стороны, и чешских людей, осужденных, как и он, на каторжные работы, — с другой, рождаются прекрасные стихи, которые Илемницкий пишет на обрывках бумажных мешков из-под цемента, когда возит на строительство речной песок. Эти стихи полны горячего чувства, веры и непоколебимости, уверенности в победу правого дела.

> Две Орлицы с гор — одна Дикая, другая Тихая.
> Остались ли в горах смелые орлы?
> Кому не хватает веры, тот и в затишье дрожит, вздыхает.
> Верный — тот и из чужой дали взывает: Родина.

Илемницкий наряду с С. К. Нейманом, Иржи Волькером и Юлиусом Фучиком всегда будет относиться к классикам нашей социалистической литературы.

Его творчество в период предмюнхенской республики помогало воспитывать и пробуждать сознание трудящихся масс, раскрывало значение их борьбы, проливало свет на суть и причины нищеты и рисовало социалистическое будущее мира. Оно учило народные массы любви к Советскому Союзу, где трудовой народ стал хозяином, и вместе с тем указывало, что гарантия его победы только в коммунистической партии, лишь она приведет трудящихся к желанной цели.

Каждое произведение Илемницкого напоено духом революционного оптимизма. С захватывающей силой и необычайной убедительностью звучит этот оптимизм в его романе «Звенящий шаг», запечатлевшем происходившую в деревне борьбу нового мира социализма со старым, кулацким укладом.

В романе «Кусок сахару», кульминацию которого представляет собой картина демонстрации и тщетных попыток жандармов подавить гнев народа, которому управляющие сахарными заводами отказались дать работу, такой финал:

> «Едут, едут возы, но они везут не свеклу, а первый плод победы, и за ними движется шумящая толпа людей, замкнутая треугольником площади.
>
> Взвод жандармов отрезал толпу от последнего воза. Ворота закрылись.
>
> Но все знали, что это не конец, что возы, прогрохотавшие, как первая атака, — это только передовой отряд, что атака пойдет дальше, что развернется борьба за вольность жизни»[35].

А вот что говорит в «Поле невспаханном» функционер областного секретариата Жарский, обращаясь к словацкому народу:

> «С гор, с которых сейчас потоками течет нужда, потекут мед и молоко. А что для этого нужно, скажите? Стать хозяевами своей судьбы, больше ничего. Росла бы сознательность людей, росла бы культура, укреплялось бы здоровье. На месте курных изб с подслеповатыми окнами появились бы большие, полные воздуха и света дома»[36].

Петр Илемницкий.

И еще обратим внимание на заключительные страницы романа «Компас — в нас»:

> «Мы не станем довольствоваться тем, что наши отцы считали счастьем… Жизнь не кончается. Она продолжается. Лишь прогресс, улучшение жизни, борьба за все более совершенные ее формы — вот единственно возможное человеческое счастье».

Последнее произведение Петра Илемницкого — роман «Хроника», посвященный Словацкому национальному восстанию.

Илемницкий принялся за это произведение сразу после своего возвращения из Германии{297}. Он собирал для него материал в местах Восстания, особенно в Черном Балоге. Он заранее предупреждал, что его роман не будет ни точной фотографией того, что происходило, ни исторически точным изображением событий и отдельных людей.

В своих романах Илемницкий дал сочную, правдивую и художественно впечатляющую картину словацкой жизни предмюнхенской капиталистической республики. В ярко нарисованных типах словацких крестьян, сельского пролетариата он всюду запечатлел живого конкретного человека. Фигуры кысуцких хуторян, сельскохозяйственных пролетариев из

свекловодческих районов, словацких рабочих из Витковиц, людей преклонного возраста, выступавших против отсталости и предрассудков, сознательных борцов за новую жизнь, прекрасные типы молодых, мечтавших добыть себе счастье, создают незабываемую галерею блестящих, реалистически написанных образов и характеров людей, судьбы которых не являются частными судьбами. Он изобразил типичные ситуации и типичную действительность эксплуатируемой и готовой к боевому подъему Словакии, руководимой коммунистической партией.

Показать жизнь так отчетливо и правдиво, в ее движении, в ее революционной перспективе мог лишь художник, который глубоко сроднился с народом, пережил с ним его трудные минуты, его борьбу и который верно и преданно шел с ним вместе до самой победы.

**1951 г.**

## *3*

Мне выпала почетная задача выступить на этой выставке{298} с рассказом о жизни и творчестве нашего большого писателя Петра Илемницкого. Сам факт, что за короткое время это уже вторая выставка в Праге, цель которой помочь узнать Петра Илемницкого как человека и как художника, красноречиво свидетельствует о том, что его художественное наследие — живое дело нашей сегодняшней культурной жизни. Все большее знакомство с произведениями Илемницкого, выходящими теперь и на чешском языке, и прежде всего успех их среди молодежи и то повышенное внимание, которое начинает уделять наследию писателя и наша критика, также свидетельствуют, что его творчество в нашей сегодняшней действительности приобретает все большее и большее значение, что наш интерес к нему все больше и больше возрастает.

Для полного понимания значения наследия Петра Илемницкого очень важно то обстоятельство, что, чем больших успехов мы достигаем в строительстве социализма в нашей стране, чем более высокие критерии в связи с этим предъявляем нашей культуре, творчеству современных художников, тем полнее открываются перед нами огромные ценности трудов Илемницкого, тем отчетливее выступает в своем значении, в своем величии фигура народного писателя.

Наше движение к социализму с каждым днем повышает

значение такого искусства, которое впитало в себя правду ленинской эпохи и отразило ее в впечатляющих художественных картинах. В полной мере это относится и к творчеству Петра Илемницкого. Своей высокой идейностью, своей правдивостью, своей революционной направленностью оно способно и в наши дни выполнять значительную миссию — воспитывать массы наших трудящихся, указывать им правильный путь, формировать высокое социалистическое сознание нашего народа, зажигать сердца десятков тысяч людей любовью к человеку, к жизни, к трудовому народу, к нашей коммунистической партии, углублять ненависть к тем, кто угрожает, душит и уничтожает свободную жизнь, кто пытается сломить человека рабством старого, капиталистического строя, истребить его страшными войнами.

Поэтому боевое и живое творчество Петра Илемницкого — это слово великой прогрессивной правды.

В минувшие дни мы отмечали тридцатую годовщину основания Коммунистической партии Чехословакии. Эта дата дала нам возможность во всем объеме осознать глубокую взаимосвязь тридцатилетия борьбы и побед коммунистической партии с величайшими культурными ценностями нашей жизни, в полной мере осознать решающее значение коммунистической партии в создании нового, боевого, народного и художественно сильного искусства. Среди больших писателей, которые в коммунистической партии нашли надежную основу для своего творчества, надежный компас для своих творческих устремлений, таланту которых коммунистическая партия дала орлиные крылья, наряду с такими большими художниками, как Иржи Волькер, С. К. Нейман, Иван Ольбрахт, Мария Майерова, Витезслав Незвал и другие, в самом начале, на видном месте стоит и Петр Илемницкий.

Где-то на этой выставке вы найдете слова, написанные Петром Илемницким:

> «Как прекрасно найти смысл жизни, быть в партии, которая добивается справедливости и одинакового счастья для всех, как это прекрасно — воспитываться партией, обнаружить в себе героизм и силу самопожертвования, достичь в своем слиянии с массами такого уровня, как лучшие наши товарищи».

Необходимо также постоянно цитировать письмо, написанное Илемницким Зденеку Неедлы:

> «Признаюсь, что не было бы ни одной моей книги, не будь словацкого трудового народа, рабочих на

фабриках, мелких землевладельцев в деревнях, батраков и сельскохозяйственных рабочих в крупных поместьях, не будь этих маленьких словацких людей и товарищей, работать и бороться вместе с которыми было для меня необходимой потребностью и радостью. Ничего бы из моей работы не вышло, не будь коммунистической партии, которая меня воспитала, направляла мой взгляд и слух, укрепляла дух».

Я вижу великое значение выставки, которую мы сегодня открываем, в том, что весь собранный тут материал подтверждает правдивость каждого слова этого письма. Выставка показывает подлинный и реальный облик Илемницкого как писателя, который мог творить только потому, что глубоко и повседневно был связан со своим народом, жил его судьбой, вместе с этим народом боролся, мучился и чувствовал, всем своим творчеством служил ему, помогая отвоевать себе место под солнцем.

Ради этой любви к людям Илемницкий вступил в ряды коммунистической партии, потому что, кроме ее борьбы, не видел иного пути к освобождению трудового человека.

В этом смысле у Петра Илемницкого много общего с Юлиусом Фучиком. Обоим повезло — они смогли прикоснуться к изумительной советской действительности в первые же годы строительного подъема Советского Союза. Фучик и Илемницкий, проехав почти через весь Советский Союз, попадают в Среднюю Азию. Фучик знакомится с Ташкентом, пустыней Каракумы, путешествует по казахстанским степям, по Узбекистану, Киргизии. И по тем же дорогам на несколько лет раньше проходит Петр Илемницкий, когда с чешскими и словацкими эмигрантами уезжает строить кооператив «Интергельпо»{299} в киргизских степях у подножия Тянь-Шаня.

Однако не только жизненные впечатления и судьбы, но и многие качества у Фучика и Илемницкого были как бы общими. В обоих горел великий огонь горячей и страстной любви к рабочему классу, к людям, к Советскому Союзу, оба собственными глазами видели свободного человека, который сбросил с себя оковы капитализма и начал создавать новую, великолепную эпоху.

Десятки простых людей, встречавшихся с Фучиком и Илемницким, могли бы свидетельствовать: они оба умели передать другим свою любовь к жизни, свой революционный оптимизм коммунистов.

Они жили не личной жизнью, а большой коллективной судьбой трудящихся, и эта связь с народом словно бы все сильнее и сильнее подстегивала в них желание зажечь те же чувства и ту

же решимость в сердцах многих людей, жаждущих жизни без нищеты, безработицы, эксплуатации и угнетения.

Фучик и Илемницкий интенсивно вторгаются в заботы своей эпохи, живут ее проблемами и помогают их решить не индивидуально, не в отрыве от общества, а всегда в контакте с массами и с коммунистической партией. Они проникнуты историческим оптимизмом, их мышление и действия устремлены вперед и служат борьбе за новое, социалистическое общество.

Буржуазное общество создало представление о писателе-гении, одаренном чудесной, как бы сверхъестественной способностью творить в одиночестве, в отрыве от жизни. Подобных «гениев» знание действительности отягощало, оно казалось им чем-то мешающим взлету их духа, препятствующим их мелкобуржуазному понятию свободы, которое Ленин разоблачил, назвав такую «свободу» маской, скрывающей зависимость буржуазного художника от денежного мешка. Эти мелкобуржуазные прорицатели кричали: «Талант! Талант — это все!»

Максим Горький писал, что он мало верит в природный талант, по его мнению, есть только один талант: искусство делать любую работу с любовью.

Максим Горький раскрыл, что собой представляет лживое понятие гения в буржуазном смысле слова, потому что писателем человек не рождается, а становится, потому что к писательской деятельности человек приходит не случайно, а сознательно, путем усилий и терпения, а не в силу сверхъестественных причин. Писатель — это человек, который видит зорче других и умеет это свое видение передать с помощью художественных средств, человек, который чувствует, что должен это увиденное передать, потому что то, о чем он пишет, необходимо миру, чтобы стать лучше, справедливее, свободнее, потому что в этом весь смысл его жизни.

Как Максима Горького, так и Петра Илемницкого быть писателем научила жизнь.

Хотя Петр Илемницкий к тому времени, как он приехал в Словакию в качестве учителя, уже написал одну книжку — «Девяносто девять коней белых», настоящим писателем он становится, лишь столкнувшись со словацкой действительностью. Из Чехии Илемницкий вынес наивный, романтический образ чарующей Словакии, внушенный ему книжкой Калала «В прекрасной Словакии». Илемницкий приезжает в Словакию как духовный преемник поэта Витезслава Незвала, молодой толстовец, которого «манила близость к природе, неиспорченность цивилизацией и низкая ступень благосостояния»

словацкого народа. Галек шел в Словакию с представлением, что найдет там здоровый, сильный и поющий народ, пребывающий в некой радостной идиллии.

Но реальность оказалась иной. Иван Галек рассказывает об этом в книге «Мой путь от Толстого к Марксу». Происходит идейное перерождение автора, когда он познакомился с совершенно иной Словакией, даже отдаленно не отвечающей романтическим представлениям.

Петр Илемницкий, который, как и Галек, попадает в самый нищий край Словакии, в район Кысуц, тоже знакомится с ужасающей действительностью, с невообразимой нищетой словацкого народа. Молодой начинающий писатель, очарованный волшебной красотой кысуцких ночей и пленительной природой, переживает тут свой волькеровский «час рождения». Его наивное юношеское сердце умирает, и в груди рождается новое, сильное сердце бойца.

Илемницкий осознает здесь, что уже недостаточно только видеть нищету, как о том свидетельствует его роман «Победное падение». Он понимает, что необходимо выявить корни и причины нищеты, обращать на них внимание народа и указывать ему путь к ее ликвидации. Ему становится ясно, что борьба против нищеты, за материальный и культурный подъем словацкого народа — это борьба против капитализма, за социализм, борьба против капитализма, который эту нищету порождает, и за социализм, который эту нищету устраняет. Человек, для которого жизненной целью становится устранение несправедливостей капиталистического строя, должен быть коммунистом.

Произведения Илемницкого, включая «Хронику», в которой он запечатлел мощное революционное восстание словацкого народа, романы «Поле невспаханное», «Кусок сахару» и отчасти «Компас — в нас», рисуют тяжелую словацкую действительность в период предмюнхенской республики, когда Словакия становится полуколонией чешского капитала. Нам известны факты, свидетельствующие, что буржуазный режим преднамеренно удерживал Словакию на самом отсталом уровне. Чешский капитализм, когда ему нужно было заткнуть бреши своей производственной анархии, прежде всего направлялся в Словакию, где начинал ликвидировать промышленность — закрывать заводы и шахты. Самое большое количество жандармских залпов по людям, добивающимся хлеба и работы, прогромыхало также в Словакии.

В Словакии примерно 300 тысяч крестьян имели всего по два гектара земли. В Словакии около 140 тысяч

сельскохозяйственных рабочих жило в невообразимой бедности. Нищета и безработица гнали словацкий люд на чужбину — во Францию, Бельгию, Канаду, где они за мизерную плату работали на столь же безжалостных чужих господ.

Илемницкий в своих книгах запечатлел эту тяжелую действительность. Герои его книг создают незабываемую галерею блестяще, реалистически написанных типов и характеров людей, в судьбах которых правдиво отражаются все противоречия старой Словакии, а также боевой опыт нашего рабочего класса, руководимого коммунистической партией.

Илемницкий наделял своих героев духом революционного оптимизма, который придавал и его творчеству пафос боевого, партийного и идейно сильного искусства.

Творчество Петра Илемницкого с его необычайной широтой и интенсивностью, с его яркой правдивостью и глубиной проблем запечатлело значительный период нашей жизни. Оно показало нам внушительные картины вступления нашего рабочего класса в борьбу за социализм и с большим мастерством воспроизвело борьбу нашей коммунистической партии вплоть до победы.

В книгах Илемницкого показана ожесточенная борьба нового со старым, победа нового над старым. Незабываемые картины победного революционного движения в романе «Звенящий шаг», несокрушимая боевая сила в книгах «Поле невспаханное» и «Кусок сахару», прекрасные внушительные картины созидательной жизни в книге «Компас — в нас», торжество народного героизма, мудрости и великих нравственных ценностей словацких трудящихся в «Хронике».

Илемницкий дал нам нового героя, человека труда. Он изобразил его не только в исторически конкретной ситуации, но и как носителя новой жизни, как целеустремленного, сознательного борца за социалистическое завтра. Реалистическая традиция не только словацкого, но и чешского романа со всей силой ожила в творчестве Петра Илемницкого, представляющего собой одно из высших достижений социалистического реализма в нашей литературе.

**1952 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# Красные розы на могилу Карела Конрада

Умер Карел Конрад.

Поэт, журналист, романист, сатирик, новеллист, автор путевых очерков, афоризмов, эпиграмм и зарисовок, а также литературных портретов выдающихся представителей нашего современного художественного мира, деятелей нашей партии, таких, как Вацек, Шверма, Фучик.

Не знаю, какие еще эпитеты и звания произнести. Окидываю мысленным взором десятки его книг, книжек и книжечек с титульными листами, надписанными размашистым почерком, которые он всегда спешил сразу же по их выходе принести своим друзьям, и вижу перед глазами весь его мир, вмещенный в эти книжки. Это был наш мир, и потому все, что написал Карел Конрад, принадлежит нам, нашему миру и будет принадлежать ему и в будущем.

Так не бывает, что писатель сразу рождается с какими-то удивительными задатками, которые нужно дополнить лишь богатством содержания, чтобы сразу вступить в жизнь. Писателя определяют его мировоззрение, его ви́дение окружающего, его сердце и душа… Определяют его трагедии и радости, жизнь, которую он прожил и которой живет, желание не стоять в стороне, а окунуться в гущу явлений и бороться за справедливость, за возрождение того, что унижено и изуродовано корыстной, эгоистической силой, променявшей, как бы сказал Маркс, человеческие идеалы на мешок золота.

Для столь широкого диапазона жизненной позиции Карел Конрад владел почти всеми разнообразными жанрами публицистики и литературы. Он относился к ряду таких мастеров, как Ян Неруда, Ярослав Гашек или Карел Чапек, с которыми мог сравниться и по глубине интереса к общественным проблемам. Он был журналистом нашей красной печати — и всегда был больше чем только журналист, он был писателем нашего послевоенного авангарда — и всегда был больше чем просто писатель. Он никогда не писал ради развлечения, ради возвышенных чувств или ради денег, хотя честолюбиво стремился к тому, чтобы читателю не было скучно. Он умел писать живо и интересно даже о вещах самых обыкновенных, печальных и возмущающих. С помощью литературы он не разбогател, писательский труд не был для него бизнесом, это была его человеческая судьба.

Десятки лет был он в наших рядах, под нашими знаменами. Не временный попутчик, а верный и убежденный участник нашей

каждодневной борьбы за жизненные ценности и великие цели человечества.

Эти исторические факты не результат каких-то тенденциозно отобранных воспоминаний. Они живут в книгах Конрада, в его «Рисунках пером», в его «Эпистолах» и «Лаврах», в его «Фанфарах и погребальном звоне», в его шахтерской элегии «Вместо красных роз», в тех маленьких и прелестных книжечках, к которым мы будем возвращаться как к свидетельству современника нашей эпохи, — свидетельству, в котором бьется большое и полное любви сердце, озабоченное судьбами других, в котором резко проступает бидловский сарказм и язвительная ирония по адресу политического сводничества, в котором звучит напористый голос художника справедливого, ненавидящего фальшивую прогрессивность, лицемерие, фразерство и демагогию. И нежный, глубоко человечный лиризм, завоеванный полным страданий путем, пройденным молодежью, втянутой в первую мировую войну.

Этой резкостью, агрессивностью и политической сопричастностью, направленной против всевозможных разновидностей мещанства, Карел Конрад был близок как Гавличеку, так и Чапеку, Нейману или Гаусману{300}. А его пейзажи, столь восхитительно передающие красоты чешской или словацкой земли! А искусство портрета, наиболее полно проявившееся в его очаровательной книжке о Божене Немцовой и об их родном крае! А его юмор, остроумие, глоссы, всегда направленные на сущность искусства!

В истории чешской культуры не найти равных тем динамическим годам после первой мировой войны, которые породили поколение художников, столь однородных и близких друг другу по своему ощущению жизни и художническому кредо, и притом столь своеобразных, имеющих весьма характерные отличия. Таким был и Карел Конрад. И если я обратился к его истокам, то нельзя забыть и о Ванчуре, с которым у них общей была строгость выразительных средств, внимание к слову, стремление к тому, чтобы оно было пластичным, сочным, выразительным.

Он написал интересные слова о себе и своих друзьях в статье «Путь моего поколения»:

> «Мир явился нам после 28 октября 1918 года, словно парабола вновь разгорающегося дня, благоухающего утра, на горизонте которого восходило пленительно сияющее солнце, яркое, потому что было выкупано в крови вчерашней зари. Едва мы после 28 октября

скинули с себя австрийский мундир, как слишком быстро узнали, что все, о чем мы так страстно мечтали в «австрийском рабстве» как о чем-то естественном и что было обещано народу в революционные октябрьские дни, — все это ложь, обман и мошенничество.

И тогда, утратив иллюзии по поводу справедливости, мы почувствовали, что вся эта милая резня была лишь делом капитализма, власти, эксплуатации. И мы, извлекшие урок из жертв войны и обмана «освобождения» чешского народа, вдохнули в себя дурманящий воздух большевистской революции.

Благодаря ей наше поколение было буквально спасено от отчаяния неверия. И таким образом поколение, обманутое в своих мечтах, вновь морально как бы воскресло благодаря вере, и это была вера в наиболее радикальный социализм, в ту единственную идею, которая принесет человечеству счастье в новом обществе, лишенном эксплуататоров.

Из обманутых чаяний в годы после переворота, из нашей непоколебимой надежды, окрепшей благодаря примеру большевистской революции, вырастала наша новая литература…»

Литературой, которую он создавал, новым ви́дением мира, противодействием «правящей демократии» и махинациям правящей буржуазии, Карел Конрад походил на Незвала, Библа, Фучика, Ванчуру, Ежека и всех прочих бунтарей, «объединенных под широкополой шляпой С. К. Неймана», как говорил Библ в одном из своих стихотворений.

Конрад шел этим путем, и его творчество именно таково. Оно не терпит иных толкований, его нельзя извратить, интерпретировать иначе.

В лице Карела Конрада ушел также основатель сатирического журнала «Трн»{301} и революционный журналист, колыбелью богатого публицистического творчества которого были такие газеты и журналы, как «Руде право», «Руды вечерник», «Пролеткульт», «Сршатец»{302}, «Творба», «Гало-новины» и другие. Конрад работал в этих изданиях с их основания после первой мировой войны вплоть до периода после освобождения.

Ушел художник удивительно скромный, о котором можно сказать, что с первых своих литературных опытов он отдавал свое сердце всем, с кем искренне дружил. Поэтому мало кто мог оставить такие сердечные и волнующие свидетельства о художниках, ему близких, как это сделал он. А как он любил

Маху, Немцову, Гавличека, Гашека, Сову, Томана, Неймана, Ольбрахта, Ванчуру, Майерову, Гору, Горького, Маяковского, Библа, художников и актеров, деятелей искусства на много лет старше его, и представителей молодого художественного авангарда, членом которого он был. При всех поисках, метаниях, при всем своем художественном честолюбии и взыскательности этот авангард никогда не терял из поля зрения народ, его интересы, благородные цели борьбы, культурные потребности. Кто мог написать такие волнующие человечные слова о шахтерской солидарности, как не он. О Зденеке Неедлы или о Юлиусе Фучике!

Карел Конрад, уроженец Лоун, был пролетарием, которому приходилось заботиться о своем существовании уже с юношеских лет. Его путь никогда не был усыпан розами, но в его произведениях вы не найдете ни строчки, где говорилось бы о его частной жизни. И нигде не найдете ни строчки, звучащей неискренне, строчки манерной или бессмысленной! Он, возможно, был единственным писателем, который все писал от руки. Поэтому он мог взвесить каждое слово. Он жил заботами рабочих, нашего трудового народа, нашей страны, нашего мира, и все, что он написал кровью сердца, словно бы скреплено с нашими великими классовыми боями, с нашей борьбой и с нашим будущим. И с борьбой за мир. В этом смысл и его знаменитого произведения «Отбой!»

Этот замечательный роман, выражающий гнев и протест против войны, был главным его произведением. Он больше всего привлекал внимание читателей. Но Конрад — выдающийся поэт, глубоко человечный, с причудливой фантазией и юмором, создал и другие произведения о своем поколении, о своей стране и о жизни, которой жил по-настоящему вместе с миллионами наших людей: «Постель без балдахина», «Двойная тень», «Средиземноморское зеркало», «Берег чаяний», «Эпистолы к робким влюбленным» и т. д.

В марте 1972 года Карелу Конраду исполнилось бы семьдесят три…

Созданные им произведения, идейно и художественно выразительные, будут жить полнокровной жизнью с каждым нашим новым успехом. И читатели, особенно молодые, всегда будут возвращаться к его книгам. Не только из-за многообразия их содержания и мастерства слова, но и потому, что в них правдиво нарисована картина нашей жизни, отображенная им за прошедшие пятьдесят лет. И несомненно также, из-за тех неповторимых конрадовских портретов честных и мужественных людей, художников и политиков, вместе с которыми он боролся и

которых любил.

**1971 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# БЕДРЖИХ ВАЦЛАВЕК
# К его шестидесятилетию, до которого он не дожил

Шестьдесят лет исполнилось бы Бедржиху Вацлавеку, если бы этот друг Фучика, который был чуть старше его и к которому слово «критик» можно отнести с полным основанием, вернулся из концентрационного лагеря и дожил до сегодняшнего дня. До того дня, который дает нам возможность вновь задуматься над тем, кого мы потеряли в лице Вацлавека, что по сей час остались должны этому выдающемуся творческому человеку — писателю и коммунисту, и о чем нам именно сегодня говорит его наследие.

Как бы мы зачитывались произведениями Вацлавека, если б ему суждено было жить и писать вплоть до наших дней. Какой пробел, наверное, заполнил бы он как марксистский литературный критик! И как бы, наверное, ощущалось нами его творческое участие в развитии нашего социалистического общества вообще, потому что именно так понимал и в течение всей своей жизни осуществлял Бедржих Вацлавек задачу критика. Отнюдь не как узколитературную, оторванную от основных общественных проблем деятельность, не как некое субъективистски эстетское и изолированное от жизни занятие, а как творчество, активно включившееся в широкую общественную жизнь, в борьбу за социализм.

Годы, прошедшие после смерти Вацлавека, не изменили этого его неповторимого стиля, даже наоборот! Сегодня нам еще отчетливее видна его всесторонняя активность, инициативная общественная деятельность, идейная определенность, его принципиальность, искренность, бесстрашие, боевой задор, верность идеалам и целям рабочего класса.

И если мы вспоминаем сегодня Бедржиха Вацлавека, нам следовало бы задуматься над тем, почему на фоне нынешнего состояния нашей литературной критики выделяются эти достоинства или свойства Вацлавека вместе с его литературно-критическими взглядами, теоретической вооруженностью, с его принципиальными требованиями научности и методичности критики.

С наследием старой, импрессионистской, субъективистской и академической критики Вацлавек боролся как критик-марксист. То есть с той критикой, «которая не является никакой жизненной силой, потому что уклоняется от того, чтобы делать выводы из своих познаний, занимать определенную позицию и тем самым

оказывать влияние на развитие» (Б. Вацлавек).

Откуда сегодня столько путаницы в нашей литературной жизни, столько либерализма, столько поверхностности, ненаучности и произвола в отношении критериев, перспектив художественного развития, отношения художественного произведения к жизни и к обществу!

А именно жизненной силой должна, обязана быть критика.

Путь Вацлавека к пониманию того, что такое марксистско-ленински вооруженный критик, стоящий в центре событий и являющийся тем фучиковским носителем прогресса, который активно влияет на общество, не был прямолинейным и безошибочным. Он трудно и упорно пробивался к познанию и пониманию современного искусства, что для него полностью совпадало с искусством, нужным народу. И потому, что у него существовали твердые принципы и характер, что он был образованным марксистом, даже ошибки и заблуждения молодости помогали ему завоевывать твердыни и материки нашей поэзии и нашей художественной прозы. Тем более внутренне уравновешенным становится потом его творчество, как то показывает книга, написанная в зрелые творческие годы, «Творчеством к действительности».

Путь нашей литературы двадцатых и тридцатых годов невозможно себе представить без участия Вацлавека. По своему критическому таланту он, собственно, был самым способным преемником Шальды, однако Вацлавек сумел пойти дальше него, потому что ему был абсолютно чужд философский идеализм, потому что он был человеком современного жизнеощущения и взглядов. Он ясно и правильно сформулировал основные принципы социалистического искусства, высказал ряд точных мыслей о самостоятельности художественного произведения, о его красоте, о диалектическом единстве субъективной и объективной реальности, мудро высказался по вопросам формы и содержания и по многим другим проблемам, до чего сегодняшняя критика с большим трудом доискивается как до нового. Он ясно и точно сформулировал также вопросы творческой свободы, которые сегодня многие снова так усложняют.

> «Свобода поэта состоит не в поэтическом произволе и не в свободе парить в мечтах… Сегодня поэт оказывается истинно свободным только тогда, когда он добровольно встает в ряды тех, кто участвует в борьбе за новое общество, способствует общественному прогрессу и избавляется таким образом от всякой зависимости от сил исторически обреченного мира»{303}.

Это относилось и к нему самому. Для него не было противоречий между политикой, литературной критикой и наукой. Он всегда ставил поэта в центр общественной жизни, новым для него являлось лишь искусство, действительно сказавшее новое слово, которое боролось за жизнь и несло в себе перспективу социализма.

Наряду с З. Неедлы, С. К. Нейманом и Юлиусом Фучиком Бедржих Вацлавек является одним из самых ярких деятелей нашей культуры в период между двумя войнами, одним из пионеров нашего социалистического художественного творчества. Его человеческое мужество, проявленное в борьбе против нацизма, так же как и творческое наследие, ставят его на видное место среди тех славных личностей, которые будут сопровождать нас многие годы и которые являются основными ориентирами нашего нового художественного творчества. Он был критиком, который необходим сегодня нашей литературе больше чем когда-либо.

**1957 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# ЛАДИСЛАВ НОВОМЕСКИЙ
# Журналист, политик и поэт{304}

…Я долго раздумывал над тем, как человек, которому в жизни отпущено ничуть не больше любого другого, становится известным. Как он превращается в личность исключительную, в человека, чье творчество, свершенья и поступки, вместе взятые, создают эпоху, помогают прокладывать новые пути общественному движению.

Что является тому причиной?

Стечение ли случайностей и счастливых обстоятельств? Время ли, которое действует на руку такому человеку? Какие-то добрые дары феи, которые он получает в колыбели, как счастливчик, избранный судьбой, чтобы сыграть в жизни какую-то особую роль? Те люди, кого мы имеем в виду, бесспорно, люди необыкновенного таланта, воли и обладают незаурядной способностью понимать эпоху, ее потребности и идти в ее первых рядах.

Быть может, есть в людях, отмеченных недюжинными нравственными качествами или способностью всеми своими силами служить благородным целям на пользу человеку и человечеству, что-то скрытое и потаенное, до сути чего не добраться, как ни старайся? Или действуют какие-то таинственные силы, определяющие это с некой непонятной нам логикой? Или сие зависит от расположения планет, по которым астрологи пытаются прочесть судьбу человека и его жизненный путь?

Мы не верим в духов, мы не религиозные фанатики и не фаталисты. Мы не склонны верить в предрассудки и чудеса да и не хотим явления нашей жизни объяснять действием каких-то высших, внеземных сил. Стало быть, нам не остается ничего иного, как жить и заниматься делами совершенно обычными, простыми, как хлеб и соль. Человек рождается в определенную эпоху, в определенной среде, получает воспитание. Он набит всяческими правилами, правдами и правдишками, с помощью которых его пытаются сформировать, человек этот смотрит вокруг себя и начинает эти правды и правдишки изучать и сравнивать их со своим жизненным опытом, начинает что-то думать о себе, о других людях, о мире, ему что-то близко, а что-то чуждо, он начинает видеть положительные и отрицательные стороны жизни, понимать, что хорошо, а что плохо, и на основе этого создает собственное представление о жизни и согласно

этому старается жить.

Тут мы в поисках ответа на наш вопрос продвигаемся уже несколько дальше. Но не забудем об одной важной вещи. Если мы имеем в виду конкретные личности, которые сумели в жизни сделать что-то положительное, то, как правило, это люди, с которыми жизнь обходилась не слишком-то ласково, скорее наоборот. Она часто строила им козни, вставляла палки в колеса, они не получали от нее подарков, ничего, что облегчило бы им путь, никогда, даже к старости, они не нажили состояния.

Итак, единственное их преимущество заключалось в том, что им было отказано в беззаботной жизни мещан, их не интересовали жизненные ценности и забота, как их приумножить, они отличались по своим жизнеощущениям и наклонностям от мещан с животным себялюбием, главная цель которых — урвать как можно больше для себя, что, к сожалению, пока не исчезло из нашего мира. В этом кроются корни той исключительной чуткости, которая дает возможность проецировать вещи внешние на человеческую душу, зарождать в ней ту этику, которая отличает честное от нечестного, мужественное от трусливого, смелое от хитрого, благородное от подлого и которая в конце концов ставит человека перед знаменательным жизненным решением: куда ты пойдешь и с кем?

Так было и с поэтом, писателем и журналистом Ладиславом Новомеским. Родился он в словацкой семье в Будапеште, где его отец работал портным. Когда окончилась первая мировая война и образовалась Чехословацкая республика, он вернулся с родителями в Словакию, пошел в педагогический институт в Модре под Братиславой, начал писать стихи и стал учителем с литературными наклонностями.

Такой жизнью жили сотни, а может, тысячи ему подобных. Детство и юность они прожили в нужде, в нужде и выучились. Тоже, скажем, писали стихи, тоже издали несколько книжек, тоже стали учителями, пришли в редакции газет, были любимы на работе, из них получились нормальные люди с определенным общественным положением, но и все…

В жизнь Ладислава Новомеского, правда, входили иные обстоятельства. Те, которые подметил Юлиус Фучик, когда написал где-то, что представители его поколения в начале первой мировой войны были еще детьми, но, когда война окончилась, уже смотрели на мир глазами взрослых и имели за плечами жизненный опыт. Это поколение больше других испытало, что такое общественное зло. Настороженная восприимчивость и чуткость Новомеского лишь на минуту поддались обману послевоенного опьянения, которому способствовали и

завораживающие стихи Шрамека, и представление, будто жизнь — прекрасный цветущий луг. Однако хватило нескольких лет после переворота, чтобы по примеру поэта С. К. Неймана и его учеников очнуться от прекрасных грез и начать искать истинный материк свободы и справедливости, чтобы в скором времени найти его в самом революционном перевороте в истории человечества, происшедшем в России, где революция, руководимая Лениным, открыла новую эру человечества.

Это было также время неймановских «Червена» и «Пролеткульта», время первых ольбрахтовских сообщений из страны Октябрьской социалистической революции, время Иржи Волькера и Зденека Неедлы, время возникновения Коммунистической партии Чехословакии, а с ней того величественного начала, когда и у нас заявляла о себе новая общественная сила, революционный рабочий класс, готовый разорвать старые оковы.

В тот год, когда умирает Иржи Волькер, выходит «Сборник молодой словацкой литературы», и там среди двух десятков многообещающих кандидатов в известные писатели фигурирует и имя Ладислава Новомеского, и его первые стихи. В контексте книги они производят непривычное впечатление, а сам молодой начинающий поэт не вписывается в общий ряд. Он отличается от остальных. Он совершенно иной, не такой, как те, кто так же, как и он, публикуют здесь свои произведения. Все, что тут собрано, по-своему многообещающе и по-своему общепринято, обычно, прилично, чтобы никого не задеть и не возмутить; молодость, подражающая тому, что принято и что взрастает на отечественной почве. Но Новомеский чем-то раздражает, переходит границы этого общепринятого молодого творчества. То, что пишет он, еще не перебродило, еще незрело, но оно ново по форме, духу, строю, образности, чувству, слову и видению. Чем-то это шокирует всю литераторскую серьезность, как и пролетарские стихи Поничана. И это молодо и живо.

Кто автор этих стихов? Молодой братиславский учитель и редактор журнала «Молодая Словакия», органа Союза словацкого студенчества. Его имя можно уже встретить и в коммунистических газетах — в «Правде худобы» и в воскресном приложении к ней. Руководство Союза словацкого студенчества недовольно тем, что печатает в «Молодой Словакии» этот редактор. Он в свою очередь недоволен тем, во что господа хотели бы превратить «Молодую Словакию». Ему не нравится учительствовать. Он поглощен литературой, всем тем, что приходит из новой России и из Праги, что связано с революционной русской культурой, с именами Блока, Есенина,

Горького, Маяковского, Федина, Тихонова, Леонова, тем, что выступает под названием «художественный авангард» и что имеет своих представителей как в Советском Союзе, так и в Германии, Франции, Венгрии, Югославии, Швейцарии и бог весть где еще. Этот авангард, сторонником которого объявляет себя и молодая литературная революционная Чехословакия, безоговорочно отождествляет свои художественные цели с целями политическими, шаг за шагом претворяемыми в жизнь Советским государством, созданным Великой Октябрьской социалистической революцией.

В это время, полное взрывчатого напряжения, существуют два мира: капитализм, потерпевший поражение с интервенцией в России, но имеющий еще достаточно сил, чтобы подавлять революционные очаги в остальных странах, и мир пролетарского интернационализма, приступающий после ликвидации контрреволюции к гигантскому социалистическому строительству.

И в нашей стране буржуазно-демократический строй пытается упрочить свою систему. За счет трудового народа, а в общегосударственном масштабе — прежде всего за счет Словакии. Если в чешских землях для трудящихся наступают тяжелые времена, вдвое тяжелее становится в Словакии. Если в Чехии и Моравии растут ряды безработных, во много раз больше растут они в Словакии, где эмиграция, особенно из нищих краев, таких, как Орава и Горегрон, достигает угрожающих размеров. Одновременно с этим «освобожденная Словакия» превращается в мишень идеологического нажима, направленного против самого существования словацкой национальной общности, когда ставится под сомнение даже словацкий язык. Идеология «чехословакизма» вырождается в свою противоположность. Она вызывает волны национализма и укрепляет таким образом консервативные и реакционные силы обнищавшей Словакии. Она содействует глинковскому клерикальному автономизму, к которому, как к спасению под влиянием священников, устремляются массы обманутой словацкой бедноты. Но среди рабочего и сельского пролетариата все большее влияние приобретает коммунистическая партия. Одновременно усиливается террор; для «лечения» нищеты режим прибегает к жандармским карабинам и судебным исполнителям. Эта хваленая демократия сажает в тюрьму крестьянина, задолжавшего государству 100 крон, но с пониманием относится к кобургским магнатам, которые задолжали республике налогов на 51 миллион крон{305}.

В эти годы никто из представителей молодого

художественного поколения не замыкается лишь в рамках собственного творчества. Следуя примеру Максима Горького, Ромена Роллана, Анри Барбюса, С. К. Неймана и Иржи Волькера, они не проводят границу между политикой и культурой, своей художественной активностью. Они находятся на переднем крае борьбы и разрастающихся политических боев за социальное освобождение человека, за истинную свободу без эксплуатации, за развитие искусства, за прогресс и мир. Это убеждение открывает путь в ряды коммунистической партии таким художникам, как Мария Майерова, Йозеф Гора, Владислав Ванчура, Витезслав Незвал, Ян Поничан, Франя Краль и другим, Новомеский также становится убежденным коммунистом.

Он входит в состав редакции словацкой «Правды», работает там рядом с Клементом Готвальдом, потом мы встречаемся с ним как с редактором газет «Руде право», «Гало-новины», «Словенски звести» и, наконец, журналов «Творба» и «Дав». Он вскоре становится одним из самых блестящих журналистов революционной рабочей печати. Каждой своей статьей, острым находчивым, боевым пером, ярой непримиримостью, партийностью, глубокой образованностью, кругозором и способностью определить самые жгучие вопросы времени он являет собой выдающегося, политически глубоко серьезного журналиста из породы Гавличека и Фучика. Бесспорно, он многое заимствовал у таких деятелей, какими были Готвальд, Горький, Ольбрахт, Роллан, Киш и Эренбург, у которых он учился проникаться человеческими судьбами, как своей собственной, обращать внимание на самые важные жизненные явления, наболевшие проблемы трудящихся, актуальные политические процессы, как у себя на родине, так и за границей. Он принадлежит к числу журналистов, которые не дают себе отдыха, которые беспрестанно находятся в состоянии готовности, которым совесть не дает покоя. Он должен постоянно быть в борьбе. Слово журналиста для него — оружие, с ним он воюет за правду жизни, превращая его в революционную силу.

Чуткий читатель поймет, что́ за журналист был Новомеский и из данного сборника статей, которые, однако, далеко не полно передают ту высокую политическую активность автора, наполненную пылающим гневом против фашизма, ограниченности людаков, «чехословакизма» и фактов национализма, против тупости и произвола. Всегда и при всех обстоятельствах он мужественно защищает позиции социализма. Это вновь подтверждает одна из его статей недавнего времени, когда котировались самые утонченные интриги и усилия контрреволюции, направленной на ликвидацию

социалистического строя в наших землях.

К сожалению, входящие в сборник статьи не расскажут о каждодневной будничной журналистской работе, читатель никогда не узнает, сколько в нее вкладывается творческой энергии, без которой в газетах, борющихся за новый облик мира, вряд ли была бы та зажигательная сила, как тогда, когда в газетах «Руде право» или «Словенски звести» сидел за журналистским столом Ладислав Новомеский.

В связи с неутомимой, буквально лихорадочной журналистской активностью, которой Ладислав Новомеский дополнял своего ближайшего друга и сторонника Владимира Клементиса, кое-кто из читателей, кому известно основное поэтическое творчество Новомеского, может задать знакомый вопрос, высказанный в связи с именем Владимира Маяковского: не наступил ли и он на горло собственной песне, когда занялся политикой и журналистикой, когда с юных лет взвалил на свои плечи более того, что было бы достаточно, чтобы человека причислить к ряду замечательных личностей.

Новомеский, наверное, был бы выдающимся поэтом, имей он и другую профессию — будь он учителем или просто профессиональным журналистом, работающим в какой-то газете. Но он был коммунистом. Его поэтическое творчество предстало бы более объемистым, издай он в дальнейшем еще много интересных книжек. Но его подгоняло внутреннее беспокойство, то, что восставало в нем против всего старого и что соглашалось с каждой новой ценностью, с каждой новой блестящей мыслью и со всем, что открывало перед ним новые горизонты. Он никогда не довольствовался малым. Все, что он делал, он должен был делать всерьез, честно, со всей ответственностью и с полной отдачей. И в этой широте интересов, задач и работы — его значение. В этом его лицо, в этом характерность явления — цельность личности, в которой Новомеский реализовал себя как художник, как поэт и как политик.

Современная словацкая поэзия имеет в лице Новомеского своего основоположника. Словацкая социалистическая литература имеет в его лице своего зачинателя. Наша революционная рабочая журналистика, политическая и культурная публицистика имеют в его лице блестящего представителя.

Политическую мудрость, дальновидность, решительность и целеустремленность, о чем свидетельствует и данная книга, Новомеский особенно отчетливо проявил во времена тисовского государства и главным образом в период Словацкого национального восстания.

Поэзия, публицистика и политика были для него единым фронтом, даже если он сознавал, что они имеют свои особенности и законы, которые нельзя смешивать. Общее он видел в том, чтобы понимать время и его нужды, отвечать на его требования, постигать действительность в ее основных чертах, проникать в ее сущность, идти вместе с новым и революционным, расширять каждым словом и каждым поступком масштабы человечности, социалистического гуманизма и отправлять на свалку истории все отжившее, старое, извращенное и бесчеловечное.

Так в общих чертах можно было бы охарактеризовать полвека плодотворной и неутомимой работы, которой Новомеский посвятил свою жизнь. От нее остается это свидетельство, свидетельство выразительное, даже если и обрывочное и неполное. Потому что никому не уловить то, что стоит за напечатанным, те минуты и мгновения, которые Новомеский провел за редакционным столом, в типографиях над колонками гранок… Новомеский вносил свое понимание полиграфии в газеты, в которых работал. В среде своих друзей из художественного мира, изучая жизнь рабочих, почерпнул он не один импульс для своих раздумий, чуждых всякой рафинированности, надуманному эстетизму и честолюбию, стремящемуся к поверхностной славе. Никому не дано запечатлеть те минуты, которые Новомеский прожил в поездах между Братиславой и Остравой, между Братиславой и Прагой, между Прагой и словацкими областями… Никому не дано запечатлеть бессонные ночи над клочками бумаги, на которых поэт набрасывал карандашом строки стихов, концентрирующих в себе поэтическое познание мира. Не забудем о часах и днях, проведенных за решетками тюрем, куда он был заключен за рабочее дело, за рабочую правду, за интересы людей, за социализм и коммунизм.

Как в творчестве и жизни всякого большого человека, так и в творчестве и жизни народного писателя Ладислава Новомеского грядущие поколения будут находить ключ к пониманию нашей эпохи, ее борьбы, противоречий и контрастов. Они найдут здесь благородство духа, ставящего на карту самого себя и ни на минуту не допускающего мысли, что можно прекратить борьбу за высокие цели человечества, страны, своего народа, государства.

**1973 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# Рассказ об Эдуарде Урксе

Где-то в году двадцать четвертом я впервые встретился с именем М. Ц. Бисс. В те годы я думал, что писателя делает писателем необычное имя. А если перед таким именем стоят еще две буквы — это нечто достойное зависти, что открывает талантливому адепту литературной славы путь к успеху. Я завидовал каждому, кто мог подписываться Ф. К. Шальда, Г. Д. Уэллс, Д. Б. Шоу, Л. Н. Толстой, А. И. Куприн, Ф. К. Вайскопф или А. М. Пиша, и был убежден, что людям, которым достались подобные имена, быть может, уже с рождения предопределено сделаться художниками. Как буднично по сравнению с этим звучали имена Ярослав Гашек, Мария Пуйманова или Йозеф Гора.

С восемнадцати лет я жил в Братиславе и с именем М. Ц. Бисс встречался в коммунистических газетах, таких, как «Правда худобы» или «Спартак»{306}, и в литературных журналах, таких, как «Младе Словенско». Молодой литературный критик, перо которого было острым как бритва, а статьи полны сарказма по отношению ко всему, что в литературе представляло консервативное крыло, очевидно, недолго верил в волшебную силу своего псевдонима и вскоре начал подписываться Эдуард Уркс. Это был студент философского факультета Карлова университета в Праге. Его можно было там встретить не только на лекциях, но и на вечерних дискуссиях Вольного общества студентов-социалистов из Словакии{307} наряду с Владимиром Клементисом, Даниэлем Окали, Яном Поничаном и другими. Все эти члены «Вольного общества» вскоре стали коммунистами. Наряду с политикой все они были увлечены искусством и литературой. В выходных сведениях первых двух номеров «Дава», вышедших зимой 1924 и весной 1925 года, значится: редакция и администрация — Эдуард Уркс, Прага-Бубенеч.

В середине двадцатых годов Эдуард Уркс представляет собой талантливого литературного критика, являющегося восторженным приверженцем Октябрьской революции и социалистического искусства. Уже в первых своих статьях он обращается к рабочим, чтобы убедить их, что литературное и художественное произведение, наполненное передовыми мыслями, — неоценимое средство воспитания. Он пробуждает интерес рабочих к книге и поддерживает любую творческую силу, вступающую на новые пути. Он полностью согласен с марксистско-ленинской точкой зрения, что революционное искусство — союзник революционного рабочего класса, и под

таким углом зрения развертывает свою литературную работу. И речь у него идет не о любой революционной литературе, которая бы изложила, например, в стихах общие истины, которые гораздо лучше удается выразить в статье. Речь идет о таком революционном искусстве, которое высокохудожественно, о литературе, которая остается неисчерпаемым источником, обращена к сердцам людей и воздействует на чувства, на сердце человека. «Стихотворение, драма, сцена подготавливают сердце и ум! — проповедует он в ту пору. — Теория и жизненный опыт их закаляют».

Юношеские работы Уркса — идеологически четкие, боевые, он однозначно стоит на позициях революционного пролетариата. Уркс — первый образованный словацкий марксистский критик. Он точно оценивает первые литературные шаги Лацо Новомеского, Яна Поничана, Франи Краля, Петра Илемницкого, равно как и произведения чешских авторов, таких, как Ванчура, Незвал, Волькер, Гора, и других. Он зорко следит за всем, что происходит в отечественной и зарубежной литературе.

Но уже в двадцать пятом году Эдуард Уркс появляется в Братиславе. Он оставляет учебу, отказывается от карьеры занимающегося литературой ученого, для чего имеет все предпосылки, и переходит на службу партии. Он становится редактором коммунистической словацкой «Правды». Свидетели тогдашних времен знают, что это означало. Кто решался стать функционером партии, тот добровольно избирал нужду и жизнь, полную страданий, репрессий и тюрем. Это было естественно для людей, которые осознанно, с чистым сердцем, с энтузиазмом и величайшей жертвенностью вставали на путь революционеров.

В Братиславу Уркс привозит из Праги твердые философские основы и уже в целом непоколебимую преданность коммунистической партии и рабочему классу. Привозит он также и рукописи двух книг, переведенных им в Праге на словацкий. Это репортаж Рида «Десять дней, которые потрясли мир» и роман Эптона Синклера.

В один прекрасный день мы сидим на втором этаже братиславского кафе «Астория» и из фотографий вместе клеим обложки для этих книг. Фотомонтажи были в моде, а мы в этом плане были понятливыми учениками. Мы не хотели, чтобы Словакия отстала от современной графики, и с нашими обложками, которые тогда получались еще довольно дилетантскими, обе книжки вскоре вышли.

Уркс — долговязый, худощавый молодой человек с темными горящими глазами, голос у него глуховатый, ходит он неторопливо, как моряк. Говорит по-словацки и по-чешски.

Каждое его слово осмысленно, он умеет громко смеяться, иногда отпускает язвительные шутки даже по адресу своих друзей. В Братиславе он остается недолго. Вскоре уезжает в Остраву, где находится главная редакция словацкой «Правды». До него там работали Клемент Готвальд и Лацо Новомеский. Уркс по происхождению чех, родом из Моравской Словакии, из Велькенад-Величкой. Родился он в 1903 году в семье лесника. В 1918 году семья переселилась в Словакию, в Ружомберок. Это была резиденция Андрея Глинки, цитадель «людовой» партии, но там был мощно представлен и революционный рабочий класс, потому что в Ружомбероке и его окрестностях находилось много крупных заводов. В Ружомбероке Уркс закончил гимназию. Писать по-словацки или по-чешски для него не составляло труда.

С 1924 года, когда его имя впервые появляется в печати, вплоть до 1938 года Уркс пишет почти во все наши газеты и журналы: в «Правду худобы», «Руды вечерник», в «Гало-новины», в остравский «Делницкий денник», в «Творбу», в «Свет праце» и другие.

Его имя можно встретить под рецензиями на книги, критическими, культурно-политическими статьями и размышлениями, под резкими принципиальными заметками. Он с принципиальных позиций полемизирует, вступает в конфликт с немарксистскими мнениями, пишет философские статьи, обнаруживающие его высокую теоретическую образованность, увлекательные репортажи из Советского Союза, затрагивающие конкретные проблемы коллективизации советской деревни и замечательно рисующие образы колхозных крестьян, политические передовицы, защищающие линию партии, сражающиеся за единство трудового народа и мобилизующие его на защиту республики.

Эдуард Уркс был выдающейся фигурой нашего коммунистического движения. Честный, прямой, принципиальный человек с цельным характером. Партия доверяла ему ответственные посты и была уверена, что на него может полностью положиться. Как мудрому, опытному и бесстрашному лидеру она доверила ему в период оккупации нелегальное руководство. В этой должности в 1941 году он был арестован и в апреле 1942 года казнен в Маутхаузене. Его последнее письмо перед казнью кончается словами:

> «До последней минуты с любовью буду вспоминать партию, которая воспитала меня так, чтобы даже в этот самый трудный час я был достоин звания члена партии».

Наряду с С. К. Нейманом, Зденеком Неедлы и Юлиусом

Фучиком Эдуард Уркс был видным представителем культурного фронта в период между двумя мировыми войнами. Он помогал прокладывать путь нашей социалистической литературе и существенным образом содействовал развитию марксистской эстетики. Интересна его полемика с Бедржихом Вацлавеком по поводу книги «Поэзия на распутье», в которой он остро, но чутко и тактично опровергает некоторые мысли Вацлавека и противопоставляет механистическому пониманию литературного процесса тогдашними модными социологами, буржуазные философские корни которых он обнажает, принципиальную марксистско-ленинскую точку зрения. Отвергал Уркс и вульгарный взгляд на искусство — будто бы все созданное при капитализме должно быть отброшено. Он боролся против упрощения так называемой пролетарской литературы и при каждой возможности напоминал писателям, что в истинно новом искусстве наряду с новым содержанием всегда должна существовать и новая форма выражения.

Будучи глубоко образованным в марксистско-ленинской философии, он никогда не сбивался на путь чистого теоретика. Еще учась в гимназии в Ружомбероке, он часто посещал рабочих и беседовал с ними по важным политическим проблемам. Он никогда не верил в полезность чистой теории, считал, что одно лишь знание марксизма-ленинизма само по себе бесполезно, если оно одновременно не подкреплено революционной практикой. Поэтому мы знаем его не только как увлеченного, блестящего революционера-коммуниста, но и как политика-практика.

Это, разумеется, приносит ему и типичную судьбу — судьбу «опасного коммуниста». В 1931 году он осужден на девять месяцев тюрьмы. Но вместо тюрьмы он нелегально уезжает в Советский Союз, где работает с Ярославом Прохазкой{308} над переводом произведения В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Однако он не был бы журналистом, если б остался прикованным только к этой работе. Он внимательно следит за многообразной жизнью Советского Союза, подмечает ее новые стороны, и особенно изменения в советской деревне. Уркс пишет книгу репортажей «Поле вспаханное». (И при том продолжает публиковаться в наших газетах.) Эта книжка о советской деревне, для которой он выбрал название, противоположное названию известного романа Петра Илемницкого «Поле невспаханное», выходит на чешском языке в Москве. Ее более позднее словацкое издание чехословацкая цензура тотчас конфискует.

В Москве Уркса застает десятая годовщина работы группы «Дав», в создании которой он участвовал. Эта годовщина дает ему

возможность критически задуматься над работой «Дава». В том, как Уркс рассматривает прошлую деятельность «Дава», ярко выявляется типичная черта его характера: истинная революционность, самым тесным образом связанная с жизнью и нуждами партии. Отмечая достоинства «Дава», он беспощадно вскрывает и его недостатки, потому что, как он подчеркивает, речь идет не просто о юбилейных воспоминаниях, а о том, чтобы критически оценить, «насколько мы вооружены для дальнейших целей, которые потребуют большей энергии, больших способностей, а также большей решимости». И Уркс конкретно формулирует эти задачи (это в 1934 году):

> «Сделать все, чтобы учащаяся молодежь и лучшие прогрессивные деятели словацкой культуры стали не опорой фашизма, а союзником словацкого и международного пролетариата.
>
> Если мы до сих пор были верны революционному движению, необходимо, чтоб сегодня мы были еще более верны. Если мы за десять лет идеологически выросли на десять голов, необходимо, чтобы мы идеологически выросли еще на десять голов за десять дней!
>
> Если мы до сих пор отличались марксистской бдительностью и стремились к чистоте своей идеологии, необходимо, чтобы это удесятерялось!
>
> Если мы до сих пор идеологически воздействовали на передовую словацкую интеллигенцию в школах, в области культуры, необходимо, чтобы мы это движение расширили и закрепили!
>
> Основная и более трудная работа, подчеркиваю, у нас впереди».

Четыре года спустя Эдуард Уркс вновь возвращается в республику. Возвращается, обогащенный ценным опытом и знаниями. Его образование стало еще более глубоким, в нем еще больше укрепилась решимость отдать все силы борьбе за победу трудящихся. Поначалу он живет в Праге нелегально и выходит из подполья лишь тогда, когда по амнистии тюремное наказание с него было снято. Какое-то время он работает в остравском «Делницком деннике», а в тридцать восьмом году становится заместителем главного редактора «Руде право» Яна Швермы. Тогда он переживает с нами самые драматические минуты, которые мы когда-либо пережили в редакции. Особенно ту незабываемую осень и ее кульминацию — мюнхенскую измену. Вижу его в те трудные дни, как он был несчастен, когда объявили мобилизацию и большинство из нас, редакторов, прямо от

редакционного стола отбывало в свои части. Нас призывают в армию, а он должен остаться в Праге. В ситуации, обострившейся до такой степени, что тут нужно уже не перо, а настоящее оружие. Он предпочел бы идти с нами, потому что никогда не хотел оставаться лишь наблюдателем событий. Он всегда хотел в них участвовать. Ничто ему так не чуждо, как личная пассивность, ничто его так не возмущает, как лихорадочные усилия капитулянтов, которые хотели бы морально разоружить народ и воспитать пассивность в его характере. В статье «О чешском национальном характере» Уркс отвергает утверждение, будто чешский народ не умеет воевать, и пишет:

> «В нашем народе существуют определенные круги, которые желали бы, чтобы народ проявил прежде всего тот общеизвестный «голубиный характер»{309}, который все стерпит. Более чем бесспорно, что этот народ получит хорошие и самые непосредственные и злободневные поводы, чтобы показать пустоту того качества, которое ему приписывают, и что он проявит совершенно новые, неожиданные для отечественных и иностранных господ черты нового характера, если угодно — чтобы таким путем положить конец всем легендам о национальном характере».

Уркс не ошибся. И даже тогда, когда мюнхенский сговор отдал чехословацкое государство Гитлеру, народ, которому принадлежали все симпатии Уркса, его не обманул. Народ — рабочие, трудящиеся, — руководимый коммунистической партией, не смирился с оккупацией. Во главе борьбы народа стали коммунисты, и Эдуард Уркс в этой трудной битве не стоял в стороне. Он встал на передний край, что было в его характере.

Когда я размышляю в этих строках над жизнью Уркса, над его произведениями и его революционной деятельностью, когда отдаю дань его участию в пятидесятилетней истории газеты «Руде право» и нашей партии, мне приходят на память некоторые обстоятельства, подтверждающие, что наша коммунистическая партия со дня своего основания была чем-то большим, нежели одной из политических партий, порождаемых тогдашней буржуазной общественной формацией. И что именно ей с ее новым, отличным от других характером, с ее марксистско-ленинским пониманием политики было предопределено сыграть решающую роль в современной истории наших народов, и особенно в конечном плодотворном решении отношений между чешским и словацким народами на основе равноправия, о чем свидетельствует современность. Как это могло произойти?

Общеизвестно, что чешские земли в период предмюнхенской республики поставляли в Словакию прежде всего жандармов и судебных исполнителей. Но поставляли они и учителей и школьных работников, большинство из них поняло боль словаков и полюбило словацкий народ. Но Словакия была также высшей политической школой для виднейших руководящих работников нашей партии. В Словакии политически формировался Клемент Готвальд и многие другие чешские коммунисты, примкнувшие к борьбе словацкого народа. Вместе со всеми передовыми людьми страны они закладывали марксистско-ленинские основы национальной политики нашей партии, которой были чужды всякие предрассудки и националистические настроения буржуазных партий. Такое же лишенное предубеждений отношение к чешскому народу было и у словацких товарищей. Вспоминаю, например, что означал для чешской политической и культурной жизни пражский публицистический и журналистский период Лацо Новомеского. А Эдуард Уркс? Его политическое кредо, коммунистические убеждения, его характер в значительной степени сформировала Словакия. В ее революционные страницы, равно как и в наши чешские, имя Эдуарда Уркса вписано яркими буквами.

**1970 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# Карел Чапек

Двумя следующими одна за другой годовщинами вспоминаем мы в эти дни имя писателя Карела Чапека. На рождество, 25 декабря, исполнился уже тридцать один год, как он умер в душной атмосфере буржуазной республики, осыпаемый оскорблениями, поливаемый грязью со стороны фашизированного мещанства. А в пятницу 9 января исполнилось восемьдесят лет со дня его рождения. Будь он жив, он был бы сегодня чуть ли не единственным из старейших наших писателей. Однако он не дожил даже до пятидесяти. Другие литераторы родились под счастливой звездой. Толстой, Анатоль Франс, Ромен Роллан, Д. Б. Шоу, Г. Д. Уэллс и многие другие гиганты национальной словесности дожили до глубокой старости. У нас же самые лучшие уходили в основном преждевременно. Не только Маха, Главачек{310}, Волькер, ушедшие в молодом, почти юношеском возрасте, но и Немцова, Гавличек, Неруда, Гашек, Чапек, Ванчура, Гора, Незвал, Галас умирают в самом расцвете, посредине пути, тоже, собственно, молодыми, так что их творчество, хотя они были еще полны сил, преждевременно вдруг обрывается, нанося ущерб нашей литературе. И не только нашей.

Последняя работа Чапека, также неоконченная, «Жизнь и творчество композитора Фолтына», была написана тридцать лет назад. Тридцать лет — достаточный срок, чтобы выверить каждое художественное явление, определить его жизнеспособность. И если ему есть что сказать и сегодня, оно продолжает жить, в противном случае время осуждает его на забвение. Время — бескомпромиссный критик, от него не ускользнет ничто. Время ничуть не уменьшило ни жизненности, ни ценности художественного творчества Чапека. Продолжают читать его романы, рассказы и маленькие фельетоны, по-прежнему полны живых, волнующих вопросов его пьесы. Его юмор и сатира остаются свежими, будто напоенными из чистых человеческих источников, читаются даже книжки его путевых заметок. Чапек вечно живой, современный, он все время идет с нами как автор наших дней, его творчество пламенно, вечно способно давать читателю то, что нам необходимо. В чем тут дело?

Карел Чапек.

Некоторые авторы и их произведения получают признание лишь по прошествии лет. Иногда потому, что современники их не понимают, и лишь последующие поколения подступаются к ним в надежде расшифровать их загадки. Чапек имел успех уже при жизни, не только в нашей стране, но и за границей. Он был первым нашим всемирно известным автором. Каждое его произведение содержало дразнящий вкус чего-то нового, неповторимого, свежего, остроумного и интересного по мыслям и по форме. Оно привлекало внимание, хотя было ясным, в нем не было загадок и темных мест или таких проблем, на которых долгие годы могли бы паразитировать целые школы теоретиков. Возможно, именно потому о Чапеке вышло так мало обстоятельных научных статей (единственная большая работа — словацкая монография о Чапеке, написанная Матушкой), что тут не удается сделать никаких рискованных кульбитов, чтобы превратить Карела Чапека в нечто иное, нежели он есть на самом

деле{311}.

Художественное лицо Чапека неизменно, даже если некоторые его сочинения отмечены поверхностной философичностью или некой эффектностью построения мыслей, касающихся метафизики. Но при этом перо Чапека никогда не служило абстрактным божествам. Писать для него не означало вступать в некий величественный «храм искусства», стоящий в стороне от жизни. Когда в 1921 году Чапек объясняет, почему написал самую знаменитую свою пьесу «R.U.R.», он говорит: «У меня речь шла не о роботах, а о людях». И то же повторяет он пятнадцать лет спустя в пояснении к «Войне с саламандрами»: «Я писал своих «Саламандр», потому что думал о людях». Это могло бы быть эпиграфом к любой его книжке. Было время, когда он писал о людях с игривым озорством в своих первых литературных опусах, позже искал в людях то, что есть в них здорового, естественного, честного и человеческого, их мелкие радости и жажду счастья, а были времена, когда он испытывал ужас и страх за судьбу человечества, своей страны и своего народа. Возможность злоупотребления техникой на пользу каким-то дьявольским нечеловеческим поступкам приводила его в ужас. В такие минуты чапековское творчество приобретало новые масштабы. Исчезло все, что казалось прославлением посредственности, что рисовало мир как идиллию, и слово Чапека зазвучало с мобилизующей силой, превратившись в призыв и оружие.

Как и Гашек, Ольбрахт и Ванчура, Карел Чапек — один из величайших наших писателей межвоенного времени. Он стал им в силу ярко выраженной оригинальности, своего художественного языка, своей всесторонности, новаторства, честности художника, благодаря тому, что был глубоко связан с национальной традицией и прокладывал новые пути нашей литературе, что каждым своим писательским действием он вмешивался в жизнь, чтобы помочь ей измениться к лучшему. Он умел не только точно и поэтически изобразить обычного человека и его жизнь, но и поставить важные, волнующие вопросы, имеющие широкое общественное значение, даже если сам не мог найти на них ответа.

**1970 г.**

*Перевод И. С. Граковой.*

# Иржи Тауфер — поэт нашей эпохи [37]

Когда в 1928 году известный критик Ф. К. Шальда передавал свое детище — литературный журнал «Творбу» — любимому ученику и соратнику Юлиусу Фучику и «Творбе» предстояло заменить закрытые к тому времени коммунистические издания, в Моравии вышла тоненькая книжечка первых стихов семнадцатилетнего Иржи Тауфера «Вечерние глаза».

В том же 1928 году Витезслав Незвал издал свою знаменитую поэму «Эдисон», Йозеф Гора — книгу «Струны на ветру», Франтишек Галас — свой первый стихотворный сборник «Сепия», тогда же вышла одна из самых поэтичных книг Константина Библа, «С кораблем, что привозит чай и кофе», обратил на себя внимание сборником «Панихида» Вилем Завада.

1927—1928 годы были урожайными в поэзии; особенно успешно выступили поэты младшего поколения, чьи имена засияли на литературном небосклоне после первой мировой войны.

Они представляли поэзию совсем иного типа, нежели пролетарский поэт Иржи Волькер, со дня смерти которого прошло четыре года. Схлынули волны хрестоматийной славы — мало, впрочем, волновавшей самого Волькера, который «любил мир и шел на баррикады за него», — молодые поэты избирали иные пути.

Восходит солнце нового направления в литературе — поэтизма{312}, наделавшего немало шума, и праздничное ликование, прославление красот природы, мира вытесняют в стихах строки о борьбе.

«Вечерние глаза», только что появившийся сборник юного Тауфера, стоял как-то особняком среди этих книг, он отличался своей интонацией, чистотой чувств и прелестной наивностью юности. Кто из начинающих поэтов мог избежать обаяния «Плотины» Шрамека? Лирики, прозрачной, как волшебно журчащий лесной родник, пронизанной экзальтированной грустью, которую тогдашнее поколение искренне воспринимало как свою собственную. В этих стихах умирали цветы, пели скрипки, распахивались окна и глаза, звонили колокола, по улицам бродили нищие. Все было согрето светом любви, и человек в них был добрый и сильный.

Типичные юношеские стихи, какие пишут в семнадцать лет.

Эпоха, однако, была слишком бурная, насыщенная социальными переменами и переворотами, и не прошло и года, как пытливого юношу с широко раскрытыми глазами, с любовью

и болью взиравшего на мир, было не узнать.

Менялись времена, менялся литературный процесс. Франю Шрамека сменил Станислав Костка Нейман. Затем наступает эра Иржи Волькера, А. М. Пиши, Франтишека Немеца, Сваты Кадлеца, Ярослава Сейферта и других.

После смерти Иржи Волькера в начале 1924 года молодые поэты, вместе с ним присягавшие на верность алому знамени, больше не видят своей цели в борьбе; ровесники И. Тауфера или немного старше его проповедуют новые мироощущения и кокетничают перелицованными чувствами — всем тем, от чего волькеровско-незваловское поколение, воспитанное Нейманом на материализме, звавшем со страниц журнала «Червен» на социальную революцию, отказалось раз и навсегда.

Принято считать, что новые поколения приходят на смену прежним согласно какому-то закону противоположности, непохожими на тех, что были до них.

Иржи Тауфер пренебрег этим общепринятым правилом. В его метрике местом рождения значится Босковице, а дата рождения — на одиннадцать лет позже Волькера и Незвала, однако первая его книжка словно бы несла на себе печать начала 20-х годов — эпохи Волькера и раннего Незвала. Может показаться, что он несколько запоздал: теперь так уже не писали; хотя изредка и раздавались отдельные отзвуки подобной поэзии, решающего значения она уже не имела. Другое дело — Иржи Тауфер. В 1931 году выходит вторая книга Тауфера, в 1933-м — третья, и становится ясно, что, несмотря на молодость, он из той же плеяды, что и Волькер, Незвал, Библ, Галас с Завадой, Сейферт поры «Города в слезах», Пиши. Мало того, С. К. Нейман, давно распустивший свою школу, вдруг обретает нового ученика, который навсегда сохранит верность своему учителю.

Даже все написанное Тауфером позже, идейная напористость этих произведений, энергичный стих, широта дают основания отнести его к поколению 20-х годов. В поэтических сборниках Тауфера живо звучит все то, что сближало его друзей поэтов. При этом он всегда остается самим собой, у него собственный голос и собственное лицо.

Почему книга избранных стихов Тауфера называется «Прислушайтесь к моим рукам»?

Это чисто тауферовское название, и оно как нельзя лучше подходит его стихам; впрочем, так же называется и одно из стихотворений в сборнике «Рентгенограммы». В своих произведениях поэт подает руку рабочим, актерам, морякам, и это рукопожатие звучит оркестром турбин и токарных станков, электромоторов — творений рабочих рук.

Наше поколение, воспитанное первой мировой войной, демонстрациями голодных толп, рабочими забастовками, никогда не скрывало своего преклонения перед руками созидателей мира, творящими чудеса, — как сказали бы мы вслед за Максимом Горьким. Тяготы жизни, которые мы с детства переживали со взрослыми, нелегкий удел рабочего человека, сталкивавшегося с жестокостью и эгоизмом богачей, — все эти жизненные испытания, в избытке выпавшие на нашу долю, наделили нас особым чутьем…

У Тауфера каждая строка проникнута любовью и уважением к рабочему человеку, к его трудовым рукам.

Восхищение трудом рабочих, уважение к языку и чешскому стиху, умение композиционно блестяще организовать самые сложные стихотворения, придирчивость, с какой Тауфер создает даже непритязательный куплет или импровизацию, — все это дает поэту полное право самому считаться рабочим поэтического цеха.

Многим из поэтов не мешало бы поучиться у Тауфера так же тщательно отделывать свои стихи.

О своей любви к трудящемуся человеку Иржи Тауфер прекрасно пишет в книге воспоминаний «Партия, люди, поколение»:

> «Мы полюбили фабрики и людей в синих блузах, эти люди нравились нам за излучаемые ими и присущие только им черты созидательности.
>
> Мы не могли не полюбить этих людей-созидателей, от которых веяло неведомой и увлекательной новизной, и эта новизна открылась нам позже как примечательная черта будущего; мы тянулись к рабочим и открывали для себя источники их силы…»

Иржи Тауфер сохранил верность этим людям, они были и остаются главными героями его поэзии. Любовь поэта безраздельно принадлежит им — такая же непатетическая, простая и глубокая, как уважение и любовь к женщине, которыми дышит каждая его строка, и два лучших его стихотворения последних лет — «Кружевницы» и «Баллада о кузнеце» — свидетельство этого.

Истинная поэзия своими корнями уходит в родную почву, она питается соками земли детства поэта, где он впервые учился любить людей и жить их судьбами. Очарование образов детства многие поэты хранят в себе всю жизнь и возвращаются к ним в своих стихах спустя годы. Гак складывалось большинство стихотворений Волькера, поэма Незвала «Из родного края»,

другие его стихи. И поэзия Тауфера пронизана солнечными лучами родного Босковицкого края, раскинувшегося по берегам Свитавы и Свитавки, где «…за оградой пахнет тмин, петух, весь рыжий, в охре глины, под небом, что блестит, как цинк, вдруг подражает окарине».

Абстрактные стихи об абстрактных географических краях испокон века заполняют нивы поэзии, равно как и стихи мнимо глубокомысленные, вычурные и пустые. Экзальтированный субъективизм, ковыряющийся в своем болезненном «я», дешевая кинолюбовь, модный цинизм и «смелая» сексуальность вместо здоровой и естественной эротики — все это явления одного плана.

А для читателя важно — дышит ли поэзия истинным воздухом природы, умеет ли она приблизить к нему ее волшебные метаморфозы и заселена ли эта природа любящими ее людьми. Любовь Тауфера к природе, к родному краю, к чешской земле — это стихия, пронизывающая всю его поэзию, в том числе его гражданскую лирику. Стихи Тауфера нельзя строго разграничить на гражданские и лирические — они представляют собой единство сюжетно и драматически напряженных стихов, в которых мы видим истинную жизнь.

Поэт страстно влюблен в свою родину, и, любя ее как сын, он обращает свою любовь к другим странам и к людям, которые, как и на его родине, борются за счастье своей страны.

И когда поэт пишет: «Родная для меня земля — любая, где люди борются за счастье. И весь грядущий, полный счастья мир — все родина моя», — поэту веришь.

В его заявлении нет ничего общего с космополитизмом, это — интернационализм, с которым впервые мы встретились в поэзии Неймана и который пронизывает всю поэзию Тауфера.

У поэзии есть свои верные и преданные почитатели, для них она и создается. Но существуют педанты, которым поэзия не доставляет особого удовольствия, они занимаются ею лишь в силу своих обязанностей. Поэтов они не жалуют и нередко стараются доказать, что все поэты похожи друг на друга. Поэты схожи меж собой, как деревья, но и среди деревьев нет одинаковых. Дуб и ольха, липа и осина, платан и верба, береза и раскидистая яблоня — все это деревья, и все они разные.

Нет рецепта, предписывающего, как надлежит выглядеть поэту, какое у него должно быть лицо, какую ему носить одежду. Еще никто не исследовал, в каком детском возрасте складывается поэтический тип. И вместе с тем у поэтов, несомненно, существует родство душ, и многие десятки лет спустя мы находим общие корни их родословной, восходящей к К. Г. Махе,

А. С. Пушкину, Я. Неруде, Я. Врхлицкому, У. Уитмену, А. Рембо и т. д.

Поэт, избравший поэзию своей судьбой, всегда неповторим. У каждого поэта своя биография, и она присутствует в любом его стихотворении. Истинный поэт живет рядом с тобой на нашей планете, переживает вместе с тобой все твои радости, борения, горечи, печали, движения сердца и разума, и его мир — это твой мир, его родина — твоя родина, его любовь — твоя любовь, и его ненависть — твоя ненависть. Истинный поэт — выразитель движения твоей души, он поет и от твоего имени и высказывает то, что у тебя на сердце, но чего ты не умеешь выразить.

Иржи Тауфер — один из этих поэтов. В его стихах отразилось наше время, наша эпоха, наши борения, наши страдания, наши надежды и наши победы.

Тауфер всегда во всеоружии и всегда на передовом боевом посту.

Высокие гражданские темы не заслоняют от него человеческие будни и повседневные поступки людей. Полным гнева антивоенным стихам сопутствуют проникнутые любовью строки о простых людях, тематически крупным полотнам — коротенькие стихи, сосредоточенные на отдельных фактах нашей жизни.

Да, это поэт-трибун, говоришь ты себе, и каждой своей строкой он заявляет о себе как коммунист.

Вот цитата из статьи известного чешского критика Ф. К. Шальды:

> «Волькеру и многим другим пролетарским поэтам-коллективистам пеняют, говоря, что между коммунизмом и поэзией, между марксизмом и поэзией нет ничего общего. Это ошибка. Ведь марксизм стремится к улучшению и обогащению жизни, для марксизма это дело жизни. Почему же поэзия должна быть частным делом Пепика и Марженки, темной летней ночью сидящих на парковой лавочке? И почему этот могучий поток человеческого усилия, мышления и организованного общественного действия не может стать предметом поэзии? Разве в нем в меньшей степени проявляется сила жизни, чем в этом частном мероприятии Пепика и Марженки? Марксизм, коллективизм, коммунизм — во всем этом есть своя поэзия, и поэзия весьма интенсивная, нужно только уметь ее найти».

Молодые поэты послевоенного поколения написали немало

политических стихов. Но стихи, написанные в 30-е годы двадцатисемилетним Тауфером и вошедшие в книгу «Рентгенограммы», до сих пор можно произносить с трибуны. Я хотел бы обратить внимание на два из них: «Смерть Анри Барбюса» и «Рукопись, найденная в бутылке в открытом море».

Немало написано стихов и о Советском Союзе, среди них есть прекрасные, навеянные очарованием Страны Советов. Тем не менее Иржи Тауфер и тут в особом положении: его стихи прямо-таки насыщены потрясающими свидетельствами последней войны, и никто не сравнится с ним в силе выразительности — такой радугой красок сияет их образность, так ярко воплощены в них любовь, горе, ненависть, гнев.

Поэт прошел по земле первого государства рабочих и крестьян не как турист или гость — он пережил в России ужас гитлеровского нападения, все бедствия Великой Отечественной войны, отступление к Волге, а затем был свидетелем поворотного момента в войне — битвы под Сталинградом и окончательного поражения врага.

Только на основании глубоко пережитого могли родиться образы таких волнующих стихов, как «Стихотворение о твоей маме», «По степи», «Ночной пожар в степи». Сколько в них человечности! Сколько нежности сберег поэт в бешеном аду войны — стоит лишь вчитаться, например, в прекрасное стихотворение о жеребенке. Эта поэзия проникнута глубоким гуманистическим пафосом, сохранившим простоту и остроту переживаний, не часто выпадающих на долю поэта.

Подобные стихи мы находим лишь у советских поэтов, сражавшихся за родину не только поэтическим словом, но и с оружием в руках.

Во второй своей книге, «Игра теней», молодой Тауфер использует приемы, свойственные поэтизму, мы найдем в ней стихи с характерными для образной системы того времени чертами, написанные в модном в то время легкомысленном тоне. Подражая старым «морским волкам», тогда курили трубку и колесили в стихах по всем широтам. У Тауфера в этой книге тоже есть стихотворение о трубке, но он так и не пристрастился к ней, как не стал и последователем поэтизма, хотя виртуозно овладел словом, рифмой, техникой стиха, как немногие его собратья по перу. Это помогло ему мастерски перевести на чешский язык Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Тауферу никогда не было свойственно пренебрежительное и легкомысленное отношение к жизни, однако это не значит, что мы не найдем у него сложенные в беспечную минуту стихи-безделки, своего рода поэтические аппликации; но гораздо

больше стихов свежих, как только что сорванные фрукты или кувшин кристально чистой воды из горного родника, стихов чувственных и сочных, как трава на росистых лугах. Своей любовью к природе Иржи Тауфер, материалист-землянин, близок Нейману и Незвалу.

Чешские литературные критики — в отличие от Неймана и Вацлавека — в последние годы не слишком баловали своими симпатиями этого достойного внимания поэта. Щедрые на похвалы, когда речь шла о противоречивых и проблематичных поэтах, критики по большей части игнорировали стихи Тауфера, вместо того чтобы сказать о них доброе слово. Кроме Неймана и Вацлавека, только Ф. К. Шальда обратил в свое время внимание читателей на незаурядный поэтический талант Иржи Тауфера.

Свое место в поэзии, свой голос и свое неповторимое поэтическое предопределение он обрел в созвучной ему поэзии своих учителей и друзей.

Когда-то его упрекали, что он слишком эрудирован для поэта, и пытались воскресить старое поверье, будто поэтом дано быть только тому, кто извлекает простые мелодии из вербовой дудочки. Конечно, и таких поэтов нельзя недооценивать, пусть они играют и несколько монотонную, небольшого жизненного охвата явлений, но прелестную песенку — если только их мелодия звучит чисто и естественно и если эта простота — не поза, не добродетель поневоле и в эту мелодию поэт вкладывает душу и сердце. Отчего ей не иметь права на существование? Но бурные и драматичные события всегда требовали поэтов иного склада, в стихах которых звучали бы отклики значительных гражданских фактов, грохот исторических битв, отклики сменяющихся социальных эпох, отражающих отмирание старого и нарождение нового. Уже на нашем веку революционные перемены захватили полмира, а наши враги стали еще более яростными. Культура превратилась в достояние рабочих и борющихся масс, и истинно современные поэты — это те, кто пошел по стопам Маяковского: Назым Хикмет, Пабло Неруда, С. К. Нейман, Поль Элюар, Витезслав Незвал и многие другие.

Это и Иржи Тауфер.

Иржи Тауфер, чутко воспринимая все новое, что преображало и преображает мир во всех его проявлениях, во всех сферах жизни и человеческой деятельности, в труде и в помыслах, восхищался славными делами Великой Октябрьской социалистической революции, достижениями советских людей. Преклоняясь перед исторической миссией революционного рабочего класса во всем мире, Иржи Тауфер всегда прислушивался к голосу своего сердца, был последователем в своих взглядах. Сторонник ленинизма,

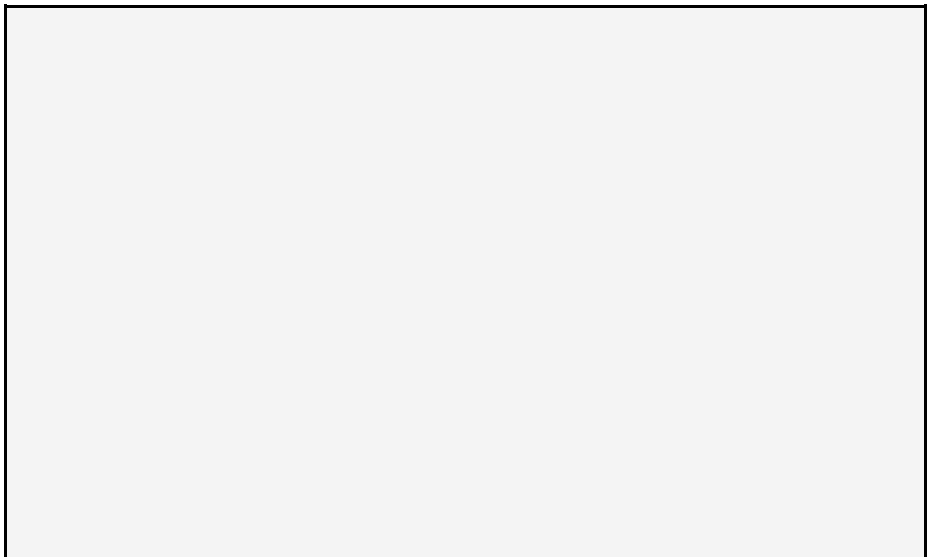
друг Бедржиха Вацлавека, участник чешского коммунистического культурного фронта с первых дней его создания, Иржи Тауфер с того самого момента, когда осознал свою великую миссию поэта, шаг за шагом завоевывал этот мир для себя и для трудящегося человека и никогда не менял своей позиции. А ведь были и такие, что, теряя веру, отказывались от этого великого предназначения поэта. Верность и непреклонность обрекали Тауфера на тяжелые испытания на протяжении всей его жизни. Об этом мы прочтем и в его стихах.

Начиная с первых книг и до настоящего времени, поэзия Тауфера — это исповедь художника, который жил и продолжает жить полнокровной жизнью нашей эпохи, нашей современности. Наша эпоха, процесс ее развития, ее общественные конфликты и жизненные драмы людей — все это становится темой произведений поэта, произведений глубоко прочувствованных, своеобразных, ярких. Гуманизм Тауфера охватывает все новые и новые стороны жизни.

Поэт с неиссякаемой творческой силой вступает в новые битвы. Не ослабевают его товарищеские связи, дружба его таланта с лучшими прогрессивными силами мира, не ослабевает его стремление покорять поэтическим словом все новые континенты правдивыми, убедительными образами, с помощью фантазии, опирающейся на реальность, и метафоры, отшлифованной до инженерной точности.

**1976 г.**

*Перевод И. И. Ивановой.*



Цена 1 руб.

# Йозеф РЫБАК

Я принадлежу к числу тех писателей, которые не хотят и не могут прибегать к вымыслу. У меня есть одна общая тема — это все, что я пережил, все, что делал вместе с другими, это мои размышления о мире, это все, что я перечувствовал. А перечувствовал и пережил я много. Да и может ли быть иначе, если всю свою жизнь я посвятил публицистике, был полон впечатлений, изо дня в день живя заботами редакций газет?

«Опора и оружие», 1976

Авторитет писателя в литературе и жизни зависит от его гражданской позиции, от его решимости отдать все свои силы делу правды, справедливости и свободы. Его гневный голос обличает ложь и насилие, лицемерие и злодеяния эксплуататоров. Подлинный писатель — всегда на стороне человечности, счастливого будущего трудящихся, на стороне социализма.

«Гражданская позиция писателя», 1977

Литература не может стоять где-то на обочине исторических перемен и борьбы нашего общества, она должна находиться в самом их центре, то есть в центре политики, преследующей интересы народа и утверждающей высокие общественные цели социализма.

«Литература — память народа», 1981

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"

notes

# Примечания

# 1

Из сборника «К солнцу и тучам». Прага, 1958.

# 2

Из сборника «Иду на красный свет». Прага, 1975.

# 3

Пер. В. Корчагина.

# 4

Пер. В. Корчагина.

# 5

Пер. В. Корчагина.

# 6

Слова «котел» и «отель» в чешском языке почти созвучны: «котел» и «готел».

# 7

Один, два, три *(итал.)*.

# 8

«Соединенными силами» *(лат.)* — девиз Франца Иосифа I.

# 9

Ранен, находится в полевом госпитале *(нем.)*.

Обратно, адрес неизвестен *(нем.)*.

# 11

То есть Франц Иосиф I.

# 12

Полевая почта *(венг.)*.

## 13

«Прешпурк» и «Пожонь» — немецкое и венгерское названия Братиславы.

# 14

Пер. В. Корчагина.

## 15

«На авиньонском мосту» *(франц.)*.

# 16

Пер. В. Корчагина.

# 17

Поэма В. Незвала «Эдисон». Пер. Д. Самойлова.

# 18

Поэма В. Незвала «Из родного края». Пер. Д. Самойлова.

# 19

Рабочая иллюстрированная газета *(нем.)*.

# 20

«Америка» — лесопарк в Писеке. — *Прим. автора.*

# 21

Картофельный гуляш *(нем.)*.

# 22

Пер. Д. Самойлова.

# 23

Пер. В. Журавлева.

«Строфы моих дней», пер. М. Мировой.

# 25

Пер. П. Железнова.

«Песнь напряженных лет», пер. П. Железнова.

«Почет красному флагу», пер. Н. Асеева.

# 28

«Мотто», пер. Д. Самойлова.

«Из родного края», пер. Д. Самойлова.

# 30

Там же.

# 31

«Баллада о сне», пер. Л. Мартынова.

# 32

Пер. Л. Мартынова.

# 33

«На койку немощного свет упал», пер. С. Кирсанова.

*Верхарн Э.* «Дерево», пер. М. Донского.

# 35

Пер. Н. Аросевой, Д. Горбова.

Пер. Ю. Богданова, Н. Троепольской.

© Издательство «Художественная литература», 1977 (предисловие к книге И. Тауфер. Стихи. М., 1977).

**comments**

# Комментарии

# 1

Строки из стихотворения «Струны на ветру» чешского поэта Йозефа Горы (1891—1945).

# 2

*…люди помнили… о первомайской демонстрации 1891 года в Праге.* — В этот день пражские рабочие по призыву социал-демократической партии впервые вышли на демонстрацию с требованием всеобщего и равного избирательного права.

# З

Кршижик Франтишек (1847—1941) — чешский электротехник, изобретатель.

# 4

Черный Адольф (псевд. Рокита Ян) (1846—1919) — чешский славист, переводчик и поэт.

## 5

Гейдук Адольф (1835—1923) — чешский поэт, автор популярного сборника «Цимбалы и скрипки» (1876).

# 6

Янса Павел (1859—1913) — чешский художник.

## 7

Клаштерский Антонин (1866—1938) — чешский поэт-лирик, переводчик «Сонетов» Шекспира.

# 8

Шебек Ладислав (псевд. Ладислав Ариэтто) (1861—1924) — чешский поэт, прозаик, критик и переводчик; с 1897 г. — адвокат в г. Писеке.

# 9

Арбес Якуб (1840—1914) — видный чешский писатель-демократ, основатель жанра научно-фантастического «романето» в чешской литературе.

# 10

Суфражистки — участницы движения за предоставление женщинам избирательного права, распространилось во второй половине XIX — начале XX в. в Великобритании, США и ряде других стран.

# 11

*«Да не померкнет австрийская держава»* — строка из австрийского государственного гимна эпохи правления Габсбургов.

## 12

Горицияи Пьяве — город и река в Италии, где во время первой мировой войны происходили кровопролитные бои, в которых австро-венгерская армия понесла большие потери.

# 13

Алеш Микулаш (1852—1913) — известный чешский художник, родоначальник реализма в чешском изобразительном искусстве.

# 14

Балканская война (1912—1913) — война стран Балканского полуострова против Турции.

# 15

*…тянулись орды чужеземцев-грабителей.* — Город Писек неоднократно становился добычей неприятельских войск. Он был одним из крупных центров антифеодального и национально-освободительного гуситского движения (XIV—XV вв.) и подвергался нападениям участников антигуситских крестовых походов; во время Тридцатилетней войны (1618—1648) и войны за австрийское наследство (1741—1748) им овладевали войска австрийского императора (в 1619 и 1620 гг.), в 1741 г. — французы.

# 16

Седлачек Аугуст (1843—1926) — известный чешский историк. «История города Писека» написана им в 1910—1913 гг.

## 17

«Чешские братья» — чешская религиозная община, основанная в 1457 г.; участники ее проповедовали отказ от мирской деятельности, нарочитую бедность, непротивление злу насилием; в XVI в. «чешские братья» способствовали развитию просвещения в Чехии.

## 18

*…в годы первой республики…* — То есть в годы существования буржуазной Чехословацкой республики, провозглашенной 28 октября 1918 г., до Мюнхенского соглашения Великобритании, Франции, Германии и Италии (29—30.IX.1938), в результате которого от Чехословакии была отторгнута и передана Германии Судетская область, удовлетворены территориальные притязания правительств Венгрии и Польши. Мюнхенское соглашение предопределило захват Германией всей Чехословакии и способствовало развязыванию второй мировой войны.

# 19

Дожинки — деревенский праздник, посвященный дню окончания жатвы.

# 20

Календари в Чехии обычно издавались с беллетристическим приложением.

## 21

«Карикатуры» — чешский сатирический журнал, выходил в 1909—1915 гг. под редакцией художника и писателя Йозефа Лады (1887—1957); в нем активно сотрудничал Ярослав Гашек.

# 22

«Сокол» — массовая чешская патриотическая спортивная организация, основанная в 1862 г. Мирославом Тиршем (1832—1884); в буржуазной Чехословакии обрела националистический характер.

# 23

Вильгельм II (1859—1941) — германский император и прусский король, в 1888—1918 гг. один из подстрекателей и вдохновителей первой мировой войны, санкционировал прибытие в Агадир 1 июля 1911 г. германской канонерки «Пантера», что явилось военной демонстрацией со стороны Германии против претензий Франции на особые права в Марокко.

# 24

*Газеты были полны сообщений о сараевском убийстве.* — 28 июля 1914 г. в Сараеве членом тайной группы «Молодая Босния» Гаврило Принципом (1894—1918) был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд д'Эсте и его жена графиня София Хотек, что было использовано австро-германскими империалистами как повод для развязывания первой мировой войны.

## 25

Князь Николай — Никола I Петрович Негош (1841—1921), в 1860—1910 гг. князь Черногории, в 1910 г. провозгласил себя королем, в 1918 г. был низложен.

# 26

Бенедек Людвиг (1804—1881) — австро-венгерский генерал, главнокомандующий австрийскими войсками в период австро-прусской войны 1866 г. Его армия была разбита пруссаками 3 июля 1866 г. под Градцем Кралове.

## 27

Шайнер Артуш (1863—1938) — чешский художник-иллюстратор. Черный Венцеслав (1865—1936) — чешский график.

# 28

Немцова Божена (1820—1862) — выдающаяся чешская писательница, автор реалистических произведений о крестьянском быте, среди них особое место принадлежит повести «Бабушка» (1855), переведенной на многие языки.

## 29

Май Карл (1842—1912) — немецкий писатель, автор популярных приключенческих книг для юношества. Виннету, Олд Шеттерхэнд — герои его романов об индейцах.

## 30

Голуб Эмиль (1847—1902) — чешский врач, путешественник и этнограф, в 1872—1879 и 1883—1887 гг. совершил путешествия по Южной Африке. Свердруп Отто (1854—1930) — норвежский полярный исследователь, сподвижник Нансена.

# 31

Мариэт Фредерик (1792—1848) — английский писатель, автор популярных морских романов. Сальгари Эмилио (1863—1911) — итальянский писатель, автор приключенческих романов преимущественно для детей и юношества. Хаггард Генри Райдер (1856—1925) — английский писатель и путешественник, автор приключенческих и исторических романов. Серошевский Вацлав (1858—1945) — польский писатель и этнограф, автор рассказов и повестей о Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Асолан Альфред (1827—1886) — французский писатель, автор популярного романа «Необычайные приключения прославленного капитана Коркорана» (1867).

# 32

Враз Энрик Станко (1860—1932) — чешский путешественник, коллекционер, писатель, путешествовал по Африке, Азии и Южной Америке.

# 33

Махди Суданский (Мухаммед Ахмед) (1848—1885) — предводитель народного восстания в Восточном Судане против турецко-египетских угнетателей и английских колонизаторов, начавшегося в 1881 г. и продолжавшегося до 1898 г.

## 34

Гордон Чарлз Джордж (1833—1885) — английский генерал, участник многих колониальных войн, губернатор Судана, погиб во время штурма г. Хартума махдистами.

# 35

Бенеш-Тршебизский Вацлав (1849—1884) — чешский писатель, автор исторических романов, повестей и рассказов.

## 36

*…правил брандисский драгунский офицерик…* — Речь идет об австрийском императоре Карле Франце Иосифе I (1887—1922), правившем Австро-Венгрией с 21 ноября 1916 г. по 11 ноября 1918 г.; в 1908—1912 гг. он служил офицером в драгунском полку в чешском городе Брандис-над-Лабой.

# 37

Пиша Антонин Матей (1902—1966) — чешский поэт, критик и литературовед.

# 38

«Красное знамя» — революционный гимн чешского пролетариата. Текст был написан в 1881 г. польским поэтом Болеславом Червеньским (1851—1888) и в 1891 году переведен на чешский язык. Исполнялся на музыку одноименной песни французских коммунаров «Где родина моя» — чешский национальный гимн на слова писателя-классика Йозефа Каетана Тыла (1808—1856), музыка чешского композитора Франтишека Шкроупа (1801—1862).

# 39

14 октября 1918 г. в Чехии с успехом прошла всеобщая стачка рабочих. В некоторых городах, например Писеке, Млада-Болеславе, Страконице, стачечники требовали Чехословацкой республики, в которой были бы осуществлены равноправие наций и социальная справедливость.

# 40

Батек Александр (псевд. Соммер) (1874—1944) — чешский врач и химик, популяризатор естественнонаучных знаний.

## 41

Масарик Томаш Гарриг (1850—1937) — чешский буржуазный идеолог и политик. Во время первой мировой войны возглавил деятельность чехословацкой эмиграции на Западе; председатель образованного в 1916 г. в Париже чехословацкого Национального совета. В 1918—1935 гг. президент Чехословацкой республики.

# 42

28 октября 1918 года в результате решительного выступления трудящихся масс была официально провозглашена Чехословацкая республика.

# 43

Штефаник Милан Ростислав (1880—1919) — министр обороны в первом чехословацком буржуазном правительстве; погиб в авиационной катастрофе; его личность была окружена романтическим ореолом.

# 44

Гофман Властислав (1884—1964) — чешский живописец, театральный декоратор, график, архитектор, теоретик искусства и критик.

## 45

Имеются в виду Карл Франц Иосиф I и его жена Зита Бурбон-Парма.

# 46

Чарская Лидия Алексеевна (наст. фам. Чурилова) (1875—1937) — русская детская писательница, популярная в мещанской среде. Лоти Пьер (наст. имя и фам. Луи Мари Жюльен Вио) (1850—1923) — французский писатель, создатель «колониального романа». Махар Йозеф Сватоплук (1864—1942) — чешский поэт, прозаик, эссеист. Марден Орсен Свет (1850—1924) — американский публицист. Райс Карел Вацлав (1859—1926) — чешский писатель-реалист. Винтер Зикмунд (1846—1912) — чешский прозаик, автор романа «Магистр Компанус» (1909) и других произведений на историческую тему. Запольская Габриэля (наст. фам. Корвин-Петровская) (1860 или 1859—1921) — польская писательница и актриса, автор комедии «Мораль пани Дульской» (1906) и других популярных пьес.

# 47

Отто Ян (1841—1916) — крупный чешский издатель научной и научно-популярной литературы, публиковал серию «Мировая литература», энциклопедию «Научный словарь Отто».

## 48

Вилимек Йозеф Рихард (старший) (1835—1911) и Йозеф Рихард (младший) (1860—1938) — пражские издатели, выпускали дешевые, популярные издания.

## 49

Национал-демократы — члены чехословацкой национально-демократической партии, носившей это название с 1919 по 1935 г., представляла интересы крупного капитала.

# 50

Смайлс Сэмюэль (1816—1904) — английский публицист, автор сочинений о морали. Карнеги Эндрю (1837—1919) — американский промышленник, автор книги «Империя бизнеса» (1902), известен филантропической деятельностью.

# 51

Сиблик Эмануэль (1886—1941) — чешский теоретик искусства танца, автор книг «Танец» (1917), «Айседора» (1929), «Танец вне нас и в нас» (1937) и других.

# 52

Лоример Джеймс (1818—1890) — английский юрист и публицист.

## 53

Гавласа Ян (1883—1964) — чешский писатель и путешественник, автор путевых очерков, «экзотических» романов, повестей, рассказов; побывал в Италии, США, на Таити, в Японии, Китае, Индии.

# 54

Габрман Густав (1864—1932) — деятель чешской социал-демократии; в конце 80-х — начале 90-х гг. XIX в. скатился на позиции буржуазного реформизма; был министром в ряде чехословацких правительств. Клофач Вацлав (1868—1942) — лидер чешской мелкобуржуазной национально-социальной партии; с 1938 г. — один из руководителей профашистской партии «Народни съедноцени» («Национальное единение»). Крамарж Карел (1860—1937) — чешский фабрикант, буржуазный политик; после образования ЧСР — в 1918—1919 гг. — премьер-министр первого буржуазного чехословацкого правительства.

# 55

«Народни политика» («Национальная политика») — чешская буржуазная газета, выходила в 1883—1945 гг., стала впоследствии беспринципным бульварным органом, поддерживавшим крайне правые политические группировки.

# 56

Шевчик Отакар (1852—1934) — выдающийся чешский музыкальный педагог, создатель собственной методики преподавания скрипичной игры.

# 57

Кршка Вацлав (1900—1969) — чешский кинорежиссер, сценарист, прозаик, лауреат Государственной премии.

# 58

Ирко Милош (1900—1961) — чешский поэт-лирик. Лукач Эмиль Болеслав (1900—1979) — видный словацкий поэт и переводчик, заслуженный писатель Чехословакии. Смрек Ян (1898—1982) — видный словацкий поэт, народный писатель Чехословакии, лауреат Государственной премии.

## 59

Новомеский Ладислав (1904—1976) — выдающийся словацкий поэт и публицист, видный деятель коммунистического движения в Чехословакии; принимал деятельное участие в редактировании основных коммунистических газет и журналов.

«Непонятный святой» (1922) — сборник стихов А. М. Пиши. «Пантомима» (1924) — сборник стихотворений, эссе, пьес выдающегося чешского поэта, народного писателя Чехословакии, лауреата Государственных премий Витезслава Незвала (1900—1958); книга оказала большое воздействие на развитие чешской поэзии 20-х гг.

# 61

Сейферт Ярослав (род. в 1901 г.) — видный чешский поэт, народный писатель Чехословакии, лауреат Нобелевской премии.

«Младо Словенско» («Молодая Словакия»), (1919—1925, 1928—1929) — первоначально студенческий журнал, затем трибуна словацких социалистических писателей; выходил в Будапеште, Праге и с 1924 г. в Братиславе; Л. Новомеский стал редактором этого издания в 1924 г. и придал ему столь ярко выраженный революционный характер, что буржуазно-либеральное руководство Союза словацкого студенчества, органом которого был журнал «Молодая Словакия», поспешило избавиться от беспокойного редактора.

## 63

«Правда» — центральный орган Коммунистической партии Словакии; выходит с мая 1921 г., первоначально под названием «Правда худобы» («Правда бедноты»), с 1 октября 1925 г. — под названием «Правда»; в 1925—1930 гг. газета выходила в Остраве.

# 64

Нижнянский Йожо (1903—1976) — словацкий поэт и прозаик, был сотрудником газеты «Словенска политика». Тилковский Войтех (род. в 1902 г.) — венгерский писатель, журналист, художественный критик и издатель левой ориентации; в 20-е гг. жил в Братиславе, затем — в Праге, где возглавил издательство «Литевна», выпустившее «Словацкий литературный альманах» (1931).

## 65

Светлик Карел (1878—1963) — был участником коммунистического движения в Словакии, редактором ряда газет и журналов; в 1926 г. исключен из КПС за реформистские взгляды.

Илемницкий Петр (1901—1949) — крупный словацкий писатель-коммунист, чех по происхождению; один из основоположников социалистического реализма в словацкой прозе; народный писатель Чехословакии. Поничан Ян (псевд. Ян Роб Поничан) (1902—1978) — словацкий поэт, прозаик, драматург, публицист, зачинатель словацкой социалистической поэзии, народный писатель Чехословакии. Окали Даниэль (род. в 1903 г.) — словацкий писатель-коммунист, критик, публицист, литературовед, общественный и государственный деятель. Краль Франё (1903—1955) — словацкий коммунистический писатель, поэт, классик словацкой детской литературы; народный писатель Чехословакии.

# 67

«Дав» (1924—1926, 1929—1938) — литературно-художественный журнал словацкой прогрессивной интеллигенции, с 1929 г. — политический и литературный орган группы «Дав», объединявшей деятелей культуры — коммунистов.

# 68

Волькер Иржи (1900—1924) — выдающийся чешский революционный поэт, драматург, прозаик, критик; сыграл большую роль в организации и объединении коммунистически настроенной литературной молодежи.

# 69

Нейман Станислав Костка (1875—1947) — выдающийся чешский революционный поэт, один из создателей Компартии Чехословакии, народный писатель Чехословакии. Ольбрахт Иван (наст. имя и фам. Камил Земан) (1882—1952) — видный чешский прозаик и деятель чешского коммунистического движения, народный писатель Чехословакии. Неедлы Зденек (1878—1962) — известный чешский историк, филолог, критик, общественный деятель; сыграл исключительную роль в приобщении чехословацкой интеллигенции к коммунистическому движению, друг СССР; после 1945 г. — министр, президент Чехословацкой Академии наук.

## 70

Урбан Мило (1904—1982) — видный словацкий писатель, автор романа «Живой бич» (1927), одного из наиболее значительных произведений словацкой литературы первой половины XX в.

## 71

Детва — село и прилегающий к нему край в Средней Словакии. Село Очова, где родился Поничан, находится в нескольких километрах от Детвы.

# 72

Клементис Владимир (1900—1952) — словацкий критик, юрист, публицист, деятель Компартии Чехословакии, в 1929—1934 гг. — главный редактор «Дава». Уркс Эдуард (1903—1942) — критик, журналист, деятель Компартии Чехословакии; один из инициаторов создания и первый редактор «Дава» (1924—1926), редактор культурной рубрики газеты «Правда» (Острава, 1926—1929), с 1929 г. — член редколлегии газеты «Руде право» и других коммунистических изданий; в годы оккупации — руководитель первого подпольного ЦК КПЧ; в апреле 1942 г. казнен в концлагере Маутхаузен.

# 73

Грегор-Тайовский Йозеф (1878—1940) — прогрессивный словацкий прозаик и драматург. Грегорова Гана (1885—1958) — словацкая писательница. Маковицкий Душан (1866—1921) — словацкий врач, публицист; в 1904—1910 гг. — личный врач Л. Н. Толстого; написал книгу воспоминаний о Толстом и переводил его произведения. Бородач Ян (1892—1964) — словацкий актер и режиссер, сыграл видную роль в развитии словацкого театра; народный деятель искусств Чехословакии, лауреат Государственной премии.

## 74

Риктюс Жеан (1867—1939) — французский поэт, был кафешантанным певцом, писал на парижском арго, выступая от лица народных низов.

## 75

Горват Иван (1904—1960) — известный словацкий прозаик. «Виза в Европу» (1930) — сборник новелл, отразивший новаторские поиски молодой словацкой литературы.

Хилтон Джек — английский джазовый пианист.

## 77

Фулла Людевит (1902—1980) — словацкий живописец, график, иллюстратор, народный художник Чехословакии. Галанда Микулаш (1895—1938) — словацкий живописец и график.

# 78

Клее Пауль (1879—1940) — швейцарский живописец и график; в 1906—1933 гг. жил в Германии; один из основоположников абстрактной живописи.

## 79

*Из своего путешествия в Киргизию…* — С 1926 по 1928 г. Петр Илемницкий жил в СССР — в Киргизии, в деревне Красно-Чеховка (ныне Павловка), близ Анапы и в Москве.

Вноучек Франтишек (1903—1960) — артист чехословацкого театра и кино, заслуженный артист Чехословакии. Багар Андрей (1900—1966) — артист словацкого театра и кино, режиссер, театральный педагог, переводчик, один из основателей словацкого профессионального театра, народный артист Чехословакии. Крейчи Иша (1904—1968) — чешский композитор и дирижер, заслуженный деятель искусств Чехословакии. Шульц Виктор (1897—1945) — чешский режиссер-коммунист; в 1932—1938 гг. возглавлял чешскую драматическую труппу Словацкого национального театра в Братиславе; погиб в Освенциме.

# 81

Буриан Эмиль Франтишек (1904—1959) — выдающийся чешский режиссер, композитор, писатель, теоретик театра, создатель прогрессивного театра «Д-34», народный деятель искусств Чехословакии. «Войсбенд» — оркестр голосов, коллектив хоровой декламации, которым Э. Ф. Буриан руководил в 1927—1929 гг.

# 82

Тайге Карел (1900—1950) — чешский критик и художник-авангардист; занимался книжной графикой и коллажем. Чихольд Ян (1902—1974) — немецкий график и иллюстратор.

# 83

Секанина Иван (1900—1940) — чешский юрист, участвовал в качестве защитника на Лейпцигском процессе 1933 г., видный деятель чехословацкой компартии и культуры; погиб в концлагере Заксенхаузен.

# 84

«Творба» — общественно-литературный журнал, основан в 1925 г. прогрессивным чешским критиком Франтишеком Ксавером Шальдой (1867—1937); в 1928 г., в период особенно сильного преследования чехословацкой коммунистической печати, Шальда передал журнал в распоряжение Ю. Фучика, превратившего еженедельник в боевой орган коммунистической печати. Журнал выходил до 20.X.1938 г.; после освобождения Чехословакии от фашистской оккупации издание журнала возобновилось.

## 85

«РеД» («Ревю Деветсил») — ежемесячный журнал, выходивший под редакцией К. Тайге, издавался с 1927 по 1931 гг. «Деветсил» (1920—1931) — объединение молодых чешских революционных деятелей литературы и искусства.

«Гост» («Гость») — чешский журнал, выходивший в 1921—1929 гг., орган «Литературной группы» — объединения молодых моравских писателей, исповедовавших «этический социализм».

# 87

«Тернистый путь» (1934) — роман Ф. Краля, одно из первых произведений социалистического реализма в словацкой литературе.

# 88

Карко Франсис (наст. имя и фам. Франсуа Каркопино-Тюзоли) (1886—1958) — французский поэт, прозаик, эссеист. Сандрар Блез (наст. имя и фам. Фредерик Заузер) (1887—1961) — французский поэт, прозаик, эссеист. Силоне Иньяцио (наст. имя и фам. Секондо Транкуили) (1900—1978) — итальянский писатель, с 1930 г. жил в эмиграции; в 30-е гг. отошел от коммунизма. Истрати Панаит (наст. имя Герасим) (1884—1935) — румынский прозаик, писавший по-французски; в книге «К другому пламени» (1929) нарисовал искаженную картину советской действительности. Ади Эндре (1877—1919) — выдающийся венгерский революционный поэт и публицист. Киш Эгон Эрвин (1885—1948) — чешско-немецкий писатель и журналист, заслуживший славу «неистового репортера», коммунист; в 1937—1938 гг. сражался в Интернациональной бригаде в Испании. Голичер Артур (1869—1941) — немецкий коммунистический писатель и журналист; умер в эмиграции.

# 89

Матезиус Богумил (1888—1952) — чешский литературовед, переводчик и писатель; профессор русской и советской литературы в Карловом университете в Праге. Гора Йозеф (1891—1945) — видный чешский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, журналист; в 20-е гг. — заведующий культурной рубрикой газеты «Руде право». Кубка Франтишек (1894—1969) — чешский прозаик, поэт, драматург и переводчик, автор антологии «Поэты революционной России» (1924), заслуженный писатель Чехословакии. Гаасова-Нечасова Ярмила — чешская переводчица произведений советской и немецкой литературы.

# 90

«Голубая Русь» — однотомник переводов стихотворений С. Есенина, изданный в 1940 г. пражским издательством «Одеон».

# 91

Данеш Вацлав (1888—1974) — чешский учитель, спортивный деятель Писека.

# 92

Новотный Милослав (1894—1966) — чешский литературовед, издатель литературных архивов, впоследствии директор библиотеки Чешского национального музея и основатель Чешского литературного архива.

# 93

Чарек Ян (1898—1966) — чешский поэт, сатирик, автор стихов для детей. Сборник «Бедная семья из Гержмани» вышел в 1924 г.

Вайнер Рихард (1884—1937) — чешский поэт и прозаик.

## 95

«Словенске звести» («Словацкие известия») — газета словацких коммунистов в 1936—1938 гг.

Мейснер Альфред (1871—1950) — правый социал-демократ, министр юстиции буржуазной Чехословакии в 1929—1934 гг.

# 97

«Делницка академия» («Рабочая академия») — социал-демократическая культурно-просветительная организация, существовавшая в годы, описываемые Й. Рыбаком.

# 98

Згуришка Зузка (наст. имя и фам. Людмила Дворжакова-Шимоничева) (1900—1984) — народная писательница Чехословакии.

## 99

«Умелецка беседа словенска» («Словацкий художественный клуб») — объединение словацкой художественной интеллигенции, существовавшее в 1921—1939, 1946—1949 гг.; в 20-х — первой половине 30-х гг. XX в. в руководящем комитете литературного отдела этой организации находились писатели-коммунисты. Дворжак Ярослав (1894—1963) — чешский адвокат, переводчик.

# 100

«Роботницке новины» («Рабочая газета») — орган словацких социал-демократов, газета выходила в 1904—1938 гг.

# 101

«Руде право» («Красное право») — с 18 мая 1921 г. — центральный орган ЦК КПЧ; до этого — с 21 сентября 1920 г. — газета являлась органом левого крыла социал-демократической партии.

# 102

Рыпачек Карел (1885—1957) — чешский филолог, журналист, переводчик; жил в Братиславе.

# 103

Томан Карел (1877—1946) — известный чешский поэт, народный писатель Чехословакии; автор сборников «Месяцы» (1918), «Голос тишины» (1923), «Столетний календарь» (1926), куда входит стихотворение, цитируемое в тексте.

# 104

Тесноглидек Рудольф (1882—1928) — чешский прозаик, поэт, драматург, переводчик.

# 105

Кая — псевдоним Индры Копецкой, трагически и преждевременно умершей молодой жены Р. Тесноглидека. К. Томан посвятил ей стихотворение «На смерть Каи» (сборник «Меланхолическое странствие», 1906).

# 106

Орсаг-Гвездослав Павол (1849—1921) — выдающийся словацкий поэт, драматург и переводчик. Памятник ему работы скульпторов Войтеха Игриского (род. в 1897 г.) и Йозефа Поспишила (1897—1976) воздвигнут в 1937 г. на Гвездославовой площади в Братиславе перед Словацким национальным театром.

# 107

Пражский лингвистический кружок — объединение лингвистов и литературоведов, возникло в 1926 г., прекратило существование в начале 50-х гг. Пропагандировало структурализм как методологическую основу филологии. Участником кружка был Мукаржовский Ян (1891—1975) — известный чешский литературовед, академик.

# 108

*…формалистическую школу Виктора Шкловского…* — Имеется в виду ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка), русская школа в литературоведении второй половины 10—20-х гг. XX в.; важную роль в ее формировании сыграли книги В. Б. Шкловского «Воскрешение слова» (1914) и «О теории прозы» (1925); в противовес эклектическому академическому литературоведению представители «формального метода» считали своей задачей изучение литературы как суммы приемов. В статье «Памятник научной ошибке» (1930) Шкловский пересмотрел свои взгляды, вскрыв их ограниченность.

# 109

Супо Филип (род. в 1897 г.) — прогрессивный французский поэт и прозаик, в молодости — один из родоначальников дадаизма и сюрреализма. Ларбо Валери (1881—1957) — французский поэт, прозаик, критик, переводчик.

# 110

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885—1938) — русский советский писатель, участник гражданской войны, комдив; его повесть о революции, первых годах советской жизни «Шоколад» (1922) была переведена на чешский язык; в 1932 г. приезжал в Чехословакию; в журнале «Дав» было опубликовано интервью с ним.

# 111

Ванчура Владислав (1891—1942) — выдающийся чешский писатель-коммунист, в годы оккупации председатель подпольного Национального комитета интеллигенции; расстрелян гитлеровцами, посмертно — народный писатель Чехословакии. Копта Йозеф (1894—1962) — чешский прозаик, поэт, драматург и переводчик.

# 112

Кратохвил Ярослав (1885—1945) — прогрессивный чешский писатель, участник подпольного движения против немецких оккупантов, погиб в концлагере Терезин. Зора Йозеф (наст. фам. Танцибудек) (род. в 1894 г.) — чешский актер и чтец-декламатор, один из основателей «Рабочего драматического хора».

## 113

«Редута» — в описываемое время — братиславское казино, ныне — зал Словацкой филармонии.

# 114

Вацлавек Бедржих (1897—1943) — видный чешский критик-марксист, погиб в Освенциме. Вайскопф Франц Карл (1900—1955) — чешско-немецкий коммунистический журналист, писатель, литературный критик.

## 115

«Шарло» — прогрессивная организация венгерских студентов в Чехословакии, существовала в 1928—1934 гг.

# 116

«Розправы Авентина» — чешский литературно-художественный и критический журнал, рекламный орган издательства «Авентинум», выходил в 1925—1934 гг.

# 117

Костка Фердиш (1878—1951) — словацкий народный умелец, создатель керамических фигурок; удостоен звания народного художника Чехословакии.

# 118

Богатырев Петр Григорьевич (1893—1971) — советский этнограф, фольклорист, театровед, историк литературы; в 20-е и 30-е гг. жил в Чехословакии, был профессором Братиславского университета. Перевел на русский язык роман Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

## 119

*…с ее турчанско-мартинской идеологией.* — Имеется в виду идеология определенных кругов националистически настроенной словацкой интеллигенции, в руках которой в описываемый период находилась культурно-просветительная организация «Словацкая матица», основанная в г. Турчанский Мартин в 1863 г.

## 120

*…не ставя подозрительного тире…* — В период так называемой первой республики (1918—1938) в официальном названии Чехословакии ставился дефис.

# 121

Райт Франк Ллойд (1869—1959) — американский архитектор и теоретик архитектуры. Юркович Душан (1868—1947) — словацкий архитектор, использовал в своем творчестве национальные традиции, народные мотивы.

# 122

Лос Адольф (1870—1933) — австрийский архитектор и теоретик архитектуры, противник декоративности, проповедник рациональной культуры быта, автор книги «Разговоры впустую» (1898).

# 123

Галек Иван (1872—1945) — чешский врач, большую часть жизни практиковал в Словакии, автор книг «Записки словацкого врача» (1932), «Кысуце» (1937), «Мой путь от Толстого к Марксу» (1950). Его отец — чешский поэт, прозаик и драматург Витезслав Галек (1835—1874), автор популярного поэтического сборника «Вечерние песни» (1859).

# 124

Завадка — словацкое село.

# 125

Пат и Паташон — датские киноактеры-комики Карл Шенстром (1881—1942) и Харальд Мадсен (1890—1957).

# 126

Алекси Янко (1894—1970) — словацкий художник и писатель, народный деятель искусств Чехословакии. Базовский Милош Александр (1899—1968) — словацкий живописец и график, народный художник Чехословакии. Бенка Мартин (1888—1971) — словацкий живописец и иллюстратор, народный художник Чехословакии.

# 127

Андял Гейза (1888—1956) — словацкий график и живописец. Гверк Эдмунд (1895—1956) — словацкий художник, его творчеству было присуще сочетание реалистических и экспрессионистских черт; обращался к социальной тематике.

# 128

Вотруба Ярослав (1889—1971) — словацкий живописец и график; стремился передать национальную и историческую специфику, работы отличались эмоциональностью, декоративной стилизацией, яркостью красок. Маллы Густав (1879—1952) — словацкий художник-импрессионист.

## 129

Мотошка Йозеф (1891—1955), Майерский Ладислав (1900—1965), Игриский Войтех, Поспишил Йозеф (см. ком. 106) — словацкие скульпторы-реалисты.

# 130

Выдра Йозеф (1884—1959) — чешский художник-прикладник, искусствовед и педагог, в 1928—1938 гг. — директор братиславской Школы художественных ремесел.

# 131

Горейш Антонин (1901—1967) — секретарь торговой палаты в Братиславе, директор братиславского Художественно-промышленного музея, музыковед.

# 132

Баухауз — Высшая школа архитектуры и изобразительных искусств, основанная в Веймаре в 1919 г., с 1925 по 1933 г. функционировала в Дессау; школа культивировала идею синтеза искусств и функциональное использование техники.

# 133

Функе Яромир (1897—1945) — один из основоположников чешской художественной фотографии. Россман Зденек (1905—1984) — чешский график и иллюстратор. Малы Франтишек (1900—1980) — чешский живописец, график и художник-прикладник, преподавал в братиславской Школе художественных ремесел в 1921—1929 гг.

# 134

Мохой-Надь Ласло (1895—1946) — венгерский фотограф и график, пропагандист фотомонтажа. Сутнар Ладислав (1897—1976) — видный чешский художник-прикладник и график, автор работ по теории и практике прикладного искусства. Мейер Ханнес (1889—1954) — швейцарский архитектор, сторонник функционализма, жил в Германии, в 1928—1930 гг. — директор Баухауза, в 1930—1936 гг. жил в СССР.

# 135

«Сандрик» — фабрика металлических изделий близ села Дольни Гамры в Словакии; изготовляет серебряные столовые приборы и т. д.

«Детва» — художественно-промышленный кооператив.

# 137

Яреш Ярослав (1889—1967) — чешский живописец, скульптор и театральный декоратор, основатель Словацкого художественного клуба, заслуженный художник Чехословакии.

# 138

Врба Ян (1889—1961) — чешский поэт и прозаик, автор книг о судьбах деревьев (сборник рассказов «Лес», 1917; роман «Сосна», 1925, и др.), в которых природа очеловечивается в духе пантеистической философии. Клостерман Карел (1848—1923) — чешский прозаик, писавший о лесистом Юго-Западе Чехии («Из мира лесных хуторов», 1894; «В сердце шумавских лесов», 1896, и др.).

# 139

Стоянов Людмил (наст. имя и фам. Георги Стоянов Златаров) (1888—1973) — болгарский революционный писатель. Конрад Карел (1899—1971) — прогрессивный чешский прозаик, друг Ю. Фучика, народный писатель Чехословакии, лауреат Государственной премии.

# 140

Разус Мартин (1888—1937) — словацкий поэт, драматург; был евангелическим священником, лидером буржуазно-националистической Словацкой национальной партии. Рой Владимир (1885—1936) — словацкий поэт и переводчик. Крчмеры Штефан (1892—1955) — словацкий поэт, историк литературы, критик, переводчик. Урбанович Кветослав Флориан (1885—1963) — словацкий драматург и прозаик. Шандор Эло (1896—1950) — словацкий писатель-юморист, дважды побывал в СССР и написал проникнутые симпатией к нашей стране книги «Впечатления от поездок по СССР» (1936) и «Братислава — Москва» (1937); был председателем словацкого филиала Общества экономического и культурного сближения с новой Россией, созданного в 1928 г. Грушовский Ян (1892—1975) — словацкий журналист и писатель, автор сборников новелл и романов, посвященных первой мировой войне. Гронский Йозеф (наст. имя и фам. Йозеф Цигер) (1896—1960) — словацкий прозаик. Голеци Эрвин (1897—1977) — словацкий врач и писатель (печатался под псевдонимом Петер Зван). Вотруба Франтишек (1880—1953) — словацкий критик и историк литературы, академик.

# 141

*…искусственная концепция единого чехословацкого народа…* — Шовинистическая буржуазная концепция, согласно которой чехи и словаки суть «две ветви» одной чехословацкой нации. Эта концепция призвана была замаскировать господствующее положение чешской буржуазии и подогревала стремление словацких националистов к автономии Словакии, отделению ее от Чехии. Компартия Чехословакии с 1924 г. отвергала эту «теорию», рассматривая чехословацкое государство как союз двух дружественных народов.

# 142

Масариковский реализм — буржуазная идеологическая программа, созданная в 80—90-х гг. XIX в. Т. Г. Масариком. Призывая учитывать социальную реальность и якобы осуждая «политический романтизм», Т. Г. Масарик и его сторонники проповедовали приспособленчество по отношению к габсбургской монархии, либеральное реформаторство и классовый мир.

# 143

«Дружстевни праце» («Кооперативный труд») — пражское прогрессивное кооперативное издательство, существовало с 1922 по 1952 г.

## 144

«Кмен» («Ствол») — рекламный журнал чешских издателей, выходил в 1926—1929 гг., первые два года — под редакцией Ю. Фучика.

## 145

«Народни освобозени» («Национальное освобождение») — газета Чехословацкого содружества бывших легионеров, выходила в 1924—1929 гг.

# 146

Голечек Иероним (1891—1941) — чешский журналист.

# 147

Ренн Людвиг (наст. имя и фам. Арнольд Фридрих Фит фон Гольсенау) (1889—1979) — немецкий революционный писатель, узник фашизма, участник гражданской войны в Испании, лауреат двух Национальных премий ГДР.

## 148

Имеется в виду книга С. К. Неймана «Путешествие по Чехословакии» (1934—1935).

# 149

Пивец Ян (1907—1980), Лераус Владимир (род. в 1905 г.), Догнал Иржи (1905—1984), Германова Люба (род. в 1909 г.), Красова Марта (1901—1970), Хорович Бронислав (1888—1980) — известные чешские артисты.

# 150

Гашпар Тидо Йозеф (1893—1972) — словацкий прозаик; впоследствии один из идеологов словацкого клеро-фашизма. Мраз Андрей (1904—1964) — словацкий литературовед и критик, был профессором Братиславского университета, академиком.

## 151

*После истории в Кошутах…* — Кошуты — словацкая деревня, где 25 мая 1931 г. жандармы открыли огонь по собравшимся на митинг сельскохозяйственным рабочим.

# 152

«Д-34» — прогрессивный театр в Праге, основанный в 1934 г. Э. Ф. Бурианом В 1941 г. был закрыт гестапо. Возобновил деятельность в 1945 г. С 1960 г. — Театр имени Э. Ф. Буриана.

## 153

«Гало-новины» — пражская коммунистическая газета, выходившая в 1933—1938 гг.

## 154

Борек Властимил (1886—1952) — видный чешский коммунистический журналист.

## 155

Шрамек Франя (1877—1944) — чешский поэт и прозаик, народный писатель Чехословакии.

# 156

Врбенский Богуслав (1882—1944) — деятель Компартии Чехословакии. Каха Михаэл (1874—1940) — чешский анархистский журналист и издатель.

## 157

*…Иван Ольбрахт, Мария Майерова и другие делились своими впечатлениями о Москве…* — Имеются в виду книги И. Ольбрахта «Картины современной России» (1920—1921) и Марии Майеровой «День после революции» (1925). Майерова Мария (1882—1967) — народная писательница Чехословакии, принимала активное участие в создании Компартии Чехословакии.

# 158

«Лева фронта» — организация прогрессивно настроенной чешской интеллигенции, возникла в 1930 г.; в 1930—1933 гг. издавала одноименный журнал.

# 159

Гакен Йозеф (1880—1949) — один из деятелей Компартии Чехословакии, в 1929—1936 гг. — сенатор и председатель коммунистической фракции сената. Шмераль Богумир (1880—1941) — видный деятель чехословацкого и международного коммунистического движения, один из организаторов (1921) КПЧ; в 1922—1935 гг. — член Исполкома Коминтерна (ИККИ) и член президиума ИККИ.

# 160

Крейчи Ян (1903—1941) — чешский коммунистический журналист, в годы оккупации — член подпольного ЦК КПЧ, расстрелян гестаповцами. Конрад Курт (наст. фам. Беэр) (1908—1941) — чешский коммунистический журналист, философ, историк, литературный критик; казнен фашистами.

# 161

Вчеличка Геза (наст. имя Антонин Эдуард) (1901—1966) — чешский писатель, впоследствии народный писатель Чехословакии. Вольф Фридрих (1888—1953) — немецкий писатель-антифашист. Ведекинд Франк (1864—1918) — немецкий драматург. Хаи Дьюла (1900—1975) — венгерский драматург. Маха Карел Гинек (1810—1836) — чешский поэт-романтик. Клицпера Вацлав Климент (1792—1859) — чешский драматург-классик. «Адвокат Поклен» — французский фарс XV в.; «Солдатчина» — сценическая сюита Э. Ф. Буриана по мотивам чешской народной поэзии.

# 162

Фамира Эмануэль (1900—1970) — чешский художник, скульптор; в 30-е годы — режиссер и художник рабочего театра, заслуженный деятель искусств Чехословакии.

# 163

Бартошек Теодор (1877—1954) — чешский адвокат, коммунист, был членом-корреспондентом Чехословацкой Академии наук. Штейн Зигмунд — прогрессивный пражский адвокат. Флейшнер Рихард (1902 — годы оккупации) — чешский адвокат, социолог, театральный критик; замучен гитлеровцами.

# 164

Бидло Франтишек (1895—1945) — выдающийся чешский художник, карикатурист и книжный иллюстратор, коммунист.

# 165

Бубник Йозеф (1879—1957) — был секретарем пражской краевой организации КПЧ, правый оппортунист, исключен из КПЧ в феврале 1925 г. за саботаж решений ЦК и фракционную деятельность; Нейрат Алоис (род. в 1886 г.) — чешско-немецкий политик, в 1929 г. исключен из КПЧ за фракционную троцкистскую деятельность; Илек Богумил (1892—1963) — был секретарем ЦК КПЧ, в 1929 г. исключен из КПЧ, вступил в реакционную аграрную партию, умер в США; Верчик Юлиус (1894—1959) — в 20-е гг. участвовал в коммунистическом движении в Словакии, стал оппортунистом, в 1930 г. исключен из партии.

# 166

Каландра Завиш (1902—1950) — чешский журналист, историк, был исключен из КПЧ за троцкистские взгляды.

# 167

Брунцлик Станислав (1910—1944) — чешский коммунистический журналист, инструктор первого и второго подпольных ЦК КПЧ в годы оккупации; казнен гитлеровцами. Синкуле Вацлав (1905—1942) — активист чешского коммунистического молодежного движения, сотрудник газеты «Руде право», ее корреспондент в Испании во время гражданской войны, работник аппарата подпольного ЦК КПЧ в годы оккупации; казнен в концлагере Маутхаузен. Шантрох Вратислав (1910—1941) — чешский коммунистический журналист, активист молодежного движения, корреспондент «Руде право» в Испании (1936), работник первого подпольного ЦК КПЧ; расстрелян гитлеровцами.

# 168

Долейши Войтех (1903—1972) — деятель чешской коммунистической печати, автор книг по истории чешской журналистики. «Ровност» («Равенство») — брненская рабочая газета, выходит с 1885 г., с 1921 г. — орган КПЧ.

# 169

Станислав Йозеф (1897—1971) — чешский композитор, организатор музыкальной жизни, фольклорист, музыкальный педагог, один из создателей современной чешской массовой песни, лауреат Государственной премии Чехословакии. Неедлы Вит (1912—1945) — чешский композитор и музыкальный деятель, организатор ансамбля песни и пляски чехословацкой армии (ныне носит его имя), сын академика З. Неедлы.

# 170

Костра Ян (1910—1975) — словацкий поэт, лауреат Государственной премии, народный писатель Чехословакии. Безек Казимир (1908—1952) — словацкий поэт. Матушка Александр (1910—1975) — словацкий критик и литературовед, лауреат Государственной премии, член-корреспондент Словацкий Академии наук. Хорват Михал (1910—1982) — словацкий критик-марксист, участник Словацкого национального восстания (1944).

# 171

На Бартоломейской улице в Праге находилось городское полицейское управление.

# 172

Это заключительные строки поэмы Й. Горы «Ян-скрипач» (1939).

# 173

3 января 1934 г. на шахте «Нельсон» в Осове близ г. Духцова произошел взрыв, в результате которого погибло 142 шахтера.

## 174

Шверма Ян (1901—1944) — видный деятель Компартии Чехословакии, талантливый публицист; погиб во время Словацкого национального восстания; национальный герой Чехословакии.

# 175

«Червен» («Июнь») — литературно-критический журнал, трибуна прогрессивных чешских литераторов, издавался в 1918—1921 гг. «Пролеткульт» — журнал КПЧ, посвященный вопросам пролетарской культуры, издавался в 1922—1924 гг. Оба журнала редактировал С. К. Нейман. «Вар» («Кипение») — прогрессивный чешский общественно-политический и литературно-критический журнал, основанный З. Неедлы, выходил в 1921—1930 гг.

## 176

Гонзл Индржих (1894—1953) — чешский режиссер и театральный критик, коммунист.

## 177

Имеется в виду роман русского писателя-эмигранта Замятина Евгения Ивановича (1884—1937) «Мы» (1924), носящий характер фантастической «антиутопии».

# 178

Славичек Ян (1900—1970) — чешский художник-пейзажист, лауреат Государственной премии, народный художник Чехословакии.

# 179

Библ Константин (1898—1951) — видный чешский поэт, лауреат Государственной премии.

# 180

Штолл Ладислав (1902—1981) — видный чешский критик-марксист, друг Ю. Фучика, с 1945 г. член ЦК КПЧ, директор Института чешской и мировой литературы, академик, лауреат Государственных премий.

# 181

*…журнал Вацлавека «У».* — Имеется в виду журнал прогрессивных чехословацких писателей, поддерживавших программу социалистического реализма в литературе; выходил в 1936—1938 гг. под редакцией Б. Вацлавека, П. Илемницкого и других.

# 182

Немец Франтишек (1902—1963) — чешский поэт и прозаик; сотрудничал в коммунистической печати, писал для рабочего самодеятельного театра.

# 183

Аграрии — здесь — представители крайне реакционной буржуазной аграрной партии, возникшей в 80-х гг. XIX в.; в 30-е гг. XX в. проводила профашистскую политику. «Народни съедноцени» («Национальное единение») — крайне правая чешская буржуазная профашистская партия, возникшая в 1935 г. в результате слияния чехословацкой национально-демократической партии с откровенно фашистскими группировками; существовала до ноября 1938 г. Годач Франтишек Ксавер (1883—1943) — реакционный чешский политик, лидер партии «Народни съедноцени» в 1937—1938 гг.

# 184

Прейс Ярослав (1870—1946) — генеральный директор крупнейшего банка Чехословакии («Живнобанка»), один из инициаторов прогитлеровской политики чехословацкой буржуазии. Годжа Милан (1878—1944) — реакционный словацкий политик, один из лидеров аграрной партии, премьер-министр Чехословакии в 1935—1938 гг. Беран Рудольф (1887—1957) — реакционный политик, глава правительства после принятия Чехословакией Мюнхенского ультиматума (30 сентября 1938 г.) и в начале существования «Протектората Чехии и Моравии»; после освобождения Чехословакии осужден как коллаборационист.

# 185

Кршен Вацлав (1898—1941) — деятель Компартии Чехословакии, журналист, фельетонист и сатирик, работник первого подпольного ЦК КПЧ; казнен гитлеровцами.

# 186

Осецкий Карл (1889—1938) — прогрессивный немецкий публицист, погиб в гитлеровском концлагере Зонненбург. Мюзам Эрих (1878—1934) — немецкий писатель-антифашист, погиб в концлагере Заксенхаузен.

# 187

Хартфилд Джон (1891—1968) — немецкий график и художественный критик; создавал политические карикатуры с помощью фотомонтажа; в 1933 г. эмигрировал в Прагу, в 1938 г. — в Великобританию; в 1950 г. вернулся в ГДР.

# 188

Домин Карел (1882—1953) — чешский ботаник, в описываемое время (осень 1934 г.) проректор Карлова университета в Праге, реакционный буржуазный политик, с 1935 г. депутат парламента от профашистской партии «Народни съедноцени».

# 189

Конгресс словацких писателей в Тренчанских Теплицах состоялся в мае 1936 г.; явился важным этапом в объединении словацких писателей на антифашистской платформе.

# 190

Кршичка Петр (1884—1949) — чешский поэт, переводчик. Завада Вилем (1905—1982) — известный чешский поэт, публицист, лауреат Государственных премий, народный писатель Чехословакии.

# 191

Есенский Янко (1874—1945) — видный словацкий поэт и прозаик.

# 192

Первая официальная делегация советских писателей посетила Чехословакию в октябре 1935 г. В состав ее входили писатели: М. Кольцов, А. Фадеев, А. Толстой, А. Караваева, С. Третьяков, Я. Купала, И. Микитенко и ряд журналистов. Лидия Сейфуллина приезжала в Прагу в начале апреля 1927 г. А. Корнейчук был в Праге на премьере «Платона Кречета» в Сословном театре в начале апреля 1936 г.

# 193

Стейскал Богуш (Богуслав Йозеф) (1896—1955) — чешский режиссер и писатель.

# 194

Ласт Йозеф Карел (род. в 1898 г.) — голландский поэт и прозаик, организатор Объединения революционных пролетарских писателей Голландии.

# 195

Лаштовичка Богуслав (1905—1981) — деятель чешского коммунистического движения, участник гражданской войны в Испании; дипломат и журналист.

# 196

Барт Илья (1910—1973) — чешский поэт и прозаик, участник гражданской войны в Испании, узник фашизма. Галас Франтишек (1901—1949) — известный чешский поэт-коммунист.

## 197

«Пасмо» («Зона») — журнал чешского коммунистического литературно-художественного авангарда, выходил в Брно в 1924—1926 гг.

# 198

В феврале 1934 г. австрийским канцлером Дольфусом Энгельбертом (1892—1934) было жестоко подавлено вооруженное выступление венских рабочих.

# 199

XI летние Олимпийские игры проходили в Берлине 1—16 августа 1936 г. и широко использовались фашистами в пропагандистских целях. Чехословацкая Федерация пролетарского физического воспитания провела в Праге на Страговском стадионе «Народные игры» под лозунгом борьбы за мир.

# 200

Рошицкий Эвжен (1914—1942) — чешский спортсмен, коммунистический журналист, писатель; казнен нацистами.

# 201

Ренсимен Уолтер (1870—1949) — английский буржуазный политик, занимал ряд министерских постов. Его приезд в Чехословакию как якобы визит «частного лица» был неофициальной миссией, акцией, инспирированной прогитлеровски настроенными кругами английской буржуазии, прямым актом подготовки к сговору с фашистской Германией.

## 202

Генлейн Конрад (1898—1945) — главарь фашистской судето-немецкой партии, явившейся гитлеровской «пятой колонной» в Чехословакии. Встреча Ренсимена с Генлейном в Червеном Градке состоялась 18 августа 1938 г.

# 203

Рашин Ладислав (1900—1945) — чешский политик; депутат, парламента от партии «Народни съедноцени», должен был стать членом антигитлеровского Комитета в защиту республики, в период оккупации схвачен гестапо, умер в больнице фашистской тюрьмы во Франкфурте-на-Майне. Сын одного из лидеров национально-демократической партии Алоиса Рашина (1867—1923).

«Мысльбек» — общество чешских художников и друзей искусства; основано в Праге в 1931 г. (названо в честь выдающегося чешского скульптора Йозефа Вацлава Мыслькбека (1848—1922).

## 205

Сыровы Ян (1888—1971) — чешский генерал, 22 сентября 1938 г. возглавил правительство Чехословакии, которое приняло Мюнхенский диктат.

# 206

Вторая республика — период с 5 октября 1938 г. (уход в отставку президента Э. Бенеша) до 15 марта 1939 г. (вступление гитлеровских войск к Прагу и учреждение «Протектората Чехия и Моравия»).

# 207

Крога Иржи (1893—1974) — чешский архитектор, художник, скульптор, теоретик искусства, один из деятелей левого фронта искусств в Чехословакии 20-х — 30-х гг., народный деятель искусств Чехословакии.

# 208

Сватек Йозеф (1835—1897) — чешский писатель, журналист, историк культуры, автор книги «Пражские предания и легенды» (1883) и других.

# 209

Бласковиц Йоганнес (1883—1948) — немецкий генерал, военный преступник.

# 210

Гаха Эмиль (1872—1945), в 1939—1945 гг. — президент созданного в Чехословакии немецкими фашистами так называемого «Протектората Чехии и Моравии». В мае 1945 г. арестован как военный преступник. Умер в заключении.

# 211

Борецкий Карел (1896—1952) — в описываемый период — директор чешского «Коммунистического книгоиздательства».

# 212

«Народни праце» («Национальный труд») — чешская газета, выходившая в годы нацистской оккупации; была органом так называемой Национальной партии труда, созданной правыми социал-демократами.

# 213

Сила Иржи (1911—1960) — чешский коммунистический журналист.

# 214

Славичек Антонин (1870—1910) — видный чешский художник-импрессионист.

# 215

Бенда Ян (род. в 1897 г.) — чешский живописец и график. Зрзавы Ян (1890—1977) — один из крупнейших чешских живописцев XX в., народный художник Чехословакии. Гудечек Франтишек (род. в 1909 г.) — чешский живописец, график, книжный иллюстратор. Гросс Франтишек (род. в 1909 г.) — чешский живописец и график, народный художник Чехословакии. Лизлер Йозеф (род. в 1912 г.) — чешский живописец, график, книжный иллюстратор, заслуженный художник Чехословакии. Забранский Адольф (1909—1981) — чешский живописец и график, народный художник Чехословакии. Майерник Циприан (1909—1945) — видный словацкий художник, с 1926 г. жил в Праге. Ставинога Эдуард (1903—1973) — чешский художник, член «Деветсила» и «Левой фронты», марксистский теоретик искусства.

# 216

Трампота Ян (1889—1942) — чешский художник-пейзажист.

# 217

Шимак Лев (род. в 1896 г.) — чешский живописец и график, ветеран КПЧ, народный художник Чехословакии.

# 218

Гейдрих Рейнгард (1904—1942) — шеф политической полиции фашистской Германии; с сентября 1941 г. — исполнял обязанности «имперского протектора Чехии и Моравии», организовывал массовое уничтожение мирного населения. Убит участниками Сопротивления.

# 219

*…людацкие союзники Гитлера…* — Имеются в виду лидеры людовой партии — точное название — Словацкая народная партия. Основана в 1918 г. католическим священником Андреем Глинкой (1864—1938), являлась средоточием самых реакционных сил словацких правящих классов, эволюционизировала в сторону словацкой разновидности фашизма — так называемого клерофашизма.

# 220

Клементинум — здание университетской библиотеки в Праге.

# 221

«Право лиду» — в описываемое время — центральный орган Чехословацкой социал-демократической рабочей партии. Газета начала выходить в 1893 г.

# 222

*…в нем состоялась историческая конференция русских большевиков во главе с В. И. Лениным.* — Речь идет о Шестой (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП, проходившей в Народном доме 5—17 (18—30) I.1912 г.

# 223

Коуцкий Владимир (1920—1979) — деятель чешского молодежного движения, коммунистической печати и КПЧ, был главным редактором газеты «Руде право», секретарем ЦК КПЧ, на дипломатической работе.

# 224

Вацек Вацлав (1877—1960) — один из основателей КПЧ, в годы оккупации — участник движения Сопротивления, узник фашизма; приматор Праги в 1945—1954 гг.

# 225

«Праце» («Труд») — чешская профсоюзная газета, выходит с 1945 г.

# 226

Троян Йозеф (1905—1965) — чешский журналист, сотрудник газет «Право лиду», «Народни праце», «Праце».

# 227

Речь идет о принятии 5 апреля 1945 г. в г. Кошице единой программы национально-демократической революции, которая вошла в историю Чехословакии как Кошицкая правительственная программа и стала основой создания народно-демократического государства.

# 228

*…в боях за Дукельский перевал.* — Военная операция по захвату Дукельского перевала через Карпаты была осуществлена осенью 1944 г. воинами 1-го Украинского фронта. Активное участие в ней принимал 1-й Чехословацкий армейский корпус. В боях погиб сын З. Неедлы — композитор Вит Неедлы (см. коммент. к с. 134).

# 229

Гарус Ян (1892—1967) — деятель КПЧ, коммунистический журналист, депутат парламента, участник Словацкого национального восстания.

# 230

Фирлингер Зденек (1891—1976) — государственный деятель Чехословакии. В 1942—1945 гг. — посол Чехословакии в СССР. С 1948 г. — член Политбюро ЦК КПЧ, в 1953—1964 гг. — председатель Национального собрания Чехословакии.

# 231

Мудрох Ян (1909—1968) — словацкий художник, народный художник Чехословакии. Гудерна Ладислав (род. в 1921 г.) — словацкий живописец и график, заслуженный художник Чехословакии. Прибиш Рудольф (род. в 1913 г.) — словацкий скульптор, лауреат Государственной премии, народный деятель искусств Чехословакии. Хмель Вильям (1917—1961) — словацкий живописец и график. Лайчак Милан (род. в 1926 г.) — словацкий поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный писатель Чехословакии. Райзел Владимир (род. в 1919 г.) — словацкий поэт, лауреат Государственной премии Словацкой социалистической республики, заслуженный писатель Чехословакии. Бунчак Павол (род. в 1915 г.) — словацкий поэт.

# 232

Тисо Йозеф (1887—1947) — словацкий католический священник, идеолог Словацкой народной партии (глинковской), президент клеро-фашистского так называемого словацкого государства, казнен по решению народного суда. Тука Войтех (1880—1946) — реакционный словацкий политик, председатель совета министров словацкого государства, казнен по решению народного суда. Мах Александр (1902—1980) — словацкий реакционный публицист, секретарь глинковской партии, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел словацкого государства, в 1947 г. решением народного суда приговорен к 30 годам заключения. Сидор Карол (1901—1953) — реакционный словацкий политик, главный редактор «Словака» — центрального органа глинковской партии, министр словацкого правительства и его посол в Ватикане, в 1947 г. заочно осужден народным судом на 20 лет тюремного заключения, умер в Канаде. Мургаш Карол — реакционный публицист, шеф пропаганды существовавшего во время войны профашистского словацкого государства. Дюрчанский Фердинанд (1906—1974) — реакционный словацкий политик и журналист, инициатор отторжения Словакии от Чехии в марте 1939 г., министр словацкого государства, в 1947 г. заочно приговорен народным судом к смертной казни, умер в Мюнхене.

# 233

Слованский дом (Славянский дом) — старинное дворцовое здание в Праге.

Запотоцкий Антонин (1884—1957) — видный деятель чехословацкого и международного коммунистического движения; один из основателей Компартии Чехословакии, узник фашизма. Председатель правительства в 1948—1953 гг., в 1953—1957 гг. — Президент Чехословакии. Доланский Яромир (1895—1973) — юрист, деятель КПЧ, коммунистической печати, узник фашизма, был министром и заместителем Председателя Совета Министров республики.

# 235

Пуйманова Мария (1893—1958) — народная писательница Чехословакии, автор известной трилогии «Люди на перепутье» (1937), «Игра с огнем» (1948), «Жизнь против смерти» (1952), неоднократный лауреат Государственной премии.

# 236

Тауфер Иржи (род. в 1911 г.) — чешский поэт, критик, публицист, народный писатель Чехословакии, лауреат Государственной премии.

## 237

Ежек Ярослав (1906—1942) — известный чешский композитор и музыкант; писал музыку к спектаклям прогрессивного Освобожденного театра; умер в эмиграции, в США.

# 238

Симон Андре (1895—1952) — чешский коммунистический журналист и писатель; в 1922—1945 гг. жил в Германии, СССР, Франции, Англии, Мексике; в 1946 г. вернулся в Чехословакию, вступил в КПЧ, был международным комментатором газеты «Руде право». Нечас Винценц (1903—1972) — чешский коммунистический журналист.

На русском языке фрагменты из книги публикуются впервые.

# 240

*С. К. Нейман, полемизируя с Виктором Дыком, писал, что красный цвет…* — Речь идет о статье С. К. Неймана «Красный цвет и красно-белый цвет» («Червен», № 15, 12.VI.1919 г.), в которой он защищал идею интернационализма и доказывал, что любовь к «красному цвету» социальной революции не исключает верности патриотическим идеалам, которые символизируют национальные цвета Чехии — белый и красный. Дык Виктор (1877—1931) — чешский поэт, прозаик; после провозглашения независимости Чехословакии оказался на крайне правом политическом фланге.

# 241

Неруда Ян (1834—1891) — выдающийся чешский поэт, прозаик, драматург, критик, публицист, демократ по убеждениям, реалист.

## 242

«Цеста» («Дорога») — чешский литературно-критический журнал, выходил в Праге в 1918—1930 гг.

# 243

Чапек-Ход Карел Матей (1860—1927) — чешский прозаик и драматург, близкий натурализму.

# 244

Горжейши Индржих (1886—1941) — чешский поэт, драматург, переводчик; один из талантливых представителей «пролетарской поэзии», член «Деветсила».

## 245

Кадлец Сватоплук (1898—1971) — чешский поэт и переводчик.

# 246

Гавличек Карел (псевд. Гавел Боровский) (1821—1856) — поэт-сатирик, публицист, переводчик, один из зачинателей реализма в чешской литературе.

## 247

Краль Янко (1822—1876) — крупный словацкий поэт — революционный романтик.

*…которое уже не является ни выдровским, ни штепанковским…* — Имеются в виду выдающиеся чешские драматические актеры, народные артисты Чехословакии Вацлав Выдра (старший) (1876—1953) и Зденек Штепанек (1896—1968).

# 249

Пруха Ярослав (1898—1963) — чешский актер и режиссер, лауреат Государственной премии, народный артист Чехословакии. Когоут Эдуард (1888—1976) — чешский актер, народный артист Чехословакии. Смолик Франтишек (1891—1972) — актер чешского театра и кино, лауреат Государственной премии, народный артист Чехословакии.

Плахта Индржих (наст. фам. Шолле) (1899—1951) — актер чешского театра и кино, комик, писатель-юморист; укрывал от гестапо члена второго нелегального руководства КПЧ Яна Зику. Вейражка Витезслав (1915—1973) — чешский актер и режиссер, снимался в кино, народный артист Чехословакии. Гюбнерова Мария (1866—1931) — выдающаяся чешская актриса, исполнительница характерных и комических ролей. Досталова Леопольда (1879—1972) — выдающаяся чешская актриса трагедийного плана, народная артистка Чехословакии.

# 251

Бранислав Франтишек (1900—1968) — чешский поэт, лауреат Государственной премии, народный писатель Чехословакии.

# 252

Тыл Йозеф Каетан (1808—1856) — выдающийся чешский драматург, театральный критик, актер, режиссер, прозаик, поэт, журналист; один из основателей чешского национального театра.

# 253

Безруч Петр (наст. имя и фам. Владимир Вашек) (1867—1958) — один из видных чешских поэтов XX в., автор знаменитой книги «Силезские песни» (1909), проникнутой патриотизмом и социальным бунтарством; народный писатель Чехословакии.

# 254

Мейлер Норман (р. в 1923 г.) — американский прозаик, поэт, критик. Стайрон Уильям (род. в 1925 г.) — американский прозаик.

## 255

Музиль Роберт (1880—1942) — австрийский писатель, театральный критик, журналист; противник фашизма.

# 256

Селин Луи Фердинанд (наст. фам. Детуш) (1894—1961) — французский писатель, автор нашумевшего романа «Путешествие на край ночи» (1932), впоследствии — апологет фашизма и коллаборационист.

# 257

Седлачек Кветослав (1911—1971) — чешский прозаик, автор романов о социалистическом строительстве («Луизиана пробуждается», 1952; трилогии «Завод в тени», 1954—1960), лауреат Государственной премии, народный писатель Чехословакии.

# 258

Климент Охридский (ум. в 916 г.) — болгарский церковный просветитель, автор религиозно-дидактических сочинений. Ученик великих славянских просветителей Кирилла и Мефодия, Климент основал в г. Охрид школу, которую посещало 3500 человек одновременно.

# 259

Братья Миладиновы Димитр (ок. 1810—1862), Константин (ок. 1830—1862) — болгарские фольклористы, собиратели народных песен, поэты, борцы против турецкого гнета и греческого духовенства, погибли в константинопольской тюрьме. Родились в македонском городе Струга. В их честь с 1961 г., здесь проводится фестиваль поэзии Стружские поэтические вечера, который с 1966 г. стал международным.

# 260

Флориан Мирослав (род. в 1931 г.) — чешский поэт, лауреат Государственной премии, народный писатель Чехословакии.

# 261

Мервин Уильям Стенли (род. в 1927 г.) — американский поэт и переводчик. Притам Амрита (род. в 1919 г.) — индийская писательница, поэтесса, пишет на языке пенджаби.

Давичо Оскар (род. в 1909 г.) — сербский поэт и прозаик. Минати Иван (род. в 1924 г.) — словенский поэт «партизанского поколения». Попа Васко (род. в 1922 г.) — сербский поэт.

# 263

Городинка Жоржета (род. в 1930 г.) — румынская писательница, критик, переводчица. Деги Мишель (род. в 1930 г.) — французский поэт, переводчик.

# 264

Прохазка Арношт (1869—1925) — чешский прозаик, пропагандист декаданса, в 1894 г. основал малозначимый журнал «Модерни ревю» («Современное обозрение), который выходил до 1925 г.

# 265

Кашпар Ян (1883—1927) — инженер, первый чешский пилот. Чигак Эвжен (1885—1958) — пионер чешского воздухоплавания, вместе с Я. Кашпаром сконструировал первый чешский самолет (1909).

# 266

«Север и Восток» — чешский литературно-художественный журнал, издававшийся в 1925—1930 гг. в городе Турнове на северо-востоке Чехии.

# 267

Метелак Алоис (1897—1980) — чешский архитектор и художник-прикладник; директор школы художественного стеклоделия в г. Железны Брод, заслуженный деятель искусств Чехословакии. Брихта Ярослав (1895—1971) — чешский скульптор и художник-прикладник, заслуженный деятель искусств Чехословакии.

Публикуется лишь фрагмент из статьи.

# 269

На русском языке фрагменты из книги публикуются впервые за исключением статьи об Иржи Тауфере, опубликованной в качестве предисловия к книге: И. Тауфер. Стихи. М., «Художественная литература», 1977.

# 270

В подзаголовке использована начальная строка стихотворения С. К. Неймана «Поэт и человек» из сборника «Соната земных горизонтов» (1937).

## 271

«Народни листы» («Национальная газета») — чешская буржуазная газета, выходила в 1861—1941 гг., с 1918 г. — орган национально-демократической партии.

«Гумористицке листы» («Юмористическая газета») — популярный юмористический журнал, издававшийся с 1858 г. Йозефом Рихардом Вилимеком; выходил до 1941 г.

## 273

Книга В. И. Ленина «Государство и революция» вышла в переводе на чешский язык в 1920 г. в издательстве журнала «Червен», возглавлявшемся С. К. Нейманом.

Шпала Вацлав (1885—1946) — видный чешский художник.

## 275

«Омладина» — движение прогрессивной, радикально настроенной чешской студенческой и рабочей молодежи в начале 90-х гг. XIX в. против проавстрийской политики буржуазии страны, клерикализма и габсбургской бюрократии, за социальное и национальное освобождение чешского народа. В 1894 г. по доносу провокатора над группой арестованных участников движения состоялся судебный процесс. С. К. Нейман и другие представители радикальной молодежи были осуждены на различные сроки тюремного заключения.

*…увлечение цивилистской лирикой…* — Цивилизм — направление в чешском искусстве начала XX в. (С. К. Нейман, братья Чапеки и другие), родственное кубофутуризму.

# 277

Бржезина Отокар (наст. имя и фам. Вацлав Ебавы) (1868—1929) — чешский поэт-символист. Сова Антонин (1864—1928) — чешский поэт и прозаик, близкий символизму и импрессионизму. Тэр Отакар (1880—1917) — чешский поэт, критик и переводчик.

# 278

«Анти-Жид, или Оптимизм без предрассудков и иллюзий» (1937) — книга публицистических размышлений С. К. Неймана, полемически направленная против книги А. Жида «Возвращение из СССР» (1936), написанной с антисоветских позиций.

## 279

Гельнер Франтишек (1881—1914) — чешский поэт и прозаик, близкий анархизму.

## 280

«Моби Дик, или Белый кит» (1851) — роман американского писателя-романтика Германа Мелвила (1819—1891).

# 281

Стршибрный Иржи (1880—1955) — реакционный чешский политик, в 20-х гг. был министром, в 30-х гг. создал фашистскую партию национальных социалистов, которая впоследствии реорганизовалась, а затем вместе с другими реакционными группировками слилась в партию «Народни съедноцени»; в 1947 г. осужден народным судом за преступления против республики. Тусар Властимил (1880—1924) — правый социал-демократ, в 1919—1920 гг. председатель кабинета министров Чехословакии; в момент решительных классовых боев осенью 1920 г. предал интересы трудящихся.

# 282

В двух последних абзацах автора речь идет о кризисной ситуации в Чехословакии в 60-х годах, когда значительная часть работников идеологического и культурного фронта отошла от марксистско-ленинских позиций и пренебрежительно относилась к революционному культурному наследию. Надежды тех, «кто подготавливал контрреволюцию», не оправдались. Кризисная ситуация была преодолена новым руководством КПЧ во главе с Г. Гусаком.

## 283

*…после переворота…* — То есть после свержения власти Габсбургов и провозглашения Чехословацкой республики 28 октября 1918 г.

# 284

«Рефлектор» — иллюстрированный журнал КПЧ, выходил в 1925—1929 гг. в Праге, раз в две недели. В 1925—1926 гг. его редактировал С. К. Нейман. «Лидова культура» («Народная культура») — журнал, выходивший в Праге в 1936—1938 гг. также под редакцией С. К. Неймана.

## 285

В период написания статьи о В. Незвале (она датирована 1970 г.) в стране еще не были до конца преодолены последствия кризисной ситуации (см. коммент. 282).

# 286

*…слова Маркса об истории, которая никогда не повторяется в прежнем виде, а разве что как фарс…* — О комическом в реальной истории, об «иронии истории» К. Маркс писал неоднократно, в частности в работах «К критике гегелевской философии права» (1843) и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852). В последней он писал: «Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М., 1957, т. 8, с. 119).

# 287

Томчик Милош (род. в 1922 г.) — видный словацкий литературовед, член-корреспондент Чехословацкой Академии наук.

# 288

Нехватал Франтишек (1905—1983) — чешский поэт и переводчик, народный писатель Чехословакии. Бурианек Франтишек (род. в 1917 г.) — чешский литературовед, профессор.

## 289

Пекарек Вацлав (1907—1982) — чешский критик и публицист, народный писатель Чехословакии.

# 290

Имеется в виду освобождение Чехословакии от гитлеровской оккупации Советской Армией в мае 1945 г.

# 291

Эрбен Карел Яромир (1811—1870) — чешский поэт-романтик, фольклорист, переводчик; автор книги баллад «Букет» (1853).

# 292

Рингхоферовка — место в Праге, где находился машиностроительный завод Рингхофера, национализированный в 1945 г.

## 293

*В «Человеческой комедии» Бальзака Маркс увидел «самую замечательную реалистическую историю французского „общества“…»* — Й. Рыбак допускает неточность. Приведенная цитата взята из письма Ф. Энгельса Маргарет Гаркнесс, начало апреля 1888 г. (См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М., 1965, т. 37, с. 36).

## 294

Утиц Эмиль (1883—1956) — философ и эстетик; его книга о Э. Э. Кише — «Классический образец журналиста», Берлин, 1956.

## 295

Калал Карел (1860—1930) — чешский педагог и писатель, пропагандист сближения чехов и словаков; книга «В прекрасной Словакии» вышла в 1903 г.

# 296

Дратеник (дротарь) — так называют в Словакии бродячих мелких торговцев и ремесленников, которые продают свои изделия из проволоки и чинят глиняную, фаянсовую и фарфоровую посуду, обвязывая ее проволокой.

## 297

*…после своего возвращения из Германии…* — В 1942 г. П. Илемницкий был арестован гестапо и в 1943 г. осужден на восемь лет принудительных работ. Содержался в концлагерях Германии. Вернулся в Словакию в июне 1945 г.

## 298

Речь идет о выставке, посвященной жизни и творчеству П. Илемницкого, которую организовало издательство «Свобода».

# 299

«Интергельпо» — производственный кооператив рабочих из Чехословакии в Киргизии, существовавший в 1925—1943 гг.

# 300

Гаусман Иржи (1898—1923) — чешский поэт и прозаик, известный сатирик, в последние годы жизни сотрудничал в коммунистической печати.

# 301

«Трн» («Колючка») — чешский прогрессивный сатирический журнал, выходил в 1924—1932 гг.

# 302

«Сршатец» («Шершень») — чешский коммунистический сатирический журнал, выходил в 1920—1924 гг.

# 303

Й. Рыбак приводит цитату из книги Б. Вацлавека «Творчеством к действительности» (1937).

# 304

«Журналист, политик и поэт» — так назвал Й. Рыбак предисловие к сборнику статей Л. Новомеского «Вчера и сегодня», Прага, «Свобода», 1973. (Публикуется с сокращениями.)

# 305

*…кобургским магнатам, которые задолжали республике налогов на 51 миллион крон.* — Немецкий княжеский род Кобургов, к которому принадлежал и болгарский князь, а затем царь Фердинанд I Кобург (1861—1948), владел крупными поместьями и сталелитейными предприятиями в Словакии. После отречения от престола в Болгарии (1918 г.) Фердинанд I сохранил свои владения в Словакии, так же как и другие представители рода. Только в 1927—1928 гг. Кобурги за вознаграждение передали свои земельные владения чехословацкому государству, а промышленные предприятия — одному из крупных акционерных обществ. Чехословацкое государство весьма терпимо относилось к налоговой задолженности крупной буржуазии и помещиков. В 1926—1927 гг. с них было списано более 2 миллиардов крон налоговой задолженности.

# 306

«Спартак» — журнал словацкой федерации рабочего спортивного движения, выходил в 1922—1925 гг.; с ноября 1922 по декабрь 1924 г. редактором его был К. Готвальд. Журнал стал трибуной революционной культуры. В его редакционный совет входили Я. Поничан и Э. Уркс, в нем сотрудничали П. Илемницкий и Л. Новомеский.

# 307

Вольное общество студентов-социалистов из Словакии (1922—1925) — словацкое студенческое землячество в Праге, объединявшее молодежь коммунистической ориентации. Инициатором его создания был Я. Поничан, в числе первых членов — В. Клементис, Э. Уркс, Д. Окали и другие молодые литераторы-коммунисты.

# 308

Прохазка Ярослав (1897—1980) — чешский историк, коммунист, в 1931—1942 гг. работал в московском Издательстве литературы на иностранных языках; впоследствии видный армейский политработник, ректор Карлова университета; член-корреспондент Чехословацкой Академии наук.

## 309

*…общеизвестный «голубиный характер»…* — «Голубиным народом» назвал чехов и словаков выдающийся поэт Чехии и Словакии (словак по происхождению, писал по-чешски) Ян Коллар (1793—1852) в поэме «Дочь Славы» (1824—1852).

# 310

Главачек Карел (1874—1898) — чешский поэт, сочетал социальный радикализм с мотивами и формой, близкими символизму и декадансу.

# 311

Монография А. Матушки «Человек против гибели» (1963).

# 312

Поэтизм — направление в чешской литературе 20-х гг. XX в., программу которого сформулировали В. Незвал и К. Тайге. Сторонники поэтизма видели в поэзии главенствующий жанр искусства. Они ошибочно разделяли эстетическую, идеологическую и познавательную функции художественного творчества.

*О. Малевич*